

Григорий
Полянкер

СЕКРЕТ ДОЛГО- ЛЕТНЯ

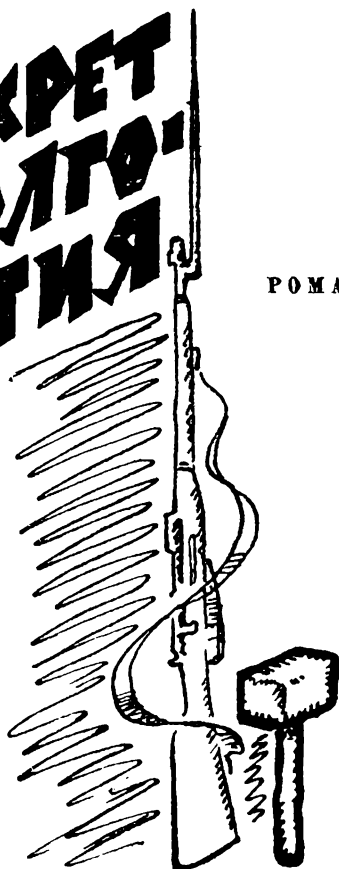


94 коп.

Григорий
Полянкер

СЕКРЕТ ДОЛГО- ЛЕТНЯ

РОМАН



Издательство
художественной
литературы
«ДНІПРО»
Киев — 1968

О жизнерадостном и добром человеке, бывшем солдате, участнике трех войн, добродушном мастеровом повествует роман. Много пережил Шмая, немало дорог исходил, и многое известно этому веселому кровельщику. Ему известен даже... секрет долголетия. Правда, излагает он этот «секрет» в шутовском тоне. Кто-то из земляков когда-то тоже в шутку прозвал Шмаю разбойником. Однако всю жизнь за добрым и неугомонным человеком тянется это необычное прозвище...

Перевод с еврейского

КИЕВСКАЯ КНИЖНАЯ ФАБРИКА

ДВА СЛОВА ОТ АВТОРА

Первая часть романа под названием «Шмая-разбойник» вышла в свет незадолго до Великой Отечественной войны.

Не будем скрывать,— необычное название книги принесло автору немало хлопот, а издателям — тревог и волнений.

Такое название до некоторой степени всколыхнуло любителей детективной и приключенческой литературы. Сурово сдвинули брови отдельные критики — блюстители порядка на литературном поприще, что, мол, за вольности такие? О разбойниках писать? Откуда у нас разбойники взялись?..

Однако, ознакомившись с первыми главами романа и убедившись в том, что ни о каких подлинных разбойниках здесь и речи нет, несколько успокоились.

В самом деле, о подлинных разбойниках в этой книге ничего не сказано. Ни одного слова.

Это история словоохотливого, жизнерадостного человека, который сам не грустит, не скучает и не дает скучать другим, человека, побывавшего, как говорится, на коне и под конем, человека, познавшего немало бед и горя, огорчений и радости...

Среди добрых и пытливых читателей наших оказалось немало таких, которые слегка упрекали автора, почему, мол, он так быстро расстался со своим любимым героем, оставив его на полпути, между небом и землей. Тем более, что в одной из глав романа ясно сказано, что Шмая-разбойник в своих долгих поисках натолкнулся почти на... секрет долголетия, над которым немало ученых и мыслителей невесть сколько веков ломают себе голову. Почему же, в самом деле, герой не обнародовал свой секрет, не раскрыл перед всеми свою заветную тайну?

А ведь известно издавна, что все люди мечтают, жаждут долголетия, все хотят быть молодыми и красивыми, бодрыми и сильными, долгие годы жить и

процветать, будь то молодой человек или капризная женщина, пожилая дама или бывалый старик пенсионер...

Вот, собственно, почему мы решили вернуться к нашему старому доброму знакомому. С ним мы столкнулись на военных дорогах, встретились в поверженной фашистской Германии, сидели с ним холодными ночами у солдатских костров, видели его, когда он спешил в родные края к своей семье, близким и друзьям, истосковавшимся по его острому слову, озорной шутке, золотым рукам, привыкшим держать винтовку и топор, молоток и рубанок, лист кровельного железа...

В первые минуты встречи нас поразило то, что он мало изменился, почти что не постарел, если, конечно, не считать нескольких лишних морщин на лице, свежих шрамов от осколков и пуль да еще, пожалуй, густой седины на висках.

Правда, наш добрый знакомый стал несколько сдержаннее, скупее на шутку и остроту. И не мудрено! Сколько горечи пришлось испытать за эти годы! Но в остальном он, пожалуй, ей-ей, остался тем же жизнерадостным, веселым собеседником, каким мы его знаем много лет...

Мы и теперь изредка встречаемся с ним, с нашим добрым знакомым...

Впрочем, мы, кажется, отвлеклись от главного.

Пора и честь знать. «Два слова от автора» растянулись на две страницы. А ведь впереди нас ждут забавные и грустные встречи с нашим неугомонным, неунывающим знакомым, с его друзьями и товарищами, родными и близкими. Что ж, послушаем, что он нам расскажет.

Вернее, начнем с самого начала, как принято во всех романах...

Часть первая



ШМАЯ — РАЗБОЙНИК

Глава первая

ШМАЯ-РАЗБОЙНИК ПОТРЯСАЕТ МИР

Видали вы когда-нибудь разбойника? Живого, настоящего разбойника?

Если видали, у меня большая к вам просьба: скажите, будьте уж так добры, каков он из себя? Если есть у вас хоть на грош уважения к солдату первой мировой войны, который три года, как один день, провалялся в окопах, заслужил три ранения и два «георгия», помогал скинуть августейшего нашего царя-батюшку,— откройте секрет: как выглядит разбойник?

Клянусь вам всеми святыми, жизнью жены и детей моих, с тех пор как живу на свете, ни разу не видел настоящего разбойника, хотя самого меня все величают не иначе, как «Шмая-разбойник».

Разбойник Шмая!

Любят люди посмеяться, хоть время нынче суровое. Не до смеха. Только-только выбрались из такой страшной войны. Весь мир еще ходуном ходит. Никто толком не знает, что принесет ему завтрашний день. Кругом бродят разные банды, настоящие разбойники, грабят, убивают. Черт знает что творится! А мои земляки заладили, хоть плачь: Шмая-разбойник и Шмая-разбойник...

Эх, были бы все разбойники похожи на меня, куда легче жилось бы на свете! Настал бы, мне кажется, рай на земле!

Главного разбойника — царя-батюшку — слава всевышнему, убрали. Правда, порядка пока что не видно. Целая орава лютых злодеев со всего света ринулась на Россию. Ну совсем как шакалы, так и норовят побольше кусок урвать! А спросите у нас в местечке — другого разбойника, кроме Шмаи, как будто и нет на свете! Пристали к человеку, весь мир исходившему, к солдату, который на фронтах воевал — от Карпат до Пинских болот, — к мастеровому-кровельщику, столько крыш залатавшему людям, чтоб им на голову не текло, и гогочут, животики надрывают.

Насколько я понимаю, разбойник должен быть долго-вязым дегинной с перекошенной мордой, с воровскими глазами, косящими из-под лохматого чуба, и если не с револьвером или обрезом, то по крайней мере с ножом за голенищем.

А теперь взгляните на меня. Я, кажется, самый обыкновенный. Рост как рост, и глаза как глаза, такие же, как у всех людей: одни говорят — черные, другие — карие. Чуба не ношу. Каждые две недели стригусь в парикмахерской. Кинжалов и ножей за голенищем не таскаю. С войны, правда, привез домой винтовку, да моя благоверная такой подняла шум, что винтовку эту я тут же отнес воинскому начальнику. Притащил еще шашку, да променял ее у кузнеца на пуд муки и мешок картошки. Дома у меня валяется где-то нож, только тупой, как деревяшка... Вот и судите теперь сами, какой из меня разбойник.

А почему, спросите вы, Шмая? Что за странное имя? Думаете, меня в самом деле так зовут? Глупости! Мое настоящее имя — Шая, Шая Спивак. А это наши зубоскалы постарались: перекроили Шаю на Шмаю, окрестили простого, мирного человека разбойником, вот и пошло по свету божьему: Шмая-разбойник!

Ну и ладно! Пускай! Не все ли мне равно, как меня зовут? Мне уже жениться не надо, а заработкам моим, профессии это прозвище, право же, не повредит. Да и ссориться с целым местечком из-за такой глупости тоже нет смысла. Где наше не пропадало?!

Теперь я уже начинаю припоминать: прозвище это мне присобачили давненько. И кто бы, вы думали? Наши богачи-благотетели. За что? А за то, что несправедливости не выношу и правду-матку в глаза режу! Увижу, что кого-нибудь зря обижают, обманывают, сразу бунтую, в драку лезу. Люблю, чтобы все по справедливости... А прозвище так и приросло. Привыкли к нему люди, и помаленьку все — стар и млад — стали величать меня не иначе, как разбойником.

Но я понимаю, теперь меня так называют уже не по злобе. Наоборот, теперь это прозвище не так режет слух, как раньше. Я к нему привык и ничуть не обижаюсь...

Иду я как-то по улице, подходит ко мне нищий, руку протягивает:

— Пожертвуйте, добрый человек, сколько милость ваша...

Останавливаюсь, выворачиваю все карманы и отдаю ему

последние гроши. Нищий низко кланяется, благодарит, как полагается, а в конце добавляет:

— Долгой вам жизни, разбойник Шмая!

Ну что ты скажешь!..

Да что говорить о нищих,— зайдите ко мне в мастерскую, и вы сможете увидеть еще более интересную картину. Врывается ко мне целая ватага мальчишек, шумят, галдят — одуреть можно! А я бросаю свою работу и принимаюсь мастерить им всякие игрушки. Они хватают мои подарки, прыгают от радости до потолка, а соберутся уходить, хором кричат:

— Большое вам спасибо, завтра опять придем, дядя Шмая-разбойник!

Ну прямо наваждение какое-то!

А малышей я люблю! Гляжу на них, и сердце разрывается. Не каждый день видят они кусок хлеба. А вкус молока давно уже забыли. Голые, босые. Тоже горе мыкают из-за этой войны... Им еще труднее, чем взрослым. Пусть хоть позабавятся!

А может, все-таки перекрутится и им уже легче будет жить на свете, чем нам?

Да, как вспомнишь войну, которую мы только что пережили, волосы дыбом встают. Ну и война! Просто каким-то чудом уцелел я и вернулся домой. Счастье мне выпало... Да можно ли это назвать счастьем? Я вот вернулся, а сколько не вернулось! Сколько горя, несчастий, бед принесла эта война, сколько наплодила она калек, вдов, сирот!.. Хватил бы кондрашка того пса богомерзкого, который выдумал войну...

Все это выпалил однажды наш добрый кровельщик приехавшему в местечко почтенному гостю. А когда Шмая-разбойник встречает человека, с которым можно поговорить по душам, он забывает обо всем на свете. Его хлебом не корми, только дай ему подходящего слушателя! А как заговорит о войне, разыграет в нем бывалый солдат, черные глаза начинают светиться, улыбка озаряет смуглое добродушное лицо, заросшее густой щетиной. Ловко свертывает он толстую сигарку из крепкой махры, глубоко затягивается, выпускает облако дыма, сдвигает на макушку простреленную солдатскую фуражку, расстегивает ворот полинявшей гимнастерки и — пошел про войну рассказывать!

Но вот Шмая, неожиданно покачав головой, кивает на ведро с инструментом, словно желая этим сказать: «Эх жаль, времени мало. Сами, небось, видите, работа меня

ждет. Уже полдень, а я еще сегодня ломаного гроша не заработал. Дома ждут жена и двое птенцов. А то рассказал бы я вам про войну...»

И все же не уходит. Добродушно улыбаясь, снова выпускает изо рта густое облако дыма, чешет затылок и продолжает:

— Как сейчас помню, было это в первые дни, когда всемиловейший государь, царь-батюшка, чтоб его из могилы выбросило, погнал нас на позиции. Лето, понимаете, жара немилосердная. А путь далекий. Винтовка да лопатка, каска и скатка, мешок за плечами жмут и бока натирают, — словами не передать. С ног валишься, а ничего не попишешь. Идешь, коли царь-батюшка приказал. Из сил выбиваешься, голодный, сонный, измученный, а шагаешь, сам не зная, куда и зачем.

Лето, как нарочно, такое погожее! Птички щебечут, жаворонок звенит над головой, травы пахнут, — опьянеть можно! Небо над тобой ясное, голубое, совсем как в мирное время. Глядишь вокруг и на минутку забываешь, что ты солдат, что идешь смерти навстречу. Но забываешь об этом только на минутку! Издали доносится гул орудий, и ты снова вспоминаешь, что шагаешь к смерти в гости. И становится немного не по себе. Не хочется ведь умирать! Знал бы ты, за что, легче на душе было бы. Подумаешь, какую прекрасную жизнь прожил ты дома!.. Что ты там видел, кроме нищеты, мук? И какое счастье ждет тебя дома, когда все это кончится и ты выживешь?.. Один черт, что жить, что умирать. А все-таки жаль так глупо расставаться с жизнью. Казалось бы, не один год на свете прожил, не впервые видишь такое чистое небо, леса, долины, — чего б тут о земных красотах раздумывать? Кто ты есть, философ, мудрец? Простой смертный, солдат! Но, между прочим, простому смертному иногда тоже приходят в голову глубокие мысли...

Так вот, привели нас однажды на опушку леса, повалились мы, как подкошенные, на траву. Аппетит разыгрался, совсем, можно сказать, как в мирное время. Да только есть нечего. Надо дожидаться, пока кухня привезут. Вот и лежим мы на траве, как проклятые, потяжки сушим, болтаем всякий вздор, курум махру и терпим.

Один солдат рассказывает, какие вареники теща ему когда-то варила да как у него дома корова телилась, другой — как его женили, третий — как сватали, кто-то проезжается по адресу нашего фельдфебеля, а думают все об

одном: как бы его пожрать? Кишки ведь марш играют. Кишка, знаете, она слепое создание. Она знать ничего не знает, ей что война, что свадьба — один черт! Ей жрать подавай!..

И, как ни странно, больше всех о жратве бубнил, помнится, молодой тщедушный солдатик, с сухим костлявым лицом с кулачок величиной. И как такого заморыша взяли в солдаты, накажи меня бог, не пойму. Смотреть на него жалко было. Не разберешь: то ли он носит винтовку, то ли винтовка его тащит... И как раз этот парнишка никогда не мог наесться досыта. Уж мы все, бывало, отдавали ему последний кусок, только б он хоть раз наелся. Голодным пришел он в полк от помещика, у которого конюхом служил, клялся, что у своего миленького хозяина ни разу сыт не бывал. И вот в то время, когда он рассказывал нам о своем барине, подошел наш фельдфебель — тоже золотая душа! — и сердито взглянул на солдатика.

— Разговорчики?! Харя противная! У-у... Все еще про жратву болтаешь, армию разлагаешь?.. Солдат должен думать не о жратве, а о царе-батюшке и отечестве... Понял?

— Так точно, ваше благородие! — как ужаленный, вскочил с места солдатик и вытнулся перед фельдфебелем. — Буду думать о царе и отечестве...

— То-то! — сказал фельдфебель, подкручивая усы и не сводя глаз с испуганного солдатика. — Но интересно мне знать, обжора, сколько же котелков борща ты смог бы одолеть?

У парня загорелись глаза. Он облизнул потрескавшиеся губы и рявкнул:

— Целое ведроко!.. Котелков пять, ваше благородие...

— М-да, проверим... — перебил его фельдфебель. — А что будет, если не съешь? Тогда десять раз по морде съезжу да еще четверть казенки мне поставишь... Сожрешь — я поставлю...

На том и поладили. А тут подошли кухни, начался обед. Налили парню пять котелков борща, и он, недолго думая, принялся за работу. Солдаты помоложе надрывались от хохота, глядя, как бедняга орудует ложкой, а старшие солдаты тихо возмущались: совести, мол, нет у фельдфебеля нашего, нашел себе занятие — издеваться над несчастным, голодным человеком... Одно только всех радовало: фельдфебель, этот пес-скалыга, который, бывало, даст новобранцу двугривенный и велит сбегать в бакалейную лавку купить бутылку водки, круг колбасы, селедку, булку и

принести ему полтинник сдачи,— этот зверюга проигрывал пари и должен будет раскошелиться.

В общем, наш солдатик съел борщ. Батюшки-светы, что творилось! Солдаты смеялись над фельдфебелем. Одни требовали, чтоб он сдержал слово, говорили, что солдатика следовало бы за подвиг отпустить домой на побывку к жинке и теще, другие в шутку говорили, что не мешало бы царю прошение написать, чтобы серебряную медаль этому молодцу нацепили... Весело было! И вдруг откуда ни возьмись появился прапорщик. Узнав, что здесь произошло, почему такой шум, он рассвирепел и пообещал отправить солдатика в штрафную роту. Как это, мол, в такое время, когда империя трещит по всем швам, а царский престол шатается, как подгнивший пень, находятся солдаты, которые всякими глупостями занимаются вместо того, чтобы думать о царе-батюшке и спасении империи...

Наш солдатик дрожал как осиновый лист.

— Что ж, отправляйте в штрафную роту,— наконец промямлил он.— А там кашу будут давать?..

Прапорщик уже совсем вышел из себя и приказал отправить нарушителя порядка на гауптвахту. Только до этого дело не дошло. Пришлось солдатика в лазарет везти. Бедняга думал наестся хоть раз за всю жизнь, за все годы, но на следующий день отвезли его туда, где нет ни штрафных рот, ни гауптвахты и где жратва уже не нужна... Пухом ему земля!..

Закончив свой немудреный рассказ, Шмая-разбойник перевел дыхание, махнул рукой и выплюнул на землю погасший окурок.

Если вы думаете, что все это Шмая-разбойник рассказал одному случайному встречному, вы глубоко заблуждаетесь. Станет он ради одного человека беречь старые раны! Где там! Вокруг нашего доброго кровельщика уже собралась целая толпа. Сбежались солдатики со всех дворов, из ближайших переулков и тупиков. Кто же из них пропустит случай послушать Шмаю? Так уж повелось: с первого дня после возвращения в родное местечко не дают ему и на минуту остаться в одиночестве. Стоит ему появиться на улице, как все бросают работу и бегут к нему послушать, что нового на белом свете. Кто больше его знает, что происходит нынче в мире? Поезда редко пробиваются сюда. Газеты приходят с большими перерывами, и люди

пользуются лишь случайными слухами, подчас такими, от которых уши вянут. Старый аптекарь Рафалович, местный мудрец и философ, уже давно не получает газет и ничего не может рассказать людям, приходящим к нему за новостями. Откуда он может их брать? Выдумывать он не умеет, а газеты ползут сюда как на волах. К тому же они безбожно врут!..

Новости, которые привез с собой Шмая-разбойник, тоже давно устарели. Но то, что он теперь рассказывал, интересовало людей не меньше, и они слушали его, затаив дыхание. А солдату только того и надо. Набирайся терпения и разевай рот!

Расправив черные усы, которые завел себе на фронте, сбив фуражку набекрень, он продолжает свой рассказ. К тому же Шмая-разбойник старается рассказывать что-нибудь такое, что не расстроило бы солдаток, а позабавило, развеселило их,— пусть забудут о своих горестях и обидах. И без того у них тяжело на душе.

— Да, то, что я вам сейчас рассказал, дорогие мои соседушки,— заговорил он еще оживленнее,— не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с одним нашим ефрейтором по фамилии Жегалин. Передать вам эту историю со всеми подробностями не хватит ни дня ни ночи, а я, как сами видите, тороплюсь к балагуле¹ Хацкелю, крышу ему починить надо. Вы ведь знаете этого грубияна. Он такой гвалт может поднять, что не будешь знать, куда деваться... Но ничего. Коль к слову пришлось, уж расскажу. Пришел к нам в полк этот самый Жегалин с новым пополнением. Длинный, как каланча. Ну и ноги человек отрастил себе — радость для сапожников! Уж как мучились, пока для него смастерили башмаки! А человек тихий, смирный. Приняли мы его в свою компанию, как родного. Только беды с ним набрались, страху, не приведи бог! Траншеи мы себе выкопали на свой рост, и они нас спасали от пуль и осколков. А этот парняга как поднимется во всю свою длину — точно маяк торчит. Австрийцы его сразу заметили и давай палить. Видно, решили, что такой детина может быть только генералом. Не знали, что это простой солдат и нечего на него расходовать столько пуль и снарядов. Пришлось всем гуртом взяться за лопаты и рыть траншеи поглубже, в рост Жегалина. Добрая душа, а что такой долговязый — ничего не поделаешь. То бишь, вина не его, от бога это. Правда,

¹ Балагула — извозчик (евр.).

я бы таких, как он, на войну не брал. Мороки много. На фронте солдату лучше покороче ростом быть; он должен держаться поближе к матушке земле, а не торчать на виду, чтоб каждая шальная пуля в него попасть могла.

Ну, одним словом, кое-кто думал, что Жегалин зря будет есть солдатский хлеб, что пользы от него никакой не будет. А вышло не так.

Как-то лежим мы в траншее. Под вечер дело было. Осень, холодный дождь хлещет. Ветер до косточек пробирает. Над головой пули и осколки свистят. Холодно. Цыганский пот тебя прошибает... Что и говорить, весело живется солдатикам! А тут еще пушки обрушились на нас. Но мы ко всему этому уже привыкли, точно к ворчанию жены. Ведь часто так бывает, что забежит она к тебе просить денег на базар, а в карманах у тебя только ветер свищет. Вот и ворчит...

Вдруг слышим над головой странный гул. Смотрим, в небе немецкий аэроплан появился. В последнее время мы наслушались разных историй об этих аэропланах, только еще не приходилось познакомиться с ними поближе. Нельзя сказать, чтобы мы за ними очень скучали, но что поделаешь, если уж прилетел непрошенный гость и кружит над головой. И вот уже летит на нас одна бомба, другая, третья. Вся земля вокруг вздыбилась. Стреляем мы по божьей птичке, а ей хоть бы что! Попробуй достань! Гудит и гудит, нечистая сила. Глядим, а наш Жегалин встает во весь рост. Сдурел человек! Мы его за полы, а он вырывается и бежит к старому дубу, что торчит перед нашими окопами. Вскрабкался на него и смотрит в небо. Мы ему кричим, чтобы слез с дуба, а он и ухом не ведет, прицеливается. Аэроплан спустился ниже. Жегалин расстрелял всю обойму и сбил проклятого. Упала машина рядом с нашей позицией. Наши шутники даже говорили, что Жегалин не стрелял, а просто треснул его прикладом по хвосту... Так нам рост его пригодился...

Вот вам, люди добрые, и тихоня! Вот вам и длиннючая «каланча»...

А шум какой поднялся! Нацепили человеку медаль «За храбрость» и тут же лычки ефрейторские пришили... Чин не ахти какой, но все же почетный солдатский чин. Честно заработанный, своим трудом. Ведь иному барину легче стать на войне генералом, чем простому смертному ефрейтором...

Шмая-разбойник ловко скрутил сигарку и стал высе-

кать из кремня огонь. Он хотел продолжать свой рассказ, но тут, словно из-под земли, вырос балагула Хацкель, широкоплечий, коренастый человек с багровым конопатым лицом. Его глаза метали молнии. Рыжие волосы были всклокочены, будто он их целую вечность не причесывал; длинная черная рубаха расстегнута, зеленые кутасы кушака путались у него в ногах. Не иначе, как человек только что вернулся из далекой поездки и в дороге, может быть, ось треснула или, чего доброго, лошадь ногу сломала. Он остановился в нескольких шагах от Шмай и окинул презрительным взглядом толпу солдаток, окруживших кровельщика. Заикаясь сильнее обычного, он обрушил на мастерового ругательства и проклятия, накопленные, казалось, за все те годы, которые балагула просидел на облучке.

— Ну, соседи, как вам нравится этот, с позволения сказать, мастер? — воскликнул Хацкель, буравя кровельщика злыми глазами. — Такой человек не то что на кашу, на воду для каши и то не заработает... Скоро неделя, почитай, собирается ко мне человек крышу чинить и никак до меня не доберется... Остановится где-нибудь на полпути и давай басни рассказывать... Уж я сегодня полсвета успел объездить, и в Жашкове, и в Охримове побывал, а он... Получил у меня задаток, и теперь ему хоть трава не расти... Сегодня вон как парит, не иначе, скоро дождь хлынет как из ведра, и поплыву я вместе со своей хибаркой и бебехами... Ах ты, Шмая-разбойник, нет погибели на твоего батьку!..

Тут уж бабы не выдержали. Они так напустились на Хацкеля, что чуть было не разорвали. Как он смел влезать в разговор? Кто ему позволил оскорблять доброго человека?

Балагула понял, что попал впросак, — с солдатками шутки плохи, — и, не промолвив больше ни слова, отошел в сторонку. Неровен час, набросится такая орава, забудешь, как тебя зовут.

Шмая-разбойник не без удовольствия посмотрел на притихшего балагулу и, подойдя к нему, негромко сказал:

— Ты, Хацкель, можешь ругаться, сколько душе твоей угодно — что с такого возьмешь, — только батьку моего трогай. Отец мой никому здесь ничего плохого не сделал, честно прожил свои годы, чинил крыши людям, чтобы им тепло было, а когда призывали на фронт родину защищать, он, как многие, пошел и где-то в Порт-Артуре сложил свою голову... Пусть он спокойно лежит в своей могиле... Грешно

о нем плохо говорить... Сам видишь, подошли люди, хотят услышать новости. Жалко тебе или я к тебе в рабство попал за гроши, которые ты мне платишь?

Шмая-разбойник старался сохранить спокойствие, однако чувствовалось, что он оскорблен до глубины души. Будь у него в кармане деньги, он при всем честном народе швырнул бы их в лицо Хацкелю: «Вот тебе, грубиян, горю ты вместе со своим задатком!», но старая пословица гласит: «Коль пальцев нет, фиги не покажешь», а в эту минуту наш кровельщик лишен был возможности так поступить.

Несколько приунывший кровельщик больше не произнес ни слова, взял ведро с инструментом и медленно направился к тупику, где под горой у глубокого яра прилепился «дворец» балагулы.

Подойдя к домику, такому низенькому, что козы, спускаясь с кургана, легко перепрыгивали через него, Шмая-разбойник без лестницы взобрался на ветхую крышу, помотал головой, почесал затылок: с чего тут начать, когда все давно сгнило? — но все же ударил деревянным молотком по сорванным листам жести. Пусть успокоится сердитый заказчик, работа, мол, началась.

— Взялся на мою голову этот балагула!.. Чтоб его волчихи съели!.. — улыбаясь, сказал Шмая после долгой паузы. — Видали человека? Слова не дает сказать... И откуда берутся такие?..

Кровельщик огляделся вокруг. Ого, солдатики и сюда пришли! Ему казалось, что он сегодня уже отдохнет от них, что они оставят его в покое. Но куда там! Пристраиваются на завалинках, на камнях, разбросанных по захламенному дворику балагулы, ждут новых историй. А где набрать их? Хоть беги от своих слушательниц на край света! Но, должно быть, и там живут солдатики!

Он их хорошо знает: им рассказывай или какую-нибудь страшную историю, от которой можно всласть повздыхать и даже поплакать, или смешную, про веселые приключения, чтобы можно было вдоволь посмеяться, забыть хоть на короткое время свои горести... Но, как назло, в эту минуту Шмае не приходят в голову ни печальные, ни смешные истории. Тем не менее он не теряет, напрягает память и, ловко прикрепляя ржавые клочья жести к стропилам, продолжает:

— Да, дорогие мои соседки, все, что я вам до сих пор рассказывал, бледнеет перед тем, что случилось со мной

в Карпатах. Может быть, слышали про Карпаты? Ну как вам объяснить? Эх, жаль, что вы не видали Карпат... Гора на горе, а на горе горка. Посмотришь налево — леса, посмотришь направо — леса, назад посмотришь — долина, вперед глянешь — ущелья. Вскинешь голову, а она закружится — такая вокруг красота! Хороши они, эти Карпаты, да только для буржуев и панов, что съезжаются сюда летом на дачу, жир сгонять или желудки промывать, чтобы аппетит хороший был... А для солдат, которые нагружены, как ишаки, и из сил выбиваются, карабкаясь по крутым этим горам, — удовольствие здесь, скажу вам, небольшое... Дорог нет, одни тропинки. К тому же дожди сюда бог посылает щедро. Тогда по тропинкам ни пройти, ни проехать. Ну, словом, зарылись мы с горем пополам в эти Карпаты, а неподалеку от нас — вражеские окопы.

Под вечер дело было. Вижу я, стоит на горе этакий пузатый немец или австриец, не разберешь кто. Смотрит в бинокль, видать, генерал ихний. И держит в руках флажок, верно, приказывает своим горлохватам приготовиться к бою. Как махнет флажком, они, стало быть, должны начать стрельбу из пушек и пойти на нас в атаку, выбить нас из наших нор... Без его, значит, команды никто с места двинуться не смеет. И нахальный же генерал! Стоит и смотрит в нашу сторону, мол, видали, какой я герой, не боюсь вас...

Но тут ему потребовалось, извините, сбегать туда, куда и сам царь пешком ходит... Вот и говорю я нашему ротному, который без году неделя на войне и еще пороху не нюхал:

— Смотрите, ваше благородие, эти гады что-то замышляют... Надо бы нам их перехитрить...

Взглянул на меня офицер сердито и говорит:

— Твое дело солдатское... Поставили тебя вести наблюдение за вражескими окопами, исполняй!.. И не суй свой нос, куда тебе не полагается... Кто здесь главный: я или ты?.. — сказал и в грудь себя ударил. — На гауптвахту захотел?

Рассердился я и тоже в грудь себя тычу, а там «георгий» висит, кровью заслуженный. Пусть, думаю, этот гимназистик, у которого мамино молоко на губах не обсохло, не воображает, что он пуп земли.

— Осел тоже упрям, да что толку от его упрямства? — осторожно так намекаю я ему.

Тут он уже окончательно вышел из себя.

— Молчать! Не пререкаться с начальством! — крикнул он не своим голосом. — У солдат я советов не спрашиваю!..

Повернулся я, щелкнул каблуками и пошел на свое место.

Только вижу, стал ротный прислушиваться к тем кустам, куда генерал подался, потом поглядывать в бинокль и заговорил уже совсем по-другому. Мол, не сердись, солдатик, погорячился я. Выделил он мне трех ребят, и поползли мы на брюхе к тем кустам. Надо было подкрасться туда тихонько, незаметно.

И вот мы прижимаемся к скалам и крадемся к толстяку. Подкрались совсем близко. Видим пузатого, и каску его видим, и шашку, а он нас — дудки! Подползли мы к нему, и я как тресну его прикладом по толстому затылку — он и пикнуть не успел. Сунул я ему кляп в рот, чтоб не гавкал, а тут подоспели товарищи. Связали и поволокли мы этого дьявола к своим окопам.

Вы, конечно, спросите, почему немцы не начали по нас стрелять? Но такие праздные вопросы могут задавать лишь те, кто немца не знает. Кайзеровский солдат, понимаете ли, это, голубушки мои, такая механизма, что никаких фокусов не признает. Немец, он только приказ понимает. Прикажут — он и сделает, что надо, и стрелять будет, и убивать... А ежели приказа нет — с места не сдвинется. Раз генерал не велел стрелять, пока он флажком не махнет, — стало быть, не стреляют. А что генерала у них из-под носа уволокли, это их не касается...

Наши ребята поднялись из окопов. Штыки наперевес: «Ура! За отечество!» — и пошли, пошли в атаку... Не выдержали немцы, засверкали пятками. Захватили мы тогда много пленных, пушки, добро всякое.

Ох, что тогда творилось! Мне и моим ребятам медали на грудь повесили. А мне еще ефрейторские лычки на погоны пришили. Такие нам почести оказали, как самому царю, подарки выдали, шнапсом напоили, домой на побывку отпустили... А немца чуть удар не хватил! Потом говорили, что сам кайзер Вильгельм умолял нашего Николку, чтобы ему хоть издали показали тех солдат, которые так ловко взяли в плен заслуженного боевого генерала...

Шмая-разбойник вытер рукавом лоб, жестом попросил солдаток подать ему упавший на землю молоток и, немного помолчав, продолжал:

— Однако, мои милые, что тут долго говорить на та-

кой жар! Да и времени нет. Нужно же какую-то копейку заработать на пропитание семейства...

— Ничего, Шмая-разбойник! — прервала его одна из солдаток. — Давай еще! Работа — не волк... Нет теперь кровельщиков у нас в местечке. Ты один. Хотят, чтобы на голову не текло, пусть ждут... К тому же ты такой мастер, что, когда говоришь, кажется, и работа у тебя лучше спорится...

— Я ведь никуда не собираюсь уезжать... Я вам еще многое расскажу... Может, отложим на другой раз?

— Нечего откладывать! Давай еще...

Шмая-разбойник пожал плечами, но, видя, что от них не отделаться, тяжело вздохнул:

— Да, паршивая вещь война! Между нами говоря, руки и ноги выломал бы тем, кто войны придумывает. Эх, нашлись бы на земле мудрецы и завели бы такой порядок: сидят, скажем, во дворцах цари, императоры, кайзеры, распутины и всякие там пуришкевичи. Хочется им, скажем, воевать. Что ж, пускай воюют на здоровье! Выведи их в Пинские болота, вырой им окопы, дай им винтовки в руки. Пускай ползают на брюхе по болотам, лежат в окопах под пулями, осколками, грызут кору, камни и радуются! Так нет же! Они, проклятые, сидят во дворцах, пьют, жрут, распутничают, а народ на бойню гонят. Кончится война: победил царь или потерпел поражение, — смотришь, у него вся грудь в крестах, а в груди у бедного солдата — осколки, болячки, а то и холмик над ним... Перед тем как в атаку посылают, обещают тебе всяческие блага: вот победим врага, тогда уж настанет порядок, рай на земле! А кончилась война — и все идет по-старому! Снова гни спину на буржуя, лезь в ярмо! Так и живем... Война, знаете, хуже всякой напасти, хуже чумы, наводнения, в сто раз хуже землетрясения... При землетрясении, по крайней мере, спрашивать не с кого. Говорят, это от бога, а поди спрашивай с него, когда он высоко и никто еще к нему не добрался, никто с ним не потолковал по душам — все некогда ему! Считается, что к войнам он касательства не имеет, не видит, мол, из-за облаков, как на земле паны дерутся, а у мужиков чубы трещат... Войны сами люди придумывают! Да какого это черта люди? Негодяи, подлецы, мерзавцы! Им наплевать на то, что народ кровью истекает! Им лишь бы мошну свою потуже набить... А неразберихи сколько! Присылают патроны, а они не стреляют, порох отсырел, снаряды ни к черту не годятся — фасон не тот.

не к нашим пушкам. Приходит вагон с пулеметами, которых ждут, как манны небесной, а распечатают его — там, оказывается, пулеметов и в помине нет, одни иконы... Каша, что повар приготовил, — с песком, мясо — с червями, а рыба за версту воняет. Это в тылу интендантство и всякие там благодетели-патриоты стараются для бедного солдатики... Морозы грянули, а начальство и не думает, что мы в окопах от холода околеваем. Теплого белья нет, портянок не выдают, бани нет, вши заедают. В окопах тиф, чахотка мучают, а жинка и дети дома чахотку приобрели за это время. Весело в общем! А ты, солдатик, изволь служить царю-батюшке, изволь лежать под дождем, под снегом день и ночь в своей норе, живой — в могиле. Хочешь не хочешь, становишься здесь мудрецом, философом, начинаешь думать, размышлять. Хоть солдат и не имеет права думать, — за него думает начальство!

И думы у тебя, конечно, крамольные. Спрашиваешь себя: за чьи грехи отдуваешься? За что страдаешь? Ради кого?.. Из дому приходят письма, одно другого грустнее, тошно жить становится... Думаешь: скорее бы настал конец этим мукам! Ого, чего захотел! Разве так скоро может настать конец всему этому? Разве царю на голову каплет? Пока августейшая царица да любезный ее сердцу Гришка Распутин не подскажут, война, надо думать, не кончится. Оттуда, из царского дворца, должна прийти добрая весточка. А ты, стало быть, сиди и жди у моря погоды!

А ведь у бывалых солдат золотые руки, они мастера хоть куда! Отпусти их домой, они и одеть, и обуть, и накормить всю страну могли бы. Так нет же! Лежат тут под огнем, как проклятые, и гибнут ни за понюшку табаку.

Но солдаты — народ особый. Ко всему привыкают. Голову не вешают, духом не падают. Совсем рядом смерть, а солдат о жизни думает: «Вернуться бы домой к жинке, к детишкам, к родным и друзьям!..»

Посмеяться, пошутить — это единственное, что солдату не запрещено. Правда, шути, смейся, да оглядывайся. Услышит начальство, что шутики шутишь да смеешься, подумает, что высмеиваешь царя-батюшку и Гришку Распутина, тогда тебе несдобровать. Хотя начальство тебя тут, пожалуй, не услышит. Оно сюда и носа не показывает. Тут опасно для начальства. Стреляют... Чего доброго, и убить могут!...

Денек выдался спокойный. Вовремя кухни приехали. Ребята достали свои котелки, поужинали чем пришлось,

закурили махорку и сразу повеселели. Один пожилой солдат, шутник и остролов, и говорит мне:

— Слышь, браток, хорошо бы теперь к жинке на пироги поехать, а? Вот бы поесть пирогов с вишнями да еще кувшинчиком кислого молока запить... Когда уж эта война кончится, Шмая-разбойник?

(Кто-то из моих земляков проболтался, что меня прозвали в нашем местечке разбойником, вот и приволоклось за мной это прозвище и сюда, на фронт).

— Когда война кончится? А я почему знаю? Что я, пророк? А мне, думаешь, она не надоела хуже горькой редьки?

— Чего б это она тебе надоела? — заговорили ребята. — До ефрейтора уже дослужился, «георгия» нацепили. Кто тебя знает, может, до генеральского чина решил дослужиться...

— Из-за тебя, верно, война и затянулась так, Шмая...

— Почему, — говорю, — из-за меня?

— Если б не взял ты в плен того генерала, может, перемирие вышло бы, а так сердится кайзер Вильгельм...

— Устроил бы ты, Шмая-разбойник, чтоб скорее война кончилась. А то воюем-воюем, а конца-краю не видно... Придумал бы чего...

— А что я могу сделать? Царь я, что ли?

— Ты еще выше царя! — кричат ребята. — Царь, он на земле сидит, а ты кровельщик, всю жизнь на крышах. Стало быть, ты повыше всех царей на свете!..

— Эх, братцы, — говорю, — как бы не так! Был бы я царем, все по-иному пошло бы!

— Все так говорят, пока до престола не доберутся! — отвечают мне. — А взберутся на престол, обо всем, кроме своего пуза, забывают!

— Нет, ребята, — говорю, — стал бы я царем хоть на одну недельку, все было бы иначе...

— А как?

— Ого, будь я царем!.. Уж вы лучше не спрашивайте, что было бы! Перво-наперво, выдал бы я каждому из вас по паре теплого белья и портянок, чтобы не мерзли вы здесь, в окопах, как собаки. Это первым делом. Потом выдал бы каждому по два котелка гречневой каши с салом, а то перловка уже из горла лезет, а от овсянки скоро ржать начнем... Кроме того, приказал бы каждому из вас залазать обувку, чтобы под пальцами лягушки не квакали. Еще бы я все сделал, чтобы такие милые парни не гнили в этих

проклятых окопах, а лежали бы под боком у своих женушек...

Слушают солдаты и смеются, а дождь льет и льет, и в окопах полно грязи, все промокли до нитки — зуб на зуб не попадает. Тут и там гремит артиллерия. Свистит шрапнель... А вы знаете, милые, что такое шрапнель? Дай бог, чтобы никогда не знали!..

Подкрепились малость, а тут снаряд над головой разорвался. Упал рядом со мной солдат, с которым только что из одного котелка кашу ел... Санитары положили его на носилки и тащат в лазарет... Смотрят на меня солдаты печальными глазами:

— Ну, Шмая-разбойник, как тебе нравится такая жизнь?

— Мне, — говорю, — очень нравится такая жизнь. Пожелал бы Гришке Распутину, Николке с его царицей и свите их хоть на недельку поселиться в наших окопах. Узнали бы, почем фунт лиха, может, скорее закончили бы войну...

— Но ты, Шмая, теперь тоже вроде имеешь какое-то отношение к свите... Тоже высокая шишка... До ефрейтора дослужился, теперь уже и до генерала недалеко... Написал бы высочайшему, что согласен остаться в ефрейторском чине, лишь бы война кончилась...

Вот так помаленьку сидим в окопах, курим махорку, зубоскалим, а смотришь — еще одного стукнуло. Был человек, и нет человека...

Глава вторая

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Тут Шмая-разбойник заметил, что солдатики, слушавшие его не переводя дыхания, приуныли, тяжело вздыхают, а некоторые вытирают платком мокрые глаза, и немного растерялся. Он не любит, когда люди плачут, расстраиваются. Разве мало слез пролито за эти годы? А сколько еще придется пролить их! Не лучше ли рассказать женщинам что-нибудь веселое? Но ведь на войне совсем не весело. И все же нельзя перед землячками ударить лицом в грязь. Может, придумать что-нибудь? Они на него не обидятся, если что не так и получится.

Глаза у нашего кровельщика заблестели. Вбив несколько гвоздей в стропила и приладив один ржавый кусок жести к другому, он, после долгой паузы, заговорил снова:

— Так на чем же мы остановились? Ах да, вспомнил! Сидим мы, значит, в окопах. На душе кошки скребут. Уже не шутим, не смеемся, каждый занят своей грустной думой. Вдруг слышу — вызывают ефрейтора Спивака в штаб. Прибегаю. Козыряю, как полагается: мол, по вашему приказанию ефрейтор Шая Спивак явился. Посмотрели на меня, на мой потрепанный мундир, скривились. Велели немедленно привести себя в божеский вид и вручили секретный пакет: «Вот эту штуковину, ефрейтор, ты должен немедленно доставить в полк, начальству». Спрятал я пакет за пазуху и пошел с божьей помощью грязь месить. Штаб полка стоял где-то в городе, за железной дорогой. Долго петлял, бродил по темным улочкам.

А дождь хлещет и хлещет, я уже промок весь, пока нашел этот штаб. Сдал пакет и двинулся было обратно в свой рай. А тут мне в голову стукнуло: эх, была не была! Зайду-ка я на станцию, погляжу, что там делается. А то приду, ребята пристанут с расспросами, а что я им скажу? Свернул я на станцию.

Хоть здесь и не стреляют, но все не лучше, чем там, у нас. Куда ни глянешь, беженцы, раненые, нищие, бесприютные дети — грязные, голодные. Детишки плачут, матери проклинают все на свете. Посмотрел я эту картину, и сердце защемило. Вышел на перрон. Иду не спеша, по сторонам оглядываюсь. Паровозы гудят, возле вагонов толпы народу. Все куда-то спешат, толкаются. Светопреставление!

Иду дальше. Вдруг вижу — далеко от станции, в тупике, стоит поезд. Не поезд — красота! Куколка! А вагоны, сроду таких не видал! В таких вагонах самому царю разъезжать. Подошел ближе. В первом вагоне особенно светло, весело, музыка играет, и внутри, вижу, пьют, танцуют, будто никакой войны на свете нет. Кто же это, думаю, здесь? Подхожу тихонько к вагону, а на нем — табличка, и на табличке той золотыми буквами написано: «Поезд его императорского величества. Солдатам и прочим входить воспрещается...» Знай, мол, свинья, свое корыто!.. Стою возле этой таблички, и зло меня берет. Слыхали такое: «Солдатам и прочим не входить»?.. Мы на войне кровь проливаем, гибнем, как мухи, и вот тебе благодарность за все твои страдания! Такая меня досада взяла, что не сдержался, сорвал табличку. И решил: ничего, хоть бы сам царь тут сидел, я все равно зайду к нему и спрошу, скоро ли кончится эта проклятая война.

Недолго думая, вскочил я на подножку вагона, рванул дверь на себя, а меня, чувствую, уже кто-то схватил за шиворот и хочет столкнуть вниз. Оглядываюсь — какой-то чубатый казачина с красной рожей, пьяный, еле на ногах держится, орет на меня, брызжет слюной и ругается такими неприличными словами, что мне, голубушки соседки, неудобно даже повторить их вслух. В общем, ругается так, что наш балагула Хацкель против него мальчишка и щенок! Что же мне делать? Ну, стал я ему втолковывать, объяснять, что я тот самый ефрейтор, который генерала взял в плен, что имею «георгия», три ранения, не говоря уже о контузиях и отравлении газами. А он мне на это: «Брось! Прекратить! Не пущать! У нашего царя-императора на позициях несколько миллионов таких бродяг, как ты. Что ж, ему больше делать нечего, как пускать вас к себе в вагон, чтобы вы ему всякую заразу да вшей притащили? Слазь, сказано! Слазь!»

На шум выбежал еще какой-то не то прапорщик, не то штабс-капитан. Узнав, в чем дело, посмотрел на меня и махнул рукой: мол, ладно, пущай бедный солдатик зайдет, погрееется. Выкинуть его из вагона мы всегда успеем...

Добравшись до того места, как он попал в царский вагон, Шмая-разбойник несколько растерялся, чувствуя, что уже заврался. Тут бы какая-нибудь из женщин остановила его: не туда, брат, заехал, — или скептически пожала плечами, усмехнулась бы. Да где там! Поверили, черти!

Разинув рты, слушали, пожирая кровельщика глазами. Ничего не поделаешь, нужно держаться до конца. Все равно ведь не отстанут и работать не дадут. И, словно пускаясь в дальнее плавание без компаса, без руля и без ветрил, отвернувшись, чтоб не видели его усмешки, Шмая повел рассказ дальше — как раз в это время фантазия его разыгралась вовсю.

— Да, и вот я, значит, вхожу в вагон. Со всех сторон на меня удивленно смотрят: откуда это взялся здесь солдат в рваных башмаках и куцой шинельке, обтрепанных обмотках? Что это за чучело в вагоне его императорского величества? Министры и подминистры, консулы, господа исправники, генералы и прочие всякие шишки таращат на меня глаза, но не смеют худого слова сказать. А я оглядываюсь по сторонам. Батюшки мои, что тут делается! Шмая-разбойник попал прямо в рай! Только ангелов еще не видно... Все вокруг блестит, сверкает золотом и бриллиантами. Персидские ковры набросаны всюду, как старые шинели

и опорки в цейхгаузе. На столах не коптилки чадят, а керосиновые лампы с фитилями горят. Столы ломятся от всякой снеди. А вино и водка льются ручьем. Знаете, у меня даже что-то внутри похолодело. Мурашки по всему телу поползли. «Дурень,— думаю про себя,— куда это тебя занесла нечистая сила? О чем ты, несчастный солдатишко, будешь толковать с этими важными министрами и губернаторами, с этими полуголыми красавицами, с ног до головы увешанными бриллиантами? Разве они поймут тебя? Ведь издавна известно, что сытый голодного не разумеет».

Я уже пожалел, что приперся сюда. А тут еще замечаю, что вся эта компания, хоть уже еле на ногах держится, снова рассаживается за столом, который ломится от жратвы. Пьют, гуляют, обнимают красавиц, поют похабные песенки — даже наши солдаты постеснялись бы такие петь.

Стою я в сторонке, облизываю сухие губы и смотрю на стол. Чего там только нет! Шампанское, зельтерская вода, квас, а на закуску служанки подают что только душе угодно: сало с чесноком, кисель, воблу, печеную картошку, пшеничную кашу — и с молоком и без молока, пороссячий ножки, жирный суп перловый с двойной порцией мяса, гречневую кашу, — ну, всего, конечно, не перечтешь. И паек этот выдается им бесплатно, без копейки денег! И музыка играет. А кто из братии на ногах держится, тот танцует, ногами разные кренделя выделяет...

— Кто такой будешь, солдатик? — подходит вдруг ко мне толстяк с козлиной бородкой и красным носом — видать, министр или губернатор, — сует мне в руки стакан спирта и кричит:

— Выпей, дурак, за нашего царя-батюшку и отечество!

Недолго думая, взял я стакан, посмотрел на красную рожу министра и выпил одним духом. Потом схватил со стола кусок хлеба и головку чеснока, закусываю. А вокруг меня уже собирается царская свита. Крупные, видать, воротилы. Смотрят на меня, расспрашивают, кто я такой, какого полка, какого батальона, за что «георгия» получил, как живется там, в окопах... Ну, я, конечно, выкладываю все, что на душе накопилось. Рассказываю, как солдаты на позиции страдают, как народ бедствует и голодает, обо всем рассказываю, не стеснясь...

Тут толстяк подsunул мне стакан крепкой самогонки.

— Не рассуждать! — гаркнул он и вытаращил на меня свои бараньи глаза. — Пей, дурак, и думай поменьше!.. Теперь такая каша в России заваривается, что сам черт не

разберет. Выпей, дурак, за царя-батюшку и за дорогого нашего Гришку Распутина...

— Нет,— говорю,— вашесокопревосходительство, за Гришку Распутина пусть царица пьет и другие его полюбовницы... Я лучше выпью за моих братишек солдат, которые в окопах пропадают...

Ну, выпил снова и взял себе котелок гречневой каши. Рубаю на чем свет стоит. Потом потихоньку выбрался из этой толчеи, пошел по вагону. Открываю боковую дверь и вижу — кого вы, бабы, думаете, я вижу? Вижу, конечно, не царя, не царицу, а Татьяну... Татьяну Николаевну, царевну! Ну, царскую дочку... Тоже, думаю, неплохо. Присматриваюсь к ней. Одета она, как сама царица, только на голове — белая косынка с красным крестом посередине, как у сестры милосердия. Это она, оказывается, приехала на фронт с целой оравой бездельников раненым солдатам помогать. Вот и помогает, значит, лечит. Чтoб ее так на том свете лечили!

Смотрю на нее, на царевну, и думаю: «Ну, Шмая, с этой шлюхой и ее свитой тебе сегодня о серьезных делах поговорить не придется». Но тут, дорогие мои соседюшки, подняла на меня Татьяна глаза и поманила пальцем:

— Подойди-ка сюда, солдатик, ближе подойди. Не бойся, я не кусаюсь... Кто такой будешь?..— спрашивает она и протягивает мне пригоршню жареных семечек.

Отрапортовал я, кто такой, какого полка, какого батальона, какой роты, фамилию назвал.

А она поднялась из-за стола и аж просияла вся:

— А ты, милый, случайно, не тот, о ком в газетах писали? Не ты ли взял в плен немецкого генерала?..

— Так точно, я! — отвечаю. — Только не я один, один не справился бы с таким пузаном. Вместе с ребятами из нашей роты взял его...

— Вот оно что! Молодец солдатик! В таком разе присаживайся возле меня к столу, пей и закусывай, чем бог послал. Один раз на свете живем! Гуляй, коль ты такой молодец! — говорит она и глазки строит.

Я человек простой, не даю себя долго просить. Выпил две кружки шампанского, запил квасом, достал кусок вяленой воблы, взял себе холодца, куриную ножку ухватил, и сразу веселее на душе стало. А царевна тоже опорожнила добрую кружечку самогонки и еще больше повеселела. Придвинулась ко мне, целоваться лезет. А я потихоньку отодвинулся и прошу эту самую Татьяну Николаевну на-

лить мне кружку кипятку и приказать своим полюбовникам выдать мне двойную порцию сахарку, пачку махорки и моргаю ей глазом, чтобы хахали ее убрались отсюда и оставили нас с ней наедине: мол, есть серьезный государственный разговор.

Царевна топнула ногой, бездельники убрались, и остались мы с ней вдвоем в купе.

— Что скажешь, солдатик? — спрашивает она.

— Скажи-ка мне, птичка божья, что это все значит? — говорю я Татьяне. — Твоего милого папашу колошматят на всех фронтах, от его империи скоро рожки да ножки останутся, а ты, красавица моя, гуляешь, тебе весело...

Задумалась барышня, будто сказать хочет: «Простой солдат, а поди ж ты, понимает, что к чему. Дело говорит...»

— Молчишь, Татьяна?.. Не знаешь ты, как люди бедствуют. Посадить бы тебя, папашу твоего и мамашу хоть на один день и на одну ночь в наши окопы, быстро начали бы соображать... Стали бы думать, как люди, и покончили бы с войной...

— Нельзя быть грубияном, солдатик, — надулась Татьяна, как индюшка, — неприлично так с царевной разговаривать. Неприлично!..

Ишь ты, какая важная! Слова ей нельзя сказать!

— Скажи-ка, Татьяна Николаевна, — снова говорю я, — что он там, на своем престоле, думает, его императорское величество? Или отшибло у него мозги? Долго ли еще война протянется? Ведь скоро солдаты поднимутся, а тогда от вас и трухи не останется...

Тут Татьяна и спрашивает меня:

— А что ты посоветуешь, что?

— Я вам не советчик, — говорю, — а только папаше своему передай, что долго он на престоле не удержится. Полетит, как пить дать...

Татьяна скривилась. Не понравились ей, видно, мои слова.

— Разве тебе не известно, солдатик, что государь император, папаша мой, упрям как осел? Меня он все равно не послушает, если я ему что скажу. Лучше бы тебе самому к нему во дворец поехать. Там все ему и выложить...

Я немного испугался — страшновато ведь ехать к царю да вести с ним такие разговоры. Чего доброго, не понравятся ему мои слова, топнет он ногой, вызовет полицию, загонят меня в кутузку — и все тут! Но если сказал «а», нужно сказать «б».

— Согласен! — выпалил я. — Могу поехать с тобой во дворец, к милому твоему папаше. Скажу ему все, что солдаты в окопах о нем и всей его братии думают. Я не постесняюсь...

— Что ж, — говорит Татьяна, — коль на то пошло, солдатик, то располагайся здесь, сейчас поедем...

Не буду вас долго мучить, дорогие мои солдатики. Одним словом, скоро паровоз загудел, колеса застучали, и мы поехали.

Сбрасываю башмаки, снимаю шинельку и лезу на третью полку. Железная печурка топится в вагоне, тепло тут, как в бане. Двое казачков подбрасывают в печку уголек, дровишки, а я лежу себе, как барин. Шинельку под бок подостлал, башмаки под голову положил, чтобы не утащили, а портянки на трубе развесил — пусть сушатся.

Поезд летит, будто сам дьявол его подгоняет, колеса стучат, а Татьяна каждый раз покрикивает своей свите: «Тихо, солдатик спит!» Заснул я, конечно, храплю на весь вагон, и никто мне не смеет плохого слова сказать. Вы себе представляете, если б я так храпел в землянке, сколько солдатских сапог в меня уже полетело б!.. А тут спокойно! Все-таки в царском поезде еду!

Прошел день, другой. Никто меня не будит. Только кашевар иногда слегка тормозит, когда котелок каши и кипяток приносит.

Потом наш поезд въехал в какой-то сад или лес, уже не помню точно, куда он въехал. Я выглянул в окно вагона. Кругом красивые деревья, кусты, цветы, реки и озера, а посредине — царский дворец. Ну что вам сказать? Разве передашь словами эту красоту? Матушка родная, куда меня привезли! Поклясться готов, что в таком саду праmaterь Ева соблазнила праотца Адама...

Слез я с третьей полки, начал искать свою обувку, портянки, а на перроне уже музыка играет: нас встречают.

Взяла меня Татьяна под ручку и ведет. Смотрю, а навстречу бежит Гришка Распутин, в рясе с крестом. Здоровенный, как дуб, и весь длинный — волосы длинные, руки длинные, ноги длинные... Не приведи бог встретиться с таким в лесу! Взглянул на него, и сердце у меня оборвалось. Вот предо мной настоящий разбойник с большой дороги!

Бог ты мой, думаю, и это страшилище командует империей?! Водит всех за нос...

Татьяна заметила, что я немного растерялся с непривычки встречаться с царями, царицами и придворными,

и повела к папаше и мамаше, которые, как истуканы, стояли на лужайке.

Взглянул на меня царь, протянул руку и сказал:

— Ну-с, солдатик, что там нового на фронте слышать?

— Плохо там,— говорю,— царь-батюшка, совсем плохо!.. Кажется, империя твоя уже трещит по всем швам...

Царь, конечно, немного поморщился, пощипал свои рыжие усы и говорит:

— Брось шутить, солдатик! Коли приехал в царский дворец, то веди себя, как человек, а не как биндюжник, не то я тебя на гауптвахту или в штрафную роту могу отправить, хоть ты у меня и гость...

Стало мне немного страшновато. Это вам все-таки царь-император, а не хвост собачий! Рассердится он и в бараний рог тебя согнет...

Шмая так далеко зашел в своей фантазии, что сам уже не знал, как выйти из положения и чем закончить эту удивительную историю. Но, как говорится, нет худа без добра. Он и не заметил, что в сенях с ехидной улыбкой на тонких губах стоит балагула Хацкель и сочувственно смотрит на женщин, замороженных рассказом кровельщика. Возможно, Хацкель дослушал бы до конца всю историю, но, заметив, что в небе появились облака, предвещавшие дождь, выбежал из сеней и заголосил:

— Ну что ж это такое, люди добрые? Будет ли конец этому? С царем и империей ты, разбойник, быстро справился, а вот с крышей моей никак не разделаешься!.. Может, на сегодня уже хватит басни рассказывать? Разве не видишь, что замучил уже бедных женщин своими дурацкими выдумками? Пожалей их! Вот ведь несчастье на мою голову!.. Эдак, милый мой, до зимы крышу мою не залагаешь... Э-э, бабоньки, побойтесь бога, имейте совесть, ступайте по домам! У вас там в печах, верно, уже молоко ушло, котлеты подгорели... Пора кончать собрание! Хватит на сегодня! Оставьте немного на завтра...

И, подойдя к кровельщику, Хацкель уже мягче проговорил:

— Ради бога, ради всех святых, прошу тебя, сосед, возьмишь веселее за дело. Ведь все знают, что стоит тебе только захотеть, работа будет гореть у тебя под руками. Золотые руки у тебя! А ты, разбойник, режешь меня без ножа...

Женщины стали расходиться, в душе проклиная балагула, прервавшего рассказ Шмаи на самом интересном

месте. Но что поделаешь, придется потерпеть, обождать до завтра...

Наш кровельщик работал молча, не глядя на хозяина, который стоял внизу, сложив руки на груди, и сверлил его пристальным взглядом.

Досада все больше разбирала Шмаю-разбойника. Когда его называли разбойником шутики ради, он ничуть не обижался. Но называть его так в сердцах, со злобой, это уж ни на что не похоже! За это наш кровельщик может так отчитать, что другим неповадно будет.

Хацкель все еще стоял внизу. Он заметил, что Шмая сердится, и пытался наладить разговор с кровельщиком. Но тот даже не глядел в его сторону и молчал.

Должно быть, такое случилось впервые за последние годы — чтобы человек заговаривал с ним, а Шмая молчал, словно воды в рот набрал.

Глава третья

ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ

Если бы в ту минуту нашлось у нашего кровельщика несколько керенок в кармане, швырнул бы он, недолго думая, эти бумажки в лицо балагуле: «На, Хацкель, подавись своим задатком, и я тебя больше знать не знаю! Низкий ты человек!»

Кто красив, а уж наши раковские бабы умны! Это они сказали: «Никогда не следует иметь дело с низким человеком. Низкий человек никогда не простит тебе, что ты на несколько вершков выше его...»

Мудро сказано! Лучше не придумашь!

В самом деле, что за нравы: какое твое собачье дело, что мне иногда хочется с людьми поболтать? И можно ли при всем честном народе так позорить человека?

Возьмем, к примеру, портного. Когда он шьет штаны или пиджак чинит, он любит напевать себе под нос грустную песенку, сапожник, латая чьи-нибудь опорки, насвистывает, извозчик, въезжая на крутую гору, честит своих конячек так, что пассажиры краснеют. Почему же, скажите на милость, ему, кровельщику, нельзя душу отвести, потолковать с людьми? Ведь так уже повелось на свете испокон веков! А тут появляется балагула Хацкель и хочет завести свои порядки!..

Новый распорядитель! Новый указчик явился, чтоб тебе пусто было, грубиян!

Шмая сидел на крыше и молча работал. Внизу уже никого не было, если не считать Хацкеля, который восседал на бревне и дымил трубкой. Работа у Шмаи не спорилась. Инструмент валялся из рук, человек готов был сам себя съесть. Подумать только, такой позор! И за что, про что?

Хацкелю тоже не по себе. Он жалеет, что обидел человека, подходит ближе, достает свою прокуренную трубку, снова набивает ее табаком.

— Эй, крепко сердисься на меня, Шмая? — посмеиваясь в длинные рыжеватые гусарские усы, спрашивает балагула.

— Провались ты к чертовой бабушке!..

— Может, слезешь на минутку с крыши? Посидим, покурим...

— Сатана пускай с тобой курит! Спасибо тебе за ласку, Хацкель! Хороший ты человек, только жаль, бог смерти не дает...

— Ты что же, брат, серьезно сердисься и считаешь, что прав?

— Нет, ты прав!.. Только отстань от меня. Не могу смотреть на твою рыжую морду, тошнит меня...

— Что ж, Шмая, пусть будет по-твоему. Но ты напрасно обижаешься. Я тебе зла не желаю... Уважаю тебя.

— Спасибо на добром слове, только отвяжись! — махнул рукой кровельщик.

— Не хочешь, значит, слезть на минутку? — ехидно подмигнул Хацкель. — Ну, сиди себе на крыше, а я сам как-нибудь справлюсь...

Он достал из кармана бутылку водки и кусок колбасы

— Один выпью за твое здоровье... — продолжал балагула. — Но послушай мой добрый совет. Ты сегодня, кажется мне, еще маковой росинки во рту не имел, а наговорить уже успел с три короба. Ну слезай, хватит тебе важничать! Хоть ты и ефрейтор, и три железяки у тебя на груди, а только ничего с тобой не сделается, если ты выпьешь с простым балагулой...

Против такого соблазна Шмая-разбойник устоять не мог. Вытер грязные руки о штаны, слез с крыши и присел рядом с Хацкелем на бревно.

Балагула со знанием дела ударил ладонью по дну бутылки, пробка вмиг вылетела, и крепкая жидкость вспени-

лась, забурлила. Хацкель весь просиял и отмерил большим пальцем половину:

— Ну, будем здоровы! Лехайм!¹ — важно проговорил Хацкель и приложился к бутылке. Отпив ровно половину, понюхав и откусив кусок сухой колбасы, он добавил: — Эх, хороша, чертяка! И как люди жили бы без этой святой водички?..

— Что ж, — неторопливо сказал Шмая, глядя на бутылку, — конечно, штука неплохая... Ладно, будем здоровы, и пусть уж на нашу землю придет порядок и настанет справедливость, чтобы простому человеку спокойно жилось на свете... Лехайм!

Он медленно, с толком выпил остаток и быстро закусил. Скоро глаза его загорелись веселыми искорками и, поправив на голове фуражку, он оживленно заговорил:

— Знаешь, что я тебе скажу, Хацкель? Цари — это большие паршивцы, чтоб их всех из могил выкинуло! Но кто-то из них все же умную вещь придумал: сороковку. Кажется, это работа нашего Николки?

— Дурень! Куда ему до такого додуматься? Сороковку, слышал я, придумали не то древние греки, не то древние евреи, когда выбирались из египетской неволи. Чтоб веселее им было идти по пустыне...

— Да уж кто б ни придумал, а напиток неплох. Жаль только, что мало... — сказал Шмая. — А что касается того, кто придумал напиток, то я с тобой не согласен... Если мне память не изменяет, то в священном писании сказано, что за шесть дней бог создал небо и землю, Адама и Еву и — вдобавок — эту самую сороковку, чтоб им приятнее было разгуливать в райских кущах...

— Мы с тобой, разбойник, разбираемся в этих делах, как баран в аптеке... Но что касается истории, то я больше тебя кумекаю... Хотя гимназий я не проходил, но все понимаю. Я вечно в пути. Сажу на козлах, смотрю на мир божий с высоты своего облучка и вижу все, что делается вокруг...

— А я сажу еще выше! На крышах сажу и вижу еще дальше, чем ты...

— Может быть, это и так, но я разных пассажиров по свету вожу. Часто попадаются такие, как ты, которые много повидали на своем веку, покалякать любят, вот и рассказывают мне... А я все мотаю себе на ус и знаю больше

¹ Л е х а й м ! — На здоровье! (Евр.)

профессоров разных и даже больше, чем наш аптекарь... Только не люблю даром языком молоть. Не думай, что я ничего не знаю...

— Что же ты знаешь, Хацкель?

— Все знаю!.. Знаю, что скоро порядок у нас будет... Возил я одного доктора в Жашков, и он мне всю дорогу про Керенского говорил, про этого теперешнего главного...

— Тоже мне шишка! Пустозвон и только... — махнул рукой Шмая. — О Керенском и говорить не стоит... Он удержится наверху, сколько сорока на крыше... Что, не видно разве, куда он гнет? А деньги выпустил, эти самые керенки — курам на смех... За мешок керенок буханки хлеба на базаре не купишь... Какие деньги — такой и правитель... Приезжал к нам на фронт. Языком только болтает... Солдаты его чуть на штыки не подняли. Его счастье, что бог ему дал длинные ноги и они его быстро унесли...

Шмая немного помолчал, потом заметил:

— Ты, кажется, про доктора хотел сказать...

— На кой бес мне тот доктор! — оборвал его Хацкель. — Нужен он мне, как моим кобылам очки!..

— А все-таки что же тебе рассказал этот доктор?

— Многое... Вез это я его в Жашков, к роженице, никак, бедная, не могла разродиться... Всю дорогу мне голову морочил, про политику да про Керенского толковал...

— Когда доктора начинают вмешиваться в политику, то дела уже совсем плохи... Лучше бы они людей лечили...

— А почему ты так о докторам говоришь? Приличный был человек... Хорошо мне заплатил... Я к нему ничего не имею...

— Я врачей не очень-то уважаю... — отозвался Шмая. — Попался мне на войне один доктор, чтоб он скис! Чуть меня на тот свет не отправил... Не везло мне с докторами... В лазарете один был, в очках, и все путал. У тебя живот болит, а он велит пиявки ставить, голова у тебя трещит, а он — клизму! Хохоту было, когда он лечил наших солдат! Но хуже всего то, что трусом был и каждой паршивой пуле кланялся. Залезет в землянку, и ты его оттуда не вытащишь. А чтобы подойти ближе к позициям, упаси бог!..

Хацкель понял, что у соседа назревает новая история, и перебил его:

— Так ты что же, противник врачей?

— Нет, почему же? Врач на войне — очень нужная особа. Без него никак не обойтись... Но, если хочешь, могу тебе рассказать про нашего доктора...

Шмая растянулся на земле возле бревна и, заложив руки за голову, неторопливо начал рассказ о незадачливом враге, который чуть было не отправил его на тот свет...

Если бы нашему кровельщику теперь насыпали полные карманы золота, это не доставило бы ему столько удовольствия, сколько то, что рядом с ним вытянулся на брюхе балагула Хацкель и, подперев кулаком голову, приготовился его слушать.

— Было это, как сегодня помню, во время одного жаркого боя. Летний знойный день. Солнце уже стало садиться, собиралось на отдых. Три раза шли мы в стыки. Надо было захватить высоту... Ты, Хацкель, хоть и был на фронте, но служил, кажется, в обозе?.. Стало быть, не пришлось тебе узнать, что такое штыковая атака...

Хацкель насупил густые рыжеватые брови:

— А если в обозе, так, думаешь, мало горя хлебнул? Мне в обозе еще труднее было, чем тебе в пехоте! В пехоте тоже, конечно, несладко, но в пехоте — что? Ты себе знаешь винтовку, лопатку, скатку, котелок, и дело с концом. А у меня винтовка, скатка, котелок и все другие причиндалы, а к тому еще пара лошадей с подводой. Ты, брат, после атаки мог поесть и завалиться спать, а мне еще приходилось чистить, кормить и поить лошадей да колеса смазывать, ибо старая мудрость гласит: не помажешь — не поедешь... Ты, Шмая, зарылся в окоп — и готово, а я должен был вырыть окопчик для себя, чтоб дурацкая пуля меня не зацепила, да еще яму для лошадей, чтоб они не торчали на виду у немца... А то останешься с одним кнутом... Вот и посчитай, у кого было больше хлопот на войне. А кроме того, ночью подстелишь ты себе под бочок соломки, шинельку и дрыхнешь, как у бога за пазухой, спишь в обнимку со своей винтовкой, а мне в это время нужно ехать на станцию, в цейхгауз за патронами, снарядами, возить в лазареты раненых... Так что не задавайся...

— Да я, Хацкель, ничего такого не сказал... Всем нам на войне было несладко. Я о другом... А что касается службы, то заспорили как-то пехотинец с обозником. Где, мол, лучше служить? Пехотинец сказал: «Конечно, лучше служить в пехоте...» А обозник: «Нет, в обозе». Пехотинец ему: «Нет, лучше служить в пехоте», — и горько заплакал...

Оба рассмеялись. Шмая-разбойник лег поудобнее и сказал:

— Так слушай внимательно... Случилось это после атаки. Все поле завалено убитыми, ранеными. И я в этой ком-

пании лежу, обливаюсь кровью,— плечо осколком пробито, нога ранена. Руки ослабели, винтовка упала на землю. Чувствую, силы совсем покидают меня. А рядом лежат другие солдаты: одни уже рассчитались с этим миром и готовятся в рай, а другие еще мучаются, ждут — может, придет спасение.

Тут стали убирать с поля боя раненых и убитых. Лежу это я, оглядываюсь по сторонам: авось доживу, пока явится доктор с санитарями. И вдруг вижу, бежит наш спаситель, или помощник смерти, как мы его прозвали. В белом халате с красным крестом. За ним — несколько санитаров с носилками и большими сумками. Долговязый, неуклюжий, он носится по полю, как нечистая сила, будто сама смерть его гонит. Остановится возле лежащего, на ходу пощупает пульс и бежит дальше, как ошпаренный. Увидев, что ты еще не отдал богу душу, доктор кивает санитарам, те кладут тебя на носилки и тащат к подводам. А ежели видит, что готов, пишет мелом у тебя на груди большой крест: царю-батюшке ты, стало быть, уже не надобен, освобождают тебя подчистую, выслужились...

Открыл я глаза, смотрю на небо — солнце уже скрылось, только оставило красный кровавый след, будто и там, на небе, солдаты свою кровь пролили... Рядом шумит трава, и хоть здорово мы ее потоптали сапожищами и потом своим полили, а все же приятно дышать запахом земли, трав... Только бы в живых остаться, думаю,— хоть без ноги, без руки... Только бы вернуться домой, увидеть жинку, детишек!.. А чувствую, силам моим конец приходит. Кричать, звать доктора, чтобы скорее подошел, не могу — раны горят огнем. Лежу, согнутый в три погибели, доктора жду. И вот с божьей помощью дождался. Подбежал ко мне долговязый, схватил меня за руку, а сам уже дальше глядит, на соседа моего. Где-то раздался выстрел, доктор вздрогнул, выхватил из кармана кусок мела и нарисовал у меня на груди, на гимнастерке, значит, крест, да еще какой! И помчался дальше. Со мной он уже покончил... Списал в расход...

— Эй, доктор, куда вы? Что это вы мне нарисовали? — кричу ему вслед.— Я живой!..

Доктор остановился, испуганно взглянул на меня и рассердился:

— Что ты, дурак, больше доктора понимаешь?..

Вот и жди теперь, покуда выроют могилку и поминальную прочтут...

На счастье, неподалеку санитар был. Подошел ко мне,

дал что-то понюхать, стер с меня крест, перевязку сделал и отвез в лазарет. Вот, брат, какие доктора попадаются...

Хацкель, все время внимательно слушавший Шмая-разбойника, поднялся с места, удивленно уставился на него.

— Чего ж ты до сих пор молчал, разбойник? — повеселел он. — Выходит, ты воскрес из мертвых!

— Вроде бы так... — отозвался Шмая, не понимая, чему так обрадовался сосед.

— Стало быть, с тебя магарыч полагается!

— Вообще-то, конечно... Но не время...

— Хоть полбутылки поставь за твоё счастье!

— У меня ни гроша за душой...

— Не беда! Я сам куплю, — не растерялся балагула. — Вот закончишь крышу, тебе будет ещё кое-что причитаться... Тогда и рассчитаемся. Возьму бутылочку...

Шмая-разбойник и слова не успел проронить, как Хацкель уже бежал в лавчонку. Через несколько минут он вернулся, нагруженный водкой, колбасой, калачом...

— За твой счет, Шмая, в счет крыши...

По правде сказать, кровельщик был ошарашен. Знал бы, что все это кончится таким непредвиденным расходом, не стал бы ничего рассказывать. «Бог ты мой, — думал Шмая, — если каждая история, которую я буду рассказывать, обойдется в бутылку водки, булку и колбасу, никаких заработков не хватит». Но Хацкель уже отмерял пальцем половину содержимого бутылки и желал кровельщику, чтоб эта бутылка была не последней, и чтобы все были живыми-здоровы, и чтобы легче стало жить на свете...

Выпив, балагула крикнул, вытер рукавом губы и передал сороковку соседу, сказав при этом:

— Пей на здоровье, Шмая-разбойник, раз ты воскрес из мертвых! И кстати, давай расцелуемся, чтобы мы с тобой всегда жили в дружбе... Все-таки оба вернулись с такой страшной войны... Давай дружить, а то в мире черт знает что творится. Сумасшедший дом какой-то... Кто знает, что нас ждет впереди... Вместе, говорят, даже батьку бить легче...

— Вот это золотые слова, Хацкель! Наконец-то ты заговорил как человек! А я, грешным делом, уже думал, что совесть свою ты растерял на дорогах, когда с пассажиров дерешь три шкуры... В самом деле, кто знает, что принесет нам завтрашний день и что нам готовят эти керенские, мялюковы, корниловы и прочая мерзость... Давай дружить, держаться ближе друг к другу...

Тронутый сердечными речами балагулы, Шмая залпом опорожнил бутылку.

Они еще посидели, поговорили, и Шмая, поднявшись, почувствовал, что земля у него под ногами начинает колебаться. Тогда он попрощался с соседом, собрал свой инструмент, пообещав завтра закончить работу, и неторопливо направился домой.

Черные глаза его блестели, солдатская фуражка съехала набекрень, а вылинявшая гимнастерка была расстегнута. Ведро с инструментом, которое кровельщик волочил по булыжнику, громко тарахтело, будоража заснувшие улочки и людей, которые теперь жили в постоянной тревоге и страхе.

Была уже ночь. Мрачное небо раскинулось над местечком. Ни луны, ни звезд. Впрочем, наш Шмая-разбойник теперь ничего не замечал по той простой причине, что он даже не мог попасть на дорогу, которая привела бы его к родному дому. Как он ни старался обнаружить свое жилище, это ему не удавалось, и дорога вывела его на другой край местечка, к старому кладбищу. Он долго блуждал по безлюдным улочкам. Нигде ни огонька, хоть глаз выколи.

В округе появились банды. Убивают, грабят, устраивают налеты. Твердой власти пока нет и в помине. Люди в тревоге. Все чего-то ждут, а чего — сами не знают. Правда, собираются в домах группками рабочие парни — сапожники, портные, бондари, о чем-то шепчутся, но все держат в секрете. Тайком сносят оружие, в кузнях куют кинжалы, шашки. А к чему все это, кто его знает!

И должно же было так случиться, чтобы такое красивое местечко, где столько добрых, работающих, веселых и жизнерадостных людей, стояло в стороне от большого города, больших дорог, где все нынче кипит, как в котле, все пошло вверх дном...

А все-таки трудно жить здесь, тревожнее, чем в больших городах, где ночи, кажется, не тянутся так долго, как тут...

И в такую ночь шагает Шмая-разбойник по уснувшему местечку, притихшему, настороженному, охваченному страхом перед наступающим днем.

Он уже несколько раз прошел мимо своего дома, но не узнал его и пошел дальше, негромко напевая запомнившуюся ему с войны солдатскую грустную песенку о бравом казаке и славной девчине. Он осматривается по сторонам,

будто в чужой край попал, и начинает напевать громче. На сей раз уже не песенку о казаке и милой девчине, а другую:

Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поет!
Эх, раз, эх, два,— горе не беда!
Канареечка жалобно поет!

Но что это такое? Кажется, еще кто-то поет эту песню? Или ему только послышалось? Нет, в самом деле, кто-то поет, да еще как! И разбойник обрадовался, узнав в певце нового друга. Балагула стоял на пороге своего домика в нижнем белье и, смеясь, подпевал:

Эх, раз, эх, два,— горе не беда!
Канареечка жалобно поет!

Шмая-разбойник покачал головой:

— Вот какая неразбериха!.. Сколько хожу, а все на одно место возвращаюсь... Выходит, правду ученые люди говорят, будто земля наша круглая, как шар... Раньше я не верил...

— А я уже успел выспаться...— рассмеялся балагула, беря соседа под руку и направляясь с ним к его улочке, которая находилась совсем близко.— И сон мне приснился, будто длинноногий врач малюет у тебя на груди крест... Ну, как это ты пел: «Соловей, соловей, пташечка...»

Разбитый, с тупой болью в висках, Шмая только поздно ночью попал к себе домой. Он без шума поставил ведро с инструментом возле печи, снял гимнастерку, запыленные солдатские сапоги и повалился на деревянный топчан. В голове вертелась песня о казаке, который, уходя на войну, распрощался с черноокой девчиной, подарившей ему вышитый платочек. Кости казака гниют где-то в поле под тополем, а девчина осталась на белом свете одна-одинешенька...

В доме с закрытыми ставнями и непогашенной коптилкой, чадившей всю ночь, было душно. Двое малышей спали и видели сладкие сны, а Фаня, стройная, смуглолицая жена Шман, которая выглядит совсем невестой, подняла на него глаза, покрасневшие от бессонных ночей, проведенных за шитьем чужих платьев, и ни слова не сказала. Она хорошо знала своего мужа, хоть за годы войны и отвыкла от него. Когда он заходит в дом, не поздоровавшись,

не пошутив, и без ужина валится на топчан, она молчит и только изредка бросает на него удивленный взгляд.

И что она ему может теперь сказать? Ругать его? Скандалить?

Совсем недавно Шмая вернулся домой с такой страшной войны. Сколько пришлось перестрадать, пока она дожидала до этого счастливого дня! Сколько солдаток ей завидуют! Какими глазами они смотрят на нее, на ее мужа!..

Совсем недавно это было. Вернулся усталый, надломленный, израненный. На нем, кажется, живого места нет. Сколько осколков застряло в его теле! Он еще не привык к дому, к ней, к детям. Все ему здесь кажется непривычным, чужим. Он места себе не находит. По ночам кричит во сне: кого-то атакует, кого-то берет в плен, ругается с фельдфебелем, с поручиком, с кашеваром... Сам еще не знает, на каком он свете. Жизнь вышла из берегов, и он никак не войдет в колею. Бродит со своим инструментом по улицам, ищет работу, а работы мало. Страшная дороговизна. Жить тяжело. Поговаривают о новой войне. Тогда Шмаю снова могут забрать в солдаты. Лучше б не дожить до этого, думает Фаня. Неужели снова могут отнять его у нее? Неужели она опять должна будет стать солдаткой?! Ведь только поженились, как его погнали на войну. Так прошла молодость, а теперь... Дождалась! Добрый, ласковый, он вошел в дом, и, кажется, снова стало в каждом углу светло, будто сама жизнь, само счастье возвратились к ней. И она прощает ему все грешки, никогда не ругает его, не понукает.

Погруженная в свои думы, Фаня погасила коптилку и на цыпочках направилась к своей кровати. Она прошла мимо топчана, стараясь не задеть Шмаю. И вот она уже юркнула под одеяло, лежит на перине с открытыми глазами, прислушивается к его дыханию и видит, как вспыхивает и тут же гаснет огонек цигарки. Муж в двух шагах, муж, по которому она так истосковалась...

Ей хочется подняться, подбежать к нему, прижаться к волосатой груди, обнять, впиться губами в его пропахшие табаком губы и ласкать, как в те далекие дни, когда они только поженились и когда были так счастливы...

Почему он молчит? Не спросить ли его, что случилось, чем он удручен? Неужели новая беда надвигается на них?

Шмая молчит. Курит толстую цигарку, кутаясь в облака дыма, и о чем-то думает. О чем же?!

Шмая-разбойник чувствует, что хмель совсем выветрился из головы. Свежие мысли приходят, но невеселые они.

«...Больше трех лет таскал я винтовку, валялся в окопах, сто раз смерти в глаза глядел. В лазаретах меня всего искромсали, кое-как штопали мои раны и тут же хлопали по плечу: «Годеи!» — и я снова шел в огонь... Сколько горя хлебнул, сколько пережил, дня хорошего, кажется, за всю жизнь не видел... Но духом не падаю! Пройдут трудные времена. В Москве и Петрограде, говорят, власть берут в свои руки простые рабочие люди. Они в тюрьмах гнили, на царской каторге полжизни провели, на этих можно положиться. Они за правду, за справедливость горой стоят будут. Уж они постараются для трудящегося человека... И здесь, далеко от центра, тоже будет порядок...

Правда, на Украине, в Киеве, говорят, объявились какие-то батеньки. Новая каша, видно, заваривается, новая война затевается. И, как всегда перед войной, вылазят из своих нор всякие проходимцы, головорезы, шарлатаны.

Времечко, доложу я вам! Людей только жалко... Война и так уже, почитай, половину мужчин проглотила. Остались старики, дети, солдатки, калеки. В каждом втором доме местечка — вдова или солдатка. Ходят по городу девушки, любо на них поглядеть — хороши, как ясный день, добрые, душевные, ласковые, а женихов для них не найти: война отняла у них женихов. А тут и новые невесты подрастают...

Солдатки, как встретят меня, все допытываются:

— Ну как же, сосед, вернутся когда-нибудь наши кормильцы? Придет ли время, когда мы перестанем так мучиться?..

— Ого,— говорю им,— еще как вернутся! Так уж издавна ведется на свете божьем, что после грома, после грозы, тепло бывает. Уж недолго осталось людям страдать... А ваши муженьки уже едут домой... Сами должны понимать, что с поездами нынче трудно...

А про себя думаю, что, видно, придется снова за оружие браться, иначе добра не жди...»

Ночь плывет над землей. В доме тихонько тикают стенные часы-ходики. Погасла сигарка, и Шмая уже не дымит. Жена, затаив дыхание, смотрит на него, одновременно прислушиваясь к спокойному дыханию детей. Не холодно ли им? Не раскрылись ли маленькие озорники? Не сбросили ли с себя одеяло?

Она тихонько слезает с постели и направляется к их кровати, посматривая на топчан, где лежит, широко разбросав руки, Шмая.

Нет, ребята хорошо укрыты. Зря она сошла босыми ногами на холодный пол. Она чувствует, как все ее тело пронизывает холод, и сама не знает, почему замедляет шаг, поравнявшись с топчаном Шмаи.

Вдруг топчан заскрипел. Шмая повернулся, протянул к ней руки, обнял ее тонкую талию, привлек к себе.

— Что ты, родной! Не спишь еще? Поздно уже...

Она не успела договорить, как очутилась на топчане под колючей шинелью.

— Пусти!.. Как тебе не стыдно! Не надо... Ты пьяный!..— Она старается вырваться из его крепких объятий.— Пусти!.. Детей разбудишь...

Шепот замолкает. Два сердца усиленно бьются. Забыто все на свете — и годы разлуки, и горе, и нужда, голод, лишения, опасности. На какое-то время мир становится прекрасным. Тихо, мерно тикают на стене часы-ходики, отсчитывая минуту за минутой. И вот слышится взволнованный голос:

— Солдатка ты моя дорогая... Ну не смотри на меня так строго... Знаешь, все же молодцом был тот, кто вас, женщин, выдумал...

— Детей разбудишь... Молчи...

— Слушаюсь!..— улыбаясь, шепчет Шмая.— Твой приказ будет выполнен... Твои приказы мне приятнее слушать, чем приказы всех поручиков и фельдфебелей на земле...

И оба они молчат. И оба счастливы.

Глава четвертая

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ

Однажды поздней осенней ночью, когда дождь лил как из ведра, кожевник Лейбуш Бараш ни жив ни мертв прибежал к балагуле и забарабанил пальцем в окошко:

— Вставай, Хацкель, срочное дело!

Но так как балагула не очень любит, чтобы его будили среди ночи, он не торопился вставать, а мы тем временем познакомимся с неожиданным ночным гостем.

Это маленький, юркий человек с бесцветными водянистыми глазками, которые не бегают лишь тогда, когда спят.

На нем — потертый полушубок, стоптанные сапоги, фуражка набекрень, и когда бы вы его ни встретили, он всегда что-то жует на ходу. Ему некогда. Он вечно спешит, как бы боясь упустить нечто очень важное. При первом взгляде на него у вас невольно возникает мысль: а не следовало ли собрать для него милостыню?..

Лицо у него продолговатое, заостренное. А тош он не оттого, что ему, упаси бог, жить не на что, не от забот. Забота у него одна: «Вот загребу весь мир, чем же я тогда займусь?»

За скупость, жестокость и прочие добрые качества Лейбуша давно уже прозвали в местечке «шкуродером», что соответствует как его профессии, так и характеру.

Человек этот всегда имеет дело с кожей. А там, где кожа, там и седла, упряжь, сапоги, башмаки солдатские, конечно. И это его сближает с интендантством, а где интендантство, там и барыши, всякие темные делишки. Короче говоря, Лейбуш-шкуродер процветал именно тогда, когда шла война и сапог, башмаков, седел все не хватало...

Из всего сказанного ясно, что до этой дождливой ночи Лейбуш Бараш не имел никаких претензий ни к богу, ни к людям...

Дела он вел не один, а в компании со своим старшим сыном Залманом, который долго и безуспешно учился то в Одессе, то в Киеве. В конце концов отец понял, что сыночек лучше сумеет разобраться в коже, чем в более тонких материях, и оставил его дома, повесив новую вывеску: «Кожевенное дело оптом и в розницу Лейбуш Бараш и сын». Однако со студенческой курткой и фуражкой Залман не расставался, и богатые барышни-невесты просто млели при виде этой фуражки.

Кроме преуспевающего сына, у Лейбуша Бараша были еще две дочери, состарившиеся в отцовском доме в ожидании того, что отец, уладив дела с приданым, подберет им подходящих женихов...

Но мы, кажется, отвлеклись от главного...

Итак, Бараш стоял под дверью у балагулы, стоял под проливным дождем и терпеливо ждал. Ведь решалась его судьба. Она была сейчас в руках балагулы... Надо бежать. Каждая минута дорога...

Наконец он не выдержал.

— Эй, Хацкель, пошевеливайся! — сильнее забарабанил ночной гость в окошко, в то же время оглядываясь в сто-

рону чернеющего вдали леса, за которым подымалось злое-ещее зарево.

В сениях послышался сердитый голос балагулы:

— Ох ты, погибель на врагов моих, кто ж это спать мне не дает?

Он отворил дверь и, громко зевая, вытаращил заспанные глаза на шкуродера:

— Скажи, пожалуйста, какой важный гость!.. И в такую пору... Или свет вдруг перевернулся?.. Кажется, никогда ко мне не приходили, пан Лейбуш, да еще в такой поздний час... Что случилось?

— Не болтай глупости, рожа! — рассердился Бараш.

— Я спрашиваю, как это вы самолично соизволили прийти к простому балагуле? Чем я заслужил такую честь? Простите грубияна, но как вас теперь прикажете величать: господин, мосье, пан или реб Лейбуш? А может быть, уже товарищ? Давненько вас не встречал. Верно, нынче будете называться товарищ?.. У нас теперь тоже свобода... Ребята взяли власть в свои руки, ревком организовали... Как же вас все-таки величать?

— Называй, как хочешь, Хацкель, только накинь поскорее на себя свои лохмотья и запрягай лошадей. Поедем!

— Куда это поедем? Что вы говорите? В своем ли вы уме? К тому же, как мне известно, реб, мосье, пан, товарищ Лейбуш, у вас имеются свои лошади, свои кучера, — чего ж это вы ко мне пожаловали?

— Заплачу, сколько скажешь, только скорее запрягай! — перебил его ночной гость. — Мои кучера, гореть бы им на медленном огне, разбежались кто куда... Запрягай, дорогой, своих лошадок, поедем!

— Не понимаю! Ваши лошади стоят у помещика Карачевского в экономии. Пошли бы туда и взяли их...

— Чего ты мне голову морочишь, дубина? Полюбуйся, что у твоего Карачевского делается. Видишь? — Лейбуш кивнул в сторону зарева за лесом. — Видишь, голубчик мой? За Москвой да за Петроградом тянутся... В местечке какая-то боевая дружина из голодранцев объявилась и хочет тут верховодить... И ревком какой-то, холера его знает... Побежали вместе с мужиками помещика жечь...

Балагула почесал волосатую грудь и прижмурил глаза, глядя на далекое зарево:

— Интересно... Очень интересно... Стало быть, вы говорите, что наши ребята к этому тоже свою руку приложили? Что ж, надо бы и мне в экономию наведаться. Авось

я там свою рябую клячу обменяю... На переднюю ногу припадает... А Каштанка тоже ни к черту не годится...

— И ты туда же, болван? погоди, придет настоящая власть, разгонит вашу босую команду, всех этих нищих сапожников и портняжек, гром их разрази! Есть еще бог на свете, есть еще Сибирь, тюрьмы, каторга...

— Эх, пан Лейбуш, постыдились бы! За что вы простых людей проклинаете, грех на свою душу берете?.. Правда, если посчитать, сколько у вас грехов...

— Перестань меня учить, Хацкель!.. Только и ждал, чтобы меня какой-то балагула уму-разуму учил... Одевайся побыстрее! Отвезешь меня и семью в Каменку, к границе...

— Что такое? Кто же ездит в такое время, когда на дороге банды гуляют, могут убить, ограбить... Туда надо ехать поездом. Знаете, сколько верст до Каменки? Разве на моих клячах доберешься? Езжайте поездом...

— Совсем сдурел! Где теперь поезд найдешь? Даже мост взорвали твои дружки... Запрягай скорее лошадей...

— Легко сказать «запрягай». Мои лошадки уже давно забыли вкус овса, а колеса совсем...

— Боже милостивый! Что ты, изверг, со мной делаешь? Сам видишь, каждая минута для меня дорога... Мало, что заикаешься и время отнимаешь, так еще много болтаешь...— И, выхватив из бокового кармана пачку денег, Лейбуш сунул ее балагуле в руки.— Бери!.. Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Иди запрягай, а я по дороге куплю тебе новую пару лошадей, куплю десять мешков овса... Дом свой тебе оставляю, мебель, посуду, все добро... Только помоги мне выбраться из этого ада!..

Услышав такие речи, Хацкель начал колебаться. Однако Бараш не дал ему долго раздумывать, похлопал по плечу, и Хацкель пошел в дом собираться в путь-дорогу.

Через несколько минут он вышел в сени вместе с женой. Узнав кожевника, Лия испуганно сказала:

— Боже, какой гость у нас!.. Чего же вы мокнете под дождем, пан Лейбуш, почему не заходите в дом? Или вам не к лицу заходить к простым людям? Может, чаю хотите? Поставлю самоварчик... Правда, не высоцкий чай у нас, а морковный, с сахарином... Вы, конечно, не привыкли к сахарину, но чем богаты, тем и рады...

— Отстань, прошу тебя!..— проворчал ночной гость, даже не взглянув на словоохотливую женщину.— Нужны

мне теперь твои самовары!.. Тут земля горит под ногами... Шла бы ты лучше спать.

— Я не понимаю, почему вам так не нравится мой самовар! Что он, краденый? Хацкель купил его в Умани на честно заработанные деньги... Он ведь не кожевник... С интендантством, слава богу, дела не имел...

— Да отвяжись ты от меня! — огрызнулся Лейбуш. — Не видишь, спешим, а ты со своими дурацкими разговорами... Хацкель заработает сегодня у меня столько, сколько за год не заработает...

— Понимаю... — не успокаивалась она. — Но объясните мне, вы ведь человек коммерческий, к чему, в самом деле, такая спешка? В дождь, в такую темень?.. Потерпите, уже завтра поедете...

— Здрасьте вам пожалуйста! Только ее и ждали с ее советами!... Иди ложись спать: не бабьего ума это дело, Бейля...

— Это что еще за «Бейля»? — обиженно сказала женщина. — Меня вот уже сколько лет Лией зовут, а тут — Бейля...

— Ладно... Пускай Лия... Хоть царицей Эсфирью называйся, только не морочь мне голову. Иди спать, Хана...

— Опять... Хана!.. Я вам сто раз говорила: Лия, Лия, Лия... Вот человек! У вас, видно, все в голове перемуталось. Но это, как я понимаю, с перепугу... Или, может быть, так зовут ваших полюбовниц?.. Но это не мое дело... Скажите только, куда вы собрались бежать?

— Пристала, как пиявка! — сокрушался Бараш. — Ну что я могу тебе сказать?.. Не зря говорят: волос длинен, а ум короток... Сынок мой и дочурки хотят уехать за границу... Едут на курорты... лечиться... Плохо себя чувствуют, поняла?

— Поняла... Но мне кажется, что туда едут летом, когда виноград поспевает... А теперь к зиме идет... — Подумав немного, Лия спросила: — И вы с супругой тоже хотите за границу? Что, разве тоже заболели? Или там уже идет война и интендантство срочно требует вас туда?..

— Вот напасть на мою голову! — уже не на шутку рассвирепел Бараш. — Все нужно знать этой болтливой бабе! Какое тебе дело? Я плачу наличными за поездку... Ты уже запряг лошадей, Хацкель? Что ты возишься, будто на тот свет собираешься?..

— Ведь вы видите, что я запрягаю! — сердито бросил

балагула и неприлично выругался.— Убей меня гром, не пойму, как можно ехать в такое время... Опасно ведь...

— С кем же прикажешь мне ехать, с лоевским раввином, что ли? — перебил его Бараш.— Давай быстрее!..

— Может, вы упростили бы Шмаю-разбойника? — вдруг оживилась Лия.— Без работы сидит, хочет заработать на хлеб. С ним вам веселее будет ехать... У него, может, и винтовка где-то заваялась... С ним не так страшно будет...

— Знаете, пан Лейбуш, что я вам скажу? — отозвался из конюшни балагула.— Вы будете смеяться, но я вам скажу, что она у меня умница, честное слово! Надо взять с собой Шмаю-разбойника! Он человек смелый... С ним мне не страшно даже на край света...

— Нанимай кого хочешь, Хацкель, только скорее! Заплачу втридорога, только быстрее вывезите меня с моим семейством отсюда. Не могу здесь больше быть, задыхаюсь...

Вокруг стояла крошечная тьма. Дождь все усиливался. Когда они подъехали к дому кровельщика, Хацкель осторожно постучал кнутовищем в дверь. На пороге появился Шмая. Он удивленно посмотрел на неожиданных гостей, не понимая, зачем они его разбудили посреди ночи. Выслушав Хацкеля, Шмая с усмешкой взглянул на шкуродера и сказал неторопливо:

— Стало быть, я так понял, что надо вас срочно отвезти к границе? И вы мне хорошо за это заплатите? Так вот, скажите мне, пан Лейбуш, когда вы крутились около интендантства и набивали карманы золотом, наживались на слезах и от жиру бесились, вы тогда тоже приезжали будить людей посреди ночи и смотреть на них такими умоляющими глазами?

— Ты что ж, опять принимаешься за свои солдатские штучки, Шмая-разбойник? — остановил его Лейбуш.

— Помолчи! — оборвал его Шмая.— Ты уже забыл, как я вернулся с фронта, раненый, больной, несчастный, голодный, и жена моя пошла к тебе одолжить несколько керенок на хлеб, а ты ее выгнал? Мать моя у вас кухаркой много лет работала, здоровье свое потеряла, а когда свалилась, ты ее выбросил на улицу... Даже фельдшера прислать не подумал! А теперь пришел ко мне просить, чтобы я твою продажную шкуру спасал? Совести у тебя нет!

— Ах, вот как! — дрожа от злости, закричал Бараш.— Ты тоже политикой занимаешься? Тьфу, провались! Весь

мир теперь с ума спятил... Одни поедem, Хацкель, дорогой мой! Нужен он нам, этот разбойник, как пятое колесо... Баба с воза — кобыле легче. Айда, поехали!..

Хацкель засунул кнут за пояс, посмотрел на черное небо, на далекие обгаренные заревом тучи и отрубил, не глядя на пассажира:

— Никуда я не поеду!.. В такое время ездят только грабители, бандиты или сумасшедшие...

— Боже мой! Они хотят меня погубить! Да ты хоть домой меня отвези. Не видишь, что ли, сердце у меня вот-вот разорвется... Черт понес меня к этому разбойнику, и он всю поездку расстроил... Всегда он воду мутит, чтоб ему добра не было!

— Не ожидал я, пан Лейбуш, от вас такого свинства! — возмутился балагула. — За что вы проклинаете хорошего человека?.. Еще одно плохое слово о нем скажете, и я за себя не ручаюсь! Вы подметки его не стоите!..

— Тише, босяк! Что я такого сказал? Нежно вы все воспитаны, слова вам уже нельзя сказать... Загордились!.. Думаете, что ухватили бога за бороду... Не будет по-вашему! Никогда не будет!

— Поговорите еще немного, пан Лейбуш, и вы у меня пешком домой пойдете... Со мной не шутите... Ну ладно, знайте мою доброту. Полежайте скорее в мой экипаж, я вас домой доставлю... — небрежно бросил Хацкель и сел на облучок.

Нахлестывая застоявшихся лошадей, балагула поехал по пустынной улице, пряча лицо в меховой воротник и проклиная в душе мерзкую погоду, ветер, дождь. Он чувствовал все время за спиной прерывистое дыхание пассажира.

— Сумасшедший, — шипел тот, — зачем ты слушаешь этого разбойника? Отвези меня к границе... Одна ночь — и ты разбогатеешь. Плачу тысячи... Опомнись, паршивец! Буржуем станешь, богачом...

— Нет! Будьте уж вы сами богачом, буржуем!.. Посмотрю я, куда вы нынче денетесь со своими капиталами!..

Взволнованный Шмая еще долго стоял на пороге и смотрел вслед удалявшейся колыхаге. Он был доволен, что высказал шкуродеру то, что давно накипело на душе.

Ветер выл, рвал крыши, стучал по стропилам оторванными листьями жести. Шмая знал, что после бури у него появится работа, но не это его сейчас занимало.

«Бежать собрался, гнида... — думал он. — Почувствовали, злоден, что приходит им конец, и бегут, как крысы с тонущего корабля. Лихорадка трясет их, шкуродеров, богачей, кончается их времечко!»

Осторожно, чтобы не разбудить жену и детей, Шмая вошел в дом, набросил на плечи свою старую, выдавшую виды шинельку, сунул ноги в сапоги, взял фуражку и вышел на улицу.

Откуда-то доносились выстрелы. Глухие, далекие. За лесом все выше поднималась багровая завеса. Тревожная ночь... Что предвещает она?

Но сейчас Шмая больше всего беспокоило то, что хитрец Лейбуш может по дороге уговорить балагулу поехать с ним к границе. Он хочет увезти с собой награбленное добро. Нет, этого нельзя допустить!

Быстрым шагом направился он к центру местечка, к большому дому, где, как ему говорили, расположился ревком. Необходимо было сообщить о замысле шкуродера.

По дороге Шмая свернул к просторному двухэтажному особняку Бараша, заглянул в тускло освещенное окно. В доме царил невообразимый беспорядок — следы поспешных сборов. Тут и там валялись чемоданы, узлы, тюки. В углу, на огромном тюке, сидели жена Бараша, две его дочери и сын в неизменной студенческой куртке. А посреди комнаты, раскинув руки над узлами и чемоданами, с искаженным злобой лицом стоял сам хозяин и не сводил глаз с вооруженных людей, явившихся конфисковать его имущество.

— Только через мой труп! — кричал он. — Никому не отдам! Грабители! Душегубы!..

— Прикуси язык, буржуйская морда! — спокойно отвечали ребята из ревкома. — Прошло твоё время, спета твоя песенка.

И Лейбуш Бараш, который еще недавно был грозой для всего местечка, стоял перед ними, беспомощный в своей звериной злобе и жалкий.

А со всех сторон все подходили и подходили люди.

«Что, кончилось твоё царство, шкуродер?» — можно было прочесть в их глазах.

Люди с восторгом смотрели на вооруженных парней, которые распоряжались, как у себя дома, рассматривали дорогую мебель, персидские ковры, хрусталь, сверкавший на буфетах в сиянии тусклых огней керосиновых ламп.

— Да, Лейбуш, пожил ты в роскоши... Хватит!

Светало. Вокруг особняка, на тротуаре, в палисаднике люди горячо о чем-то спорили, что-то обсуждали. А тем временем лошадки балагулы Хацкеля весело тащили огромную, выдавшую виды колымагу, доверху нагруженную реkvизированным имуществом.

Наутро в местечке царил праздничное настроение. Мастерские и лавчонки были закрыты. По улицам, на небольшой площади расхаживали люди с красными бантами на фуражках и шапках. Сияли лица молодых мастеровых и ремесленников, кому досталась заржавевшая винтовка, старый карабин, охотничье ружье, сабля. Повсюду митинговали, спорили, горячо обсуждая события прошедшей ночи.

Из уст в уста передавалась весть, что в Киеве будто вот-вот должна смениться власть. Центральной раде приходит конец. Никто не знал, каких перемен нужно ожидать. В каждой волости нынче своя власть, свои порядки. Появились какие-то батьки-атаманы. Все рвутся к власти. Что будет дальше?

Ясно было одно: море вышло из берегов, и неизвестно, когда жизнь войдет в свою колею. Но все хорошо знали, что к прошлому возврата нет... Нужно только набраться терпения и ждать, что принесет завтрашний день, и не только ждать, а бороться за то новое, что он несет с собой. Нужно идти на смертный бой, чтобы установить порядок на этой многострадаальной земле...

Глава пятая

МЕСТЕЧКО В ОГНЕ

Местечко со своими кривыми улочками, тупиками и небольшой площадью раскинулось в глубокой зеленой долине, вдалеке от большой дороги. С трех сторон оно было на виду у всего мира, а с северной стороны его ограждал от ветров и бурь старый дубовый лес, величавый и таинственный.

До тракта и железной дороги отсюда было не близко. Но все же местные остряки утверждали, что Раковка лежит как горох при дороге — в том смысле, что кто ни пройдет, тот щипнет...

Некогда мимо местечка проходили чужеземные орды, оставляя за собой реки крови, могилы, пепелища и руины. Казалось, не воскреснет оно больше, не встанет из пепла. Не вернутся сюда разбежавшиеся, чудом уцелевшие жители. Но проходило время, и люди возвращались к своим очагам, на родную землю, в которую вросли обеими ногами, в которой покоился прах их дедов и прадедов. И среди развалин снова начиналась жизнь, на убогих улочках и в тупиках опять слышался детский гомон и девичий смех...

«Заколдованный городок...— говорили иные.— Ни в огне не горит, ни в воде не тонет...» А как щедро одарила его природа! Как прекрасно было местечко весною, в цветении лугов и садов, со своими сверкающими зеленью крутыми холмами, с извивающейся серебристой лентой буйной речушкой...

Кто хоть раз побывал здесь, кто пожил среди жизнерадостных, трудолюбивых, никогда не унывающих людей, тот долго помнил красу этого милого, тихого и мирного уголка и его обитателей.

Здесь, в этом городке, родился, провел свою юность, отсюда ушел на войну Шмая-разбойник, кровельщик Шая Спивак.

Глядя на него, люди ломали себе голову: в кого пошел этот веселый человек? И все сошлись на одном: не иначе, как похож он на своего деда-кантониста, прослужившего царю-батюшке двадцать пять лет как один день, ни больше ни меньше. Именно от деда Шмая вместе с профессией кровельщика унаследовал все его солдатские замашки, веселый нрав и доброту. В глубокой старости чернобородый Авром-Бер, дед, еще мог выпить добрую чарку, спеть солдатскую песню и погулять с красивой молодухой. Старушка-жена на него за это уже не обижалась. «Если уже пришлось,— говорила она,— отбарабанить в солдатах четверть века и не изведать многих земных благ, так пусть уж хоть на старости лет наверстает...»

В таком местечке, как Раковка, большого выбора профессий нет, и отец Шмай стал, как и дед, кровельщиком. Люди шутя говорили: «Слава богу, что он поселил на этой земле Спиваков, а то без них худо нам пришлось бы,— жили бы без крыш, как цыгане». На долю отца Шмай тоже выпало немало горя. Хоть служил он в солдатах меньше, чем дед, но воевал в русско-японскую войну в самом пекле — в Порт-Артуре — и где-то там сложил свою голову...

И о деде и об отце Шмай можно было бы рассказать

немало удивительных, веселых, а порой и грустных историй, но для этого ни времени, ни бумаги нам не хватило бы...

Сам Шмая немало натерпелся на своем веку, не зная и не ведая, за чьи грехи. Бывал он на коне и под конем, но никто вам не скажет, чтобы человек этот роптал на свою судьбу или приходил в уныние, а тем более в отчаяние. Иные покидали родное местечко и отправлялись в дальние края в поисках счастья, а он никуда не собирался. Он любил свой дом, свой уголок, как любят бедную, но преданную, заботливую мать.

За последние годы довелось ему повидать немало городов и сел, но такого городка, как Раковка, по его словам, нигде не найдешь. Скольких людей повидал на своем пути, но таких, как его земляки, не встречал.

В ожидании лучших времен он старался не падать духом и подбадривал других, сам не любил скучать и другим, по возможности, скучать не давал.

— Ничего,— частенько говорил он,— перемелется, мука будет...

А люди ему отвечали:

— Ой, что-то долго, Шмая, у тебя мелется...

В свободные часы бывалый солдат обучал молодых ребят-дружинников обращаться с винтовкой, швырять самодельные гранаты-«лимонки». Вместе с ними, с дружинниками, по ночам ходил с винтовкой, охраняя местечко от бандитов, грабителей. Он участвовал в жарких схватках и драках, и ребята восхищались его смелостью и солдатской смекалкой, умением выходить победителем из любого сложного переплета.

Таков уж у него закон: всегда быть среди людей, ближе к людям. Он всегда старался успокоить, развлечь их, рассмешить.

Но вот родное местечко поблекло, утратило прежнюю привлекательность. Давно уже не слышно было на его улицах звонких песен девочек. Безлюдно стало вокруг. Война забрала почти всех мужчин, молодых ребят. Немногие вернулись домой. Иные еще находились в войсках, а большинство нашли свой вечный покой где-то в Карпатских горах, в Пинских болотах. Полку вдов и сирот, нищих и калек все прибывало.

Ремесленники открывали свои маленькие мастерские, но долго и безуспешно ждали заказчиков и покупателей... Не слышно было перезвона молотов у моста, где веселые и озор-

ные кузнецы, острословы и балагуры, зазывали, бывало, хозяев подковать лошадей, починить воз, телегу. Не стучали на пригорке по пустым бочкам болтливые бондари, навсегда закрылись двери маленькой литейки, и рабочие забыли цвет и запах чугуна.

Тихо, пустынно стало на старом рынке, некогда самом оживленном уголке городка.

Немногие отваживались ехать сюда.

С каждым днем становилось все труднее и опаснее жить. Люди рано укладывались спать, запирая двери на все засовы. На пустынных улочках по ночам слышны были лишь громкий стук башмаков и приглушенный говор дружинников.

Пустынно... Тревожно...

А тут еще банда настигла на дороге, неподалеку от местечка, несколько подвод с продуктами, которые рабочие соседнего сахарного завода везли для голодающих жителей Раковки.

Всю свою ярость бандиты обрушили на старого механика завода Василя Стеценко, порубили его и пять его товарищей-рабочих шашками, надругались над их трупами, а потом бросили их на перекрестке с табличками на груди:

«Так будет с каждым, кто посмеет помогать большевикам и жидам. Мы покарали Василя Стеценко, батьку бунтовщика и большевика, ярого врага самостийной Украины Юрка Стеценко...»

Из ближайших сел и деревень гнали к перекрестку крестьян, заставляя их посмотреть на убитых.

Все местечко охватил невообразимый страх. Люди думали, что теперь уже нет надежды ожидать откуда-то хлеба, боялись, что бандиты могут ворваться и сюда. И вместе с тем только и говорили, что о механике сахарного завода Василе Стеценко и его друзьях, восхищаясь их добротой и отвагой, горько оплакивали тех, кто поплатился жизнью за попытку оказать помощь обездоленным людям в такое тяжелое время.

А тут еще новое горе обрушилось на голову Шмаи: сыпной тиф свалил жену, и он выбивался из сил, ухаживая за ней.

Забегал к ним старенький фельдшер, который от голода сам с трудом держался на ногах, прописывал больной, совсем как в мирное время, порошки и лекарства. Но главное лекарство, говорил он, надо искать в хорошем

питании, нужно масло, молоко, яйца, мед... Да легко прописывать лекарства и советовать пить молоко с медом, когда в аптеке хоть шаром покати, а на рынке ни живой души не увидишь...

— Эх боже, боже милостивый,— вслух думал Шмая.— Хорошо же ты обращаешься со своими рабами!.. Не даешь им скучать на грешной земле!.. Жрать нечего, да жена к тому еще свалилась, дети в доме, и боишься, что они тоже могут слечь. Шутка сказать, тиф!..

Добрые соседи забрали к себе малышей — Сашку и Лизу. Славные ребятишки! Видят, что делается вокруг, и не просят есть, не плачут. Тоже ждут, верно, что лучшие времена настанут... Малыши хорошего дня еще не видели, а уже научились терпеть и голод и нужду. Милое времечко выбрали, чтобы родиться на свет божий! Лучше не придумаешь!..

Но вскоре и соседи загрустили. Своих детей кормить нечем, как же быть с чужими?

Нашлись люди, собрали группу детей и повезли куда-то за тридевять земель — в приют. Долго ехали подводой, поездом, шли пешком... И неизвестно было, куда занесла малышей горькая доля.

Вместе с ними уехали и дети Шмаи. Остался кровельщик с больной женой в пустой, нетопленной хате.

Прошло немного времени, и Шмая почувствовал, что его душу гложет жгучая тоска. Она вселилась в нее надолго. Все тревожнее становилось в мире, все более страшные вести доходили в местечко, и он себе уже не представлял, как сможет найти детей, вернуть их в отчий дом. Он, как мог, старался успокоить жену, рассказывал, что получил добрые вести о детях, что им, мол, хорошо живется, а сам терзался, ночей не спал, места себе не находил. Люди не узнавали доброго, веселого разбойника. Казалось, подменил человека...

Время тянулось медленно и тоскливо. Иные говорят, что время лечит пуще лучшего врача, но по жене кровельщика что-то не видно было, чтобы время ее так хорошо лечило. Молодая красивая женщина за какие-то несколько недель превратилась в изможденную старуху. Шмая вынес все из дому, променял на кулек муки и картошку, чтобы кое-как поддерживать больную.

Тут и осень подоспела — что и говорить, милая пора для больных и обездоленных!.. Особенно весело, когда дожди льют беспрерывно, размывая дороги, и уже никуда не

выйдешь. Чернозем — славная земля, только в эту пору она превращается в сплошное месиво, и до соседнего села уж не доберешься...

Дождь беспрерывно лил. Туман окутал улицы, дома. Издали доносились стрельба.

Люди обмерли от страха. Отряд самообороны где-то задержался дольше обычного, отправившись в соседний городок. Мало ли что могло случиться! Может, ребята наткнулись на сильную засаду и их, неровен час, разбили? Как-никак, это ведь не бывалые солдаты и не бог весть какое оружие у них...

Всех охватило отчаяние. Что с отрядом?

Рано наступила ночь, беспроглядная, дождливая. Все в тревоге прислушивались: не возвращаются ли ребята? Что с ними? Почему их так долго нет?

Тревожные слухи поползли по местечку, и матери, жены стали оплакивать своих кормильцев.

Небо было обложено тучами. Колочий дождь хлестал, и, казалось, не будет ему конца. Пронизывающий ветер неистово выл в дымоходах.

Ночь плыла над домишками. Нигде ни огонька, лишь в одном оконце тускло мерцала коптилка. Это было оконце кровельщика.

Шмая сидел, облокотившись на стол, и потягивал давно погасший окурочок. Окно было кое-как завешано рваным одеялом, и в доме было душно. Тишина время от времени нарушалась глухими стонами Фани, изнывающей от жара и духоты. Шмая то и дело сменял на ее голове мокрую тряпку, всматривался в ее осунувшееся лицо, успокаивал, как умел, и снова шел на свое место к столу.

— Скорее бы все это кончилось... Зачем мне такая жизнь? — повторяла Фаня. А Шмая лишь разводил руками:

— Что поделаешь, родная! Надо еще немножко потерпеть... Видно, не все грехи мы уже искупили перед всевышним... Заботится старик о нас, ничего не скажешь...

— Умоляю тебя, не гневи бога! Новую беду можешь накликать на нашу голову...

— Хуже быть уже не может! Что можно было накликать, уже накликали...

Глаза Шмаи, красные, воспаленные от бессонных ночей, смыкались. Он уже не помнил, когда спал. Жена стонала, и каждый ее стон острой болью отдавался в его душе. Ее му-

ки не давали ему покоя, он терзался от того, что не в силах был чем-либо ей помочь.

Но вот она наконец задремала. Шмая тихонько поднялся с места, подошел к ее кровати. Он укрыл жену одеялом и тихонько, чтобы не разбудить, стоял над ней, глядя на ее бледное лицо, на длинные черные ресницы.

Он долго стоял так у кровати больной, погруженный в тяжелое раздумье, и, заметив, что жена крепко уснула, погасил коптилку, на цыпочках подошел к своему топчану, лег и, накрывшись с головой шинелью, мгновенно уснул.

Шмая не знал, сколько времени он проспал, но, открыв глаза, увидел, что жена стоит над ним. Слезы сверкают на ее глазах. Она будит его и тихо шепчет:

— Шая, слышишь, Шая, проснись! Вставай скорее... Зажги коптилку...

— Что случилось? Что с тобой? — вскочил он в испуге.

— Ты разве не слышишь? — дрожа от страха, промолвила она. — Не слышишь, что делается вокруг? Кажется, мертвые в могилах и те уже проснулись...

— Боже мой, родная, зачем ты поднялась? Разве можно тебе? Что ты, маленькая?.. — взял он ее за руку и осторожно повел к кровати.

Он не успел договорить, как над их крышей просвистел снаряд, где-то неподалеку раздался сильный взрыв. Стекла посыпались на пол. Ветер сорвал с больной одеяло. Затрепетал огненный язычок коптилки.

Шмая бросился к одному окну, к другому, будто желая собственным телом заслонить окно. Второй снаряд разорвался еще ближе. Домик вздрогнул, загрели оконные рамы. Яркое пламя осветило комнату. Фаня уже лежала на полу, умоляя мужа отойти от окна. Но он стоял, взъерошенный, освещенный заревом пожара, и сердито глядел на багровое небо.

С улицы доносились крики женщин, плач детей, отдаленный треск пулемета.

Шмая накинул на плечи шинель, нахлобучил фуражку и выбежал на крыльцо. Мимо него бежали плачущие женщины с детишками на руках. Зарево пожара, облака едкого дыма поднимались все выше и выше.

— Они хотят сжечь весь город!.. Спасайтесь, люди! Бегите!..

Земля гудела от взрывов. Рушились дома, сарай. Ветер раздувал пламя, и пожар поглощал все на своем пути.

Шмая стоял на крыльце, прислушиваясь к крикам

обезумевших от ужаса людей. Ему казалось, что все это — страшный сон. Но вспомнился переданный несколько дней назад ультиматум Петлюры: выдать участников отряда самообороны, иначе местечко будет стерто с лица земли...

Пушки били со стороны тракта. Огненный смерч уже приближался к его дому, и Шмая решил даже ценой своей жизни спасти жену.

Нужно бежать... Но куда?

Он вскочил в дом, подбежал к Фаниной кровати.

— Другого выхода нет. Надо уходить... Видишь?.. — кивнул он на зарево.

— Вижу... — еле вымолвила она, глядя на мужа воспаленными глазами.

Он еще никогда не видал их такими большими. Она беспомощно махнула рукой:

— Все вижу... Иди сам, родной, спасайся...

— Да что ты! Разве я оставляю тебя одну?

— Ничего... Иди, родной мой, спасайся... Обо мне уже поздно заботиться. Дни мои сочтены... Прощай...

— Что ты говоришь? — опустил он на колени перед ее кроватью. — Разве я тебя брошу одну? Никогда! Вместе уйдем... Вместе...

Он молча прижался губами к ее горячему лбу, и она увидела слезы на его глазах. Впервые в жизни видела его плачущим и сама горько зарыдала.

— У тебя золотое сердце, Шая... — из последних сил прошептала она. — Уходи быстрее... Может быть, найдешь и спасешь наших детей...

— О детях не беспокойся! Только утихнет, привезу их домой... Не может ведь вечно такое продолжаться... Есть какой-то бог на свете.

По давно не бритым щекам кровельщика катились слезы и сверкали, освещенные огоньком коптилки и заревом пожара.

Снова где-то поблизости разорвался снаряд, и с потолка посыпалась штукатурка. Коптилка погасла. Казалось, вот-вот обрушится крыша и похоронит под собой Шмаю и его жену. Теперь уже нельзя было мешкать.

Шмая вытер слезы рукавом, подбежал к печи, достал старые опорки, кое-как обул больную, завернул ее в одеяло, накинул на нее шинель и, взяв на руки, как берут ребенка, выбежал на улицу. Низко пригибаясь, чтобы не задела шальная пуля, он мчался огородами, садами.

На тротуаре он увидел кем-то брошенную винтовку. Сам

не зная для чего, он поднял ее, взял на плечо и, заметив вдали толпу бегущих людей, устремился к ним. Куда все бегут? Где решили искать убежище, трудно было понять, но Шмая спешил к ним, его тянуло к людям. Надо держаться всем вместе, тогда будет легче.

Толпа хлынула к зданию высокой каменной синагоги, стоявшему над крутым яром и похожему своими истлелыми дождями глухими стенами и маленькими оконцами на старинную крепость.

Шмая с женой на руках направился за толпой к этому зданию. Изнутри уже слышались душераздирающие мольбы, крики, молитвы. Здесь было полно народу — яблоку негде упасть. На скамейках, на полу, на широких ступеньках стояли и сидели старики, женщины, дети, и в глазах у них застыл ужас. Шмае трудно было разобрать, что там происходит. Люди прибывали, с трудом протискивались внутрь здания, надеясь на то, что эти старинные стены смогут оградить их от снарядов и пуль, и все громче молились, думая, наверно, что небо их услышит...

Шмая стоял, держа на руках больную жену, смотрел на толпу и вдруг крикнул:

— Чего вы тут столпились, как овцы в загоне? От снарядов эти стены не спасут! И молитвами вы себе не поможете. Пошли отсюда!

На мгновение все замолкло. Люди обернулись, испуганно глядя на взволнованного кровельщика: «Не сошел ли он с ума?»

И тут раздался чей-то сердитый возглас:

— Кто это там командует?

— Это Шмая-разбойник!..

— Новый спаситель объявился!

— Куда же нам деваться, Шмая? Куда бежать?

— Я никакой вам не спаситель, люди, — не сразу ответил кровельщик, — но своим умом я понимаю, что здесь нельзя оставаться ни минуты... Здание стоит, как бельмо на глазу, и на виду со всех сторон... Это мишень, понимаете?..

— Но с нами бог!..

— Бог высоко, а снаряды — рядом! — ответил Шмая.

— Куда же ты советуешь бежать?

— Я думаю, в лес!

— В лес? Совсем рехнулся, разбойник!.. В такую холодину... С малыми детьми...

— Не слушайте его, люди! — раздался скрипучий старческий голос. — Доставайте свитки торы, молитвенники, будем молиться богу!.. Да принесет он нам спасение!..

— Старая, как мир, песня! — махнул рукой Шмая. — Ничего хорошего нам и нашим предкам она еще никогда не приносила!..

— Кто там богохульствует?

— Камнями его забросать надо!

— Делайте со мной, что хотите, но я говорю вам, что здесь опасно оставаться!.. Пошли в лес! Быстрее!..

Стрельба возобновилась. Совсем недалеко упал снаряд, и в синагоге посыпались стекла.

Шум, плач, крики усиливались.

Шмая не своим голосом крикнул:

— Опасность надвигается, люди! Пойдемте со мной! Разве я желаю вам и себе зла? Не мешкайте!.. Будет поздно!..

— Разбойник рехнулся!

— Не слушайте святош! Скорее за мной! Одного снаряда достаточно, чтобы от синагоги остались груды развалин... Она и так уже держится на честном слове...

— Слышите, что он говорит, этот безбожник? И стоит еще тут с непокрытой головой!.. Грешим, люди, грешим!..

— Тихо! Чего вы там расходились! — крикнул кто-то из толпы. — Бывалый солдат, больше нас знает, что к чему. В молитвах он плохо разбирается, а в военном деле понимает толк... Этого у него не отнимешь... Пойдемте с ним!

Шмая больше не стал слушать. Повернувшись, он направился в сторону леса.

— Остановите его! Разбойник сошел с ума!

— И еще тащит с собой больную жену! Несчастливая женщина...

— Какое кощунство!

— Проклятие на твою голову, разбойник! Только взбудоражил людей!

Но Шмая уже ничего не слышал, он спешил. Отойдя немного, оглянулся и увидел, что толпа вырвалась из синагоги и бросилась вслед за ним. Шли женщины с детьми на руках, тащились старики, неся на плечах подушки, одеяла. Дорогу освещало багровое от пожаров небо.

Шли молча, останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Казалось, само небо, озаренное пожаром, гнало этих людей к старому дубовому лесу. Теперь уже все старались дер-

жаться поближе к кровельщику, и он, пришибленный своим большим горем, казался всем единственной опорой.

С горы спускалось к дороге все больше людей, но со стороны синагоги еще доносились возгласы и громкие молитвы.

Старый, добрый лес принял их в свое лоно.

Здесь не было ветра. И дождь, казалось, утих. С крон дубов еще не осыпались все листья, и по монотонному шороху можно было догадаться, что еще моросит.

Люди облегченно вздохнули. Стали собирать листья, чтобы привлечь отдохнуть.

Отсюда видна была часть местечка. Огненные языки извивались то тут, то там, и казалось, что все местечко охвачено пламенем. Отчетливее слышался грохот снарядов, но стреляли уже не так часто, как час назад.

Женщины смотрели на пожар и ломали руки, причитая:

— Горе, горе!.. Бездомными остались, нищими...

— За что же ты нас так караешь, боже?

— Какое преступление мы перед тобой совершили?..

Люди ежились, прижимаясь друг к другу, деля одеяла, рядна, подушки и все, что успели с собой захватить.

— А холод какой! Замерзнуть можно...

— Детей жалко... Как дрожат, бедняжки!

— Какой черт затащил нас в этот лес! Ни присесть, ни привлечь...

Шмая-разбойник молчал. Он сгреб ворох листьев, осторожно уложил на них жену, укрыл ее шинелью и опустился на корточки, прислушиваясь к ее частому дыханию.

— Крепись, родненькая моя, прошу тебя, крепись... — шептал он над ее ухом. Но слова его утопали в шуме листьев и громком ропоте окружающих. — Фаня, слышишь, Фаня! Умоляю тебя, крепись, — стал он ее осторожно тормошить. — Крепись, дорогая. Бог даст, переживем и это горе...

В эту минуту до его слуха донеслись громкие крики, возгласы. Со стороны пылающего городка к лесу бежала новая толпа людей. Они со слезами на глазах, все наперебой стали рассказывать, как снаряд угодил в здание синагоги...

— Вся молельня горит... Живые люди горят!..

— Поджечь молельню! Святой дом... А там столько народу собралось! Думали найти спасение, а нашли смерть... —

не переставая рыдал старик в изодранном талесе¹. — За что мы так сурово наказаны? Или наш глас к тебе не доходит, о боже?

Он нащупал талес, сорвал его с плеч и швырнул в сторону:

— Если глас мой до тебя не доходит, не жди от меня молитв!.. Не жди!..

Окружающие плакали, испуганно глядя на старика, который от ужаса, видно, сошел с ума.

— Говорил ведь Шмая, что нельзя там оставаться!.. Надо было послушаться, и не было бы столько жертв... Умники, смеялись над разбойником, а он был прав!.. — сказала высокая худошавая женщина.

— Да, кто упрямился, тот навсегда остался под развалинами...

— Сколько людей погибло... И за что?

Со стороны горящего местечка прибыло еще несколько человек, и каждый рассказывал, что он видел. Рассказы становились все страшнее, и Шмая пытался прекратить их. И без того люди страдают, сходят с ума. Нечего, мол, сыпать соль на свежие раны...

Дети плакали, и, глядя на них, рыдали матери, не зная, как уберечь ребят от холода и сырости.

Шмая-разбойник поднялся с земли, расправил плечи, окинул тоскливым взглядом шумных соседей, сел на пенек и поставил винтовку между колен, как это, бывало, делал на фронте в минуты затишья. Он сидел, глядя на больную жену. Ее знобило, и ей уже не могли помочь все лохмотья, которые на нее набросали. Если б он мог закурить, затянуться терпким дымом махорки, кажется, легче стало бы на душе! Но огня нельзя было зажигать.

Старик, сбросивший талес, никак не мог успокоиться и все причитал:

— Петлюра, да будет проклято имя твое и всех твоих головорезов! Лютая смерть на твою голову и на голову всех твоих извергов! Чтоб от вас всех следа не осталось... Чтоб вас земля не приняла в свое лоно и чтоб собаки ваши кости растащили по оврагам и долинам.

Но на него уже никто не обращал внимания.

— Что же с нами дальше будет? — тихо спросил кто-то. — Убежали из дому в чем мать родила...

— Дети мучаются, мерзнут...

¹ Талес — молитвенное облачение (свр.).

- Ничего, лишь бы живы остались!..
- Чем так жить, лучше уж погибнуть!..
- Зачем роптать, люди? Разве тем, кто остался под развалинами, лучше, чем нам?..
- Кто знает... Может быть, и лучше...
- Хватит языком трепать!
- Тише там! Нашли время для споров...
- Кажется, кто-то сюда едет... Слышите стук колес?
- Кто б это мог быть? Не бандиты ли?..

Люди смолкли. Сбившись в кучу, всматривались в густую темень, рассеиваемую багровыми облаками, плывшими по небу.

Теперь уже отчетливо слышен был скрип подводы, глухое покашливание, напоминавшее рыдание. Казалось, кто-то шел за покойником.

Спустя несколько минут в лес въехала колымага Хацкеля. Лошаденка еле переставляла ноги, фыркала, то и дело останавливалась в ожидании ударов кнута. В колымаге сидело несколько женщин с детьми и два старика, которых балагула подобрал по дороге,— впервые в жизни он подвозил пассажиров, не требуя платы...

Хацкель вытер рукавом мокрое лицо и, озабочено качая головой, сказал:

— Ну вот и приехали!.. Здравствуйте, соседи!.. Прибыли на дачу... Погибель на наших врагов!..

Люди молчали. Снова разгулялся ветер, с деревьев посыпалась мокрая листва. Беженцы смотрели на прибывших, не зная, что им сказать.

— Хацкель, дорогой,— отозвалась из темноты какая-то женщина.— А где же твоя жена, Лия? Почему ты ее сюда не привез?

Хацкель удрученно махнул рукой, будто разрубил что-то тяжелое:

— Не спрашивайте!.. Нет больше моей дорогой Лии. Убило ее осколком на пороге хаты... Насмерть скосило... Я ей кричу: «Бросай все, глупая, жизнь дороже, бежим скорее!» А она свое: «Как же можно бросить дом, имущество?» Ну, стали мы вытаскивать свои манатки, а осколок как засвистит. Не успел я и оглянуться, как моей Лии не стало... Пусть легка будет ей земля... Добрая женщина была...

Хацкель прислонился к телеге и понурил голову. Плечи его вздрагивали.

Глядя на опечаленного балагулу, люди молчали, как бы не желая мешать ему оплакивать погибшую жену...

Но вскоре тишину нарушила женщина, прижимавшая к своей груди двух малюток:

— Ну, люди, что же дальше делать будем?

— Ничего. Пушки замолкнут. Надо ждать. А там что бог даст...

— Он уже нам дал всего сполна! — отозвался из мрака Шмая, но кто-то перебил его:

— Не грешите! Не гневите бога!

— Что? Новые беды может на нас наслать? — не сдержался кровельщик. — Ну нет! Он, кажется, весь свой запас гнева уже давно израсходовал сполна... Горестей он для нас не пожалел, слава ему, милосердному. Как там сказано в священном писании? «Бог нам жизнь подарил, он и мук не пожалеет»? Щедрый он у нас... Если мало будет, подкинет еще... Бед на наш век хватит!..

— Шмая, мой дорогой сосед! — оживился балагула и направился к товарищу. — Ты, слава богу, живой! И тебя тоже сюда занесло? Что же, теперь будет немного веселее...

— Только веселья нам здесь не хватает...

Хацкель устался туда, где стонала больная жена Шмаи, и кивнул в ту сторону:

— А это кто? Сыро ведь на земле.

— Не тревожь... Это моя Фаня... Горе у меня большое... Боюсь, не выживет. Очень плоха...

— Да... — развел руками балагула и, не зная, чем успокоить товарища, вытащил из кармана кисет с махоркой, набил трубку и предложил Шмае:

— Закуришь, может?

— Опасно огонь зажигать...

— Ничего, мы по-солдатски... Из-под полы...

Хацкель высек искру из кремня и дал Шмае прикурить, прикрыв себя и соседа полой полушубка.

Было уже поздно, когда стрельба стихла и зарево, висевшее над местечком, стало понемногу меркнуть. Лес теперь напоминал цыганский табор. На траве, на пнях и на листьях, где пришлось, сидели и полулежали люди, прижавшись друг к другу.

Кто-то из женщин соорудил из веток и одеял шалаш и укрыл в нем своих детей. Усталые, обессиленные люди готовились к ночлегу. Тут и там слышался храп.

Из густого мрака вынырнул Шмая. Он шел, опустив голову, мимо спящих, дрожащих от холода и сырости людей. Хотя никто не видел в темноте его лица, слез, избородивших его заросшие щеки, люди не останавливали его, не приставали с расспросами. Они знали, что он уже простился со своей женой, тихо и безропотно скончавшейся на ворохе листьев под старым дубом... Еще несколько минут тому назад он сидел над ней, стараясь успокоить ее, убедить, что все будет хорошо, что она выздоровеет. Но теперь, видно, уже некого было ему успокаивать.

Шмая тяжело и медленно шагал, не разбирая дороги, затаив в душе щемящую боль безвременной утраты. Он шел к опушке леса, чувствуя на себе участливые взгляды людей. Глаза земляков как бы спрашивали: «Чем тебя утешить?» И еще: «Что же с нами будет?» Он остановился, припал к стволу дерева. Вопрошающие взоры людей не давали ему покоя.

Он подошел к Хацкелю, задумчиво жевавшему соломинку, молча постоял около него, затем поднял с земли винтовку. Побагровевшие тучи осветили край леса, и люди увидели скорбное лицо Шмай, стоявшего с винтовкой в руке.

— Видно, ты соскучился по ней... Никак со своей пушкой не расстанешься?.. — проговорил балагула. — Мало бед и несчастий принесла она нам? Мало горя? Это только она, — кивнул он в сторону винтовки, — она нам причинила столько мучений... Она!

— Может быть, и она, — тихо ответил Шмая, вытирая рукавом грязь с винтовки. — Но я об этом еще не думал... Возможно, и она... Однако она, пожалуй, может и покончить со всеми нашими горестями... Она, знаешь, еще пригодится... — И, подумав минутку, добавил: — Запрягай, Хацкель, лошадку, поедем...

— Куда? — с испугом спросил балагула.

— Ты разве не видишь, что дети дрожат от холода и голода?.. Запрягай...

— Господь с тобой, Шмая! — слышались испуганные голоса женщин. — Куда тебя несет? Потерпеть надо... Никуда вы теперь не поедете!..

— Не подымайте шума!.. — сказал Шмая тоном, не допускавшим возражений. — Надо ехать... Не могу терпеть, когда дети мучаются. Нам не привыкать, а они... Запрягай, Хацкель, поедем!..

Через несколько минут загремели колеса, и Шмая с несколькими мужчинами двинулся вслед за телегой в сторону местечка.

Люди испуганными взглядами провожали их, но никто уже не отговаривал от поездки. Кто знает, сколько времени придется быть в лесу, а укрыться от холода и дождя нечем...

Глава шестая

СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Шмая и его спутники возвратились не скоро. Вернулись с возом одеял, тряпок, подушек — всего, что второпях успели захватить с собой. На подводе лежали также лопаты, топоры, и Шмая приказал людям строить шалаши, кибитки. Кое-кто начал рыть землянки.

Усталый, вспотевший, кровельщик направился к дубу, под которым лежало тело его жены. Несколько старушек сидело на корточках возле покойницы, оплакивая ее. Узнав Шмаю, они поднялись.

— Золотая была женщина... — тихонько сказала одна из них. — Когда ты, Шмая, на фронте был, она, бедняжка, заменила твоим детям отца, берегла их как зеницу ока, ночей недосыпала... Бриллиант потерял ты, а не жену! Ее слезы и молитвы тебя, видно, от смерти спасли... И вот теперь, когда можно было бы жизнь начинать заново, Фани не стало...

Кровельщик не мог разглядеть в полумраке лицо женщины. Слова ее рвали душу. Женщину поддерживали другие, и каждая говорила что-нибудь хорошее о покойной. А люди подходили и подходили, каждый выражал Шмае свое соболезнование, пытался успокоить его. То, что смерть пришла туда, где люди цеплялись за жизнь, было особенно тяжело... И после недолгого раздумья кровельщик поднялся с места, взял в руки заступ.

Кладбище находилось вблизи от леса, за лужайкой. И хотя в такую пору страшно было туда идти, все же нашлось несколько смельчаков, отправившихся вместе со Шмаей предать земле тело умершей. Горе этого милого человека стало горем всех обитателей лесного табора...

Молча рыли могилу. Молча прощались с покойной. И вот уже Шмая стоит у невысокого холмика, низко склонив голову. Он старается крепиться и что-то про себя шепчет, как делал это на войне, прощаясь с близким другом, павшим в бою...

И на обратном пути Шмая не вымолвил ни слова. Тяжелым, неуверенным шагом плелся он к лесу, волоча за собой шинель. Проходя мимо людей, старался не встречаться с ними взглядом. Потом сел на бугорок и вдруг почувствовал, что голова у него тяжелеет, будто наливается свинцом.

Глаза сомкнулись, но заснуть он не мог. Шмая не знал, сколько просидел так. Он вздрогнул, почувствовав, как кто-то положил ему руку на плечо. Обернулся и увидел соседку, которая недавно так тепло говорила о покойной. Она подала ему подушку:

— Приляг, Шмая, отдохни... Возьми себя в руки. Ее уже не воскресишь, а тебе жить нужно... Что ж поделаешь, все мы смертны... Вот подушка, приляг, дорогой, ведь ты совсем обессилел... Может быть, чья-нибудь мать и моим сыновьям подушку под голову положит... Где-то они теперь?.. Ты их, может, помнишь, они вместе с тобой в один день ушли на войну.

Шмая не отвечал. Он опустил на листья, подложил под голову подушку и накрылся с головой шинелькой.

— Тише там! Пусть человек немного поспит... — зашептали вокруг.

— Уймите вашего крикуна! Человек спит...

— Отойдите со своим крикуном подальше... Заткните ему рот!..

Стало тихо. В наскоро сколоченных шалашах люди устраивались на ночлег, с любовью и признательностью поглядывая на человека, который спал под шинелью.

Шмая не мог определить, сколько времени он продремал. Проснулся от какого-то странного шума и широко открыл глаза. Несколько секунд смотрел в одну точку, не понимая, где он находится и что это за шум. Потом приподнялся, расправил плечи, прислушиваясь, ловя возгласы соседей.

— Что тут сидеть? — ворчал старик с длинной бородой, в рваной куртке, с ермолкой на голове. — Сбежались сюда, голые, босые, голодные, и ждут... Чего? Надо идти в местечко... домой... Нужно предать земле тела погибших... Грех берем на свою душу, оставляя их не погребенными... Пойдемте домой!..

— Вы что, реб Арье? — спокойно сказал Шмая. — Завидуете умершим? Куда это вы собрались?..

— Мерзнем!.. Детей нечем кормить, нечем укрыть...— всхлипнула молодая заплаканная женщина.

— Нужно покончить с этой цыганской жизнью! Если умирать, так лучше уж у себя дома...

— Один черт, что от пуля, что от холода...

— Сколько можно тут сидеть?..

— Зачем он нас притащил сюда, в лес?..

— Кто это — он?

— Шмая-разбойник...

— Жenu уже похоронил, теперь нас похоронить хочет!..

— Как вам не стыдно! Разве не грешно так о нем говорить? Он в огонь пошел, чтобы нам одеяла и подушки привезти, а вы его поносите!.. Совсем совесть потеряли!..

— Есть нечего... Мерзнем...

— И чего мы тут будем ждать? Пойдемте домой!.. К своим развалинам, к своим очагам...

С разных сторон доносились возбужденные возгласы. В шуме трудно было что-либо разобрать.

Шмая-разбойник стоял в стороне, будто все это его не касалось. Он молчал. Его обступили, ожидая, что он что-то скажет, но тишью. Только когда женщины стали его дергать за рукав, требовать, чтоб он заговорил, кровельщик, выждав, пока шум утихнет, промолвил:

— Чего вы ко мне пристали? Я тут не начальник, не хозяин... Поступайте, как знаете...

— Так бы сразу и сказал!.. Пошли, чего вы на него смотрите?..

— А на кого же мы будем смотреть, реб Арье? На вас, на вашу ермолку? Если бы мы вас послушались, то неизвестно, под какими развалинами лежали бы наши кости. Спасибо ему, Шмае, что спаслись...

— Ну и оставайтесь здесь с ним, а мы идем домой! — крикнула женщина с двумя малютками на руках.

Она уже сделала несколько шагов по направлению к дороге, но заметив, что все стоят на месте, остановилась.

— Шмая-разбойник привел нас сюда, — вмешалась маленькая полная женщина со вздернутым носом. — Он и должен сказать, что делать дальше... Неужели он хочет, чтобы нас постигла такая же судьба, как его жену?..

— Он ведь был солдатом... Ефрейтором... Больше нас понимает. Пусть скажет, — зашумели все вокруг.

— Я не знаю, что вы собираетесь делать, — наконец отозвался Шмая. — Но мы с Хацкелем, и, может быть, еще

кто-нибудь, останемся пока здесь, в лесу... Скоро вернется отряд, с ним и пойдем...

— Пусть остается в лесу, а мы пошли домой!.. Он — солдат, привык валяться в окопах, а мы за чьи грехи должны тут страдать? — вырвалась из толпы высокая худая женщина, закутанная в черную шаль, и, взяв на руки ребенка, взвалив узел на плечи, решительно двинулась к дороге. Она шла быстро, не оглядываясь, но, почувствовав, что никто за ней не пошел, вернулась. — Что же вы стоите, как бараны, на Шмаю-разбойника глаза таращите?..

— Чего ты на человека напустилась, ведьма! — заикаясь сильнее обычного, оборвал ее Хацкель. — Человек в трауре, а ты...

— Все мы теперь в трауре! — перебила она его, зло посмотрев на балагулу. — Но не лечь же нам тут на землю и умереть!..

Она сделала несколько шагов к толпе и, найдя глазами кровельщика, продолжала:

— Чего ж он молчит, когда все ждут его слова?.. Раньше, бывало, и просить его не надо было, рассказывал одну басню за другой, сыпал свои истории, как из мешка, а теперь молчит. Или слово у него стало на вес золота?..

— Зиночка, душа моя, перестань! — стал уговаривать ее кто-то из стариков. — Грешно так говорить... Человек траур по жене справлять должен, а ты к нему пристаешь...

Воцарилась тишина. После недолгого молчания снова послышался женский голос:

— Скажи, Шмая, что же ты все-таки посоветуешь делать?..

— Я одно знаю: пока нельзя идти в местечко... Банда близко... Может нагрянуть...

— А разве сюда они дороги не найдут?

— Думаю, сюда они сейчас не придут... А если придут... Что ж, есть у нас несколько винтовок, лопаты, топоры... Будем драться, драться за свою жизнь, за справедливость. Известно, что грабить, убивать безоружных людей могут только самые отпетые подлецы, трусы. Но покажешь собаке палку, и она от тебя убежит, как черт от ладана... Вы только надейтесь не на бога, а на себя...

Стало тихо. Люди напряженно вслушивались в слова кровельщика. Кажется, никогда еще они его не видели таким взволнованным. Трудно было узнать в этом решительном, непоколебимом человеке всем знакомого весельчака, балагура, который постоянно смешил и забавлял их.

И понемногу люди стали расходиться по своим местам, забираться в свои норы, шалаши, устраниваться, как могли.

Над лесом висело хмурое небо. Тучи постепенно тускнели. Никому не спалось. Тревожно было на душе. Будущее ничего хорошего не предвещало.

Наступило долгожданное утро. Оно прошло в больших хлопотах. Шмая расставил повсюду часовых. Он ни минуты не сидел на месте, следил за тем, чтобы детвора не шумела, люди не выходили на опушку, чтобы все утепляли свои шалаши.

А как только сгустились сумерки, он снова велел Хацкею запрячь лошадку. Нужно было попытаться пробраться в соседнее село — достать там хлеба, картофеля, молока для детей.

— Да, сглупил я... — сказал балагула, почесывая затылок. — Черт меня дернул пригнать сюда свою клячу... Был бы я тут один, не гонял бы ты меня каждый раз то сюда, то туда... Сидел бы я спокойно, как все...

— Что ж делать, друг мой? — развел Шмая руками. — Люди голодают... Женщины, дети! Кто ж еще поможет им? Запрягай скорее, ничего с тобой не станется, если поедешь...

— Я все понимаю, но от этого мне не легче... Съездить бы в местечко, собрать бы свои пожитки... Может, огонь хоть что-нибудь пощадил! И Лию похоронить надо... Большой грех беру на душу...

— Разве ты один?.. Ничего не поделаешь, нужно ехать!..

— Что ж, поехали... Гайда!

Посоветовав людям не расходиться и приказав часовым смотреть в оба, друзья двинулись в путь.

Люди с тоской смотрели вслед уезжавшим, а когда те скрылись в гуще леса, снова принялись за работу.

Дождь незаметно прекратился, но ветер все усиливался. Тревожно шумели дубы, роняя на землю покорежившиеся листья. Все пестрее становился на земле ковер из желтых, пожухлых листьев.

Стало совсем темно. Везде только и говорили, что об уехавших, прикидывали, сколько туда, до деревушки, пути, когда они туда доберутся и когда можно их ожидать обратно. Счет времени вел реб Арье. По его сосредоточенному лицу люди гадали, пора ли уже начать волноваться или еще

рано. Чтобы скоротать время, старик рассказывал землякам всякие истории из времен Александра Македонского, о восстании Бар-Кохбы, и люди не заметили, что настала уже глубокая ночь.

Реб Арье умолк. Поднялся с земли и начал нервно шагать взад и вперед, глядя в ту сторону, откуда надо было ждать Шмаю и его спутников.

Время тянулось мучительно долго. Люди стали волноваться, но больше всех сокрушался реб Арье. В такое время рисковать жизнью! Не схватил ли их кто по дороге, не пострадали ли эти хорошие люди? Хотя балагула и не пользовался в местечке особенно доброй славой, но теперь все готовы были простить ему его грешки и думали о нем с теплотой, как и о кровельщике, которого издавна любили.

— Эх люди, люди! — бормотал реб Арье. — Погнать евреев на верную гибель... И ради чего? Ради своей утробы!.. Можно бы и попостить несколько дней. Бог помог, и мы выбрались из такого горя, неплохо бы воздать всевышнему хвалу, объявить пост...

— Не беспокойтесь, дедушка, мы достаточно попостили... Посмотрите на детей, и вам сразу станет ясно... А кто знает, сколько еще придется здесь голодать...

— Поверьте, реб Арье, — отозвалась тщедушная старуха в черных очках, — я могу не есть и три или четыре дня, но не забывайте, что с нами маленькие дети... Их нужно чем-то кормить...

Старик сердито махнул рукой и отошел в сторону, опустился на землю и стал что-то шептать.

Но через несколько минут он перестал шептать, припал ухом к земле, и длинное бородатое лицо его, казалось, вытянулось еще больше.

— Ну-ка, тише, кажется, кто-то едет сюда!.. — воскликнул он.

— Да, едет... Только неизвестно кто. Может, новая беда нас ждет...

— Бросьте разводить панику! Кто ж еще, кроме наших, может сюда сейчас ехать?

— А что, если бандиты?..

— Откуси себе язык!..

— Кажется, Шмая... А может быть, и не он...

Люди пристально смотрели в ту сторону, откуда доносился скрип телеги. Кто-то из часовых направился к дороге и, щелкая затвором винтовки, крикнул:

— Стой, кто идет? Стрелять будем!..

— В кого же ты собираешься стрелять? — не сразу донесся знакомый голос из глубины леса, и люди просияли.

— Ты, Шмая?

— А кто ж еще? — послышался оживленный голос, такой близкий и родной. — Кому еще в такое смутное время по лесу шляться, как не разбойнику?

Все с облегчением вздохнули. Судя по ответу, Шмая возвращался не с пустыми руками.

Телега остановилась, и подбегавшие люди увидели корзины с хлебом, крынки молока, мешки с картофелем. Беженцы окружили подводу, глядя жадными, голодными глазами на продукты, благодарили кровельщика и балагулу.

Шмая стоял в стороне, смотрел на оживленных людей и, отмахиваясь от благодарностей, говорил:

— Не за что меня благодарить... наших соседей из Лысогорки благодарить надо... Есть еще добрые люди на свете... Последнее нам отдали. Они тоже бедствуют. И туда ворвались бандиты, забрали, что могли, и расстреляли десять мужиков. За то, что за большевиков агитировали... Времечко! Никому нет житья...

Шмая закурил самокрутку, глубоко затянулся, покачал головой и, видя, как истово реб Арье возносит молитву всевышнему, продолжал:

— Не за что нас с Хацкелем благодарить. Его поблагодарить надо... — указал он пальцем на небо, — всеблагого... Он там сидит за облаками и только то и делает, что заботится о бедном люде... Не нравится ему, что мы спокойно спим на своих топчанах, вот он и посылает на нашу голову войны... Не нравится, что мы разделились с Николкой и его подручными, что мы вернулись живыми из окопов, вот и посылает гайдамаков, петлюровцев, а те из пушек бьют по нашим крышам, жгут дома, убивают нас... Милостивый бог выгоняет нас в лес, чтобы мы свежим воздухом дышали, жили, как на даче... Вообще-то старик нас не забывает... Только уж слишком сильно он нас полюбил, слишком о нас заботится, видно, очень щедрый...

— Шмая, сын мой, что за речи? — дрогнувшим голосом прервал его реб Арье. — Нельзя роптать на судьбу... Нельзя! Это большой грех! Замолчи, прошу тебя, не вызывай гнева господнего, а то погубишь нас всех...

— Нам уже, реб Арье, бояться нечего, — слегка улыбнулся Шмая. — Наш паек горестей и мук господь бог выдал нам с лихвой...

Он махнул рукой, выбросил изо рта, растоптал ногой окурок и направился взглянуть, как устроились в шалашах беженцы.

Увидев, что две женщины роют землянку, сбросил с плеч шинель, взял в руки лопату и стал помогать им, ловко выбрасывая землю наверх.

Реб Арье с наслаждением ел кусок хлеба, запивая его молоком. Глядя издали на Шмаю, он кивнул Хацкелю, сидевшему на своей телеге.

— Что-то слишком он оживлен, Шмая... Не пьян ли ча-сом наш разбойник?

— Как вам не совестно? Старый человек, а такое бол-тает!..— обиделся балагула.— Кому теперь чарка в голове? Если он пьян, то только от горя... Что вы, шутите? Такой удар обрушился на него... Желудок похоронил... Думаете, он мало страдает? Но он только с виду такой спокойный. Не знаете разве нашего разбойника?.. У самого душа разры-вается, а он старается, чтобы люди о своих горестях мень-ше думали, вот он и веселит их... Но это сквозь слезы... Душа в нем плачет... Я всю дорогу за ним наблюдал, видел, как мучается человек...

Вокруг Шмай-разбойника уже собрались беженцы.

— Ничего, люди добрые, не будем горевать...— говорил он.— Сейчас построим здесь парочку дворцов и заживем, как графы, как помещики! Тут у нас будет не жизнь, а рай! Никакой тебе квартирной платы, никаких налогов. Благо-дать! Чего нам жить в тесноте там, в местечке?.. Пора и нам на дачи, как буржуям!.. Дышите только свежим воздухом, люди! Это, ей-богу, бесплатно! Правда, немного холоднова-то и голодно, но привыкайте, рабы божие...

Он негромко затянул песенку, привезенную с войны. Окружающие смотрели на его заросшее лицо, озаренное сиянием месяца, и молча слушали, как лился из уст Шмай-разбойника задушевный мотив:

Как осколок от гранаты
В грудь солдату угодил,
Только верный конь солдата
До могилы проводил.

Только птицы над могилой
Пролетают в вышине.
Ой ты, ворон чернокрылый,
Что закрыл ты очи мне?

— Снова в нем солдат заговорил...— проворчал реб Арье.

— Только песен нам сегодня не хватает...— поддержал его кто-то.

— И что за человек? Пойми его... Плакать надо, он поет...

— Вместо того чтобы человека оговаривать,— не сдержался балагула,— возьмите лучше лопаты и помогите ему... Будете без дела стоять, пятки замерзнут...

Не обращая внимания на разговоры, Шмая продолжал копать, напевая свою песенку.

К нему подошла старая женщина в большом черном платке и укоризненно сказала:

— Не надо теперь петь, сын мой... Рано веселиться в твоём положении... В другое время тебе надо было бы семь дней сидеть на полу, посыпать голову пеплом... Нехорошо, сынок, в такое время петь и шутить... Горе у тебя большое...

Слова эти больно задели нашего кровельщика. Он помолчал, погруженный в тяжелую думу, и не скоро, вытерев рукавом пот на лбу, ответил:

— Эх, мамаша, кабы мы этой самой меланхолии волю дали, так нас бы давным-давно на свете не было... Один мудрец, веселый нищий, сказал однажды, что день, прожитый без шутки, без улыбки, без смеха,— это потерянный день... Теперь, правда, шутить трудно, понимаю. Но не надо нам горевать. Мы еще посмеемся и повеселимся всем врагам назло. Эх, братцы мои, рассказал бы я вам одну забавную историю, да коли на то пошло, отложим это на другой раз.

Балагула подошел ближе, растолкал всех, взял лопату в руки, спрыгнул в яму и тоже начал копать.

— Скажи мне, милый,— обратился он к Шмае,— скажи мне, если это не секрет, сколько лет прожил твой дед?

— Почему ты вдруг вспомнил моего деда?

— Все-таки скажи...

Шмая посмотрел на соседа с удивлением, не понимая, к чему вдруг человек задает такой вопрос.

— Сколько он прожил? Если память мне не изменяет, дед мой жил ни много ни мало сто шесть лет...

— А отец?

— Э, мой отец, кабы не был убит под Порт-Артуром, тоже дотянул бы до сотни...

Хацкель, задорно улыбаясь, похлопал его по плечу:

— Человек вроде тебя, Шмая, должен жить худо-бедно лет сто двадцать... Даже полтора ста...

— Это за что мне такое наказание?—удивился Шмая.— Разве на моей совести больше грехов, чем было у деда, у отца? Разве я кому-нибудь зло причинил?

— Считаешь, это наказание — долго жить? — уставился на него балагула.

— В теперешнее время, конечно, наказание! — ответил кровельщик.— Ты себе представляешь, сколько за такое время может быть войн, и мне, значит, только и знать, что рыть окопы, стрелять... Нет, с меня хватит! Нанюхался пороку и за внуков и за правнуков... А что-то не вижу, чтобы на земле лучше жить становилось... Прошу тебя, не желай мне долгих лет жизни... Уволь...

Он поднял голову, взглянул на кроны застывших дубов. Тихо было в лесу, будто и он, устав все время стонать, собирался отдохнуть. Но откуда-то налетел ветерок, и деревья зашуршали. Ветер с каждой минутой усиливался, и листья медленно падали на шалаши. Стали собираться тучи со всей округи, и незаметно снова начал накрапывать дождь, по которому никто еще не успел соскучиться...

Ночью лес расшумелся, словно перед бурей. Холод пробирал до костей, и трудно было уснуть. Люди жались друг к другу, кутались в ветхие одежды, в одеяла и тряпки, устраивались кто в шалахах, кто в землянках, а некоторые просто бегали взад и вперед, чтобы согреться.

Хоть со стороны местечка не слышно было шума — там оставалось мало людей,— но Шмая со своими товарищами, вооруженными чем попало, бодрствовал, охраняя ночной табор, успокаивая всех то шуткой, то прибауткой.

Ночь плыла над лесом. Стонали старые дубы, будто устали стоять, принимая на себя порывы ветра, ярость бурь. По небу мчались тучи, проносясь куда-то в неведомые края, а на смену им появлялись другие, уже менее грозные, с большими просветами, в которых проступали звезды, холодные, невеселые.

Долго карабкалась среди нагромождения облаков луна, то показываясь, то надолго исчезая. Но вот, выбрав подходящее местечко, протиснулась меж легких облаков и осветила дорогу, убегающую в местечко, к тракту.

Подпрыгивая на одном месте и пряча лицо в колющий воротник шинели, Шмая всматривался в даль.

— Холера его знает,— сказал он ребятам, толпившимся вокруг него.— Если бы знать, что так долго придется нам тут прохлаждаться, вырыл бы траншею или окопчик... Все же теплее. Уже коль воевать, так воевать...

— Ох и надоело здесь! Скорее бы домой...— тихо сказал молодой курносый паренек.— Люди бедствуют, дядя Шмая...

— Знаю... Но думаю, что отряд уже вот-вот вернется, тогда...

— А тогда что будет?

— Тут, брат, и министры не знают, что будет, а ты меня спрашиваешь,— задымив толстой цигаркой, отозвался Шмая.— Керенский адвокатом был, и язык у него как на шарнирах, на это и надеялся, думал, что удержится у кормушки, то есть у кормила, а его схватили за одно место и выставили... Большевики в России взяли власть. Там уже легче стало. А вот в Киеве, говорят, такая каша заварилась!.. Центральная рада, синезупанники, петлюровцы, и даже сатана не разберет, кто там верховодит...

Он задумался и, глядя на озабоченного парня, добавил:

— Слышал я, что рабочие подняли восстание... Почти скинули было Петлюру, юнкеров, да сил не хватило, и их разбили. Опять батки у власти... В такой неразберихе и сам черт ногу сломит...

Вдруг Шмая умолк. Издали донесся стук колес. На дороге слышались голоса. Лицо его стало напряженным: что, мол, еще за напасть? Ребята-часовые испуганно смотрели на него.

Грохот колес все усиливался.

— Что это? Может, сюда? Банда?..

— Надо разбудить людей! — закричал подбежавший балагула.

— Погоди!.. Детей перепугаем,— остановил его Шмая.

— А если они начнут стрелять, разве дети не испугаются?..

— Что будет, если бандиты сюда ворвутся?

— Как это — что будет? — уставился на него кровельщик.— Есть у нас четыре винтовки, два топора, несколько лопат — будем драться. Снимай-ка с воза оглобли... Себе одну и рыжему — вторую... Только смотрите, держаться до конца, поняли?..

— Поняли,— раздались неуверенные голоса,— поняли!

Перезарядив винтовку и перебегая от одного дуба к другому, Шмая приблизился к дороге, поднялся на буторок.

На дороге, в тусклом сиянии месяца, вынырнула крестьянская подвода, за ней вторая, третья. За подводами шли

какие-то люди в свитках, понукая усталых лошадей и мирно беседуя между собой.

Шмая тревожно следил за ними и, как только они выехали к развилке дороги, вышел им навстречу и, вскинув винтовку, крикнул:

— Стой! Кто идет?

Подводы остановились. Люди, сопровождавшие их, сбились в кучку, испуганно глядя на вооруженного человека. Минуту спустя кто-то неуверенно отозвался:

— На ярмарку едем... Из Петровки...

Шмая переглянулся с подоспевшими товарищами и подошел к возам.

Неожиданно он услышал знакомый голос:

— Шмая! Что ж ты, разбойник, своих не узнаешь? На кого винтовку наставил? Михайла Шевчука не помнишь? Эх, брат...

Шмая оторопел, всматриваясь в лицо худощавого человека, шедшего к нему с раскрытыми объятиями. Глаза кровельщика заблестели. Он смущенно улыбнулся и опустил винтовку, чувствуя неловкость оттого, что не узнал старого однополчанина и друга.

— Ты смотри! Михайло Шевчук? Каким ветром? Куда это тебя несет в такое время?

Они поздоровались, обнялись. Все удивленно смотрели на них, подходя ближе.

Михайло Шевчук, подвижный, еще молодой человек с большими синими глазами, одетый в потрепанную свитку, рваные сапоги, сочувственно смотрел на осунувшегося друга, на несчастных людей, окружавших его, и, с горечью и болью качая головой, неторопливо проговорил:

— Второй день рвемся к вам... Слышали, как бандюги били из пушек по местечку, видели, как жгли вас, чтоб их гром побил... Ну, собрали мы в селе, что могли, и повезли вам... А по дороге нас бандиты схватили, еле от них отбились... Не дают вам хлеба подвезти. С трудом пробились в местечко, а там — пусто... Какая-то старушка нас сюда направила... Вот и привезли, что можно было... Возьмите. Верно, люди голодны...

Шмая смотрел на однополчанина и не мог скрыть невольных слез.

— Спасибо, дорогие! Век не забудем... Уж не знаю, как и благодарить вас. Спасибо...

— Да за что благодарить?.. В беду вы попали... Все мы попали в беду...

— Боже мой, боже мой! — вмешалась в разговор Ковалиха, пожилая полная женщина, закутанная в клетчатый платок. — Ворвались, душегубы, в село, согнали всех крестьян на сход возле церкви, шестерых наших хлопцев повесили. За красных они были... Сожгли несколько хат, откуда хозяева к большевикам подались... Грозилась, если кто повезет хлеб в местечко, всех постреляют... Слыханное ли дело, разбили местечко, хлеба людям подвезти не дают!.. Такого свет еще не видал!..

— Страшно было ехать, но что поделаешь... Знали, что вы с малыми детьми страдаете, вот и вырвались...

Посланцев из Петrivки окружила толпа беженцев. Слушая сердечные слова крестьян, люди плакали и не знали, как благодарить их.

Глядя на Михайла Шевчука, Шмая вспоминал совместную службу и поездку в теплушке через всю Россию в родные края. Еще вспомнил, как он, Шмая, ходил, бывало, с отцом в Петrivку чинить людям крыши, как всегда останавливались они на ночлег у Шевчуков. И как Михайло со своим отцом приезжал к ним в гости... Припомнил Шмая и Ковалиху, которая, бывало, любила смотреть, как он латает крыши людям, и слушать его веселые, а подчас озорные шутки. Муж ее погиб на войне, и она осталась с двумя детьми. Теперь Ковалиха стояла возле подводы и раздавала людям хлеб, крынки молока, картофель, морковь и все, что успели они собрать впопыхах среди своих односельчан.

Никто в лесу уже не спал. Беженцам казалось, что все это происходит во сне. Не верилось, что в такую трудную пору придет откуда-то помощь. А она пришла так неожиданно и своевременно!

Взглянув на пустые возы, на горку сгруженных продуктов, которую окружили изголодавшиеся беженцы, Шмая сказал:

— Если б вы знали, добрые люди, как вы нам душу согрели, как дорого нам то, что вы пришли к нам на помощь! И не столько ваш хлеб нам дорог, дорого то, что есть настоящие люди на земле! Спасибо вам!.. Мы всегда будем помнить этот день... Гора с горой не сходится, а человек с человеком...

— Большое спасибо, Михайло! Спасибо, дорогие! — раздались возгласы со всех сторон.

Михайло Шевчук был смущен и не знал, что сказать в ответ.

— Я простой человек... — тихо проговорил он. — И Кова-

лиха, и Хома Линчук, и все, что со мной приехали... Мы хотим, чтобы вы знали и детям своим передали: среди тех, кто надругался над вами, есть немало таких, кто разговаривает по-украински, поет песни, которым матери их научили, живут по соседству с нами. Но поверьте, что мы их ненавидим так же, как вы их ненавидите. Мы шлем им такие же проклятья, как и вы. Самые страшные проклятья... Это кулацкие сынки, выродки, которым все равно, чью кровь проливать, кого грабить и мучить. Они хотят, чтобы все было по-старому...

Михайло на мгновение задумался, а затем продолжал:

— Пойдите к нам, в Петровку, и вы увидите, как висят возле церкви наши товарищи... А за что? За то, что они боролись за волю... У нашего народа никогда не было и нет вражды к вам... Вот спросите Шмаю... Мы с ним вместе в окопах гнили, вшей кормили, вместе страдали... Разве у нас была когда-нибудь с ним вражда? Разве там, в окопах, мы говорили: «Ты украинец, ты — русский, а ты — еврей?» Не было этого! Среди простых людей никогда этого не было! И не будет! Вражду сеяли и сеют кулаки, бандиты, разные батьки-атаманы... Но настанет время, когда исчезнет навсегда эта вражда. Трудовой, честный человек — значит, наш, брат нам! Правду я говорю или нет? Крепитесь, люди! Не падайте духом...

Со всех сторон слышались одобрительные возгласы.

Михайло Шевчук посмотрел на восток. Время шло быстро. Нужно было спешить.

Посланцы Петровки уже сели на подводы, но Ковалиха задержалась и, посмотрев на женщин, кутавших в одеяла своих малышей, сказала:

— Может, заберем с собой в село ваших ребятишек? Жалко ведь... Померзнут... Спрячем их у себя, будем беречь, как своих. А утихнет, привезем обратно...

— Что вы! — зашумели женщины. — Что с нами будет, то и с детьми...

— Скоро домой пойдем. Не вечно же нам в лесу торчать...

— Когда-то еще удастся вернуться домой? — вставил балагула, который все время молчал, прислушиваясь к взволнованным словам Михайлы Шевчука.

Шмая неласково взглянул на соседа:

— Что ты болтаешь? Зачем говорить глупости? Долго так продолжаться не может. Скоро Советская власть у нас будет. Тогда...

Шмая подошел к телеге, на которой сидел Шевчук, и обнял его:

— Еще раз спасибо тебе и всем твоим землякам. Дай им бог здоровья. Когда видишь хороших людей, легче на душе становится. Я знал, что на земле больше хороших людей, чем плохих...

— Это ты, Шмая, хорошо сказал, — ответил Шевчук. — Очень хорошо ты сказал. Знайте, мы не оставим вас в беде...

Через несколько минут подводы тронулись и быстро покатили в сторону Петровки.

Взволнованные, взбудораженные, растроганные, провожали их беженцы. Махали вслед руками, фуражками. Людям казалось, что сквозь ночной мрак засияло солнце, ясное, неугасимое, как сама жизнь человеческая.

Дни стояли серые, сумрачные, ночи — черные, безлунные. Время тянулось, как вечность. Ветер бушевал среди могучих дубов. Люди выходили на дорогу, но не обнаруживали на ней никаких признаков возвращения отряда, и тревога за его судьбу все больше охватывала беженцев.

Некоторые семьи, несмотря на все уговоры, покидали лесной табор, пробирались в местечко, на родные пепелища.

В эти дни Шмая-разбойник и Хацкель крепко сдружились. Все поражались: разные они и по характеру, и по взглядам и повадкам, а тяжелое время так сблизило их, что казалось, будто дружат они с детства. Оба жили в одном маленьком шалаше, укрывались одной шинелькой, служившей им и одеялом, и подушкой, ели из одной миски, сменяли друг друга в карауле, охраняя покой измученных людей.

Как-то в предрассветный час, когда Шмая только что сменил товарища и медленно расхаживал по лужайке, он услышал со стороны местечка необычный шум, увидел там огни. Одновременно с ним этот шум услышал еще кто-то и подошел к кровельщику. Скоро все беженцы были уже на ногах. Тревога охватила людей.

— Что ж это, бандиты? Мало нас терзали и грабили?!

— Решили, верно, камня на камне в нашем местечке не оставить... Сровнять все с землей...

— Тише! Замолчите! Что вы расшумелись, как вороны! — не сдержался кровельщик. — Зачем гадать, кто туда пришел. Погодите, я пойду посмотрю...

— Куда, сын мой, да еще с винтовкой! Оставь ее здесь... Увидят у тебя оружие, хуже будет... Добром с ними надо, только добром... Так наши предки учили,— подошел к нему реб Арье,— так в священном писании сказано.

Шмая укоризненно посмотрел на старика, покачал головой:

— Вы старый человек, и я не должен с вами ругаться, реб Арье, но могу вам сказать, что вы напрасно беспокоите предков... Вы смотрите в священные книги, а предков не понимаете. Они не призывали, как вам кажется, к смирению. Когда на них нападали, они сражались за свою жизнь, за свою свободу... Вы плохо знаете историю!

Не выдержал и Хацкель, подошел к ним:

— Знаете, реб Арье, что я вам скажу? Идите на свое место, спите или читайте псалмы!.. А советы ваши нам не нужны! Обойдемся без вас!..

— Да, без меня!..— огрызнулся рассерженный старик, поправляя ермолку на голове.— Хороши у нас дела, если нами заправляют кровельщик и балагула! Все прахом пойдет...

— Коль мы вам не нравимся,— перебил его Хацкель,— так вы имеете полную возможность не быть с нами сватами... А Шмая-разбойник дело говорит. Хотя он и не шибко разбирается в священном писании, зато у него на плечах хорошая голова. И если б его учили столько, сколько вас учили, он был бы — ого!

— Боже мой, нашли время ссориться!.. Тут все в опасности, а они грызутся!.. Что вы там не поделили? — вмешалась в разговор старуха в черных очках.— Делать вам нечего?

— Замолчите! — прикрикнул на нее Шмая.— Слышите, как там шумят?

— Я могу перед амвоном поклясться, что оттуда слышится еврейская речь...

— Еще чего придумала!

— Вот послушайте...

— В самом деле... Точно!

— Стало быть, не банда туда пришла... Наши!

— Может, это лишь хитрость бандитов?

— А знаете, что я слышал? — отозвался хромой парень, который все время держался поближе к Шмае.— Я слышал, что у Петлюры в Киеве есть какое-то еврейское министерство... И министр еврейский у них есть.

— Очень интересно,— перебил его кровельщик.— Что ж

это за еврейский министр, который помогает Петлюре погромы устраивать?

— А может, этот министр приехал в местечко и хочет повидаться со своими единоверцами?..

— Разве он наш единоверец, если снюхался с Петлюрой?

— А что, если это наши, из отряда?..

— Ну хватит! — отозвался Шмая-разбойник. — Мы с Хацкелем пойдем туда. Посмотрим, кто это прибыл...

И, приказав всем оставаться на местах и не подымать шума, он вместе с балагулой направился в сторону местечка.

Густой мрак сразу же окутал их фигуры.

Друзья двигались медленно, осторожно оглядываясь по сторонам, напряженно прислушиваясь к шуму, доносившемуся со стороны местечка. Затаив дыхание, шаг за шагом они приближались к околице Раковки.

Вскоре Шмая и балагула стояли, окруженные заросшими щетиной, усталыми дружинниками, отвечали на вопросы, рассказывали о великом горе, свалившемся на них.

Шмая всматривался в лица бойцов, вооруженных чем попало и кое-как одетых. Тут было несколько незнакомых солдат в кожаных куртках, с красными бантами на шапках. Шмая успел узнать, что это дружинники из уезда, которые вместе с отрядом участвовали в жарких схватках с бандой...

Кровельщик о многом хотел расспросить, многое рассказать, но он знал, что там в лесу его с нетерпением ждут, и он помчался со всех ног сообщить землякам о прибытии отряда, сказать, что уже можно возвращаться к своим очагам.

Кажется, никто и не заметил, как на востоке начало светать, как настало утро. Так же незаметно пошел чистый, мягкий снег — первый снег, прикрывший груды пепла и развалин на притихших улицах растерзанного местечка.

Неся на плечах чей-то узел, а на руках — чужого ребенка, Шмая шагал в центре взволнованной, шумливой толпы беженцев. Глядя на плакавших женщин, он прикрикнул:

— Что вы! Разве теперь нужны слезы? Радоваться надо! Говорил же я вам сто раз: не теряйте надежды, после бури настанет ясный день!.. Это уж закон такой, и никто его не отменит!..

ГОСТЬ С ТОГО СВЕТА

Душой местного ревкома и боевой дружины, славившейся в окрестностях своими ратными делами, были загадочные друзья — сын портного Фридель Билецкий, или, как Шмая его прозвал, Фридель-Наполеон, и Юрко Стеценко, сын механика Берняцкого сахарного завода...

Почему, спросите, Наполеон? Во-первых, разве может быть в местечке человек без прозвища? А во-вторых, где вы встретите еще такого стратега, который с кучкой бойцов наводит на бандитов панический страх? В самом деле, если б не он и не его друг Юрко Стеценко, дружинников давно бы стерли в порошок. Людей-то в отряде не бог весть сколько, да и оружия — кот наплакал.

Кроме того, Фридель Билецкий отличается необычным спокойствием и неторопливостью. Бывало, попадает отряд в тяжелое положение: кажется, все погибло, а он, Наполеон, ни на минуту не теряя спокойствия, внушает всем веру в победу. Посмотрит своими большими светлыми глазами на дорогу, поле, на приближающегося противника и спокойно отдает точный приказ, как каждому действовать. А где труднее всего, туда он сам с Юрком идет...

Откуда у него это? Никто не может сказать, что он проходил военные науки, побывал на курсах или был каким-то начальником на войне. Нет. На войне ему не довелось быть по той простой причине, что его, Юрка Стеценко и еще троих студентов, приехавших с ними в местечко на каникулы задолго до мировой войны, жандармы накрыли, когда они печатали революционные листовки, призывавшие бороться против самодержавия.

Поймали, как говорится, на горячем...

Все местечко высыпало на улицу, когда закованных в кандалы Билецкого, Стеценко и их товарищей гнали по этапу в Киев. С высоко поднятой головой шли они в своих студенческих куртках и форменных фуражках, не боясь окруживших их казаков с обнаженными шашками. Они глубоко верили в свое великое дело, и, если б любого из них тогда отпустили, они снова пошли бы по тому же пути, опасному и рискованному...

С ужасом в глазах смотрели на арестованных жители Раковки. Каждый хорошо знал и Фриделя и Юрка. Оба учились в одной школе, жили в доме у отца Билецкого.

Вместе готовились к экзаменам и вместе уехали в Киев учиться. Пережили немало мытарств, пока попали в университет...

А вот, окруженные озлобленными казаками и жандармами, шли гордо рядом, зная, что впереди их ждет страшная кара...

За этой необычной процессией плелись с котомками за плечами двое стариков, согнувшихся под тяжестью свалившегося на них горя. Это были местный портной Хаим Билецкий и механик сахарного завода Василь Стеценко.

Казаки издевались над ними, уже не раз огрели их плетью, но старики не отставали, умоляя разрешить им передать сыновьям на дорогу котомки с сухарями... Ведь их могут отправить далеко, может быть, в Сибирь... А казаки посмеивались, замахивались шашками, нагайками:

— Да отстаньте вы, черти проклятые! И не беспокойтесь о своих выродках. Там, в Сибири, их досыта накормят, только не сухарями...

После мучительного этапа студентов загнали в Лукьяновскую тюрьму, где их долго мучили, пытали и откуда наконец потащили в суд, на расправу. За подготовку заговора против самодержавия и агитацию против царя бунтовщиков приговорили к смертной казни через повешение и только в последнюю минуту спохватились, что это противоречит действующему закону. Ведь арестанты еще не достигли совершеннолетия,— а не разрешалось отправлять на виселицу несовершеннолетних щенков. И смертный приговор им заменили вечной каторгой в сибирских рудниках. Заковали в кандалы и отправили этапом по Владимирскому тракту в Сибирь...

Старый портной Билецкий, как и его приятель Василь Петрович Стеценко, долго не могли прийти в себя. Разве они знали, чем занимаются в Киеве их сыновья? Радовались, что уже вывели своих детей на дорогу, обеспечили им хорошее будущее... Кто бы мог подумать, что ребята вместо того, чтобы заниматься наукой, ударились в крамолу, стали мятежниками и поднялись против царя...

Механика Стеценко с волчьим билетом выгнали из завода, и никто не хотел принимать его на работу...

Не легче пришлось и старику Билецкому. После того как в доме портного побывали жандармы с обыском и учинили там настоящий погром, заказчики стали обходить его стороной. Все знали, что дом этот находится под особым надзором, что дважды в неделю из волости приезжает жан-

дарм и заводит со старым глуховатым портняжкой всякие разговоры, расспрашивает, не приезжал ли к нему кто-нибудь из студентов, кто пишет ему письма. То, что жандармы зачастили к портному, окончательно отогнало от него всех заказчиков. С тех пор дорожка к его дому заросла бурьяном, а швейная машина и стол покрылись пылью...

Вскоре, не пережив осуждения единственного сына, умерла мать. Теперь старик коротал свои дни, не переставая плакать о сыне, ожидая от него весточек и мечтая хоть раз еще увидеть его. Но бедняга так и не дождался этого счастья...

— Революция застала узников-каторжан далеко в Сибири, на Енисее. Сбив с ног тяжелые ржавые кандалы, оставившие на них знаки на всю жизнь, они стали пробираться домой. Прибыли на родную Украину, в Киев, в дни восстания рабочих, в те тяжелые дни, когда здесь шли бои с петлюровцами. Встретившись со старыми друзьями, они тут же взялись за оружие. Но восстание рабочих было подавлено, потоплено в крови... В одном из боев Билецкий был ранен, и Юрко повез его в родное местечко, надеясь здесь подлечить Фриделя, поставить его на ноги. А тут друзья попали в новый водоворот и с головой окунулись в подпольную работу, а затем перешли к открытой борьбе.

Работы было столько, что они позабыли про сон и отдых. За советами и помощью приходили к ним со всей округи, и оба они вечно были в движении, в работе...

Вот и сейчас, не успели друзья вернуться в местечко после нескольких дней тяжелых боев с бандой, как их окружила толпа несчастных, бездомных людей. При виде развалин и пепелищ, при виде слез на глазах у детей Билецкий в первую минуту даже не знал, что сказать. Прошло несколько минут, пока, овладев собой, он заговорил:

— Тяжело, дорогие друзья и товарищи, очень тяжело. Но если б мы с Юрком знали, что слезы могут помочь беде, и я и Юрко рыдали бы больше всех... Но слезы нам не помогут... Нужно взять себя в руки, нужно крепиться. У нас так много дел. Необходимо что-то придумать с жильем... Это теперь главное...

Митинг длился недолго. Люди, все как один разделившись на группы, дружно взялись за лопаты и топоры. Другие отправились в лес. Юрко Стеценко, взяв с собой несколько человек, направился в окрестные села доставать продовольствие. А тем временем Шмая уже сколотил небольшую артель из крепких ребят и взялся за работу.

— Эй, хлопцы, не зевай! — весело покрикивал он. — Кто не знает старой истины: когда дождь не льет тебе на голову, у тебя в голове становится светлее. Имеет человек над собой крышу, и ему веселее жить на свете, и он поменьше забывает о всех своих невзгодах.

Если бы не постоянная тревога и страх, пожалуй, можно было бы кое-как жить. Люди искренне восхищались Билецким и Стеценко. Они заботились о каждой семье, о каждом человеке. Вместе со всеми орудовали лопатами и топорами.

К Билецкому и Юрку так все привыкли, так их любили, что, казалось, эти люди никогда не уезжали отсюда, всегда были рядом. Но каждый знал, что недолго они здесь пробудут, что их ждут большие дела, хоть никто себе не представлял, что будет, когда они уедут. С ними всегда спокойнее на душе, веселее.

— И справедливые же ребята! — твердил Шмая. — Побольше бы таких... Недаром Николка предпочитал держать их в Сибири, в кандалах... И когда только они спят? Когда отдыхают? Один бог знает... Вечно в заботах, вечно в работе...

И Билецкий доработался. Свалился. Напомнила о себе старая болезнь, приобретенная на каторге в Сибири. За несколько дней Фридель изменился так, что трудно было его узнать.

Юрко Стеценко часто приводил к нему старенького фельдшера. И тот, глядя на «главного начальника Советской власти в местечке», качал головой и твердил одно и то же:

— Да-с, молодой человек приятной наружности, плохи наши дела... Что это за власть, которая не имеет масла, хоть немного меда и молока?.. Без этого чахотку не залечишь... Неподходящее время для болезни мы выбрали...

И, прописывая больному разные лекарства, которых никто, конечно, не мог теперь найти, продолжал:

— Да, если бы царь увидел из могилы, кем стали сын портного Билецкого и сынок механика Стеценко, он бы десять раз перевернулся в своем гробу...

Люди были глубоко опечалены болезнью своего вожака, и все разговоры шли только о нем. А тут еще новое событие взбудоражило всех.

Стояли лютые морозы, добрый хозяин в такую погоду собаку за ворота не выпустил бы. Но так как батенько Пет-

люра не принадлежал к числу добрых хозяев, он свою собаку таки выпустил...

Приехал в местечко на санях представитель рады. Со всех сторон собрались люди взглянуть, кто такой. А это был полный, краснощекий, усатый мужчина в пенсне, в тулупе и меховой шапке, в добротных сапогах, с большим портфелем под мышкой.

Оказывается, неспроста он приехал:

— Я уполномочен передать вам последнее предупреждение Центральной рады... Я послан сюда также как представитель министерства по еврейским делам при правительстве Симона Петлюры...

— А это что еще за министерство? — спросили его.

Посланец удивленно посмотрел на людей: как, мол, можно не знать о существовании такого высокого учреждения!

— Конечно, большевики, — сказал он, — скрывают от вас, что в Киеве создано такое министерство с самостоятельным, репрезентательным министром... Верховный атаман Симон Петлюра очень ценит его... Нет, нет, напрасно вы смеетесь! Большевики научили вас не уважать правителей и законы... А мы должны повиноваться правительству и помогать ему устанавливать порядок...

Посланец закашлялся, поднял меховой воротник, протер белым платком пенсне, расправил усы и, не обращая внимания на шум, поднявшийся вокруг, закричал во всю мочь:

— Новое правительство Украины — это сила! Оно получает помощь из-за границы. Оно очистит страну от бунтовщиков, и тогда повсюду настанет спокойствие... Слушайте мой совет! Сдавайте оружие, не идите за большевиками! Идите с нами. Докажем властям, что мы тоже поддерживаем нашего министра! А министр идет против этих самых бунтовщиков...

— Послушайте! — прервал его кто-то из толпы. — Лучше расскажите нам, чем ваше министерство занимается. Помогает душить нас, присылает к нам карателей, гайдамаков, чтобы жгли наши дома, убивали наших людей?

Человек в меховой шапке немного растерялся, заметив, что толпа окружает его со всех сторон. Его круглое холерное лицо побледнело. Он пугливо оглядывался по сторонам в ожидании, что шум утихнет и ему дадут возможность говорить.

Но скоро непрощенный гость понял, что надеяться на это нечего. Он надрывался, стараясь перекрыть толпу,

но тщетно. А вскоре, повернув голову и увидев Билецкого, приближавшегося к площади, он и вовсе растерялся.

Фридель, худой, изможденный, с глубоко запавшими глазами, шел, опираясь на палочку. За ремнем у него торчал наган и висела граната. Пристально, чуть прищурив глаза, он посмотрел на незваного гостя и вдруг воскликнул:

— Ты смотри! Гость с того света! Жив, значит, курилка! Сам Волошин пожаловал к нам! Прости, не знаю, как тебя нынче величать. Господином? А может, батькой? Говорят, ты теперь к Петлюре перекинулся... А помнишь, тогда, в университете, ты, если память мне не изменяет, был в Бунде, болел за национальную автономию... Кого же ты теперь представляешь? Вернее: кому ты теперь служишь?

И, подойдя ближе к гостю, ехидно добавил:

— Слыхал я, что ты благополучно окончил учебу и стал медиком. Выходит, бросил свою благородную работу и сделался лакеем у Петлюры? Завидная карьера, ничего не скажешь...

— Я — лицо официальное!.. Как уполномоченный правительства я требую уважения... И в мои убеждения прошу не вмешиваться!..

— Вот оно что! Ты, значит, послан сюда самим батькой Петлюрой? Стало быть, это твои дружки и побратимы стреляли из пушек по местечку, по беззащитным женщинам и детям?.. Это твои дружки залили кровью и сожгли нашу Раковку?

Лицо Билецкого побелело от гнева. Все думали, что он бросится на уполномоченного и начнется потасовка. Но он только плюнул в его сторону и отошел.

Тут уж ребята двинулись к этому посланцу и хотели устроить ему веселые проводы. Но председатель ревкома Билецкий и его помощник Стеценко не допустили этого. Юрко стал уговаривать людей:

— Нет, братцы, так не годится. Некрасиво! Пусть пан Волошин возвращается в свое логово, к своим милым хозяевам, и передаст им, что мы плюем на них и на все их приказы и ультиматумы... Настанет время, и мы отомстим им за все. Всем, а не одному мерзавцу!.. Сотрем с лица земли их кровавую банду...

Посланец батьки Петлюры слушал эти гневные слова и дрожал за свою шкуру. Он явно жалел, что приехал в

местечко, и мечтал лишь о том, чтобы подобру-поздорову унести отсюда ноги.

Правда, когда он залез в свои сани, Шмая-разбойник все же ухитрился закатить ему такую оплеуху, что знак от его пяти пальцев надолго остался на щеке неудачливого посланца «самого» Петлюры.

Еще долго потом смеялись люди над уполномоченным батьки и еврейского министра. Но шутки шутками, а неспроста, видно, прислали это чучело, думали они.

В тот день в ревкоме долго ломали голову над тем, как укрепить отряд. Было ясно, что надвигается новая туча... После того как в Киеве потопили в крови восстание рабочих, синезупанники воспрянули духом и взялись за всех, кто выступал против них. Билецкий и Юрко Стеценко созвали митинг и рассказали людям, что нельзя теперь успокаиваться. Надо собраться с силами и быть начеку, чтобы бандиты не застали отряд врасплох.

Никто уже не спал в эту ночь. На околицах выставили патрули. Тут и там установили на крышах пулеметы, захваченные в недавнем бою. Разожгли костры, чтобы было где ребятам погреться. Ведь ко всем бедам прибавился еще и холод.

Глава восьмая

В ПУТЬ-ДОРОГУ

Дубовый лес, что по соседству с местечком, еще раз сбросил свой зеленый наряд. Снова сыпал снег и крепчали морозы, как и в те добрые мирные дни, когда у людей было достаточно теплой одежды, вдоволь дров, хлеба и картофеля.

За это время бандиты несколько раз налетали на местечко. На кладбище уже негде было рыть могилы. Погибших хоронили перед каменной оградой. Некоторые улицы тоже похожи были на кладбища — среди развалин торчали голые дымоходы. Каждая банда, проходившая здесь, оставляла по себе зловещую память.

Все меньше людей оставалось в отряде. Билецкому и Стеценко пришлось уйти в подполье — за ними охотились. Когда поблизости проходили красноармейские части, остатки раковского отряда присоединились к ним. Вместе с бойцами ушли Билецкий и Стеценко.

Вслед за длинными обозами потянулись со своим не-

мудреным скарбом беженцы. В местечке нельзя было оставаться.

Только немногие семьи не покинули родное пепелище в ожидании новых, лучших времен. Они не в силах были расстаться с любимым уголком, многострадальным, истерзанным, бросить могилы родных и близких, дедов своих и прадедов...

Опустел, помрачнел городок.

Шмая и балагула поселились в покинутом домишке на окраине, неподалеку от старой полуразрушенной мельницы. Дороги к домику со всех сторон были занесены снегом, и только одна узенькая тропинка вела к нему. Хозяев здесь не было, платы за квартиру никто не спрашивал, вот и был прямой смысл перезимовать.

Нужно сказать, что Шмая и Хацкель собирались уйти вместе с отрядом Билецкого и Юрка Стеценко, но, как говорят: «Бедному жениться — ночь коротка».

И должно было так случиться, что перед самой отправкой отряда сыпняк свалил Хацкеля, и единственным человеком, который мог ухаживать за больным, являлся Шмая. Нельзя сказать, чтоб эта миссия была по сердцу нашему разбойнику, всей душой рвавшегося в большой мир. Но не оставишь же в беде товарища, приятеля, с которым уже немало соли съедено.

Дни и ночи просиживал Шмая возле больного, лечил его разными травами, кореньями, ставил ему банки, прикладывал лед ко лбу, но чаще всего врачевал его живым словом — шуткой, прибауткой...

И, как ни странно, это лечение помогало!

Но Шмая-разбойник, кажется, переусердствовал. Стремясь поскорее поставить приятеля на ноги, он придумывал совершенно фантастические смеси трав, отчего жар у больного увеличивался и Хацкель начинал бредить. Тут уж наш лекарь доставал банки, и больному становилось легче.

Понемногу он пришел в себя, ожил. И тогда посмотрел на Шмаю полными благодарности глазами и сказал, сильно заикаясь:

— Ты, дорогой мой, настоящий чародей!..

— Спасибо на добром слове! — ответил тот и, впервые за многие ночи, повалился на теплую лежанку.

Но больной не дал ему долго блаженствовать.

— Шмая, ты спишь? — вскоре спросил Хацкель.

— Чтоб тебя черт побрал! — рассердился кровельщик. — Только уснул, а он...

— А я... Я думал, что ты не спишь...

— Ну, чего ты хочешь? Говори скорее...

— Да я просто так...

— Просто так... И нужно было для этого человека будить?..

— Да нет... Я хотел сказать, Шмая, что мне очень плохо...

— Плохо? А кому теперь хорошо? Всем плохо, всем!.. Спал бы, вот и позабыл бы на время, что тебе плохо... Во сне обо всем забываешь...

— Ты все шутишь, разбойник, а мне что-то в самом деле плохо...

— Может, банки тебе поставить?..

— Разве помогут мне твои банки? Пожрать бы чего-нибудь...

— Вот это дело посерьезнее... Лучше спи, забудешь о еде...

— Ой, боюсь, что долго так не протяну...

— Глупости! — перебил его Шмая, поднимаясь с лежанки и сладко потягиваясь. — Ты постарайся еще эту зиму пережить...

— А потом что будет?

— Потом легче будет мучиться...

— Спасибо за ласку. Но, знаешь, чем такая жизнь, уж лучше, пожалуй, смерть...

— Эге, брат, что-то ты не с той стороны заезжаешь... Нужно жить, понимаешь, жить надо!.. Скоро все кончится, и тогда заживем, как люди. А пока что...

Шмая достал свой солдатский мешок, порылся в нем и подал больному небольшой ломоть черствого хлеба:

— Вот поешь, тогда перестанешь философствовать...

Балагула потянулся к хлебу:

— Спасибо тебе, дорогой. Ухаживаешь за мной, как мать родная, как повивальная бабка за роженицей... Но вот дал ты мне хлеба. К чему мне этот хлеб? Никакая еда мне в рот не идет, как вспомню, что моя бедная лошадка стоит в холодном хлеву, от голода пухнет... Ни тебе овса, ни сена, ни соломки. Жаль, живое существо гибнет...

В последние дни, когда Хацкеля мучил сильный жар, он и не заикался о своей кляче, а сегодня немного легче ему стало, и опять пошла в ход старая песенка: мол, погибает бедное животное... ни овса, ни соломки...

Шмая пропустил эти слова мимо ушей, но тот не успокоился.

— Понимаешь, дорогой человек,— это такая скотинка, которая может переносить всякие лишения и невзгоды,— тяжело дыша, продолжал больной.— Человек — это такое, понимаешь, существо, которое ко всему может приспособиться. А что может сделать несчастное животное, бессловесная тварь, которая не попросит и руку за милостыней не протянет, что, а?

Шмая не принадлежал к числу страстных поклонников лошадей, и он старался обычно не ввязываться в разговор, когда приятель начинал болтать о своей лошади. Он хорошо знал: втянешься в разговор на эту тему, придется накиннуть на плечи шинельку и бегать по соседним дворам сдирать с крыш солому и кормить лошадку. Поэтому он делает вид, что не слышит, и возится с лекарствами, но балагула, пристально глядя на него, умоляющим голосом повторяет:

— Слышишь, Шмая, сбегай, братец, в хлев. Посмотри, что там наш кормилец делает... Чего-то всю ночь ржет...

— Ржет? Ну и прекрасно, что ржет,— оживляется Шмая.— А что же ей еще остается делать? Коль лошадка ржет, это первый признак того, что она еще жива. Иначе уж не ржала б... А что, тебе хотелось бы, чтоб она пела или смеялась? Тыфу ты, прости господи! — сердится Шмая, подымаясь со своего ложа.— Дал тебе бог клячу на мою голову, чтоб она сдохла! Нет ни минуты покоя!..

— Родной мой, как тебе не стыдно! Жалко животное... Пропадет ведь...— И, видя, что приятель направляется к двери, Хацкель замолкает. Он понимает: что бы Шмая ни говорил о лошадке, какими словами ни проклинал бы ее, он пойдет и раздобудет для нее какой-нибудь корм.

Через несколько минут Шмая возвращается, стряхивая с себя снег и дую на озябшие руки:

— Ну, теперь можешь спать спокойно. Твой милый кормилец чувствует себя, как бог в Одессе... Аппетит у клячи, слава богу, как у настоящего коня, жрет за троих... Бросил ей охапку соломы, и вмиг сожрала. Теперь желоб догрызает...

— Ай-ай... А ты не мог еще чего-нибудь подсыпать?

— Я могу подсыпать ей только наши болячки!.. Я уже ободрал все соломенные кровли на нашей улице... Остались одни стропила...

— Боже мой, боже мой,— захныкал балагула.— Этак конячка может и дух испустить, погибель на всех наших врагов! Что мы будем тогда делать?

— Не убивайся так из-за клячи! Подумаешь, беда какая! Жив будешь, найдешь себе другую. Береги свое здоровье, поменьше думай о ней, а побольше — о житейских делах. Если б не твоя лошадка, мы с тобой давно уже жили бы в большом городе. И ты не валялся бы тут на драном тюфяке, а лежал бы, как барин, в больнице, на пружинах. И тебя щупали бы настоящие фельдшеры, накачивали бы тебя всякими порошками и пилюлями, ставили бы тебе пиявки, клизмы, каждые три дня давали бы тебе манную кашу или перловый суп, и жил бы ты в свое полное удовольствие и не грыз бы себя и меня: «Ой, что там жрет моя лошадка?» Да холера ее забери, лошадку твою! Сам ты одной ногой в могиле, а о кляче думаешь. Давай лучше поможем, как будем жить дальше. Сам понимаешь, здесь нам делать нечего... Ты как хочешь, а я твердо решил: придеешь немного в себя, потеплеет, возьмем свои солдатские мешки на плечи и гайда в путь-дорогу? Пойдем искать счастья...

Балагула печально взглянул на оживившегося приятеля и махнул рукой:

— С меня, пожалуй, толку уже не будет! Какой я теперь ходок! Иди один. Зачем тебе тут мучиться со мной, на самом деле...

— Что ты болтаешь?! — сердито оборвал его Шмая. — За кого же ты меня принимаешь? Столько были вместе, рядом, а не знаешь еще меня... Не знаешь... И повернулся же у тебя язык говорить такое!.. Разве оставляю я приятеля в беде?..

— В таком случае, дорогой мой, выскочи на минутку к лошадке и дай ей ведро воды... Жаль ведь скотину... Она безъязыкая, не может просить... Пожалей, братец...

— Тьфу ты, пропасть! И чего ты привязался ко мне со своей клячей? Ты на себя лучше погляди, на кого ты стал похож? Краше в гроб кладут... О себе подумай!..

— Не хочешь идти, не надо... — промолвил балагула, слезая с койки и становясь на пол босыми ногами. — Не могу я так... Понимаешь, не могу! Животное... Бессловесная тварь... Не попросит сама.

— Тихо! Не шуми! — подбежал к больному Шмая и стал укладывать его в постель. — Глупый ты человек, помешался на своей лошадке!.. Ложись, я сам пойду, ладно уж... Только успокойся, прошу тебя... Иду, иду!..

В середине зимы лютые морозы вдруг сменились отте-

пелью. Днем, когда пригревало солнце и таяли на карнизах ледяные сосульки, казалось, что начинается небывало ранняя весна. Но до весны было еще далеко. Солнце и порывистые ветры пожирали снег, кромсали его на части, растапливали.

Эта неожиданная оттепель поставила Хацкеля на ноги. Он повеселел, прибодрился, и через несколько дней его уже нельзя было узнать. Совсем преобразился, будто подменили его. Больше всего, кажется, радовался Шмая-разбойник. И не столько потому, что не нужно уже было ухаживать за больным, сколько из-за того, что не придется больше возиться с его лошадкой, которая просто осточертела кровельщику.

Его радовало, что приятель после такой мучительной болезни начинает все быстрее двигаться, поправляться неизвестно от чего. Он ходит на улицу, во двор.

— Ты, брат,— как-то сказал Шмая,— и вправду железный человек, если ухитрился из такой хворобы вылезть!.. Ведь одной ногой уже был на том свете... Счастливчик!..

— С твоей и с божьей помощью, Шмая, живу,— улыбнулся балагула.

— Да, видно, теперь ты уже долго жить будешь, коль такую болезнь перенес... Без знахарки, без доктора, без лекарств...

— Ты, братец, для меня самое лучшее лекарство, самый лучший доктор... Никогда, Шмая, не забуду твою доброту... Если б ты меня оставил одного, даже некому было бы за гробом моим пойти. А ты меня вырвал из рук малхамувеса — ангела смерти...

— Да что ты! Видно, так тебе на роду написано, вот и держись на этом свете!.. Закон природы, что ли...

— Ого, Шмая, ты уже заговорил почти так, как наш Фридель-Наполеон!..

— Далеко куцому...

— А где теперь могут быть Билецкий и Юрко? Ушли с отрядом и как в воду канули...

— Кто его знает, где они теперь? — после долгой паузы проговорил Шмая. — Одно из двух: или воюют, или в подполье работают... Большевики — это такие ребята, что жизнь отдают за идею... Понимаешь, Хацкель, идея у них!..

— А что это такое — идея? С чем ее едят? — спросил балагула, и Шмая немного растерялся.

— Как? Ты не знаешь, что такое идея? Странно... Ну,

я тебе сейчас объясню... Идея, значит... Ну, это даже сразу не объяснишь... Вот попробую на примере... Помнишь, прикатил к нам уполномоченный Петлюры и Центральной рады... Наговорил сорок бочек арестантов. Ну такое плел, что в голове не укладывается... Потом вышли к нему Фридель Билецкий, Юрко и натерли ему морду. Это и есть идея!.. Как тебе получше растолковать?.. Читал я еще на войне газету — «Окопная правда». Там подробно все описывалось про идею... Знаешь, что такое большевики? Ну чего ж ты мне голову морочишь?.. Большевики и идея — это одно и то же... Ясно?

— Вроде бы ясно. Только...

— Ну вот! — с облегчением вздохнул Шмая и почувствовал, будто гора у него с плеч свалилась.

И все же, пожалуй, больше всех на этой грешной земле обрадовалась теплым дням кляча Хацкеля. Чтобы взглянуть на солнце, ей вовсе не надо было выползать из сарая, а только задрать голову и сквозь ребра стропил смотреть на чистое небо и радоваться. До ее появления здесь хлев, как и соседние сарай, где некогда местечковые бабы держали дойных коров, был покрыт добротной соломкой. Но настали тяжелые времена, и исчезли, рассеялись по свету божьему веселые и болтливые местечковые молочницы, а неожиданный гость — кляча балагулы Хацкеля — занял самый комфортабельный сарай и за зимние месяцы сожрал все сено, завалявшееся на чердаках, да к тому же и соседние соломенные крыши. Такие уж нынче гости пошли...

К сожалению, это не было ей на пользу. Захворала, как и ее хозяин, тоскуя без него. А к этому странному кровельщику, который ругал ее последними словами и всячески проклинал, никак не могла привыкнуть. То он забудет нарезать ей соломы, и она давится, мучится, то он не подумает налить воды, и она сгорает от жажды, а то не закроет за собой дверь, и сквозняк проберет ее до косточек.

Увидев своего настоящего хозяина, лошадка обрадовалась так, словно ей поднесли добрую порцию овса или сена. Свою радость она выражала на свой лад: что было силы заржала, но, обессилев, плюхнулась на землю, а потом стала качаться по земле, как лошенок на толоке весной. Она стала дышать, как паровоз, и, казалось, вот-вот испустит дух.

— Эй, Шмая! — испуганно закричал Хацкель. — Иди скорее сюда, посмотри на моего кормильца... Где же ты, разбойник?

— Ну вот, начинай все сначала! А я, грешным делом, думал, что уже отдохну немного от вас обоих, — сказал Шмая, переступая порог сарая.

— Посмотри, что стало с лошадыю, погибель на всех врагов наших! — со слезами говорил балагула. — Боюсь, что это уж не жилец на этом свете... Какая лошадь была! Вся моя надежда...

Они немало помучились, пока выволокли клячу из сарая, таща ее за хвост и гриву, подвесили на крепкой веревке меж двух акаций, чтобы она привыкла стоять на ногах и между делом щипала кору со стволов.

С первым она справлялась совсем неважно, еле держалась на ногах, но зато бойко принялась обдирать кору пожелтевшими зубами. Она так основательно обглодала стволы, будто акации и появились на свет божий только для того, чтобы кляча Хацкеля грызла их.

А солнце, ни на что не обращая внимания, делало свое дело: пригревало, растапливало снег, обнажало прошлогоднюю зеленую травку. Приятно было сидеть на завалинке, курить и мечтать.

Шмая достал кусок газеты, вывернул карман, собрал там перемешанные с пылью остатки самосада, свернул цигарку и протянул приятелю:

— Возьми, Хацкель, закури и мне тоже оставь...

Тот кивнул головой, высек кресалом огонь, прикурил и после долгой паузы глубокомысленно сказал:

— Да, Шмая, смотрю я на тебя и не узнаю: ты это или не ты?

— Почему же ты меня не узнаешь?

— Зарос ты, как сатана... И седина на висках пробиивается... А ты ведь еще совсем молодой человек...

— Ерунда! Седина, брат, это как пена, которая остается на берегу после сильной бури. А мы прошли через такую бурю и натерпелись горя, кажется, за внуков и правнуков...

Он махнул рукой: мол, нечего растравлять раны.

Немного помолчав, Хацкель ощупал себя и сказал:

— И похудел же я!.. Кожа да кости...

— Что ж, и это неплохо, — улыбнулся Шмая. — Были б кости, а мясо будет! Наш кашевар из третьей роты Степа

Варивода говорил, бывало: «Вы мне только костей давайте побольше, а борщ я как-нибудь сам сварю...»

Лицо Хацкеля сразу оживилось:

— Эх, был бы тут с нами твой Степа Варивода да насыпал бы нам в котелок горячего борща с мясом да гречневой каши, другое дело было бы...

— Перестань, не раздражай! — облизывая сухие губы, перебил его кровельщик. — Чего захотел!.. Хоть бы шрапнели поест, сухарика... Нужно, пожалуй, сходить к Михайлу Шевчуку в Петrivку... Может, разживемся картошкой. Да, я обещал починить ему крышу... Но никак не вырвусь. С тобой возился и с клячей твоей.

— Ничего, теперь я уже человек. Вот только поправится моя конячка, тогда заживем, как у бога за пазухой... Будем ездить, она нас будет кормить...

Шмая удивленно пожал плечами:

— Вот чудак!.. Она будет нас кормить?.. Где же ты видел, чтобы лошадь человека кормила? Я вот до сих пор думал, что человек лошадь кормит...

— Язык у тебя без костей... Давай без шуток!.. Скоро поправится лошадка, и заживем мы припеваючи...

— Не говори гоп, пока не перескочишь. Мне кажется, что твоя кобылка скоро ноги протянет... Что ж, меньше хлопот будет...

— Типун тебе на язык! И что ты за человек, не пойму! Когда ты уже будешь разговаривать по-серьезному? Ей-богу, не встречал еще таких, хоть столько лет сижу на облучке и немало людей повидал на своем веку.... Весь мир плачет, стонет, а ты, разбойник, все шутишь и смеешься. Для тебя все трын-трава...

— Что ж, я не в ответе за то, что делает весь мир... Если б мир у меня спросил совета, как жить миру, я, может быть, кое-что и сказал бы... Но пока меня не спрашивают, я имею право жить, как мне нравится... — И, подумав немного, продолжал: — Знаешь, приятель, если бы ко всем нашим бедам и лишениям прибавилась еще меланхолия, нам бы оставалось лишь одно: петлю на шею — и конец... А человек и так очень мало живет на свете. И живет один раз. Уныние точит его душу, как червь яблоко. Вот и не надо допускать его к своей душе...

Хацкель смотрел на товарища широко открытыми глазами. «И черт тебя знает, разбойник, — думал он, — откуда у тебя такие мудрые слова берутся, если ты ни в каких гимназиях и семинариях не обучался?..»

Шмая пошел в дом, покопался там несколько минут и вернулся со своим взбухшим солдатским мешком. Здесь было все его имущество, с которым он теперь не расставался. Снова сел на завалинку и сосредоточенно начал искать бритву, которой давненько не пользовался. Надо было сбрить бороду, а то, в самом деле, зарос, как зверь.

Он вытащил помазок, бритву и натолкнулся на потерянный конверт, в котором лежали пожелтевшие письма и фотография молодой черноглазой женщины.

Лицо Шмая на миг осветила улыбка, но тут же исчезла. Он хотел было спрятать карточку, но Хацкель уже протягивал к ней руку:

— Не прячь. Дай-ка взгляну...

Рассмотрев фотографию, балагула почесал затылок и лукаво подмигнул:

— Да, что и говорить, хороша бабенка... Верно, солдатская любовь?.. Где-нибудь в походе подцепил душечку?

— Нет...

— А кто ж она? Расскажи!.. Думаешь, поверю, что ты три года с гаком на фронте был, весь мир прошел и остался ангелом божьим, девок не прижимал, в гречку не прыгал? Ни за что не поверю!..

— Эту женщину я в глаза не видел... Вот только на карточке...

— Рассказывай басни!..— ухмыльнулся Хацкель.— Если б я в пути такую встретил, думаешь, прошел бы мимо?

— Да что ты ко мне привязался! — в конце концов рассердился Шмая.— Говорю же, что никогда ее в глаза не видел. Это жена моего фронтового друга, Корсунского... Вместе с ним в окопах лежали...

— Интересно!.. А как же его жена попала в твой ранец? Ох, разбойник, не хитри! Скажи правду...

Слова приятеля возмутили кровельщика.

— Не люблю, когда у человека мысли грязные!.. Непорочно это,— проговорил Шмая, вырвав у него из рук карточку. Молча спрятал ее в солдатский ранец, развел в чашечке мыло и, намылив щеку, начал осторожно бриться.

Хацкель сосредоточенно следил за тем, как ловко Шмая скребет физиономию, и после долгой паузы сказал:

— Тоже нашел время прихорашиваться. Больше тебе, видно, думать не о чем!.. Ты это для бабенки, что на карточке, стараешься, а? — И, подмигнув, добавил:— Горячая,

видать, бабенка, погулять бы с такой и теперь не помешало бы!.. И помирать не жалко!..

— Не смей так говорить! Она честная женщина и мать. Ты ей в подметки не годишься, грубиян. И если ты еще хоть одно плохое слово посмеешь о ней сказать, ей-богу, побью!..

— Тише! Не кричи! Не трогал я ее,— оправдывался Хацкель.— Чего ты на меня набросился? И ты не забывай, что женщин не трудно найти, а вот верного друга...

— У тебя, брат, мозги набекрень,— сурово глядя на него, сказал взволнованный кровельщик.— У тебя всякие глупости на уме, а у меня, как посмотрю на эту карточку, душа от боли разрывается. Тебе, я вижу, ничего показать нельзя. О серьезных, душевных делах с тобой не говоришь.

Заговорились приятели и не заметили, как кляча в это время богу душу отдала. Хацкель бросился к ней, стал тормошить, звать Шмаю на помощь, будто тот мог воскресить ее. Но Шмая был занят бритьем и только махнул в ответ рукой:

— Дай скотине спокойно издохнуть. Не мучь ее...

Хацкель, опустив руки, постоял около лошади несколько минут, потом подошел к завалянке и, глубоко опечаленный, сел рядом с приятелем.

— Не тужи, брат! — сказал тот, когда закончил бритье и лицо его совершенно преобразилось, стало молодым и приятным. Оно, правда, немного вытянулось, щеки впали, но глаза по-прежнему блестели задорным блеском, а лихо закрученные усы придавали нашему разбойнику вид бывшего солдата, только что пришедшего с фронта на побывку.

— Шмая, дорогой мой,— не сдержался балагула, с восхищением глядя на него.— Да ты прямо-таки красавчик, жених!.. Теперь за тобой все девки бегать будут...

— А как же! — важно проговорил кровельщик.— Зачем же нам ходить с бородами, как нищим? погоди, сейчас и ты у меня побрееешься, как миленький! Ведь ты всего на несколько лет старше меня, а уже на черта похож. Твоя рыжая борода очень старит тебя. Это никуда не годится! Глядя на тебя, можно подумать: старая калоша!.. Возьми побрейся...

— Не морочь мне голову! И сам я бриться не умею... Что я, цирюльник? И вообще борода мне не помеха!..

— Сразу видно, что ты служил в обозе!.. Какой это

солдат, если бриться не умеет? Разве на фронте парикмахеры за нами ходили: «Не желаете ли побриться?» Сами скреблись... Ну ладно, подставляй-ка свою бороду, мигом обкарнаю... И физиономию поскребу. Перед дорогой это необходимо...

— Перед какой дорогой? — удивленно уставился на него балагула. — Что ты болтаешь? Разве можно все бросить на произвол судьбы и потащиться неизвестно куда?.. Совсем сдурел человек!

— О чем ты беспокоишься, Хацкель? Твоих дворцов никто не захватит, а твои сахарные заводы обойдутся и без тебя... Грешно в такое время сидеть здесь сложа руки!

— Не пойму я тебя! Как можно так легко бросать дом, землю, на которой прожил всю жизнь?

— Мой дом теперь — вся Россия! Можем жить, где хотим, и никто нам слова худого не имеет права сказать. Свобода!.. Правда, пока еще будет настоящая свобода, придется еще всего натерпеться. И повоевать надо будет с контрой... Но это нас не должно пугать. Мы с тобой теперь вольные птицы, без семей, без крыши над головой. Терять нам нечего, а найти мы кое-что можем!..

Шмая порывисто вскочил на ноги, сгреб с карниза немного снега, вымыл лицо, вытер тряпкой и, направив бритву о ремень, быстро намылил лицо приятелю:

— Только не вертись, сиди спокойно!

— Сдурел, разбойник! А так разве я тебе не нравлюсь?

— Не нравишься! Уходим в большой мир. Будем пробираться туда, где уже установилась Советская власть, а туда мы должны явиться чистыми, опрятными, ясно тебе?

— У меня, Шмая, такое горе... Последняя лошадка издохла... Что я теперь стою, когда остался с одним кнутом?.. Мне бы теперь деньжонок раздобыть... Вокруг много брошенного добра, прибрать бы это все к рукам и обзавестись хорошим хозяйством... Тогда я и без твоей свободы и без твоей власти проживу...

Шмая посмотрел на него и покачал головой:

— Эх ты, мелкая у тебя душа! За старое цепляешься?.. Говорил же я, что у тебя мозги набекрень... Куда ты гнешь, дурак? Видно, жизнь тебя еще ничему не научила... — И, подумав немного, добавил: — Конечно, известно: как волка ни корми, он все в лес смотрит...

— Да чего ты разошелся! Я просто так сказал... Ты не сердись...

— Нет, Хацкель, такие разговоры мне не нравятся... С такими мыслями далеко не уедешь. Нет в тебе понимания, желчь в твоей крови завелась, а это плохо... Советская власть, коммуна этого не потерпят...

— Поздно меня учить! Каким родился, таким и умру...

— Нет, брат, мы с тобой, вижу, сватами не будем! Разные у нас мысли... С таким спутником опасно двинуться в далекий путь... Ты еще осрамишь меня перед всем миром...

При мысли, что он может остаться здесь в одиночестве, Хацкелю стало страшно, и он, помолчав, сказал:

— Что ж... пусть будет по-твоему! Постараюсь на людях не срамить тебя. Знаю, что ты лучше разбираешься в политике...— И, похлопав Шмая по плечу, добавил, задорно ухмыляясь:— Эх ты, разбойник, разбойник!.. Не человек, а какой-то колдун! Уж и я начинаю соображать, что ты прав... Ладно, пойдем с тобой в большой мир... Посмотрим, как нас там встретят. Терять нам и вправду нечего. Пойдем, пожалуй...

Шмая долго молчал, погруженный в свои тревожные думы. Он все старался намылить балагуле бороду, но безуспешно.

— Не вертись, пожалуйста! — повелительно сказал Шмая.— Несколько минут терпения, и я приведу тебя в божеский вид... Ну, посиди спокойно. Вот так... Потерпи немного, и будешь у меня как огурчик! Никто, глядя на тебя, не посмеет сказать, что ты балагула. Подумают: министр, артист погорелого театра!.. Чего зубы скалишь? Не смейся! У нас на позиции было заведено: перед наступлением, перед атакой мы хорошенько умывались, брились, стирали свои гимнастерки, чтобы враг видел: нам на него наплевать, мы его не боимся!.. А ежели уж, не приведи господь, пуля заденет, чтоб и на тот свет явиться в полном порядке, приличным человеком...

— Ой, осторожно! Что у тебя за бритва? Дерет так, что с ума сойти можно... Это не бритва у тебя, а секач! Изуродуешь ты меня, разбойник!.. погоди, дай хоть передохнуть! — умолял Хацкель.

Но Шмая, не обращая внимания на его вопли, продолжал усердно орудовать бритвой:

— Сиди и помалкивай! Каждый солдат должен сам уметь бриться, особенно перед парадом... А теперь в зеркальце посмотри. Совсем другой компот!.. А то отрастил бороду, да еще рыжую к тому же... Все! Умойся!.. Теперь

повяжи свой кушак с кистями. Надень сатиновую рубаху до колен и кнут в руки возьми... Вот ты и готов в путь-дорогу!

К вечеру мороз затянул ледком лужицы. Похолодало... Солнце только село, а приятели уже натопили печку, легли рядышком на полу, накрывшись старым сенником, будто между ними никакой ссоры и не было. Вскоре они крепко уснули.

Глубокой ночью Хацкель проснулся и стал будить товарища:

— Шмая, голубчик, ты спишь?

— Сплю!.. А что случилось? — сквозь сон спросил тот.

— Думал, что не спишь, и хотел кое о чем спросить...

— Ну спрашивай, только скорее. Спать надо!

— Собственно говоря, ничего не случилось... — осторожно сказал Хацкель, боясь рассердить приятеля. — Сон мне приснился... И я хотел, чтобы ты его разгадал...

— Что я тебе, гадалка? Разбудить человека среди ночи!.. Давно так сладко не спал, а тут ты на мою голову... Ну говори, что снилось!

— Ох, не спрашивай! Она, она мне приснилась, та, что у тебя на карточке... Эта черноглазая. Ох и растрожила она меня, не приведи бог... Давно такого не было... Ну и краля! Откуда ты такую взял?

— Тыфу, сатана! Пристал как банный лист... Говорил же я тебе человеческим языком, что я ее никогда в глаза не видел. Объяснял же... Это жена моего фронтового друга Корсунского. В одном отделении, в одной роте служили. Из одного котелка щи хлебали. Ну, что еще тебе сказать?.. Понимаешь?..

— Понимаю! А что же, я не понимаю? — осторожно проговорил Хацкель. — Но ты, кажется, хотел мне рассказать, откуда к тебе попала ее карточка...

Шмая молчал, хоть чувствовалось, что он встревожен. Он пытался снова уснуть, но сон не шел. Он поднялся с пола, стал искать табак, но, не найдя нигде ни крошки, сел на свою постель. Обняв руками колени и глядя в окно на светлые облака, окружившие яркий диск месяца, он задумчиво промолвил:

— Долго рассказывать...

— Ну и что ж? Долго так долго, времени у нас хватит, — отозвался Хацкель. — Просто не узнаю тебя! Раньше, бывало, и не просишь, а ты рассказываешь — всякие

истории сыплешь, как из мешка... Всегда веселил людей, а теперь...

— Да, было такое,— после долгой паузы сказал Шмая.— А теперь не до басен мне. Тяжело на душе... Вспомнил своего друга Корсунского, его вдову, что на карточке...

— Так она уже вдова?

— Вдова... Сколько теперь вдов!.. Да. Шел тогда третий год войны. В роте осталось людей — по пальцам можно было пересчитать... Долго ждали пополнения, а его все нет и нет... Но вот пригнали новичков, еще не нюхавших пороха. Был среди них один высокий, крепкий, как дубок, парень, с большими синими глазами. Тихий такой, слова лишнего из него не вытянешь. С первого дня прилепился он душой ко мне, ни на шаг от меня не отходил. Ну, известное дело, я помогал ему, чем мог, рассказывал, что к чему. Военной выучки у него не было никакой. Сказали ему: там, в бою, научись и стрелять и ходить в атаку. Пришлось мне его обучать этой мудрой грамоте.— как людей убивать, хоть самому эта работа осточертела... Куда лучше по крышам с молотком и ножницами лазить... Но что поделаешь, враг на тебя прет — и коли штыком, бей прикладом...

Немного странный был этот новичок, совсем на солдата не похож. Идем с ним лесом, полем, я никакой красоты нигде не вижу, а он всем восхищается. Увидит, как хлеба растут или там подсолнух,— весь аж светится. Очень уж природу любил. А когда увидел, как мы топчем хлеба, как сады после артналета превращаются в обгоревшие скелеты, слезы у него на глазах выступили.

Не успел я сначала расспросить, кто он, откуда,— не до того было. Все время шли бои. Но когда немного стихло, тогда мы с ним и наговорились вволю... Хороший человек, хоть и странный. Подумай только, Хацкель! Лежим мы как-то в траншее, а он увидел цветок за бруствером, высовывается, срывает его и прижимает к сердцу, целует.

— Дурак! — кричу я ему.— Лучше хорошую девку обнимать!

— Точно такие цветочки,— отвечает он,— растут у нас, на Ингульце, в Таврической губернии... Ты что-то про девку говорил? Да у меня дома такая женушка осталась, что лучше и на всей земле не найти...— И тут вынимает он из карманчика ту карточку, что ты у меня видел...

Да, много он рассказывал о своей жене и о двух ребятишках... В еврейской колонии они живут.

— А это что такое — колония? Что-то не слыхал я... — перебил его балагула.

Шмая бросил на него удивленный взгляд:

— Эх ты, дубина! Вижу, Хацкель, разбираешься ты в истории как свинья в апельсинах. И как только ты прожил на свете, когда, кроме клячи своей и кнута, ничем не интересовался? Наверно, так никогда и не заглядывал в книжку или в газетку?... Было это, кажется, дай бог памяти, не то при Екатерине, не то при Александре... Позаботились цари о нашем народе и издали высочайший указ: изгнать наших единоверцев из родных сел и деревень и переселить их в Таврическую губернию. Были там такие забытые богом степи, которые еще не знали, что такое лопата, борона. Там только бурьяны росли, чертополох, пырей... Вечные суховеи. И земля каменистая, черт знает, что за земля. И людей там не было, только волки водились...

Ну, в один осенний день приступили жандармы к работе. Стали гнать тысячи семей с их насиженных мест. Этапным порядком гнали, как арестантов. Шли по раскисшей дороге женщины, мужчины, дети, старики. Падали на дороге, гибли от голода и холода, от разных болезней. Притрусят кое-как землей мертвецов, чтобы волки не растерзали их тела, и идут дальше. Подгоняют их нагайками жандармы... Сам знаешь, этого добра, слава богу, в России было в избытке при всех царях...

Наконец пригнали переселенцев в эту дикую каменистую степь и сказали им: «Живите здесь. Если камни вас прокормят — ваше счастье...»

И вот десятки тысяч обездоленных людей, голых, босых, измученных, начали устраивать свою жизнь заново. Из камыша и бурьяна соорудили шалаши, вырыли землянки, кое-как разместились и начали распахивать эту землю. Другого выхода не было. До города далеко, до бога — высоко, да к тому же им запрещалось ходить куда-либо на заработки...

Несколько лет обрабатывали люди землю, а суховеи все развевали, жаркое солнце все сжигало. Разбили сады и виноградники, но что толку? Жди, пока они дадут плоды! Колонисты гибли, как мухи. Видно, на погибель пригнали их в эти дикие степи...

Но люди тут были напористые. Добились своего! За-

ставили землю родить хлеб, а виноградники и сады — давать плоды. Узнали об этом помещики Демидовы, Курчинские и холера знает, как их там звали, примчались туда с жандармами, стали сгонять евреев с этой земли. А колонисты взялись за топоры и вилы и пошли на жандармов.

Много крови пролилось в степи. Но переселенцы не отступили.

Так из года в год шла страшная драка. Переселенцы уж послали ходоков в Петербург, к самому царю. А там над ними только посмеялись, и вернулись они ни с чем. Тогда поняли колонисты, что должны надеяться только на себя. И они встали горой за свою землю, за свои сады и виноградники.

Тут помещики обратились в суд, жалуются, что их, мол, ограбили, захватили их земли. И царский суд присудил: вернуть землю помещикам... Но когда явились отряды жандармов забирать землю, снова их встретили топорами, вилами, лопатами. Снова пролилась кровь на этой земле. Но никакая сила не могла изгнать отсюда колонистов...

А помещики не успокаивались. Писали, жаловались, угрожали расправой. Суды не прекращались и длились до самой революции. Она и решила, кому принадлежат степи, сады, виноградники...

Шмая вытер рукавом взмокший от пота лоб, закурил и после короткой паузы продолжал:

— Ну вот, в тех колониях и жил мой дружок Корсунский... Там его деды-прадеды трудились. Это они первыми вспахали дикую степь, это они шли с топорами против жандармов, судились с помещиками и отстояли свой дом, свой кусок хлеба... Тихий человек был Корсунский, а смелый. В первом же бою заслужил «георгия». Да вот ранило его смертельно осколком снаряда. Кое-как под страшным огнем подполз я к нему, быстренько перевязал, хотел дотащить до лазарета, но огонь был такой плотный, что нельзя было с места двинуться, голову поднять... Лежим мы рядом, я ему протягиваю баклажку с водой. Он глотнул и посмотрел на меня. Боже, что это был за взгляд!.. Я уже насмотрелся за три года, как умирают люди, и сам несколько раз умирал, но то, что я увидел тогда, словами не передать... Клянусь тебе, Хацкель, когда я увидел, как кончается этот человек, я подумал, что уж лучше бы мне умереть... Эх, жизнь солдатская!.. Несколько минут назад лежали мы в траншее, курили цигарки, грелись на солнышке,

шутили, злословили, говорили о бабах. Корсунский приглашал приехать после войны к нему в колонию, в гости или навсегда. Работа там, мол, найдется. И вот они, солдатские мечты... Ты предполагаешь, а бог располагает. Один осколок, и все... Дал я ему глотнуть еще водички, а он слабеющей рукой отодвигает баклажку мою и говорит, еле шевеля губами:

— Прощай, дорогой Шмая, прощай... Не увижу я больше Ингульца... Умираю, а за что — сам не знаю... Там, на Ингульце, в колонии, живет моя жена, Рейзл звать ее. И двое мальчуганов... Плохо им будет жить без кормильца... Ой как плохо... Может, бог даст, ты, Шмая, уцелеешь в этой мясорубке, хоть напиши моей Рейзл... А если придется тебе когда-нибудь побывать на Ингульце, зайди к моим... Скажи, чтобы меня не ждали... Не суждено мне вернуться к жене и детям...

Больше, как ни старался, я не мог разобрать его слов. Это были не слова, а предсмертный хрип. Но вот, уже совсем безжизненной рукой, он с трудом вынул из кармана маленький узелок, окровавленный, мокрый:

— Спрячь... Передашь им, если... Ингулец... Колония... Рейзл....

Больше Корсунский не произнес ни слова. Синие глаза его навеки закрылись. Кончил свою жизнь молодой, сильный, благородный человек... Видно, крепко любил он эту самую Рейзл, если умер с ее именем на устах...

— Ну, а дальше что? — спросил Хацкель, который слушал приятеля, затаив дыхание.

— Дальше известно... — продолжал Шмая. — Вокруг ад крошечный, голову нельзя поднять. Да что тебе рассказывать! Сам небось был в том аду и хорошо все знаешь... Я прижался к застывшему телу Корсунского, и кажется мне, что в тот вечер тело друга спасло меня от пуль... Я лежал так, пока стемнело и немного затихло. Тогда я дал себе слово: если выберусь живой из этого переплета, непременно разыщу жену и детей Иосифа Корсунского, помогу им, чем смогу. Я снял с его шеи медальон, в котором должна была лежать его солдатская грамота: где жил, кто у него есть из родных, как их зовут. Но ничего этого я там не нашел. Развернул узелок. В нем была вот эта фотографическая карточка и несколько писем от жены. Да за время походов все стерлось, вымокло под дождем, и адреса я разобрать не смог. Точного адреса и у ротного писаря не нашел. Вот и все, что осталось после моего фронтового друга:

фотография жены, несколько листочков писем, заржавевший медальон — солдатская грамота на тот свет...

С тех пор и бродит со мной по белу свету карточка незнакомой женщины... Клятву, которую я дал себе в тот страшный вечер, я не забыл. Но как ее выполнить? Удастся ли сдержать слово, когда такие дела пошли на божьем свете...

Шмая не заметил, как наступил рассвет. Хацкель подошел к печурке, растопил ее, бросил в огонь несколько картофелин, разломил оставшуюся краюху хлеба на две части, раскусил пополам единственную луковицу и протянул половину приятелю:

— Эх, дорогой мой Шмая-разбойник, ничего не поделаешь. Это и есть жизнь... — задумчиво сказал Хацкель. — Тяжело, конечно, но если мы примем к сердцу, взвалим на свои плечи горе всего мира, нас, ей-богу, не хватит...

Горькая улыбка промелькнула на губах Шмаи:

— Не подымеешь, брат, эту тяжесть!.. Но живые должны взять на себя заботу о несчастных вдовах и сиротах. Ведь то, что случилось с Корсунским, могло случиться и со мной и с тобой... Тот осколок, который лишил его жизни, не долетел до меня всего на каких-нибудь полвершка...

— Все это хорошо, — перебил его Хацкель, — но первым делом давай перекусим, чем бог послал. Как это там говорится в священном писании: «Перед трапезой не лезет в голову никакая молитва...»?

Перекусив, Шмая накинул на плечи свою старую дырявую шинель, нахлобучил на голову солдатскую фуражку с не снятой кокардой, взял на плечи мешок и испытующе взглянул на приятеля, который собирался в путь явно без всякой охоты.

— Что-то больно долго, Хацкель, собираешься, словно барыня на роды... Давай скорее! Доброе дело всегда надо начинать спозаранку, — нетерпеливо бросил ему Шмая.

— Не торопись... Никуда мы не опоздаем... — недовольно пробурчал Хацкель. — Никто нас в шею не гонит, и никто нас нигде не ждет...

Он медленно, лениво натягивал на себя свой изодраный полушубок.

— Не яблоко съесть... В далекий путь собрались. И в страшное время. А ты не даешь даже подумать...

— А что тут думать? — спросил Шмая. — Мозги уже высохли от всяких дум. Перед нами весь мир настезь открыт...

— Плюет на нас этот мир с высокой колокольни!

— Ты, Хацкель, так про мир не болтай!.. Грех так говорить!

— Какой там грех! — огрызнулся балагула. — Чего стоит такой мир, где потомственный балагула должен топтать пешком, а замечательный кровельщик сидеть без работы, глядя на покореженные крыши, как кошка на сметану, не иметь крыши над головой!..

— Ничего! Мы пойдем к Советской власти. Судя по тому, что я об этой власти слышал, она нам сродни. Ну, брат, пошли! Просидел ты всю жизнь на облучке, теперь попробуй на своих на двонх пройтись. Другие времена настали!

Выбравшись на околицу, безлюдную и пустынную, путники остановились. Дорогу им перебежала одичавшая кошка.

Хацкель покачал головой. Видно, нужно возвращаться назад. Плохая это примета...

Но Шмая-разбойник только весело махнул рукой:

— Чепуха, брат! Бабы страхи! Сколько лютых псов нападало на нас, и они не смогли нас остановить, так теперь нас остановит какая-то паршивая кошка? Ну-ка, человек добрый, как ты это, бывало, своим лошадам кричал, когда в гору они тащились: «Гайда, погибель на врагов наших! Пошли, мальчики, веселее!» Так, кажется?

Балагула ничего не ответил и, недовольный, сердитый, поплелся вслед за товарищем.

Они шли мимо дубового леса, то и дело оглядываясь на опустевшее местечко, до боли родное и любимое, где сейчас, кроме родных могил, ничего уже у них не осталось. Здесь прошли их лучшие годы. Но здесь и хлебнули они столько горя, что его хватило бы на три жизни...

Дорога вела в Петровку, в село, что лежало на полпути к железнодорожной станции. Шмая решил зайти к Михайлу Шевчуку и к Ковалихе попрощаться. Он не знал, успеет ли починить ли крышу, но считал, что должен сказать на прощанье несколько хороших слов. Добрые люди, они пришли на помощь погорельцам в самые трудные минуты. Этого нельзя забыть. Надо повидаться, проститься со старыми друзьями. Кто знает, доведется ли свидеться с ними когда-нибудь.

Глава девятая

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ

Вечерние сумерки уже окутали верхние этажи домов и церковные купола, когда к похожему на тифозный барак деревянному киевскому вокзалу подполз эшелон, составленный из теплушек и замызганных классных вагонов с выбитыми окнами, с прошитыми пулями и осколками стенами и крышами.

Вагоны были до отказа набиты беженцами. Не меньше людей устроилось на крышах. Среди них примостились и наши старые знакомые — Шмая-разбойник и его спутник. Оба продрогли, потеряли свой бравый вид. И немудрено. Они сидели, прислонившись к трубе, откуда валил дым, и так почернели, что родная мать не узнала бы их. И все же они были счастливы. Ведь до того, как они попали сюда, им пришлось пройти пешком немало верст. И то, что на одной из глухих станций набрели на этот эшелон, тащившийся как черепаха, и нашли на крыше местечко, они считали наградой за все свои испытания.

Через каждые несколько километров поезд останавливался, и приходилось бежать в лес рубить дрова, так как без дров паровоз наотрез отказался двигаться дальше. Не раз бандиты обстреливали поезд, и путники мысленно прощались с жизнью.

Хацкель каждый раз ругал приятеля последними словами: зачем, мол, они пустились в такое опасное путешествие? Но Шмая твердил свое:

— Все, брат, к лучшему. Доберемся как-нибудь. Язык до Киева доведет.

Так они и ехали. Голодные как волки, они утоляли голод басней, веселым рассказом кровельщика, а жажду — снегом и ледяными сосульками, которых было здесь, на крыше, в избытке.

Долго, бесконечно долго тащился эшелон. Даже не верилось, что он когда-нибудь доберется до Киева. Не раз Хацкель предлагал все бросить, идти до какой-нибудь деревушки и пожить там до весны. Но Шмая и слышать об этом не хотел. Не такой это человек, чтобы остановиться на полпути, испугаться невзгод и лишений. Хуже бывало, и не отчаивался. А тут впереди маячил заветный Киев —

огромный город, куда со всех сторон тянулись люди в поисках счастья, работы, справедливости...

И теперь, когда поезд подполз к занесенному снегом перрону, крихтя остановился и люди ринулись к дверям вокзала, откуда валили облака пара, Шмая просиял. С трудом оторвав от трубы оковеневшие пальцы и толкнув локтем озябшего приятеля, стал спускаться с крыши, крикнув:

— Ну, дружок, кажется, кончились наши мытарства!..

— Да, можно поблагодарить господа бога за его милосердие к нам...

— Ой, кажется, рано еще благодарить его...— снимая с усов примерзшие сосульки, молвил Шмая.— Кажется мне, что кончилась первая порция наших мучений, а теперь начинается вторая!

— Типун тебе на язык! — пробурчал явно недовольный балагула.— Мало нам страха пришлось испытать в дороге? Еще накличешь на нашу голову новую беду!.. Говорил я тебе: сиди дома и не рыпайся, а тебя понесло черт знает куда и зачем. И я, дурак, с тобой потащился...

— Хватит скулить!..— усмехнулся Шмая.— Не пойму, что с тобой делается, никак тебя не раскушу... Ведь ты балагула по профессии и по призванию... Так сказать, вечный путешественник. А тут бесплатно тебя везли, и ты еще недоволен! Просто горе мне с таким попутчиком! Представляю себе, как измучился бы человек, пустившийся с тобой в кругосветное путешествие...

— Опять за рыбу гроби!..— оборвал его Хацкель.— Ты мне лучше скажи, куда это мы прибыли? Неужели в самый Киев?

— А куда ж еще? На луну, что ли? Разве не видишь, какие здесь высокие дома, какие колокольни?..

— Интересно все-таки, какая теперь тут власть?

Шмая пожал плечами:

— Спроси что-нибудь полегче... Откуда мне знать? Вот пойдем помаленьку в город, там все разузнаем... А если нас к тому же нагайками встретят, сразу почувствуем, какая власть... Главное, что мы уже на земле, а не на крыше, и кости у нас пока целы.

— Ну, слава богу, что приехали на место... Можно бы и молебен отслужить...

— Смотри, как бы по нас панихиду не служили!

— Брось свои дурацкие шуточки! Сыт ими по горло... Значит, в самый Киев прибыли?..

— Опять двадцать пять! Ну сколько можно повторять одно и то же? Конечно, в Киев. А куда же? В Брембелівку? Разве не видишь, какие тут дома?

— Дома хороши, а вот вокзал что-то очень на конюшню смахивает... Не могли губернаторы построить приличное здание? Денег у них не хватало?

— Не твоя забота! Пошли скорее в помещение! Может, согреемся там. Совсем ооченел я.

Хлынувшая со всех сторон людская волна внесла их в помещение вокзала.

Балагула был прав. Длинный, с низким потолком барак и в самом деле напоминал огромный запущенный сарай, в который загнали немыслимое количество беженцев, раненых, солдат на костылях, потрепанных панов и потерявших свой былой блеск офицеров. Здесь стоял такой шум, что можно было сойти с ума. А воздух — хоть топор вешай...

— Ну, Хацкель, живем, брат, живем! Ура!.. — воскликнул Шмая, когда их обоих прижали лицом к влажной деревянной стенке, по которой разгуливали усатые тараканы. — Сердись не сердись, а раз благополучно добрались сюда, значит, суждено нам еще пожить на этом свете. На что мы теперь можем пожаловаться? С воинской службы, слава аллаху, вернулись благополучно. А теперь еще в поезде привезли бесплатно, чего нам еще не хватает? Дали бы только пожрать, а то скоро тебя съем, хоть ты, верно, не очень вкусный...

— Опять шутишь, разбойник? Давай все же как-нибудь выбираться отсюда, а то задохнемся в этом раю... Но куда мы теперь двинемся?

— Как это — куда? Ясное дело, в город!..

— Я понимаю, что в город. Но прежде давай спросим, какая там власть... Мне что-то не нравится вся эта карусель... Посмотри налево: сидит на мешках какой-то с эполетами, а у соседа его на макушке гусарская фуражка. В правом углу пьяный казакишка бушует. А у дверей — целая орава синезупанников... Мешочники спят на уздах, а у стены какая-то девка рождает... Весело, ничего не скажешь!.. Вот и поди разберись, что происходит в городе и кто там верховодит...

— Да-а... — вздохнув, ответил Шмая. — В самом деле, все это смахивает на корабль без руля... Без руля и без ветрил... А все же долго раздумывать нам нечего. Пошли!..

И Шмая-разбойник стал пробиваться к выходу.

— Не спеши! Послушай моего совета,— негромко сказал балагула, хватая его за рукав.— Подумать надо... Говорят же люди: не зная броду, не суйся в воду. Если бы можно было идти сейчас в город, разве торчала бы здесь вся эта публика? Что им, очень интересно тут рожать? Есть какая-то причина, раз не идут в город...

— Может, поезда ожидают, куда-то уезжают...

— Не уезжают, а бегут... Неспроста... Верно, новая власть подходит, коли эти, с эполетами, и синежупанники сматывают удочки...

— А нам какое до них дело? Пусть бегут, а мы пойдем в город!

Пока путники пробились к выходу, их много раз прошиб пот.

Шмая никогда в жизни не видел такой пестрой толпы. И кого тут только не было! И перепуганные насмерть купцы, и поблекшие барыни, чиновный люд, потаскухи, пьяные казаки; грабители, карманщики шныряли повсюду в поисках легкого хлеба. Светопреставление! Со всех сторон доносились пьяные крики, визг женщин, мольбы о помощи.

Шмая облегченно вздохнул, когда выбрался на свежий воздух. Он опустился на деревянные ступеньки. Надо было передохнуть и собраться с мыслями.

Несколько минут он сидел, подперев рукой подбородок, и смотрел в сторону города. Хацкель не сводил с него глаз, ожидая, что же решит Шмая-разбойник. Этот большой город внушал балагуле непонятный страх. Видно, придется делать то, что скажет кровельщик. Как-никак, человек кое-где побывал, знает жизнь, разбирается в любой обстановке. К тому же он большой упрямец. Скажет слово, не отступится ни за какие блага.

Но на этот раз Шмая долго не мог принять какое-нибудь решение. А тут еще стало темнеть. Со стороны города доносился глухой шум. Изредка слышались выстрелы, взрывы. Как тут решить, что делать и куда идти?

Не зная, как поступить, он пока что присматривался к людям, заполнившим всю привокзальную площадь. Справа, у самых ступенек, он увидел на снежном сугробе пожилого толстячка с сизо-багровым лицом, с длинными рыжеватыми усами, в изодранном жандармском мундире без погон. Тот напевал себе под нос не то брагурный марш, не то «Боже, царя храни...», пытался стать на ноги,

но тщетно. И все же после нескольких неудачных попыток он с горем пополам поднялся, расстегнул ворот кителя и, обведя пьяными красными глазами сидевших на ступеньках людей, остановил свой взгляд на Шмае.

— Ты... солдат! Ты чего не козыряешь, спрашиваю? На гауптвахту! Здравия желаю!..— орал он, брызжа слюной во все стороны.

Он пытался поднять руку к козырьку, но ноги не удержали его, он покачулся и рухнул в сугроб. Потом на четвереньках выкарабкался, кое-как отряхнул с себя снег и, оставившись мутным взором на Шмаю, продолжал:

— Здравия желаю!.. Слышь, солдатик, почему не козыряешь? Может, ты тоже за `р-р-революцию? За большевиков? Вот где они у меня сидят... В печенках, сукины сыны!.. Вот тут!.. Расстрелять! На гауптвахту! Отставить! Ать-два! Ать-два! Ать-два! Отставить!..

Пьяный на минуту замолк, взял пригоршню снега, потер им лоб и снова уставился на Шмаю:

— Не обижайся, солдатик... Не обижайся, сукин сын... Петр Спиридонович Гвоздев хватил с горя чарочку... Выпил за царя-батюшку и империю... Молчать! Нет царя, нет Керенского, нет пор-рядка! Нет правды в России... Из Петрограда я бежал, из Москвы бежал... Бежал от антихристов-большевиков... Прибежал сюда, и отсюда надо бежать... Нет в России пор-рядка! Дайте Гвоздеву власть в руки, он скоро наведет порядок! На виселицу всех подряд! На плаху!.. Нет городских, нет жандармов — нет пор-рядка!.. Разогнать! Не хотят воевать до победного конца!.. Не идут на фронт, дезертиры! Большевики прокламации разбрасывают, анархисты стреляют, а некому их загнать в Сибирь. Эх, мать святая Русь... Молчать! Нет пор-рядка! Погибает Россия без Гвоздева!..

Пьяный подполз к ступенькам, с трудом выпрямился и хотел было обнять Шмаю, который внимательно, скрывая довольную улыбку, слушал. Но не дотянувшись до него, снова свалился в сугроб:

— Здравия желаю, солдатик! Почему не козыряешь, сукин сын? Ты тоже большевик, а? Отвечай, не то я тебя сейчас шашкой, шашкой...— Он умолк и вдруг стал орать простуженным голосом:

Соловей, соловей, пташечка!
Канареечка жалобно поеть!
Раз поеть, два поеть,
Горе не беда! Канареечка жалобно поеть!

Закурить дай! Одну затяжку. За одну затяжку всю Россию тебе отдам!

Шмая вынул изо рта окурок и протянул ему. Тот взял окурок дрожащими пальцами, но никак не мог вставить его в рот.

— Эх, мать пресвятая!.. Вся жизнь пропала!.. Нет империи, нет Кер-ренского, нет правды в России, нет Гвоздева... Р-р-р-азойтись! Ать-два! Ать-два!

— Погибель на твою голову! — разозлился Хацкель и потянул приятеля за полу. — Этот пес может так всю ночь горланить, а мы будем тут сидеть и слушать его? Пошли!

Шмая громко рассмеялся:

— Дурак ты! Ради одного этого знакомства нам стоило проделать такой путь!.. Вот она, царская империя! Вот это разговор! Давно такого не слышал... Весело, ей-богу! Власть дай ему, и он порядок наведет... Дать бы ему подковой по башке, чтобы больше не встал!..

И Шмая поднялся с места.

— Да, очень все-таки интересно, — сказал он. — Есть правда на земле, если Гвоздев валяется на вокзале, как свинья... Ну, пошли, брат, искать свое счастье...

Куда девались золотые кресты и пузатые купола церквей, крутые подъемы и высокие дома, вскарабкавшиеся так высоко, что ты и не знаешь, на чем они держатся? Все потонуло в ночной мгле, и только желтый отсвет окон ложится на тротуары пустынных улиц. Изредка то тут, то там возникают фигуры прохожих. Но люди не идут, а бегут, проносятся вдоль стен, словно ожившие тени. Каждый с опаской смотрит на другого, очевидно считая, что тот только и думает о том, чтобы снять с него последнюю рубашку, ограбить, убить, зарезать. Время от времени по улице проносятся фэтоны с пьяными офицерами, которые орут похабные песни, стреляют в воздух и отчаянно сквернословят: «Все равно жизнь пропащая, живи, пока живется, и пой, пока поется!..»

Наши путешественники идут по темным улицам незнакомого города, заглядывая в неосвещенные окна нижних этажей. Есть же счастливицы, которые имеют свой угол, свою постель, которые могут отдохнуть, согреться, выпасться! А им куда деваться, к кому обратиться за советом, за помощью?..

А мимо все мчатся фэтоны с пьяными пассажирами. Визжат, хохочут девки, орут песни офицеры. Шум, крик стоит неимоверный...

— Сумасшедший дом... — произносит после долгой паузы Шмая. — Так веселиться можно, пожалуй, только перед своей смертью!

— Эх, Шмая-разбойник, — вздыхает Хацкель. — Случись мне сейчас такой фаэтончик с фонарями да с упитанными лошадаками в яблоках, какой мы только что видели, я бы в этом столпотворении мешок денег нагреб! Большой дом купил бы, обзавелся бы таким хозяйством, что все завидовали бы мне, и тогда плевать я хотел на весь мир! На всех!.. В такой суматохе можно все достать за бесценок... Зажили бы не хуже, чем Гришка Распутин жил. Эх, иметь бы собственный выезд...

Шмая даже остановился и сурово посмотрел на балагулу:

— Ты что?.. Буржуям завидуешь? Что ж, тебя тоже выгнали бы из России, как всю буржуйскую свору!.. Этого тебе еще не хватает! Просто слушать противно! Где твоя совесть?

— А быть нищим, оборванным и голодным тебе не противно?!

— Я не хочу, Хацкель, быть ни богачом, ни нищим! — сердито оборвал его Шмая. — Хочу иметь крышу над головой и собственными руками заработанный кусок хлеба... И чтоб никто мной не помыкал, не напоминал мне каждую минуту о моем вероисповедании, о том, какому богу я молюсь... Все мы происходим от одного Адама и от одной Евы. И черт его знает, какой подлец разделил нас...

Шмая горячился, и балагула, смеясь, взял его за локоть:

— Не кричи так!.. Люди на нас оборачиваются... Чего ты меня уговариваешь? Я согласен с тобой. Но поди скажи все это правителям, а не мне.

— Да я могу повторить это перед самым господом богом! Не постесняюсь... Это говорили нам большевики, когда мы еще в окопах гнили... А теперь должен быть такой порядок, какой они обещали!..

— Не понимаю, чего ты от меня хочешь, разбойник!

— Я хочу от тебя одного: раз мы связали в один узелок нашу судьбу, то нужно, чтобы совесть у тебя всегда была чиста, чтобы ты навсегда выбросил из своей дурацкой головы всякие глупости насчет того, как бы заграбастать чужое добро, нажиться на этой суматохе... Совесть надо иметь! Понимаешь, совесть! Мы можем своими руками

честно на свою жизнь заработать... Понимаешь или еще растолковывать?..

— Ладно, не горячись... Пусть будет по-твоему,— немного успокоился балагула и уже молча смотрел на пронесившиеся мимо роскошные фаэтоны.

Путники громко стучали коваными каблуками по тротуару, и со стороны могло показаться, что это идет по крайней мере рота солдат.

Вдруг, откуда ни возьмись, послышались выстрелы. Друзья прижались к каменной стене, всматриваясь в густую темень. Не одними разговорами и спорами жив человек. Надо было найти себе приют. Надо было разобраться, что происходит вокруг.

Подождав, пока утихнет стрельба, они двинулись дальше, к центру города.

Под ногами поскрипывал снег. Было скользко.

— Эх, разбойник мой дорогой, а ты мне дома говорил, что идем к Советской власти. Еще заставил сбрить бороду,— негромко сказал Хацкель.— А тут, как видишь, хозайничают банды...

— Это так, но, кажется, недолго им осталось тут разгуливать... Видал, что на станции делается? А то, что они бешутся, это к лучшему. Издыхающий зверь всегда скалит зубы...

Незаметно они выбрались на главную улицу города. Здесь уже горели фонари, сверкали витрины, прогуливались люди.

В ресторанах и кафе играла музыка.

— Ну, Хацкель, здесь тебе больше нравится?

— Мне все тут не нравится... И прежде всего не нравится то, что я еще не знаю, где мы сегодня будем ночевать. А я уже падаю с ног...

— Да,— задумчиво сказал Шмая,— свет велик, а бедному человеку негде голову приклонить... Но не унывай! Как-нибудь не пропадем. На крыше теплушки хуже было... Что и говорить, большой город...

— По мне твой город мог бы быть и поменьше,— перебил его Хацкель.— Был бы только у нас теплый уголок, чтобы душу отогреть.

— Ох, не люблю, когда распускают нюни! Все у нас когда-нибудь будет...

В самом конце широкой улицы путники остановились возле большого полусгоревшего дома. Окна и двери были

выбиты, и на тротуаре валялись поломанные стулья, столы, шкафы, загородившие вход в это пятиэтажное здание. С минуту они стояли, рассматривая дом хозяйским глазом.

— Ах черт! Сколько людей могло бы здесь разместиться! Звери никогда не разрушают нор, логов и хижин своих жертв, а вот бандюги...— с грустью промолвил Шмая.

— Что же ты остановился? Нужно идти устраиваться на ночь. Сам же говорил, что город большой и домов в нем много.

— Это правда, но я думаю, сколько труда нужно будет положить, чтобы отстроить эту махину... Одну крышу чинить — сколько работы. Эх, руки у меня чешутся...

— Да отстань ты от меня со своими крышами!.. Когда я стал говорить о лошадях, ты меня чуть не съел, а вот крыши...

— Э, тут ты уже, брат, загибаешь!.. Я ведь не говорю тебе, что хочу иметь такую крышу, что купил бы за бесценок эти дома, набил бы карманы деньгами и зажил бы припеваючи... Я только хочу, чтобы мне дали возможность людям крыши чинить.

— Ручаюсь тебе головой, что крыши от тебя не уйдут... Если живы будем, ты еще немало полазишь по ним и не одну мозоль набьешь... Дай только бог, чтобы стало спокойно на свете. А если все время будет такой гармидер, как теперь, то никому не нужны будут крыши. Гробы будут нужны, катафалки...

Снова прогремело невдалеке несколько выстрелов, слышались душераздирающие крики. Кто-то звал на помощь. По широкой улице промчались синежупанники с обнаженными саблями; искры летели из-под копыт резвых коней.

— Вот они, нынешние хозяева города. Правители, так сказать... От таких добра не жди...

Улица мигом опустела. Гуляющая публика словно сквозь землю провалилась. Всюду погасли огни. Только в одном ресторане заливалась скрипка и слышался хриловатый женский голос:

Эх, Самара-городок,
Неспокойная я, ды беспокойная я,
Ды успокой ты меня!..

— А чтоб тебя холера успокоила! — выругался балагула и протиснулся в парадное сгоревшего дома.

Шмая двинулся за ним. В крошечной тьме поднялись они на третий этаж, осторожно ступая по загроможденным разным хламом ступенькам, попали в огромную, каким-то чудом уцелевшую комнату.

— Давай, брат, тут и сделаем привал, — сказал Шмая. — Ясно, что сегодня никуда уже не пойдем. Отдохнем, поспим, а утром видно будет. Известно, утро вечера мудренее.

— Что ж, я не против.

Оба сбросили на пол свои мешки, кое-как прикрыли досками окна, забаррикадировали дверь, собрали кучу бумаги и разного хлама, засунули все это в камин и растопили его. Бумага тут же загорелась, осветив почти половину комнаты.

— Ну, Хацкель, сейчас тут будет тепло, как в бане, — сказал кровельщик. — Только смотри, топи осторожно. А то как бы мы с тобой не сгорели... Ты уже имел возможность убедиться, что этот дом может хорошо гореть...

— Черт с ним, с домом, лишь бы согреться!..

— Только этого нам еще не хватало — гореть!.. — улыбнулся Шмая, усаживаясь на полу возле камина. — А теперь будь человеком и развяжи свой мешок. Если не ошибаюсь, у нас там еще имеется целое состояние. Там должна быть краюха хлеба и большая луковица, которую Михайло Шевчук дал нам на прощание... Давай справим трапезу!

— Хорошая же у тебя память, разбойник! А я было думал, что ты уже забыл о наших запасах...

— Как же забудешь такое?.. Когда мы сидели на крыше, я еще тогда хотел сказать, чтобы ты развязал мешок, но удержался... Я солдат и знаю, что последний кусок хлеба нужно беречь на самый крайний случай. А вот теперь давай!

Балагула отошел в сторонку, достал из бокового кармана бутылку. Он тихонько откупорил ее зубами и украдкой отхлебнул раз-другой, вытер рукавом губы, взглянул на остаток и поднял бутылку вверх:

— Видишь, разбойник, что я припас для тебя? Божий напиток, сороковочку!.. Хотя и не шибко много ее, но душу согреть хватит...

Потом взял мешок на колени, по-хозяйски развязал его, вынул хлеб, луковицу.

— Что ж, неплохо теперь глотнуть! — подмигнул Хац-

кель и, наклонившись, чтобы приятель не заметил, еще раз отпил из бутылки.

Шмая неласково посмотрел на балагулу, но тут же развел руками и рассмеялся:

— Откуда ты взял такое добро, жулик ты этакий?..

— Давай раньше по-братски поделимся, а потом уж расскажу,— улыбнулся балагула и, отмерив толстым пальцем половину содержимого бутылки, выпил, а остаток передал Шмае.

— Пей, разбойник, и знай мою добрую душу... Ты, кажется, спрашивал, откуда это у меня? А помнишь, как на последней остановке, возле станции, бандиты наш поезд обстреляли? Тогда к нам на крышу вскарабкалась пожилая барыня с кошелкой. Я ей помог, тащил эту корову на чердак... Ну вот, она за труды и подарила шкалик. Ну, поменьше болтай, выпей скорее. Будем здоровы!

— Так что же, она тебе неполную бутылку дала? — лукаво взглянул на приятеля Шмая.

Тот не нашелся сразу, что ответить, поэтому лишь что-то промычал и стал подбрасывать в камин какие-то папки.

— Ну, будем здоровы... И счастливы! — ответил Шмая и с удовольствием выпил.— Не хочу тебя обидеть, Хацкель, но скажу, что я так не поступил бы. Мы условились делить все — и радость, и горе, и последний кусок хлеба... Ну, ты меня понимаешь... Это, конечно, мелочь, не стоит об этом даже говорить. Мне твоя водка не нужна, но хитрости я не терплю!

Шмая закусывал неохотно. Кусок не шел ему в горло.

Они немного посидели молча, глядя в огонь пылающего камина.

Кровельщик стал сгребать в кучу оставшиеся бумаги, папки, книги, чтобы поудобнее устроиться на ночь. Потом растянулся на них, подложив руку под голову. Рядом прилег Хацкель. Оба смотрели, как горят книги, оставшая на пепле набухшие ряды букв.

— Экие толстые книги писали люди,— задумчиво сказал кровельщик,— а порядка на земле все-таки нет...

— Да, нет порядка,— подтвердил Хацкель, не сводя глаз с приятеля.— Но скажи мне, откуда ты такой взялся? Толковые слова градом сыплются с твоих уст, прямо мудрец! И где были глаза у твоего батьки, что тебя простым кровельщиком сделал? С твоей головой министром бы тебе быть, а не кровельщиком!

Шмая, польщенный похвалой, начал было рассказывать

какую-то новую историю о своем фельдфебеле, но грубиян Хацкель сразу же уснул и стал так громко, ну просто неприлично храпеть, что все дело испортил.

Махнув в сердцах рукой, Шмая стал тормошить балагулу:

— Храпи, брат, только потише. Не забывай, что ты не у себя дома и не у своей тещи, что ты здесь не хозяин, а гость. И, если не будешь вести себя прилично, могут тебя взять за шиворот и выкинуть на улицу... Так что помни, где ты находишься...

— Да отстань ты со своей политикой! — огрызнулся сквозь сон тот. — Прошу тебя, дай мне хоть немного отдохнуть от этой политики...

Через несколько минут оба уже крепко спали на ложе из книг и бумаг. Их освещало пламя камина. Мягкие тени ложились на их усталые, осунувшиеся лица.

Когда они проснулись, на дворе был уже день. По улице шныряли мальчишки, размахивая газетами и выкрикивая:

- Экстренные новости!
- Красные подходят к Киеву!
- Последние известия!
- Арест большевистских агитаторов!
- Пожар на Шулявке!
- Расстрел красных агитаторов!
- Газеты! Свежие газеты!..

Шмая поднялся, громко зевнул и стал тормошить сонного Хацкеля:

— Слыхал, красные, наши подходят!.. Вставай скорее, пойдем!

— В самом деле, надо спешить, — ответил балагула. — А то может еще нагряться сюда какой-нибудь черт...

— А нам наплевать на него!.. Мы тут хозяева!

— Тоже еще хозяева!

Спустившись вниз, они стали протискиваться сквозь запрудившую улицу толпу.

В городе началась паника. Все куда-то спешили, о чем-то шептались по углам. Издали доносились глухие взрывы, и со всех сторон слышалось одно: «Идут красные...»

Со скрежетом тащились к вокзалу переполненные трамваи, мчались фиакры, фаэтоны. В магазинах были приспущены железные шторы. Возле хлебных лавок стояли очереди, и женщины жаловались на дороговизну, на то, что на

базаре ничего нельзя достать, проклинали свою судьбу и все на свете.

А со всех сторон звенели голоса мальчишек-газетчиков:

— Последние известия! Красные подходят к Киеву!

— Арест большевиков-подпольщиков!

— Побег арестантов из Лукьяновской тюрьмы!

Шмая шагал по улице, разглядывая испуганных горожан, прислушиваясь к их разговорам. За кровельщиком плелся мрачный Хацкель. Он не мог наглядеться на бойких лихачей, которые проносились по улице, громко щелкая кнутами. До боли завидуя им, он не меньше завидовал и разодетым в меха горожанам: «Эх, достать бы такой выезд да так нарядиться». Однако вслух об этом теперь боялся говорить. Знал, что разбойник снова обрушится на него и, чего доброго, может бросить его и уйти один.

И все же он не выдержал.

— Смотри, голубчик,— сказал Хацкель.— Ты мне твердишь, что скоро все будут равны... И что же? Мы с тобой носим шубы на рыбьем меху, а эти буржуи разодеты так, будто на свадьбу собрались...

— Они свои последние дни доживают. Можешь им не завидовать!

— Возможно, что это и так, но все-таки они живут, как у бога за пазухой, а мы щелкаем зубами от голода... Паршивая, видать, здесь власть... Холера их знает, кто тут верховодит... Был Петлюра, теперь, говорят, объявилась какая-то новая собака...

— Одна банда! А ворон ворону глаз не выклюет. Но это все временные. У всех у них уже поджилки трясутся. Красные подходят все ближе, и скоро уже этим конец придет.

— Дал бы бог! А то ехали мы к одной власти, а приехали к другой... Надо бы теперь тихонько сидеть где-нибудь, не бросаться в глаза... Ведь нас и в кутузку могут загнать...

— Плевать нам теперь на всех! Кого нам бояться? Наши капиталы, наши дворцы, имения у нас отнимут?

— Тебе на все наплевать! Даже на то, что в моем мешке ветер свищет. Ни горбушки не осталось...

— Не горюй! Найдем работу, на наши руки всегда найдутся муки...

Оба замолкли.

— Послушай, разбойник,— нарушил молчание Хацкель.— Скажи-ка мне, что это за еврейский министр зате-

сался в эту босяцкую компанию? Объявился какой-то наш защитник... Посмотреть бы, как он выглядит. Узнать, чем он тут занимается...

— Как чем? Помогает устраивать погромы!.. Разве ты не помнишь того «уполномоченного», который приезжал к нам? Забыл, как Билецкий и Юрко с ним побеседовали по душам? Тоже из этой компании. Что ж, если ты очень хочешь с ним познакомиться, мы можем отправиться к нему в гости...

— На кой он мне черт!.. Тысяча болячек ему в бок, если он мог пойти на службу к этим головорезам...

— Мне тоже интересно хоть одним глазком взглянуть на этого министра, посмотреть, что это за еврейский дружок у Петлюры.

Хацкель пожал плечами. Он уже жалел, что напомнил Шмае о министре. Тот уже загорелся, и теперь его не переспоришь.

И балагула не стал спорить. Кровельщик все равно стоял бы на своем. Ему еще не приходилось иметь дело с министрами, а теперь, видно, настало время познакомиться с одним из них. Он должен поговорить по душам с этим еврейским министром!..

Шмая с дружкой двинулись разыскивать министерство. Долго пришлось им бродить по разным закоулкам, пока они наконец попали на его след.

В длинном коридоре мрачного двухэтажного здания, зажатого между двумя высокими каменными домами, было накурено и шумно, как на вокзале. Повсюду — на подоконниках, на скамьях, на полу — сидели беженцы. Они допытывались, когда «сам» уже соизволит показаться, шумели, ссорились и занимались своими делами: кормили грудных детей, перекладывали свой немудреный багаж, сушили белье, пеленки...

Видно, много дней провели они в этом коридоре в ожидании помощи, встречи с министром, который, думали они, должен защитить их от всех напастей.

Шмая постоял на пороге, с болью в сердце глядя на измученных, голодных людей, и направился прямо к боковой двери, где, как гласила табличка, находилась канцелярия министра. Хацкель робко пошел за ним.

— Послушайте, молодые люди! — окликнула их черноволосая женщина с грудным ребенком на руках. — Может быть, кто-нибудь из вас и есть наш министр?..

Как ни тяжело было у Шмаи на душе, он громко рас- смеялся:

— Неужели мы с приятелем похожи на министров?

— Сами уже толком не знаем, что теперь в министрах ходит. Каждый день меняются они...

— Комедия, а не министр!.. Никогда не застанешь его на месте... Все куда-то спешит, делает вид, что занят большими делами... Шут гороховый, провалился бы он в пре- исподнюю!

— Тише там! И стены имеют уши...

— Взглянуть бы на него хоть издали! Каков он, этот молодчик, что связался с Петлюрой и служит ему, как верный пес?..

— Пойти на службу к погромщикам... Какой позор!

— А чем же он занимается, этот министр?..

— Шкуру свою спасает, вот чем занимается! А нас про- дает...

— Петлюра устраивает погромы и кричит: «Я не я, и хата не моя». А наш дорогой министр заговаривает нам зубы...

— Обещает помочь беженцам, а сам где-то прячется...

— Министр честно зарабатывает у Петлюры свой ку- сок хлеба. Уговаривает нас не связываться с большевика- ми... Рассылает своих эмиссаров по местечкам, а эти молод- чики выступают там с речами, требуют роспуска отрядов самообороны, сдачи оружия...

— Продался бандитам за чечевичную похлебку!..

Трудно было что-то разобрать. Шмая молча прислуши- вался к возгласам, к шуму. Он уже понял, что это за ми- нистр, и теперь проникся к нему такой ненавистью, что попадись тот ему под руку, не сдобровать бы ему. Хо- телось уйти отсюда, но Шмая давно не был в таком об- ществе, и он остался вместе с беженцами.

— А что вы тут делаете, люди добрые? — заговорил Шмая.— Чего ждете?

— Сами не знаем. Но куда нам деваться? Жить негде, отовсюду нас гонят. Мерзнем, как собаки, а тут по край- ней мере тепло...

В коридоре стоял невероятный шум. Из боковой двери выскочил секретарь, долговязый худой молодой человек с озабоченным лицом. Его козлиная бородка тряслась от злости. Поправив на чуть приплюснутом носу пенсне и окинув презрительным взглядом толпу, он закричал:

— Что вы устраиваете тут базар? Я вам уже сто раз

говорил, что торчите здесь понапрасну! У министра своего банка пока нет... Он не занимается оказанием помощи беженцам и беднякам. Здесь не богадельня и не благотворительное общество!.. Здесь государственное учреждение. Понимаете вы человеческий язык или не понимаете?

Выпалив эту тираду, долговязый вырвался из окружившей его толпы и скрылся за дверью.

Шум в коридоре все нарастал. Слова секретаря еще больше возмутили людей, которые долгие дни ожидали помощи, валялись на заплеванном полу.

— Слыхали, как он с нами разговаривает?

— Народ бедствует, а они тут штаны без толку протирают, все что-то пишут и пишут...

— Писать бы им завещание своим детям!

Боковая дверь снова раскрылась, и из нее высунулась борода долговязого:

— Вы чего тут орете, мешаете работать? Убирайтесь отсюда!

— А мы не к тебе пришли! И нечего нас гнать! Достаточно нас бандиты гнали!..

— Мы пришли поговорить с министром!..

— Куда он девался, ваш драгоценный министр!

— Он когда-нибудь здесь появится, или его уже тоже прогнали?..

— Я попрошу вас выражаться вежливо! — рассвирепел долговязый. — Это большевики науськивают вас на министра. Он вам не мальчишка, а государственное лицо! За такие слова вы будете отвечать по законам военного времени! Мы не позволим компрометировать его! Не позволим! И не мешайте нам работать!.. Готовим срочные материалы правительству!

— Грош цена всей вашей работе и вашему правительству!

— Какому правительству? Которое погромы устраивает? Страну немцам продает?

— Вы, кажется, выведете меня из себя, и я вызову стражу! Не думайте, что пришли в публичный дом!

— Там хоть есть какой-то порядок...

— Вот сниму сейчас телефонную трубку и приглашу казаков! Лучше расходитесь по домам!

— По каким домам?! Нет у нас дома!

— Не уйдем, пока не вызовешь своего министра!..

— Где же я вам его возьму? Рожу, что ли? — уже спокойнее заговорил секретарь. — Министр просил передать,

что сегодня он здесь не будет... Сегодня после обеда в синагоге Бродского на Мало-Васильковской состоится митинг. Там министр будет речь держать, наш министр. В синагоге Бродского... Если вы его хотите увидеть, приходите туда после обеда...

— Слыхал, Хацкель, что говорит этот молодой козел? После обеда прийти на митинг, послушать министра... Если так, то мы никогда туда не придем. После обеда... Я уже забыл, когда мы с тобой обедали... Забыл вкус борща...

Оба приятеля пробрались к выходу и пошли по гористой улочке, заходя в каждый двор,— авось, найдется для них какая-нибудь работа. Было уже не рано, а они еще маковой росинки во рту не имели.

Долго ходили они из двора во двор, но всюду хозяева лишь пожимали плечами: мол, не такое время, чтобы чинить что-нибудь, да и платить нечем. И они шагали дальше, уже было потеряв всякую надежду заработать сегодня на кусок хлеба. Но на одной из маленьких улочек счастье неожиданно улыбнулось им. Их остановил старый обрюзгший мужчина в облезлой шубе и в котелке. Он попросил разрубить остаток забора на дрова, все равно уже больше половины забора растащили на топливо соседи. Вынес во двор пилу, топор, и они, Шмая и Хацкель, поплевав на озябшие руки, дружно принялись за работу.

Спустя два часа посреди двора уже лежала груда крашенных щепок, поленьев — все, что осталось от некогда красивого резного забора пана Билькевича. Старик оказался человеком очень разговорчивым, общительным. Возможно, в другое время он на подобных оборванцев и не посмотрел бы, а теперь хвалил, благодарил: мол, только бог мог прислать ему таких добрых людей. Не придется теперь ему больше грызться с соседями, которые растаскивали по щепкам забор, ограждавший от всего мира его чудесный сад. А главное: он запаса дровами и, если с ним ничего за это время не случится — не ограбят его и не убьют,— он хотя бы проживет в тепле...

Кутаясь в шубу, старик все время смотрел, как дружно работают молодые люди. Особенно понравился ему Шмая с его веселыми озорными шутками. Пан Билькевич был до того растроган, что когда новоявленные дровосеки закончили работу и аккуратно сложили поленья в сарай, позвал их в запущенный, некогда богатый дом, радушно пригласил к столу, вытащил из шкафа какие-то припасы и щедро угостил их. Потом полез в подвал и принес

целую сулею доброй сливянки, сел с ними за стол и, неустанно доливая бокалы, стал жаловаться на свою горькую судьбу.

Приятели засиделись здесь до сумерек. И хотя Шмая, изрядно выпив, был навеселе, он все же вспомнил, что после обеда в синагоге Бродского будет говорить речь еврейский министр, и решил податься туда. Разве можно пропустить такой удобный случай и не посмотреть на министра, который денно и нощно заботится о благополучии еврейского народа?.. Нет, нужно непременно пойти послушать разумное слово, побывать на таком интересном собрании...

Но так думал только Шмая. Балагула и слышать об этом не хотел. Не нужна ему политика! Он уже как-нибудь постарается прожить свой век без политики, которая все равно до добра не доводит.

Однако Шмая, как всегда, настоял на своем.

Глава десятая

«ТИХО! САМ МИНИСТР БУДЕТ ГОВОРИТЬ»

Пока они добрались до Мало-Васильковской, стало совсем темно.

В синагоге Бродского было полным-полно народу. Сюда пришли почетные прихожане в дорогих шубах. Они важно расселись в огромном зале с беломраморными колоннами и высоким резным позолоченным амвоном, где хранились свитки торы,— святым местом, доступным лишь избранным. Поближе к дверям и в проходах разместились мелкие купцы, ремесленники, служащие; хоры, галерку, где обычно в праздничные и субботние дни молились женщины, заполнили шумные беженцы. Все нетерпеливо ждали появления министра, будто от того, что он скажет, зависела их судьба.

А люди все прибывали, и в синагоге уже стоял такой шум, будто это было не богоугодное заведение, где тихо молятся и тихо разговаривают с самим господом богом, а заезжий двор на бойком месте.

Важные прихожане, занявшие резные кресла, с возмущением посматривали на галерку, где горланили беженцы: зачем пустили сюда эту голытьбу? Не для них же придет министр. Не умеют себя вести! Шумят, галдят, как на ярмарке. На что все это похоже?

Но не выгонишь ведь людей из синагоги. Да и заводится с ними, сам, пожалуй, рад не будешь...

Шмая не представлял себе, что соберется столько народу, и теперь не знал, что предпринять, чтобы попасть в помещение синагоги. У входа в нижний зал стоял огромный бородатый шамес — синагогальный служка, — придерживал дверь и гремел богатырским басом, угрожая, что если кто будет рваться сюда и кричать, он вышвырнет всех вон!

Тут уж Хацкель не выдержал. Он побагровел и, пробравшись к входу, показал службе кулак, сказав при этом, что он со своим другом Шмаей-разбойником не одну сотню верст прошел, чтобы услышать речь пана министра, и, если их немедленно не пропустят, он все окна в синагоге выбьет...

Эти слова возымели решающее действие на богатыря шамеса, и он почтительно пропустил приятелей. Но протиснуться дальше входа не было никакой возможности, и они вынуждены были прижаться к стене.

Шмая сразу оценил искусную резьбу на стенах, красочные росписи на потолке и карнизах, огромные бронзовые люстры и позолоченные колонны. Большой стол на возвышенности, покрытый атласным покрывалом.

Он толкнул локтем Хацкеля и подмигнул ему, жмуря глаза от яркого света:

— Видал работенку? Неплохие мастеровые здесь потрудились...

— А что я, слепой, не вижу? Мне только интересно узнать, сколько все это стоило. Наверно, миллионы?

— Не считал...

— Ты, дорогой, лучше посмотри, какие сытые рожи там, в первых рядах. Эта публика, видно, и теперь не тужит. Ей и при этой власти живется неплохо... А теперь посмотри, что делается на хорах, на галерке!.. Несчастные, голодные, нищие люди... — Подумав немного, Хацкель добавил: — Нет, видно, никогда не будет так, чтобы все жили одинаково...

— Почему не будет? Советская власть придет сюда, и совсем другая жизнь начнется. Не слыхал разве песню: «Кто был ничем, тот станет всем»? Как же иначе?.. Помню, в окопах большевики говорили, что когда прижмут буржуазию, капиталистов и помещиков, наступит равенство и братство... Тише, кажется, начинается!.. Давай послушаем...

— Идут! Идут! — слышались возгласы со всех сторон.

На возвышении, среди мраморных колонн, показалось несколько хорошо одетых мужчин. Видно, они привыкли к почестям и к тому, что всегда должны стоять на самом видном месте среди своих единоверцев. После долгой паузы кто-то из них хлопнул несколько раз по толстому переплету библии, лежавшей на столе, отчетливо и торжественно сообщив при этом:

— Господа, тише! Сейчас перед вами выступит с речью наш министр! Тихо! Министр будет говорить!..

К столу медленно подошел невысокий плотный человек средних лет в черной шляпе, с массивной палкой в руках.

Он снял пенсне в золотой оправе, протер платком стекла, другим платком вытер вспотевший лоб, окинул близорукими глазами публику, кому-то почтительно поклонился и, установив свой взгляд на хорах, поморщился: зачем, мол, столько простого люда впустили, да к тому же этих беженцев, которые и так не дают ему прохода там, в министерстве!.. Но делать нечего, нужно начинать. Он достал из бокового кармана пачку бумаг, аккуратно разложил их перед собой, и с его уст градом посыпались слова. Наши знакомые, прижатые к стене у входа, слышали примерно такую речь:

— Господа, братья и сестры! Я, как министр, должен вам сказать следующее:

В переживаемый нами исторический момент каждый индивидуум в отдельности должен стремиться быть достойным той высокой народной миссии, ради которой мы и решили созвать сегодня это репрезентатбельное собрание. Создание еврейского министерства при нынешнем высокоуважаемом и высокочтимом правительстве является следствием потрясающей участи избранного богом еврейства в изгнании, в диаспоре, так сказать... Благодаря самоотверженному и благожелательно-внимательному великодушию и добросердечию нового правительства, а также благодаря регламентационным, прокламационным действиям высоких представителей, руководителей и покровителей облегчается восстановление, требующее, конечно, безусловно, надлежащей стабилизации и модернизации в данной ситуации, протекающей, естественно, из консолидации, координации, последовательности и репрезентатбельности субординации...

— Пан министр! Молодой человек! А нельзя ли немного покороче и чуточку яснее? — слышался с галерки

громкий голос.— Вы лучше скажите нам просто и ясно, когда кончатся погромы и когда дадут нам спокойно жить на свете?..

— Болтает черт знает что! Просто уши вянут!..

Министр опешил, достал из кармана платок и стал вытирать потное лицо.

Вся синагога загудела. Со всех сторон раздавались возгласы, крики. Трудно было разобрать, кто говорит, кто кричит и как удастся успокоить публику.

Но министр быстро овладел собой и, стараясь перекрыть всех, продолжал:

— Господа! На что это похоже! Я государственное лицо!.. Это значит, что вы плюете на правительство! Именем закона предупреждаю всех бунтовщиков, что они будут строго наказаны, если не дадут своему министру говорить!..— Голос у него сорвался. Он сильно закашлялся, побагровел и, уже не обращая внимания на шум, сыпал:

— Я вызову сюда охрану!.. Не забывайте, с кем имеете дело! Я вам не мальчик и нахальства не потерплю! Предупреждаю: если вы не будете вести себя корректно, с должным уважением относиться к своему министру и вообще к нынешнему правительству, я буду вынужден призвать на помощь силу... Большевики вас избаловали, и вы им верите, идете за ними, создаете отряды самообороны. Позор! Стыд и срам!..

Он пропускал мимо ушей оскорбительные реплики по его адресу, по адресу правительства и, словно пробиваясь сквозь туман, кричал:

— Господа! Мы должны гордиться тем, что, слава богу, уже имеем свое специальное, репрезентательное представительство в правительстве в лице нашего высокого министерства с собственной компетенцией и регламентацией, подчиненное в порядке координации и субординации высшим органам власти и тому подобное... От ваших отрядов самообороны, созданных в некоторых местечках, исходят все беды и несчастья. Наш долг — беспрекословно и незамедлительно сдать оружие, а всех вожаков и сопротивляющихся высочайшему повелению и приказу передать в руки правосудия, на суд нынешнего правительства... Помните, господа и собратья мои, помните нашу старую заповедь: лояльность и подчинение! Подчинение и лояльность! Так и только так, а не иначе, во имя бога и его законов!..

Помните слова своего репрезентательного министра: там, где еще не распущены отряды, надо разоружить их

немедленно и всех бунтарей до единого передать в руки властей для наказания и суда справедливого! Никакой поддержки красным! Помните и детям вашим и внукам скажите от моего имени: нейтралитет, лояльность и подчинение — вот путь к истине, к оздоровлению нашей многострадальной нации...

— Позор!

— Провокатор! Он хочет, чтобы мы, как овцы, пошли на бойню, чтоб не могли защитить свой дом! Позор! Долой его!

— Продажная душа!

— За сколько его купили!

— Заткните ему глотку!

Казалось, шуму и крикам не будет конца.

И тут Хацкель увидел, что приятель его пытается пробиться к возвышению, на котором стоит министр, тоже, видимо, хочет сказать несколько слов. Он ухватил его за полу шинели и сердито прошипел:

— С ума сошел, разбойник! Куда ты лезешь? Не видишь, что ли, какая буча поднялась? Уж если самого господина министра затюкали, так тебя, высунь только нос, на куски разорвут. И к тому же какое тебе до всего этого дело, дурень?

— Не вмешивайся, Хацкель! — ответил кровельщик и, вырвавшись из цепких рук балагулы, двинулся к возвышению, где стоял бледный, как мел, министр со своей свитой и синеголазными служками.

Увидев солдата, все они немного растерялись, но отошли от стола, дав ему дорогу.

— Я тоже хочу сказать пару слов!.. — бросил Шмая министру и его свите и, не дожидаясь ответа, поправил на голове фуражку и громко крикнул в публику:

— Как вам не стыдно, люди? Вы себя ведете, как в корчме. Слова человеку не даете сказать... — кивнул он в сторону смущенного министра. — Это даже невежливо! Сам пан министр пришел с вами поговорить, а вы?..

Услышав такие слова, министр приободрился. А галерка притихла, увидев, что у стола стоит простой человек.

— Вот видите, господа, — громко воскликнул министр, держа пенсне в вытянутой руке. — Постыдились бы солдата-фронтовика!..

Шмая всей грудью налег на стол. Министр, служки и все, кто стоял рядом с ним, отошли в сторону и ждали,

пока незнакомый солдат утихомирит разбушевавшуюся публику.

— Я вас спрашиваю, люди добрые, почему вы не дадите сказать умное слово? — кричал не своим голосом Шмая-разбойник. — Сам пан министр хочет с вами разговаривать Сам! Он желает вам объяснить кое-что из истории...

— Смотрите-ка, новый крикун появился!

— Долой с трибуны!

— Хватит!

— Гоните его!..

— Скажи, за сколько купил тебя пан министр?

Поначалу наш разбойник растерялся, а Хацкель даже обрадовался: «Поделом тебе, несчастный кровельщик! Не суйся, куда тебе не положено. Кто ты такой? При чем тут ты?» Но потом пожалел товарища и стал пробиваться поближе к нему, сжав кулаки на случай, если придется пустить их в ход.

А Шмая-разбойник, так и не дождавшись полной тишины, громко продолжал:

— Дайте слово сказать, люди!.. Выслушайте меня, а кричать будете потом. Я внимательно слушал все, что тут говорил господин пан батенько министр... Правда, нет у нас, простых людей, такого образования, чтобы понять глубокие мысли его, ученые слова... Очень разумно он тут говорил, так разумно, что мы ничего не поняли... Тут надо было бы проходить университеты или гимназии, а нас никто разным наукам не обучал. Но все же какие-то мысли пришли мне в голову, и я хочу говорить по-простому, по-солдатски. Только не перебивайте...

Но прежде чем я вам выложу самое главное, я расскажу одну притчу...

— Слышь, дяденька, покороче! — крикнул кто-то с хоров.

— Уже поздно! Говори скорее, солдат!

Но Шмая-разбойник, взяв себя в руки, продолжал:

— Это я к тому, что пан министр хотел объяснить из истории... А случилось когда-то вот что. Асмодей — царь всех чертей и нечистой силы — как-то рассердился на царя Соломона и изгнал его из родной страны. Тогда мудрый царь Соломон, оборванный, голодный, начал скитаться по белу свету, по чужим странам и нигде не мог себе места найти. Однажды он забрел в незнакомую страну, где никто его не знал и никто о нем не слышал. И вот бродит по

этой стране царь Соломон день, бродит два, три дня. Голодный как волк, смертельно усталый, шагает бедняга, а кишки в животе марш играют, есть просят. А жрать, конечно, нечего. Ходит несчастный и кричит: «Ани Шлоймо — я царь Соломон!» Но никто не обращает на него внимания.

Так добрел он до роскошного дворца-замка и решил заглянуть туда: может, кто-нибудь и накормит? Направился он к входу, а на мраморных ступеньках лежит пес, злой, как тигр. И хоть ты ему сто поклонов отбей, знать ничего не знает, не пускает бедного царя Соломона во дворец, рычит, вот-вот бросится и растерзает его... Но Соломон мудрый знал, как известно, много языков и наречий, знал и язык животных, зверей и птиц. И заговорил он с псом на собачьем языке. Стал умолять грозного стража сжалиться над ним. Объяснил, что он не вор, не грабитель, а несчастный изгнанник, что ему не нужны богатства дворца. Он, мол, хочет только умыться, поесть, немного отдохнуть, а потом пойдет отсюда куда глаза глядят. И нитки не тронет.

Одним словом, пес сжалился над царем Соломоном и пропустил его во дворец.

На другой день шагает царь Соломон по базару и сню-ва ищет, чего бы пожрать, потому что, надо всем вам знать, даже самый великий царь не может питаться воздухом... И вдруг на базаре на него нападает целая свора псов. Царь испугался. Но когда он увидел в своре знакомого пса, который вчера лежал на ступеньках и так великодушно пропустил его во дворец, обрадовался царь Соломон и говорит знакомому псу:

— Адойни кэлэв — господин пес,— все эти собаки лают на меня, хотят меня разорвать, но они меня не знают, а ты ведь хорошо знаешь, что я порядочный человек, царь Соломон. Почему же и ты на меня лаешь?

А знакомый пес отвечает ему:

— Чего ж тут не понимать, мудрый царь Соломон? Если я не буду лаять со всеми псами заодно, то они, эты псы, выгонят меня из своей своры... И ничего, ни косточки мне не достанется...

— Ах, негодяй! Ах, грубиян! — слышались возмущенные возгласы министра и его свиты, а с галерки — одобрительные голоса, смех, хохот.

Кто-то из первых рядов двинулся к оратору с кулаками, но тут на помощь подоспел Хацкель.

— Ты себя режешь без ножа! Бежим отсюда, разбойник! — крикнул он и стащил Шмая с возвышения, подталкивая к выходу.

— Подумайте, какая наглость! Министра сравнивать с собакой!...

— Вы только вдумайтесь, что он сказал! По его словам выходит, что нынешнее правительство — это свора собак, а министр...

— Какое нахальство!..

— За такие речи в тюрьму его!

— Молодец, солдат! Здорово ты его поддел! — донеслось с хоров.

— И как хитро закрутил!.. Простой человек, а ушлый!

— Надо его задержать!.. Так оскорбить министра! — снова слышались голоса.

Но Шмая и Хацкель уже затерялись в толпе.

На улице началась беспорядочная стрельба. Кто-то погасил свет в синагоге. Поднялся крик. Люди ринулись к дверям. Министр и его свита стояли растерянные, не зная, что делать с возбужденной толпой. Началась паника. Никто не знал, как быть — оставаться ли здесь или бежать куда-нибудь.

Сквозь густую темень, шум и толчею друзья выбрались на улицу.

— Ну что тебе сказать, Шмая-разбойник? — заговорил наконец Хацкель. — Могу сказать только одно: ты счастливо сегодня отделался... Но объясни мне, черт полосатый, к чему тебе совать свой нос в политику? Подумать только! Выскочил с такой речью перед самым министром и перед таким собранием!..

— Зато я высказал этому чучелу министру все, что накопело в душе, — довольный собой, весело отозвался Шмая, вытирая рукавом потное лицо. — Я, понимаешь ли, и не думал с ним связываться. Но меня так заели его дурацкие слова: «координация», «субординация» и все такое... Тут несчастные беженцы, обездоленные погорельцы пришли послушать живое слово, а он, сатана, как заведенный граммофон...

Выстрелы раздавались совсем близко.

— Что это, может, опять власть меняется? А кто же будет этому министру платить? — спросил Хацкель.

— Пусть он провалится вместе со своими хозяевами! Скоро уже наши, красные, придут...

— Пока красные сюда придут, нам не мешало бы поскорее добраться до своей хаты и хорошенько выспаться. А что будет завтра, увидим!

— И мне поспать охота... Устал я... Легче десять крыш починить, чем с министрами разговаривать.

— Оно-то, конечно, так,— проговорил Хацкель, лукаво взглянув на приятеля.— Но я тебе должен сказать, что, хоть речь у тебя вышла таки хорошая, твоими речами я сыт не буду. Что-то ноет под ложечкой...

— Ты смотри, какой пуриц! Или ты собираешься каждый день обедать? Чего захотел!.. Выбрось из головы эти глупости! Шире шаг! Мне что-то не нравится эта стрельба...

— А мне разве нравится?

Улицу окутала крошечная тьма. Нигде не было ни живой души...

Глава одиннадцатая

ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ

Как ни странно, но Шмая-разбойник был в восторге от того, что они уже попали в этот большой город, где царила полная неразбериха, где никто не знал, что с ним произойдет через день, через час.

Трудно найти работу, еще труднее — кусок хлеба, но все же наш кровельщик не унывал и не давал унывать своему спутнику, который с каждым днем делался все мрачнее и уже стал было подумывать о возвращении домой.

— Черт тебя знает, разбойник, откуда ты взялся на мою голову! — говорил балагула. — Не было тебя, и жизнь у меня шла, как у всех людей... А ты сорвал меня с насиженного места, вывез в большой свет, а этот свет повернулся к нам спиной...

— А мне тут разве лучше? — успокаивал его Шмая. — Разве я ем марципаны, а тебе даю сухари? Разве я сплю на перинах, а тебя укладываю на кирпичи? Но я терплю. Теперь такими, как мы, бездомными и голодными, хоть пруд пруди.

— Ты хоть с министром разговаривал, — ехидно улыбнулся Хацкель. — А я? Если б тебя не послушал, то давно уж имел бы собственный выезд и плевал бы на весь мир.

— Опять ты за свое! Сколько раз уже говорил тебе, что это нужно выбросить из головы! — перебил его Шмая. — Песенка буржуазии скоро будет спета, а наступит наше время, понимаешь?

— Когда это еще будет!.. А пока что мы с тобой не имеем ни кола ни двора, перебиваемся с хлеба на квас, а буржуи на рысках разъезжают и прожигают жизнь, — уныло ответил балагула. — Что-то сердце мне подсказывает, что мы плохо кончим, если будем шляться по этому городу без работы, без денег...

— Глупости! — оборвал его Шмая.

— Я не раз замечал, что патрули на тебя смотрят, как кот на сало... Твоя солдатская фуражка вызывает у них подозрение, нужно ее сменить.

— А на что я ее сменяю? На цилиндр, что носят здесь извозчики и трубочисты, или на котелок, какой торчал на голове того злополучного министра?..

— Я не могу тебе ничего посоветовать, но снова говорю, что это плохо кончится...

— Да ты известный ворчун! — сердился Шмая. — Вид мой тебе не нравится? А что ж я могу напаянть на себя, если вернулся с войны в этой вот шинельке, в этой фуражке и в этих сапогах? Нарядов мне еще никто не выдавал... Приданого тоже не получил... И вообще, прошу тебя, поменьше ко мне присматривайся, будет лучше для твоего здоровья...

— Что ж, пусть будет так... — миролюбиво проговорил Хаукедь. — Дай бог, чтобы все хорошо кончилось. Ведь даже документов приличных у нас нет... Потрепанные справки ревкома за подписями Фриделя-Наполеона и Юрка Стеценко могут нас здесь только подвести под монастырь. Надо их подальше запрягать, так как у Петлюры и казаков эти два большевика, видно, не в большом почете...

— Что правда, то правда! — сказал Шмая. — Тут ты, конечно, прав! Я совсем забыл об этих бумажках. Могли бы напороться на неприятность, если бы у нас их нашли... Но никто на нас не обратит внимания. Кому мы нужны? Хотя, на всякий случай, давай разуемся и спрячем справки в сапоги. Береженого, говорят, и бог бережет...

Хоть в последние дни перепалка между ними принимала все более острый характер, но ни один из приятелей не допускал мысли, что они могут теперь расстаться. Это тяжелое и смутное время привязало их друг к другу, и

каждый понимал, что никакие размолвки и ссоры их уже не разъединят. Дорога у них теперь одна..

Каждое утро наши путешественники просыпались в другом доме — там, где заставляла их ночь,— и отправлялись на поиски работы. Они шагали со своими заплечными мешками по улицам, присматриваясь к прохожим и десятой дорогой обходя патрули. Останавливаясь то возле одного двора, то возле другого, стучали в ворота:

— Эй, не нужны ли вам работники на поденку? Все умеем делать!

На них смотрели, как на сумасшедших, и только пожимали плечами:

— Вы что, с неба свалились? Какая теперь работа!.. Разве не видите, что вокруг делается?.. Никто не знает, на каком свете он находится, что за власть завтра будет, а эти чудаки хотят теперь работу найти!..

На улицах появлялось все больше патрулей. Они задерживали всех подозрительных и просто тех, кто им не нравился, приставали к женщинам, хватали все, что плохо лежало.

— Послушай меня, разбойник! Нужно нам где-то пересидеть это время и не бросаться в глаза,— уныло повторял Хацкель.

— А мне вот интересно видеть, что здесь происходит... Настоящая комедия!

— Будет тебе комедия, когда нас схватят и запротортят в кутузку!

— А ты, брат, не хлопай ушами! — отвечал ему кровельщик. — Заметил патруль,— не оглядывайся, не беги, иди своей дорогой... Увидят, что ты боишься их, сразу заберут. А если уж нас остановят, ты молчи. Я с ними разговаривать буду.

— Ага, будешь с ними разговаривать! Думаешь, это тебе министр? Они с тобой так поговорят, что в глазах у тебя потемнеет...

День выдался холодный, морозный. Снег скрипел под ногами. Скрипел сердито, свирепо.

На главной улице еще открыты были некоторые магазины, рестораны и кафе. Из распахнутых дверей вырывалась на улицу разухабистая музыка.

Наши приятели останавливались у широких витрин, вдыхая запах жареного мяса и свежих пирогов. Глядя на огромные блюда, на которых покоились жареные гуси и утки, Хацкель грустно вздыхал.

Заметив это, Шмая-разбойник спросил:

— Скажи, дорогой, как ты смотришь на жареное мясо с картошечкой и фаршированную щуку с хреном?

Лицо балагулы расплылось в улыбке:

— Как я смотрю? Смотрю, конечно, хорошо...

— И я хорошо... Ну, а скажи, съел бы ты жареного гуся с яблоками и гречневой кашей?

— Отстань, сатана, не раздражай! — рассердился Хацкель. — Тут бы краюхой хлеба или миской борща разжиться, а ты такое мелешь. Совсем сдурел!..

— Да! — глубокомысленно изрек Шмая, не обращая внимания на то, что приятель уже начал сердиться. — Хорошо бы в такой мороз выпить добрую чарку водки да закусить белыми грибочками, паштетом из печенки... Или жареной рыбкой — карасем или судачком...

— Знаешь, разбойник, если ты не перестанешь издеваться надо мной, я, ей-богу, уйду от тебя... Голоден как волк, а ты тут со своими щуками и карасями! Тюльки бы достать, и то счастье! Только забудешь о голоде, а ты за свое принимаешься! Перестань, говорю тебе!

— Ладно, перестану, — успокаивая рассерженного приятеля, сказал Шмая.

— Пора уже бросить свои шуточки и стать человеком! — буркнул Хацкель и ускорил шаг. — Никогда у тебя голова не болит за завтрашний день.

— Солдатская жизнь этому научила... Думать тебе не надо, начальство за тебя думает...

Шмая не успел договорить, как перед ними вырос патруль.

— Они смотрят на нас, сейчас задержат... Давай бежать!.. — шепнул ему Хацкель. Но Шмая гневно покосился на него.

— Не смей! — И, обходя двух краснорожих солдат в синих жупанах, Шмая важно козырнул им и быстро прошел мимо. Те обернулись, рассмеялись и двинулись дальше.

— Видишь, а ты уже хотел бежать. Если б ты так сделал, они тебе сразу вlepили бы пулю в одно место, и ты уже никогда не смог бы сидеть на облучке... Главное в такое тревожное время — полное спокойствие!

— Ой Шмая-разбойник, боюсь я, что с твоим спокойствием не миновать нам беды...

— Боишься, так помолись! А мне нечего бояться. Сто смертей уже видел, и сто первая уже не страшна...

Выбравшись по крутому спуску на длинную безлюдную

улицу, они вскоре оказались на товарной станции, где важно и сосредоточенно гудели черные нахмуренные паровозы. Несколько грузчиков, молчаливых и мрачных, выносили из красных вагонов мешки и тюки.

Постояли несколько минут, глядя, как работают грузчики. У Шмаи сразу заблестели глаза. Он подошел к штабелям, нашел старшего, сказал ему несколько слов, и тот даже обрадовался: чего ж, если плечи у ребят крепкие, работы хватит для всех!

Сбросив верхнюю одежду, чтобы сподручнее было работать, Шмая и Хацкель начали выгружать из вагонов мешки. Сперва было трудновато, но скоро они наловчились, и со стороны уже могло показаться, что это потомственные грузчики и работают они на товарной станции невесть сколько лет!

— Ну, Хацкель, теперь ты уже понимаешь, что мы с тобой нигде не пропадем? — улыбаясь, сказал наш разбойник, когда возвращались с работы, унося в карманах немного денег, а в руках — большие кульки с семечками, которые им дали сверх платы за работу.

По дороге они зашли в какую-то харчевню и впервые за много дней наелись досыта...

Было уже темно, когда они вышли из харчевни. Теперь нужно было найти место для ночлега где-то поблизости, чтобы чуть свет попасть на станцию и снова разгружать вагоны.

Двери и окна повсюду уже были закрыты. Приятели шли не спеша, чувствуя большую усталость. Непривычка таскать тяжелые мешки давала себя знать. Но они были счастливы, что им удалось прибиться к какому-то берегу, найти хоть какую-нибудь работенку. Теперь дела пойдут как по маслу!

Дойдя до небольшого заснеженного бульвара, Шмая увидел группу вооруженных солдат и офицеров. Он толкнул плечом Хацкеля, бросив при этом:

— Шире шаг! Видно, что-то неладное случилось...

— Может быть, облава?

— Холера их знает! Может, и они бездомные, как мы, и ищут где бы переночевать?

— Чтoб они себе уже могилу нашли! — буркнул Хацкель. — Эх, поскорее бы нам добраться до нашего дворца!

Они прошли мимо бульварчика, оставив позади вооруженных солдат, и с облегчением вздохнули. Пронесло! Да,

в самом деле, что-то тревожно нынче в городе. Надо поскорее забраться в свое логово и не мозолить глаза патрулям.

На соседней улице слышались частые выстрелы. Взрыв бомбы всколыхнул воздух. Из окон домов посыпались стекла.

— Ой, Шмая, бежим! — испуганно крикнул Хацкель.

На сей раз наш разбойник, не вступая в спор, схватил дружка за рукав, бросился вместе с ним в ближайшую подворотню, перелез через каменную изгородь, и через несколько минут оба очутились в глухом переулке, освещенном багровым заревом.

— Красиво горит! — сказал Шмая. — Слышишь, как весело рвутся пули и гранаты? Могу пойти с тобой на пари, что это большевики взорвали склад с боеприпасами. Видно, люди не дремлют, хотят выпроводить непрошенных гостей с музыкой... А теперь давай добираться до нашего двorca.

Но не успели они дойти до первого перекрестка, как услышали за спиной конский топот и грозный окрик:

— Стой! Стрелять будем!

Шмая остановился, оглянулся.

К ним с диким криком мчались гайдамаки в высоких папахах. Хотя Шмая и не мог толком разобрать, чего от них хотят, но одно было совершенно ясно: новое несчастье нависло над ними. Их судьба теперь уже зависела от прихоти этих вооруженных до зубов душегубов.

Тучный мордастый казак с длинными усами, размахивая перед Шмаей кулаком, кивал в сторону пожарища:

— Твоя работа? Ты поджег наш склад? Повесить тебя мало, подлая харя!

Шмая пытался что-то объяснить, но тут другой синезупанник изо всех сил ударил его прикладом.

Шмая не успел прийти в себя, как ему уже скрутили назад руки и связали их веревкой. То же самое проделали с Хацкелем и погнали их к площади, где уже стояла под конвоем целая толпа задержанных.

Конвоиры ругались, били людей прикладами и наконец повели их по безлюдной улице по направлению к Лукьяновке.

— Видишь, Хацкель, — тихонько сказал Шмая, придя в себя после удара, — а мы еще волновались, что негде нам будет сегодня ночевать. Бог милостив, он нас не забывает...

— Они могут нас в тюрьму загнать?

— А почему бы и нет? Они — хозяева и могут сделать с нами, что захотят... Но ты не падай духом. Видишь, сколько людей с нами? Нам и в тюрьме скучно не будет...

— О таком веселье я всю жизнь мечтал!

— Недаром говорят старые люди: от тюрьмы и от сумы не зарекайся...

— А если нас там прихлопнут?

— Дурак! Разве можно столько людей перестрелять? — показал Шмая на толпу арестованных. — Просто мы переходим на иждивение гайдамак. Они уж позаботятся о нас, они за нас обо всем подумают...

— И в такую минуту у тебя шуточки на уме!.. А ты когда-нибудь сидел в тюрьме, Шмая? — упавшим голосом спросил Хацкель.

— Нет. Хотя я и разбойник, но в тюрьме еще не бывал. Правда, на тюрьме уже как-то сидел, крышу чинил...

— А ты заглядывал всредину? Там очень страшно?

— Не очень страшно, но и не весело тоже... Да ты не дрейфь! В тюрьме сидят люди, а там, где люди, всегда жить можно...

— Ты с ума сошел! Что ты говоришь?

— Будь мужчиной, Хацкель! Выше голову! Если б нас ташили в тюрьму за кражу, за то, что мы человека убили, стыдно нам было бы. Мы бы шли с опущенной головой. А нас, выходит, за политику взяли... Это совсем другое дело. И главное — не одни мы...

Толпа задержанных брела по заснеженным, пустым улицам мимо домов с погасшими окнами, с наглухо заколоченными дверьми. Шмая уже успел познакомиться кое с кем.

Нужно сказать, что нашему кровельщику только в первые минуты было страшно, но скоро, в окружении такой толпы, он уже не испытывал страха. Он даже пытался шутить, но усатый конвоир, все время следивший за ним, заметил это и толкнул его прикладом в спину.

— Разговорчики! — заорал он. — И тут ты людей за большевиков агитируешь?! погоди, мы с тобой еще потолкуем там!.. — кивнул он в ту сторону, где уже виднелись кирпичные стены, вышки и железные ворота Лукьяновской тюрьмы.

Каким страшным наказанием для Шмай-разбойника было то, что его заставили замолчать!.. Но ничего не поделаешь, пришлось покориться.

Уже совсем стемнело, когда перед новой партией арестованных распахнулись железные ворота. Они проглотили их, как ненасытная пасть чудовища.

Только переступив порог тюремной камеры, до предела набитой людьми, Шмая понял весь ужас случившегося. Хотя он сперва старался бодриться и подбадривать Хацкеля и соседей, но на душе у него было так тяжело, что уже и ему жизнь стала немила.

— Эй, солдат, чего нос повесил? В жизни хуже бывает! — попытался утешить его один из арестантов, лежавших вповалку на грязном цементном полу. — Не огорчайся, не думай. Плохо сейчас человеку, который думает... Снимай шинельку, пристраивайся поближе, чувствуй себя как дома. На, закури!

— Замолчи ты там! — послышался сердитый голос. — Дай поспать. Скоро опять начнут на допросы таскать, надо ведь отдохнуть...

В камере стало тихо. Только в дальнем углу слышался монотонный шепот. Кто-то молился богу, выпрашивая у него избавление от всех бед.

Шмая закурил, несколько раз затянулся и почувствовал некоторое облегчение. Он сбросил с себя шинель, расстелил ее на полу, улегся между двумя неподвижными телами и стал всматриваться в бледное заросшее лицо человека, предложившего ему место и давшего сигарку. Глаза Шмаи расширились. Очень уж знакомым было это лицо. А может быть, ему только показалось?.. Он еще раз глубоко затянулся, и огонек сигарки осветил русую взъерошенную шевелюру, высокий лоб, умные серые глаза. С минуту Шмая молчал, а потом неуверенно произнес:

— Юрко? Юрко Стеценко? Неужели это ты?..

— Тише!.. — схватил тот его за локоть и, заглядывая Шмае в лицо, прошептал: — Шмая-разбойник! А ты какими судьбами здесь?

— Боже мой!.. Мир действительно тесен... Вот где мы встретились, Юрко... А я уже не надеялся, что когда-нибудь увижу тебя. А где Билецкий? Вы ведь тогда вместе ушли с отрядом.

— Это было давно...

Ночь. Измученных людей свалил тревожный сон. Затихла молитва в дальнем углу. Кто-то кричал во сне, бредил. А Шмая и Юрко Стеценко не смыкали глаз. Лицо Юрка то и дело искажалось от боли. Уже много раз его водили на допросы и приносили сюда на носилках, избитого,

окровавленного. Он давно уже томится в этой страшной камере. Расстреливать не расстреливают, но и жить не дают...

Из рассказа Стеценко Шмая узнал, что тот участвовал в недавней забастовке киевских рабочих, вместе с Билецким и другими большевиками разбрасывал листовки, что его схватили гайдамаки, зверски избили, а потом бросили в эту тюрьму. От него добиваются, чтобы он предал своих друзей по подполью, но никакими пытками из него не могут вытянуть ни слова...

Шмая был потрясен встречей с Юрком. Казалось, он еще в жизни не встречал таких настойчивых и смелых, сильных духом людей. Там, в местечке, Шмая не представлял себе, что этот худощавый, измученный студент способен на такие рискованные дела. И теперь он смотрел на него совсем другими глазами — перед ним, казалось, стоял богатырь. Таким выглядел в его воображении и дружок Юрка, сын раковского портного Фридель Билецкий, который недавно дрался на улицах города до последнего патрона и, будучи ранен, окружен гайдамаками, все же ускользнул от них.

Хацкель, сладко спавший до самого рассвета, громко зевнул и, заметив, что его дружок уже с кем-то беседует, сердито поворочал и повернулся на другой бок.

Юрко был доволен, что балагула его не узнал, и шепнул Шмае, чтобы он не говорил ему о нем, — никто здесь его не знает. А следовательно он назвался другим именем. Если узнают его настоящее имя, тогда ему несдобровать...

Кровельщик взглянул на него удивленными глазами, мол, что же я, маленький, сам не понимаю, в какой ад и к каким зверям мы попали?

Он сожалел, что так скоро наступает утро. Столько хотелось услышать от этого чудесного парня. Его он мог бы слушать без конца!

В душной камере начали просыпаться арестанты, и Шмая отодвинулся подальше от Юрка.

Пусть не подумают, что они знакомы...

Хацкель поднялся и мрачно посмотрел на своего дружка:

— Мы, кажется, пропали... Из этой клетки уже не выберемся...

— Типун тебе на язык! Замолчи, сатана! Беду накличешь... — оборвал его Шмая, хотел было излить на него всю злость, но подошел молодой моряк в изодранной тельняшке и бескозырке и сказал:

— Рановато, батя, панихиду справляешь. Не паникуй. Я здесь уже не первый раз гуляю. Власти часто меняются нынче. Одна сажает, другая выпускает. Не может ведь стоять Лукьяновка под замком. Не надо падать духом. Снова начинается в городе бедлам. Скоро других вместо нас посадят. Боятся, чтобы тюрьма не завалилась. Вот ее арестанты своими задницами и поддерживают...

Сбив помятую бескозырку на затылок, матросик воскликнул:

— Ну-ка, братишечки, споем! Пусть проклятые гады не думают, что мы пали духом. Ну, давай! Только дружно!

— Что ты, Митька! — остановил его кто-то из арестантов. — Ты ведь побывал уже в карцере за свои песни. Мало тебе?

— Плевать мне на карцер! Споем! — Матрос подсел к Стеценко. Тот приподнялся, прижался спиной к мокрой стене, и они запели, сперва тихо, а затем все громче и громче. И с каждой минутой в песню вплеталось все больше голосов:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славную смертью почил.
В борьбе за рабочее дело
Ты голову честно сложил...

Скоро уже почти вся камера вдохновенно и громко пела наизусть и на страх врагам:

Наш враг над тобой не глумился,
Кругом тебя были свои!
Мы сами, родимый, закрыли
Орлиные очи твои...

Тюремщики забегали по мрачным коридорам, начали испуганно стучать в дверь, но арестованные продолжали петь.

Шмая сидел рядом с Юрком и веселым неугомонным матросиком, стараясь петь вместе со всеми, хоть слов песни и не знал. Он даже испытывал некоторую гордость оттого, что находится за решеткой вместе с этими мужественными, смелыми людьми.

Когда к нему подошел Хацкель, Шмая, кивнув в сторону матроса и Юрка Стеценко, шепнул ему на ухо:

— Видишь, какие люди есть на свете?

— Вижу, — уныло ответил Хацкель, — все вижу... Только не понимаю, зачем ты меня тащил в этот проклятый Киев. Ты говорил, что мы идем к Советской власти, а куда мы попали? К черту в зубы!..

— А мы и пришли к Советской власти... Ты хоть понимаешь, с кем мы сидим в тюрьме? Нет, не понимаешь! А я тебе сейчас ничего не могу объяснить, слишком много ушей вокруг. Но поверь мне, брат, если есть на свете такие люди, будет Советская власть, будет!..

За ночь, проведенную рядом со Стеценко, Шмая узнал, кажется, больше, чем за всю свою жизнь. Юрко был еще молодым человеком, моложе кровельщика, но того, что он перенес, могло бы хватить на три жизни. И Шмая проникся к своему земляку особым уважением. Правда, он и вида не подавал, что давно его знает. Просто двое людей случайно встретились в тюремной камере...

Это утро в тюрьме началось, как обычно, с беготни и суматохи. Надзиратели отворили ржавую железную дверь и погнали всех в грязную умывальную, где было так тесно, что и повернуться нельзя было. Не успели люди добраться до крана, как уже приказано было возвращаться обратно в камеру. Через несколько минут к двери приволокли огромный котел с какой-то похлебкой и стали разливать ее в миски. Не дав арестантам проглотить нескольких ложек, тюремщики стали выгонять их на прогулку. В этой спешке было что-то и трагическое и смешное, и наш разбойник не сдержался:

— Даже на военной службе не гоняют так, как здесь. Тюремщики, видно, не дадут нам скучать...

Юрко Стеценко был избит так, что не мог стоять на ногах и его вели под руки. В камере можно было задохнуться от духоты, и жаль было пропустить единственную возможность побыть несколько минут на морозе, подышать свежим воздухом.

Шмая подошел к Юрку и хотел было взять его под руку, но тот глазами приказал ему отойти в сторону. Они друг друга не знают и никогда не знали...

Не прошло и четверти часа, как Шмая уже был знаком со многими из арестованных. Они от Хацкеля узнали его прозвище и уже не называли его иначе, как разбойник. Хотя нашлись и тут мрачные люди, которые косились на Шмаю: нашел же человек время и место для своих шуток!

— Ничего, попасет немного блох и клопов, тогда поймет, почему фунт лиха...

— Э, голубчики,— отвечал им кровельщик.— Я уже знаю, почему пуд лиха... Мне не привыкать...

Не успели арестанты вернуться с прогулки, как в камеру вошло трое синезупанников. Они скомандовали:

— Выходь! Кроком руш!

Всех узников выгнали во двор, построили в колонну и вывели за тюремные ворота.

По дороге, ведущей за город, уже брела другая колонна людей, в замасленных тужурках, в коротких студенческих курточках, в крестьянских свитках и лаптях. Обе колонны соединились, и, окруженная усиленным конвоем, пестрая толпа двинулась дальше.

Никто не знал, куда их ведут.

Когда арестованные вышли на крутые, покрытые глубоким снегом холмы на окраине города, поступил приказ: всем взяться за лопаты и рыть окопы и траншеи.

Шмая вместе с Хацкелем и матросом подошел к куче лопат, выбрал себе подходящую и сказал:

— Я бы, пожалуй, охотнее копал могилу для наших врагов...

— Как бы ее для себя не выкопали,— тяжело вздохнул балагула.

— Сколько раз я просил тебя не говорить о смерти! Пусть враги наши подышают! — возмутился кровельщик.— Разве сам не понимаешь, что грош цена такой власти, которая загоняет столько народу в тюрьму? В тюрьме теперь больше людей, чем на воле... Смотри, сколько нас! А те, кто остались на воле, чувствуют себя, пожалуй, еще хуже, чем мы в тюрьме... Ничего, брат, раз Петлюра, боясь простого балагулы и кровельщика, посадил их за решетку, то дела его дрянь...

— Кто тебя этому научил? — спросил удивленный Хацкель.— Матрос или, может быть, тот, с русым чубом? Что-то долго ты с ним шептался...

— Это неважно... Я говорю то, что сам понимаю...

— Прошу тебя, придержи свой язык, не давай ему воли. Теперь это опасно. И не говори мне больше о политике!

День прошел быстро. Как ни тяжело было стоять все время, работать лопатой, копать скованную морозом землю, но все же это было легче, чем сидеть, согнувшись в три погибели, в мрачной вонючей камере.

С работы арестантов привели, когда уже стало темнеть. Двери камеры снова захлопнулись за ними.

Шмая посмотрел в тот угол, где должен был лежать больной, искалеченный Юрко, но его там не оказалось.

Шмая встревожился. Очень хотелось узнать, где он, куда девался. Но Шмая побоялся кого-либо расспрашивать.

Неужели Юрка опять потащили на допрос? Ведь и так, кажется, живого места на нем не осталось... Сколько может человек переносить такие пытки?!

Шмая молча забился в угол.

Усталые, озябшие, голодные арестанты кое-как устроились на полу и на нарах, но не успели сомкнуть веки, как снова загремели запоры на двери. Тюремщики отобрали нескольких узников и вытолкали их в коридор. Зачем — никто не знал. Кто говорил, что их поведут к следователям, а кто — что в полевой суд или на расстрел.

Страх охватил всю камеру. Никто уже не спал. Все в тревоге ожидали своей участи.

Последним выволокли Митьку, веселого и жизнерадостного матроса. Шмая проводил его тоскливым взглядом.

Подошел Хацкель. На глазах у него были слезы.

— Что ж это такое? — тихо спросил он.

Шмая пожал плечами и впервые за все эти дни не нашел что ответить. За дверью камеры слышались неторопливые шаги тюремщика, его простуженный голос. Он что-то напевал. Привыкший к человеческому горю, палач пел. Ему было весело.

Шмая почувствовал непреодолимую усталость и прикорнул на плече у приятеля.

Под утро в камеру вошли два «сичевика» в барашковых папах. Приказав всем встать и построиться в две шеренги, они медленно обошли строй, заглядывая каждому в лицо. Потом схватили нескольких узников, швырнули их к двери и, задержавшись на мгновение возле Шман-разбойника, переглянулись и кивнули ему, чтобы шел с ними.

Вся камера с грустью смотрела на арестанта в солдатской шинели. Неужели этот веселый человек в чем-то замешан? Неужели он попал сюда не случайно, как сотни других людей?

Они с ним прощались, молча кивая ему головой. А Хацкель, совершенно пришибленный тем, что его разлучают с другом, уронил голову на руки и громко, никого не стесняясь, заплакал.

Железные двери камеры захлопнулись. Но люди, оставшиеся здесь, еще долго стояли, как прикованные к месту.

— Значит, нет больше с нами разбойника...

— Хороший человек... Жаль его...

— Куда его потащили?

— Неужели такого человека убьют?

— Мало ли хороших людей теперь убивают!.. Времена такие...

— Беззаконие!..

— Палачи у власти...

Люди переглядывались, с замирающим сердцем прислушивались к шуму в коридоре. Ведь в любую минуту могла прийти очередь каждого из них...

Все с сочувствием смотрели на Хацкеля, который не переставал плакать. И хоть этого человека кое-кто и недолюбливал за то, что он держался особняком и всегда прерывал своего товарища, когда тот начинал что-либо рассказывать, но в эту минуту все искренне жалели его.

Тюремщики повели Шмаю по бесконечным коридорам, затем провели через несколько дворов и втокнули в небольшую комнату с решетками на окнах.

Посреди комнаты на скрипучем столе сидел бородатый «сичевик» в смушковой папахе с красным верхом. Он колючим взглядом впился в Шмаю, подошел к нему, схватил цепкими руками за плечи и резко повернул лицом к углу, где лежал окровавленный человек в изорванной в клочья рубашке.

— Узнаешь?.. Кто он? Большевик? Подпольщик! Как его зовут? Как его фамилия? Отвечай! — градом посыпались на Шмаю вопросы.

Он посмотрел на изувеченного человека, встретился с ним взглядом и почувствовал, что сердце замирает у него в груди. Перед ним лежал Юрко Стеценко.

— Говори, как его зовут? Откуда ты его знаешь? Что он тебе рассказал в камере? Ну! — поднял бородач нагайку над головой Шмаи.

Тот в ответ лишь пожал плечами. На лице промелькнула тень улыбки. Чуть помедлив, он сказал:

— Я, конечно, извиняюсь, не знаю, как вас по званию: господин, пан офицер или батько... Только я этого человека впервые в жизни вижу...

Юрко опустил голову. Если б он мог, то расцеловал бы сейчас разбойника.

— Нет, ты знаешь его, собачий сын! Если через минуту не скажешь, как его зовут и откуда он, я сломаю на твоей голове эту нагайку, большевистская зараза! Научили вас лгать, хитрить... Власть наша вам не нравится?! Мы вам еще покажем, какова наша власть! Я считаю до пяти... Смотри, собака, не пожалей! Скажешь, кто он, я тебя выпущу из тюрьмы и денег дам, награжу! Ну, я считаю до пяти. Раз...

— Как же я, господин,— извиняюсь, не знаю, как вас величать,— могу вам это сказать, когда я его не знаю...

— А в камере, в камере кто разговаривал?.. Думаешь, мы ничего не знаем? Хоть стены там толстые, но они имеют уши. Лучше признайся! Ты его не жалеешь... Это большевик, агитатор... Он — враг нашего государства. Он и твой враг, понимаешь? Если б не он, ты и такие, как ты, не сидели бы в тюрьме. Из-за него, только из-за него вы страдаете...

— Ой, боже мой, господин,— извиняюсь, не знаю, как вас величать,— я понял, чего вы хотите. Но если вы сами говорите, что он — наш враг, зачем же вы еще меня о нем расспрашиваете? Вы, оказывается, сами все знаете...

— Молчать! — рассвирепел бородач и хлестнул Шмая нагайкой.

Шмая-разбойник вскрикнул от острой боли, но заставил себя замолчать. Он поймал на себе взгляд Юрка, вытер рукавом кровь и развел руками:

— Хоть бейте, хоть режьте, ничего не знаю... — неторопливо проговорил он.

— Ты будешь говорить? Я спрашиваю, будешь ты говорить?

— А почему же мне не говорить? Пока человек жив, он говорит...

— Я спрашиваю: как зовут этого подлеца? Кто он?

— Видите ли, господин,— я, простите, конечно, не знаю, какое у вас теперь звание... Я могу вам рассказать, сколько листов жести нужно, чтобы покрыть крышу вашей тюрьмы. Я могу вам рассказать, сколько бревен требуется, чтобы построить хату. Но откуда я могу знать, как зовут этого человека, если я его никогда не видел?

— Он — твой враг! Понимаешь ты это или нет, морда!

— Понимаю... Почему же не понимаю?.. Но скажите мне, пожалуйста, господин,— я не знаю, как вас по званию,— если он мой враг, почему же я до сих пор об этом не знал? Почему он меня не бьет нагайкой?

— Молчать! Не рассуждать! Будешь ты говорить или нет? — снова замахнулся на него нагайкой палач.

— Конечно, я буду говорить... Человек на то и человек, чтобы говорить, а не лаять...

Больше Шмая ничего не успел сказать. Он почувствовал, как на него посыпались удары. Кто-то вбежал сюда, опрокинул его на пол, стал избивать, топтать ногами. Кто-то, выплеснув на него ведро воды, снова бил. Но теперь уже кровельщик ничего не чувствовал. Все покрылось кровавым мраком...

Он пришел в себя только в камере. Над ним стоял Хацкель с заплаканными глазами и еще несколько узников. Кто-то поднес к его запекшимся губам кружку воды. Какой-то студент сорвал с себя нижнюю рубашку и стал перевязывать ему раны. Камера молчала, глядя на истерзанного человека, который неподвижно лежал на нарах и стонал.

— Шмая, — шептал над самым ухом кровельщика приятель. — Шмая, дорогой мой, что с тобой? Скажи хоть слово... Не лучше ли было нам умереть в своем родном углу?..

Если б вернулись сейчас силы, если бы он мог говорить, Шмая рассказал бы всем о своем земляке, о Юрке Стеценко, который во имя их счастья терпит такие страшные муки и молчит. Но говорить не было сил...

Только один раз за время допроса он встретился глазами со взглядом Юрка. Этот взгляд, его глаза он запомнит на всю жизнь... В ту минуту кровельщик понял, что он, Шмая-разбойник, поступил, как требовала совесть...

— Тише... Не трогайте его. Разве не видите, что он еле дышит, — как сквозь туман, услышал он шепот арестантов и будто провалился в темную бездну.

Прошло пять дней. Тюрьма жила своей страшной жизнью. Но сквозь толстые тюремные стены с воли все же проникали различные слухи.

В городе ширилась тревога. Полки Красной Армии продвигались все ближе к Киеву... Каждый из арестантов понимал, что палачи перед своим бегством из города постараются покончить с ними, и напряженно искал выхода из положения. Но выхода, казалось, не было. О подкопе нечего было и думать. Тюремщики усилили охрану. Бежать во время прогулки тоже невозможно.

Юрко Стеценко медленно приходил в себя. Он с трудом передвигался по камере, но предчувствие опасности прида-

вало ему силы, и по ночам он долго шептался с матросом Митькой, обдумывая план побега.

На помощь им пришла сама судьба.

Однажды ранним утром всех узников выгнали во двор, построили и куда-то повели. Конвоиры гнали бесконечную колонну через притихший, охваченный тревогой город к Днепру. Разные мысли лезли в голову. Люди думали, что их ведут на расстрел. За это говорило еще и то, что гнали не только здоровых, но и больных. Только тогда, когда колонну остановили у высоких холмов невдалеке от мостов и приказали рыть окопы, все немного успокоилось.

Мороз сковал землю. Трудно было долбить ее. Холодный, пронизывающий ветер дул с Днепра, пробирал насквозь.

Матрос работал рядом со Степенко, которому тоже дали лопату, хоть он ее с трудом держал в руках. Они все время оглядывались по сторонам, о чем-то шептались. И во время короткого перерыва, когда арестантам привезли похлебку, Митька сообщил товарищам план побега. Это был весьма рискованный план, но вместе с тем и единственная возможность спастись от неминуемой смерти.

Когда стемнело и конвоиры, собравшиеся вокруг костра покурить, о чем-то оживленно беседовали, Юрко подал сигнал, и арестанты набросились на тюремщиков с лопатами и ломami.

Все это было настолько неожиданным для конвоиров, что ни один из них не успел даже выстрелить. Арестанты быстро разоружили их и разбежались во все стороны. Темные, безлюдные улочки Печерска поглотили их.

Опустели холмы над Днепром.

Хацкель и сам не понимал, как в этой кутерьме он нашел своего приятеля. Они столкнулись неожиданно и, взявшись за руки, стали догонять убегающих. Никто не знал, откуда взялись силы, но, видно, надежда на спасение удесyatеряла их. Каждому было ясно, что необходимо уйти подальше от места стычки.

Наконец оба приятеля остановились возле полуоткрытых ворот. В глубине дворика виднелся небольшой дом. Никаких признаков жизни. Должно быть, там никто не жил. Они зашли туда и скоро уснули мертвым сном на каком-то колючем матраце.

Проснувшись, Шмая долго не мог понять, почему у него перед глазами нет ржавых железных решеток, где он находится и как сюда попал. Он поискал глазами матроса, Юрка

Стеценко, но увидел обросшее рыжей щетиной лицо спящего Хацкеля и стал тормошить балагулу:

— Вставай, соня, хватит спать!.. Видно, мы с тобой под счастливой звездой родились. Из такого пекла выбрались... Вот мы и прошли науку у батьки Петлюры. Теперь нам уже ничего не страшно...

— Погоди радоваться! Кто знает, что еще с нами будет,— проворчал балагула.— Слышишь, как бьет артиллерия?..

Глава двенадцатая

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ

Говорят, когда беда тебя преследует по пятам, легче и быстрее заживают все твои раны. Будь это в другое, мирное время, нашего кровельщика после перенесенных им в тюрьме побоев и пыток положили бы в больницу, лечили, бинтовали, прикладывали бы к телу разные примочки и еще бог знает что врачи с ним делали бы. Но об этом теперь и думать не приходилось. Нужно было думать о том, чтобы тебя снова не схватили как подозрительного и не загнали бы в тюрьму. Нужно было найти в этом обезумевшем городе кусок хлеба, найти ночлег...

И видя, как Шмая поправляется и постепенно становится прежним шутником и балагуром, Хацкель с завистью говорил:

— Вот человек! На тебе, Шмая, все заживает как на собаке...

— А как же иначе? — отвечал ему наш разбойник. — Это уж закон для солдата: получил удар, встряхнись, брат, и валяй дальше! Да, помню, бывали на войне дела. После боя плюхнешься где попало в грязь, в снег и спишь так, как ни один царь на своих перинах не спал. И никакая хворь к тебе не пристает. А вот вернешься домой, попадешь под крылышко жены, она трясется над тобой, ухаживает,— смотришь, малейший ветерок на тебя подул, и ты уже простудился...

После трескучих морозов, которые всем осточертели, неожиданно наступила оттепель. Снег на тротуарах почернел, оттаяли деревья, еще накануне облепленные пушистым инеем, как дворовые собаки репьями...

Как-то Шмая и Хацкель очутились в центре города и, когда стемнело, забрели в тот самый полусгоревший дом,

в котором ночевали в первый день своего приезда в Киев. Нашли и знакомую комнату на третьем этаже. Их ложе из книг, папок и бумаг было в полнейшем порядке. Можно было отдохнуть.

Хацкель быстро прикрыл досками окна, развел огонь в камине, опустился на горку книг и устался на кровельщика.

— О чем ты сейчас думаешь, Шмая?..

— Я думаю о мудрых словах моего отца...

— А что он сказал?

— Мой отец сказал, что лошадь объезжает весь свет и возвращается домой той же лошастью...

— В чем же тут мудрость?

— А мудрость в том и состоит, что вот мы с тобой обошли весь город, попадали в разные переплеты и возвратились на прежнее место.

— Так, по-твоему, выходит, что мы никуда и не двигаемся? На месте стоим? Зачем же нам все это нужно? Давай поворачивать оглобли, домой пробираться...

— Ты опять за свое! — рассердился Шмая. — Будем ждать здесь Советскую власть... Слышишь, как она о себе дает знать? — кивнул он в ту сторону, откуда доносился грохот орудий.

— Что-то очень уж медленно твоя власть к тебе идет...

— Тебе легко говорить, сидя здесь, у камина... А там идут жестокие бои... Думаешь, Петлюре, буржуям очень хочется отдавать Украинну? Это такой жирный пирог, который многим снится...

— Опять ты со своей философией! Давай лучше ляжем... Прошлой ночью нам не давали спать клопы, позапрошлой — стрельба на улице, три ночи назад не могли сомкнуть глаз потому, что целый день во рту ничего не имели... Попробуем хоть сегодня выспаться...

— Это можно, — важно проговорил Шмая, снимая шинель. — Вижу, ты правильно ведешь счет, когда мы ели, когда спали. Не был бы ты балагулой, вполне можно было бы назначить тебя писарем.

— Спасибо твоей бабушке, Шмая!.. Ты лучше немного подвинься, а то всю шинель заграбастал. Оставь мне одну полу...

— Привык ты роскошно спать, Хацкель, вот тебе и не хватает моей шинельки!.. — отозвался кровельщик. — А знаешь, во время войны захожу я как-то в одну хату переночевать, а там меня бабка старая встречает. Ну, известно, на-

кормила борщом со сметаной, постелила мне на горячей печи. Сидит старушка, сложив руки на груди, смотрит на меня заплаканными глазами и спрашивает:

— Солдатик, а на чем ты там, в окопах, спишь?

— Как на чем? На шинели...

— А укрываешься чем?

— Шинелью...

— А под голову что подкладываешь?

— Шинель, бабушка...

— Боже милосердный! Тоже шинель! — всплеснула она руками. — А сколько же у тебя этих шинелей?..

— Одна!

Махнула старуха рукой и пошла на кухню соображать, как это с одной шинелью живет солдат на войне.

А тебе все мало...

Треск пулемета разбудил Шмаю. Он мгновенно вскочил со своего ложа и бросился к окну. С разных сторон слышалась ружейная стрельба, стрекотание пулеметов, какие-то крики.

Он подбежал к спящему Хацкелю и стал расталкивать его:

— Вставай, тревога! Кажется, начинается...

Балагула спросонья не понял, чего тот от него хочет, громко зевнул, выругался и повернулся на другой бок.

— Слышишь, ты, барин, вставай! Посмотри, что в городе творится!

— Вот горе на мою голову! Спи, черт бы тебя побрал! Тебе-то что до этого?

— Как это что? Вот ударит сюда снаряд, тогда поймешь что!

Балагула сердито заворчал, с трудом продрал глаза и посмотрел на взволнованного приятеля, все еще не понимая, чего тот к нему пристал.

— Надень сапоги, не то тебе босиком придется топать, — торопил Шмая.

— Ну и дела, чтоб оно провалилось!.. Ну и попутчик у меня, — одно мучение! Только сомкнешь глаза, а он тут как тут. Изверг, а не человек!

Однако, когда стрельба усилилась и уцелевшие стекла задребезжали, балагула проворно вскочил на ноги, натянул сапоги и, накинув свой полушубок, подошел к щелке в окне.

— Ты смотри, ведь и вправду!.. Сызнова, кажется, начинается война,— проговорил он, глядя в щелку.— А я думал, что ты решил меня так рано разбудить, потому что вспомнил какую-то новую историю, которую ты мне должен рассказать...

— Голова твоя садовая! Посмотри на улицу! Кажется, лучшей истории и не придумаешь. Видишь?..

— Вижу...— произнес упавшим голосом Хацкель.— Все-таки по-моему выходит! Надо было сидеть дома и не рыпаться. А то получается у нас вроде как из огня да в полымя.

— Чудак, ведь это наша власть идет! — перебил его Шмая.— Не видишь, что ли, как буржуи улепетывают, какая там паника? Эхма, житуха!..

А стрельба становилась все сильнее и сильнее. Над крышами домов поднимались облака дыма. Зарево пожаров повисло над городом.

— Бежим на улицу! — схватил Шмая приятеля за рукав.— Быстрее!

— Куда ты побежишь, когда там такой ералаш.

— Ничего, пошли!

— Что ж, пусть будет так.

Они спустились вниз. Прижимаясь к стенам домов, перебежали поближе к площади. У большого дома за перевернутой бричкой лежало несколько рабочих и стреляло по врагам, мчавшимся с обнаженными шашками. Вдоль тротуара, низко пригибаясь к земле и пряча головы от шальных пуль, бежали вооруженные рабочие с красными лентами на шапках и рукавах. С горы спускались бандиты, стреляя на ходу по перебегающим группкам рабочих.

— Зачем ты меня сюда потащил? — крикнул Хацкель, прижимаясь к стене.— Попали в самое пекло. Пропадем ни за понюшку табаку. И все из-за тебя!..

— Ты опять ничего не понимаешь, дурень!.. Рабочие подняли восстание... Очищают город от всякой нечисти. А оттуда, слышишь, идут красные... Нужно поискать Билецкого и Юрка. Они должны быть где-то здесь...

— Совсем с ума сошел! Кого ты найдешь в такой суматохе?

Стрельба на улице все усиливалась. К вокзалу с визгом и криком бежали дамы с узелками, господа с чемоданами. Маневрируя между конными разъездами и группками рабочих-боевиков, они перебежали от подворотни к подворотне.

Перестрелка на площади не прекращалась. Рабочие-

стрелки, сидя за наскоро сооруженными баррикадами, били по засевшим в домах казакам.

Кто-то из смельчаков взобрался на крышу пятиэтажного дома и прикрепил на шпиле красный флаг.

Казаки ударили из пулемета, сбили смельчака, но флаг уже рьял на ветру, оповещая всех, что идет последний и решительный бой с врагами Советской власти.

Шмая почувствовал, что на голову ему посыпалась штукатурка. Откуда-то стреляли по стене, у которой стоял он вместе с Хацкем. Не успели они отскочить в сторону, как сверху на землю посыпались стекла.

Приятели перебежали на противоположный тротуар, спрятались в подворотне.

С горы спускалась группа рабочих. Двое тащили за собой пулемет. Вот они выдвинулись ближе к дому, где засели казаки. Высокий русоволосый парень в короткой потертой куртке установил пулемет на груде камней и начал стрелять по окнам.

Шмая выглядывал из подворотни, радуясь тому, как метко парень ведет огонь.

— Ты только посмотри, как он чешет, молодец! — с завистью крикнул Шмая и вдруг заметил, что пулемет затих. Русоволосый парень с красной лентой на шапке неподвижно лежал на снегу.

Пулеметчик был тяжело ранен, и товарищи бросились к нему, явно растерявшись. Они, вероятно, не видели, что с соседней улочки к ним подкрадывается кучка «сичевиков» с винтовками наперевес.

Наш разбойник, находившийся в нескольких шагах от молчавшего пулемета, увидел все это, начал кричать, желая предупредить ребят о грозящей им опасности. Кто-то услышал его, опустился рядом с пулеметом и попробовал было стрелять, но безуспешно, лента, видно, заела.

Шмая, пригибаясь, стремительно бросился к пулеметчику, опустился рядом с ним на колени.

— Что, заело у тебя? — крикнул он, задыхаясь от волнения. — Дай-ка я попробую, когда-то стрелял из максима...

Рабочие удивленно смотрели на незнакомого солдата в изорванной шинели. Не прошло и двух минут, как он уже сменил ленту и, повернув пулемет в сторону улочки, по которой продвигались казаки, стал сосредоточенно бить по ним короткими очередями.

Над его головой засвистели пули, но кровельщик, прижимаясь щекой к щиту, тщательно прицеливался.

Он почувствовал, что вражеская пуля сбила с его головы фуражку, вторая задела щеку, и по ней потекла горячая струйка. Кто-то бросился к нему, хотел было перевязать, но он замотал головой, чтобы не мешали. Нужно терпеть... Ведь бандиты уже бегут к нему, думая, что убили пулеметчика. И Шмая с еще большим ожесточением стал бить по противнику.

Вот свалился один, другой, остальные повернули назад. Кто-то с перепугу попытался перескочить через забор, но пуля угодила в него, и он повис на заборе, уронив на землю папаху.

— Дай-ка, братишка, перевяжу тебя,— нагнулся к Шмае молодой паренек.

— Ничего, до свадьбы заживет... На войне без крови не бывает,— улыбнулся тот и вытер рукавом кровь, размазав ее по всему лицу.

— А где тут лазарет? — закричал подбежавший к нему Хацкель.— Может, отвести тебя, а сестрички перевяжут...

— некогда теперь по лазаретам бегать!.. Не мешай, опять лезут, гады!.. А ты чего без дела болтаешься? Бери винтовку — вон рядом валяется! — и ложись в цепь со всеми. Помочь ребятам надо, подставить плечо... Сам видишь, никто здесь сегодня без дела не стоит.

Только успел балагула поднять винтовку и зарядить ее, как послышалась команда:

— Огонь!

— Огонь!

— Казаки идут!

Трудно сказать, сколько времени прошло, пока стрельба на площади стихла. Но лишь тогда Шмая поднялся, расправил плечи, потер ооченевшие руки. По щеке текла кровь. Ребята-боевики подошли к нему, хотели было расспросить, кто он и откуда, поблагодарить за то, что выручил их в критическую минуту. В это время из ближайшего двора вышел коренастый пожилой рабочий в кожаной куртке, с наганом в руке и ярко-красной лентой на рукаве. Широкое открытое лицо его казалось суровым. Окинув быстрым взглядом рабочих-боевиков, он перевел взгляд на стоявшего у пулемета незнакомого человека в шинели.

— Кто ты такой, товарищ? Откуда? — быстро спросил он, глядя на пустынную площадь, по которой перебежали боевики.

— Человек, солдат... Бывший ефрейтор,— ответил Шмая,

вытянувшись и откозыряв по всем правилам, как делал это на фронте, когда к нему обращалось начальство.

— А как ты сюда попал?

Кто-то из рабочих вмешался в разговор:

— Степу Васильева, нашего пулеметчика, ранило. А тут как раз и максим закапризничал... А казаки наступали на нас, были уже близко... Ну, спасибо этому человеку, прибежал и выручил из беды... Пулеметчиком был на войне... Видно, наш брат, пролетарий...

— Ну что ж, это хорошо! — проговорил пришедший. — Надо потрудиться для мировой революции!.. Спасибо, товарищ! — протянул он Шмае свою крепкую мозолистую руку.

— А как же! И мы за революцию, то есть за Советскую власть... — И, прислонившись к Хацкелю, Шмая снял с левой ноги сапог, достал помятую, промокшую потом и сыростью справку и протянул ее человеку в кожаной куртке. — Если можно, мы останемся с вами...

Пробежав глазами измятую бумажку, тот пытливо взглянул на Шмаю и его приятеля:

— Значит, на фронте воевали, умеете обращаться с оружием?..

— А как же! Немало пороху понюхали... Старая фронтовая выучка.

— Что ж, действуйте! В добрый час, — бросил на ходу пожилой человек, отозвал в сторону одного из боевиков, что-то сказал ему и направился к соседней группе стрелков. Вдруг он остановился:

— Товарищ Спивак!.. Вы ведь ранены... Сходите раньше к санитару, пусть сделает вам перевязку...

— Ничего... Теперь не время, как-нибудь в другой раз... Царапина!

— Чудной какой-то! — возмутился Хацкель. — Ничего себе царапина! Кровь так и хлещет... — И, достав свой мокрый платок, порвал его на три части, связал узлами и хотел было перевязать товарища, но тот отстранил его:

— Не надо...

— Почему же?

— И так заживет, убери платок. На бабу буду похож!

— Совсем рехнулся!.. — махнул Хацкель рукой и отошел в сторону, а Шмая опустился на корточки возле пулемета и стал приводить его в порядок.

Рядом стояли рабочие ребята, внимательно присматривались, как новичок с разбитой щекой хлопчет у пулемета.

Заложив в пулемет новую ленту, Шмая спросил:

— А кто он такой, тот, в кожаной куртке, с которым мы разговаривали?

— Командир нашего отряда Гнат Васильевич Рыбалко. Старый подпольщик, большевик...

— Командир отряда? А какой же у него чин? Капитан? Полковник?

— Какие теперь чины?! Солдат революции — вот и весь чин... А вообще он слесарь, пролетарий, — с гордостью ответил молодой чернявый рабочий, лежавший рядом со Шмаей у пулемета.

Свернув толстую сигарку, парень спросил:

— А ты, товарищ, за кого стоишь? За что, значит, воюешь?

— Как это — за что? За правду! А вы за что?

— Мы — за Советскую власть! За большевиков!

— И мы за Советскую власть. А за кого ж еще воевать нам, простым рабочим людям?

— Если воюете за Советскую власть, — отозвался парень, — почему же не носите красную ленту?

— А откуда нам ее взять? — спросил Шмая, не без зависти поглядывая на большой красный бант, приколотый к шапке парня.

Тот пристально взглянул на солдата, снял свою шапку, оторвал кусок ленты и подал ему:

— Возьми...

— Спасибо!.. — сказал тот, искренне обрадовавшись, и, разорвав ленту пополам, протянул кусочек Хацкелю:

— Нацепи и ты... А то, в самом деле, форма у нас неподходящая. Еще подумают, что мы какие-то бродяги!..

Хацкель свирепо посмотрел на него и что-то сердито буркнул. Он не понимал, зачем разбойник лезет в огонь и еще его с собой тащит...

Взглянув на насупившегося товарища, который держал ленту, не решаясь прикрепить ее к шапке, Шмая покачал головой, подумав при этом: «Дуралей несчастный, тебя люди принимают за своего человека, оружие тебе доверяют, а ты еще носом крутишь! Ох и трудно же выбить дурь из твоей башки, балагула!.. Люди кровь проливают за новую жизнь, а ты о покое мечтаешь. Покой, брат, только на кладбище бывает, да и то не всегда. Теперь такие времена настали, что и мертвым нет покоя...»

С разных концов города еще доносилась дробь пулеметов. Над домами тут и там поднимались облака дыма и пламени.

Истошно гудели паровозы, были охрипшие сирены фабрик и заводов, призывая рабочий люд к оружию...

За Днепром все отчетливее слышался властный голос орудий. К городу спешили красные войска, пробившиеся сквозь сильные заслоны врага. Из-за лохматых облаков выглянуло солнце. Казалось, что оно входит сюда, в Киев, вместе с частями Красной Армии.

И город оживал.

Из своих укрытий сперва робко, а затем смелее выходили горожане. Впервые за долгие месяцы страха и страданий можно было вздохнуть полной грудью.

На балконах и на крышах уже появились красные флаги.

Настала долгожданная свобода. Радость пришла в город, на его улицы и площади.

Глава тринадцатая

КОГДА ГОРОД ЛИКУЕТ

Город ликовал, город митинговал, захлебывался от радости и счастья. Шутка сказать, сколько страха натерпелись люди, сколько горя перенесли! Сколько раз менялась власть, а ведь каждая рвала живую душу города, каждая заводила свои порядки, вернее, беспорядки, и все это обрушивалось на несчастных горожан, которые уже не верили, что когда-нибудь придет к ним избавление.

И вот светлый час настал!

Трудовой народ высыпал на улицы. Женщины и дети восторженно встречали уставших, обожженных морозом и ветрами красноармейцев, которые вступали в город пешком и на конях, на тачанках и на лафетах орудий. Над колоннами развевались боевые знамена, простреленные и пробитые пулями и осколками.

На Думской площади без передышки играл духовой оркестр. Отовсюду неслись слова «Марсельезы» и «Варшавянки», «Интернационада» и «Заповита».

...Это есть наш последний и решительный бой!
С Интернационалом воспрянет род людской!

...Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!

...Поховайте та вставайте, кайдани порвите
І вражою злою кровю волю окропите!

...Повстаньте, гнані і голодні,
Робітники усіх країн!..

...Это есть наш последний и решительный бой!..

Необычайное оживление царило в городе.

Люди сбрасывали с пьедесталов памятники царей и губернаторов, срывали со стен домов и с заборов портреты батек и атаманов, неудачливого гетмана, топтали их ногами. Вылавливали в подвалах и в домах не успевших удрать петлюровцев. Население гасило пожары, расчищало улицы и площади от баррикад, собиралось вокруг расклеенных повсюду первых приказов коменданта города.

На Думской площади еще не закончился многотысячный митинг, а в Маринском саду уже раздавался салют — хоронили погибших в бою красноармейцев и боевиков. В морозном воздухе гремела медь оркестров, и огрубевшие голоса рабочих и красноармейцев запевали:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...
В любви беззаветной к народу!

И снова доносился трехкратный треск винтовочных выстрелов. И женщины, склонившись над братской могилой, горько оплакивали воинов, пришедших сюда за сотни и тысячи верст из Харькова и Одессы, Тулы и Петрограда, из Сибири и с Поволжья.

Киев оплакивал борцов, отдавших жизнь в борьбе за счастье народа.

Чуть стемнело, и город притих. Враг был еще близко, и опасность еще витала над городом. На улицах было безлюдно и тихо. Слышны были лишь шаги воинских и рабочих патрулей, вооруженных винтовками, двустолками и чем попало.

С днепровских просторов дул порывистый колючий ветер, и патрульные прятали лица в воротники шинелей и курток. Тут и там на тротуарах кто-то ухитрился разжечь костры, и бойцы то и дело подходили к ним погреться.

Было уже за полночь, когда несколько рабочих-боевиков, а среди них и наш Шмая с Хацкелем, вышли на широкую Фундуклеевскую улицу. Возле занесенного снегом садика с железной оградой несколько красноармейцев грелись у костра.

Шмая подошел к ним, поздоровался, как со старыми знакомыми, попросил закурить. А через несколько минут уже был окружен тесным кольцом людей, с интересом слушавших его рассказ о том, как один пузатый купец с огромными узлами и тюками рядился с извозчиком во время перестрелки на площади, уговаривая его, чтобы тот отвез его на вокзал, и как извозчик отхлестал его кнутом.

Все от души смеялись, и Шмая, найдя благодарных слушателей, охотно рассказал им еще одну забавную историю.

Они с Хацкелем зашли как-то ночью в один совсем пустой дом, где не было света, выпалились на прекрасных перинах, словно губернаторы, а проснувшись ранним утром, заметили, что под кроватью кто-то шевелится. Оказалось, что в доме оставалась старая барыня, которая, подумав, что к ней пришли бандиты, от страха залезла под кровать и пряталась там, боясь вылезть, до самого утра...

Так шло время. Все охотно отзывались на шутку жизнерадостного солдата, только Хацкель по-прежнему ворчал: мол, как можно в такое тревожное время смеяться, рассказывать всякие дурацкие истории?

Но Шмая уже привык к его ворчанию и не обращал на него внимания.

Погревшись, патрули снова расходились в разные стороны, заглядывали во все закоулки, не притаился ли там враг?

Рассвет застал Шмая и его новых друзей у костра.

На колокольнях Печерской лавры и на золотом куполе Софии вспыхнули первые солнечные лучи, заиграли всеми цветами радуги в окнах высоких домов, вскарабкавшихся на крутые горы.

Комендантский час закончился, и на улицы снова высыпал народ. Все шли к площади, над которой развевался красный флаг и где должен был состояться митинг. На широких щитах — там, где обычно висели афиши с изображением полуголых шансонеток, — теперь были вывешены плакаты. На каждом из них был нарисован гигантского роста красноармеец со штыком наперевес, на котором были нанизаны Петлюра, Скоропадский, кайзер Вильгельм, пузатый буржуй, помещик и генерал...

Играл оркестр.

Шмая пробрался поближе к оркестру. Взглянув на кислую рожу Хацкеля, который стоял, опершись на ствол винтовки, задорно толкнул его локтем в бок:

— Ну как, брат, здорово? А ты еще рвался домой! Веселая жизнь теперь начинается!

— Тебе, Шмая, и без музыки всегда весело! Даже когда надо было плакать, ты веселился... Такой уж у тебя нрав... Веселый нищий!..

— Почему это я нищий? Я теперь богат! Ну конечно же, я богаче того пузатого буржуя, который метался по площади со своими тюками и торговался с извозчиком, а тот его кнутом, кнутом...

— Сегодня ты, Шмая, пожалуй, прав, — ответил балагула. — Теперь нам с тобой, конечно, легче, чем несколько дней тому назад. Но все это ненадолго, пройдет еще неделька, уляжется веселье, кончатся митинги... Когда еще такой удобный момент представится? Денег теперь можно раздобыть, добра всякого... Запаслись бы на всю жизнь...

— Эх и подлый же ты человечек! И откуда в тебе такой червь завелся? — сказал он, но, заметив, как сквозь легкие облака показался диск солнца, добавил: — Видишь, большевиков даже сам бог уважает. Смотри, как солнце светит, а ты...

— Вижу... Вижу! Не слепой...

— Ничего ты не видишь! Ты слепой! — махнул рукой кровельщик.

Сердце Шмаи было переполнено радостью, и ему так хотелось излить перед кем-нибудь эту радость, поделиться ею с кем-то, но Хацкель явно не подходил для этого.

— Ничего ты не понимаешь! Человек, который не умеет радоваться, не достоин того, чтобы земля его носила. Не умеешь ты радоваться! Всего несколько дней тому назад каждая свинья могла унижить нас с тобой, убить, растоптать. А теперь — дудки! Теперь мы такие же люди, как и все! Радоваться надо, понял?

Кто-то тронул Шмаю за плечо. Оглянувшись, он увидел Гната Рыбалко.

— Как дела, товарищ? — спросил тот. — Живы-здоровы?

— Спасибо. Пока живем, не горюем, товарищ начальник.

— Хорошо, так и надо. Был ночью в карауле?

— Так точно! — по старой привычке вытянулся солдат.

— Почему же отдыхать не идешь?

— А разве в такое время можно отдыхать?

— Ты скажи ему, Шмая, — тихо шепнул Хацкель, — скажи ему, что поспали бы с удовольствием, да хаты у нас нет. Скажи, что мы бездомные...

— Как это — бездомные? — удивился Рыбалко, услышав последние слова. Он обвел глазами огромные дома. —

А это что? Выбирайте себе любой дом, любую квартиру. Хозяева разбежались, не хотели с нами быть сватами... Вы помогли нам бить врагов, значит, теперь вы для нас свои... А сейчас в Киеве наша и ваша, одним словом, народная власть. Чего ж нам стесняться? — И, немного подумав, добавил: — Ну-ка, пойдете со мной, поншем!

Они с трудом выбрались из толпы и вышли на Николаевскую улицу.

Неподалеку от здания цирка, у роскошного шестиэтажного дома, Рыбалко остановился и, весело улыбаясь, спросил:

— Ну как, нравится вам эта хата?

— Что вы! Зачем нам такой здоровый домище? — рассмеялся Шмая.

— А вы думаете, весь дом вам отдадим? Нет, конечно. Сейчас подберу вам квартиру, и живите себе на здоровье. И работу для вас найдем подходящую... Вот с вами мы будем сватами...

Они поднялись по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Остановились. Дверь была заперта, и Рыбалко постучал.

— Ну, здесь вам хорошо будет. Или вы хотите жить повыше? — спросил он и тут же выругался. — Вот проклятые! Поудирали и ключи с собой позабирали. Думают, что еще вернутся сюда. Когда рак свиснет!.. Ну как, может, выше пойдём?

— Да нам все равно, лишь бы было где поспать, — ответил Шмая и тут же добавил: — Правда, я люблю повыше... Всю жизнь на верхотуре, на крышах. Я ведь по профессии кровельщик...

— Это теперь будет ходкая профессия. Много крыш тебе, дружище, придется латать...

Рыбалко еще раз постучал, потом нажал на дверь плечом, но она не поддавалась.

Вдруг послышались неторопливые шаги, и дверь отворила старая, насмерть перепуганная крестьянка в поношенном колушке. В руках она держала небольшой узелок, собираясь, видно, уходить.

— Значит, эта квартира уже занята? Вы тут живете, мамаша? — спросил Рыбалко, пристально глядя в морщинистое испуганное лицо женщины.

— Что вы, сыночки! — замахала та худыми узловатыми руками. — Чтоб я тут жила? У меня в Лужанах своя хатка, старик, огород... Это я сюда прибежала, когда стрелять зачали... Тут моя старшая дочка в кухарках служила у этого,

как его, забыла фамилию. Ну, что в городской управе служил... Такой лысый, пузатый... Да бес его знает, как его зовут... Прибежала, а никого уже нет. Где моя дочка, не знаю... Я так напугалась, когда в городе стреляли. Думала, кончусь от страха... Больше стрелять не будете, сыночки? Мне домой бежать надо, старик там ждет. Подумает еще, что убили меня бандиты по дороге... Уже можно ходить по городу или нет?

Рыбалко положил ей руку на плечо и, заглядывая в ее доброе морщинистое лицо, ответил:

— По городу ходить, конечно, можно, а вот в Лужаны не спешите, мамаша. Поблизости еще идут бои. Денек-другой придется переждать...

— Ну спасибо вам за доброе слово, спасибочки...

— Если вы, мамаша, квартиру не заняли, то здесь поселятся мои ребята...

— Будь ласка! А мне что? Пускай живут хоть сто лет, если хорошие люди,— проговорила старуха, пропуская их в квартиру.— По мне хоть весь дом пускай забирают...

Гнат Рыбалко окинул беглым взглядом смущенных приятелей и сказал:

— Ну чего ж вы стоите, как бедные родственники? Устраивайтесь, отдыхайте, почувствуйте себя как дома. Посвободнее будет со временем, новоселье справим и по чарке выпьем!..

Попрощавшись с ними за руку, он направился к выходу, но на пороге остановился:

— Так ты, товарищ, сказал, что кровельщиком был, крыши чинить умеешь?

— Так точно, потомственный кровельщик...

— Ну отдыхайте, спите... Мы за вами придем, когда нужны будете. Придется еще немного покараулить в городе... А работы скоро у вас будет хоть отбавляй. Ну, прощайте, мы еще с вами увидимся, потолкуем.

Он быстро сбежал по лестнице вниз, а Шмая еще долго стоял, не двигаясь с места:

— Вот это человек! Душа!.. С таким можно пойти и в огонь и в воду. Правда, Хацкель?

Но тот молчал, словно воды в рот набрал.

Рыбалко ушел, а наши новоселы все еще не решались ступить грязными сапожищами на яркие дорогие ковры...

Какая роскошь была здесь! Какая красота... Все стены увешаны картинами. Тут и там позолоченные столики, а вокруг них — причудливые кресла, каких наши раковцы

в жизни не видели. На широких окнах трепещут шелковые занавески.

— Видишь, Хацкель, как буржуазия жила?

— Вижу...

— Да, скажу я тебе, — глядя на высокий потолок с позолоченными карнизами, продолжал Шмая. — Есть все-таки люди с золотыми руками... Ты хоть понимаешь, какая это тонкая работа? — восхищался он.

— Сгореть бы им, этим буржуям, болячка им в бок! — воскликнул балагула. — Представляю себе, как они здесь гуляли! Верно, были набиты золотом, бриллиантами. Мне бы хоть половину их богатства...

— Глупый ты человек! — сердито оборвал его Шмая. — Надо быть порядочным, честным, работающим и не думать ни о каком богатстве. У тебя, Хацкель, я давно это приметил, глаза завидующие... Пролетарий в тебе и не ночевал, жилка у тебя не наша. А откуда она у тебя взялась — ума не приложу. Гляди, как бы тебе это боком не вылезло! Сам видишь, мы теперь вступаем в новую жизнь. Думать надо не о себе, не о своем кармане, а о народе...

Хацкель рассмеялся:

— Что я слышу? Ты уже говоришь так, как наш Билецкий, бывало, говорил...

— А что, разве плохо он говорил?

— Нет, я не говорю, что плохо. Наоборот.

— То-то же! Совесть надо иметь и думать не только о своем брюхе и о своем кармане...

— Ладно, не морочь мне голову!

— Плохо ты кончишь, если дурь из головы не выбросишь!

— Не каркай! И давай говорить о более веселых делах...

Они ходили по огромным пустынным комнатам, стуча коваными сапогами, и эхо их шагов отдавалось по всему дому. Казалось, целая рота солдат марширует по квартире.

Новые хозяева осмотрели кухню, но, как назло, ничего съестного там не обнаружили.

— Паршивое дело, Хацкель, — вздохнул разочарованный кровельщик. — Вот тебе и богатство! Ковры, люстры, бархат, а жрать нечего... На этом золоте можно с голоду помереть, как когда-то сыграл в ящик один из Ротшильдов...

Хацкель бросил на него удивленный взгляд:

— Как же мог такой богач, как Ротшильд, с голоду подохнуть?

— А очень просто. Был у Ротшильда в конторе огромный

сейф, где хранилось все его золото и бриллианты. Зашел он как-то в сейф полюбоваться на свое добро и... захлопнул за собою дверь... Стучал, стучал — никто не приходит. Ночь пролежал на своем золоте, день пролежал, а был праздник, и никто в контору не явился. Так он и подох с голоду...

Немного помолчав, Шмая продолжал:

— Да, кусок черствого хлеба иногда дороже всякого золота. Пожрать бы сейчас чего-нибудь... Мы ведь сегодня еще ничего не ели... А перед сном не мешало бы поесть. Мой отец, вечная ему память, бывало, говорил, что когда ложишься спать на голодный желудок, душа всю ночь вокруг горшков шатается...

— А мы с тобой по свету шатаемся, и все без толку...

— Это мы еще посмотрим — без толку или с толком. А куда наша соседка девалась?

— Верно, услышала, что сюда пришел разбойник, и удрала...

Но Хацкель не успел договорить, как скрипнула боковая дверь и в комнату вошла старушка, неся в руках калач и кусок сала.

— Может, поедите, хлопцы? — сказала она. — Вы ж, наверно, голодны. Это я с собой принесла... Ешьте на здоровье, если не брезгаете.

Оба просияли.

— Вот спасибо вам, мамаша! Выручили нас, дай вам бог здоровья! — обрадовался Шмая, усаживаясь за широкий дубовый стол. — А мы как раз и думали, чего б это поесть...

— Жаль, картошки нет. Я бы вам супу сварила... Ну, угощайтесь, чем бог послал.

За столом все трое сидели, как старые друзья, ели, разговаривали. Шмае старушка особенно понравилась, так как любила слушать да и сама не переставала рассказывать о своих детях и о старике, который остался в Лужанах.

Перекусив, новоселы стянули с отекавших ног сапоги, улеглись на мягких кроватях, с головой накрывшись перинами, и через минуту в квартире стоял такой храп, будто здесь ночевал целый полк солдат.

Поздно ночью их разбудил сильный стук в дверь. Пришел вестовой от Гната Рыбалко и передал, чтобы они немедленно шли патрулировать. Надо было сменить товарищей.

Шмая сладко зевнул, но мигом вскочил с постели, наскоро натянул сапоги и стал торопить Хацкеля:

— Вставай скорее, нас ждут! Нужно сменить караул!

— Ах, погибель... спать не дают! — прохрипел в подушку балагула. — Ты, если тебе надо, иди. А я, хоть стреляй, не вылезу отсюда. Не нужны мне твои караулы! Не за этим я сюда пришел...

Шмая с минутку постоял, потом взял свою винтовку, сделал несколько шагов по комнате, еще раз взглянул на Хацкеля и, с трудом сдерживая раздражение, вышел, хлопнув дверью.

Посланцу Рыбалко он сказал:

— Я один пойду на пост... Мой товарищ захворал... Обойдемся как-нибудь сегодня без него...

Город спал тревожным сном. По пустынным тротуарам гремели солдатские шаги. Издалека доносился глухой грохот пушек.

Шмая прислушался. Да, видно, врага отогнали уже далеко. Вчера этот грохот был слышен отчетливее и казался более грозным...

Глава четырнадцатая

НЕТ ПОКОЯ НА ЗЕМЛЕ

Рано утром, когда заводские сирены настойчиво будят городские улицы, Шмая-разбойник со своим приятелем отправляются на работу.

Далеко позади остались тяжелые и тревожные дни и ночи, когда они вместе с рабочими-боевиками и красноармейскими патрулями охраняли город. Позади остались ночные облавы и жаркие схватки с мелкими бандами и шайками грабителей.

Эти дни Шмая-разбойник запомнил навсегда. За участие в одной из таких облав он чуть не поплатился жизнью. Его крепко ранило, и товарищи отправили его в госпиталь. Немало времени прошло, пока врачи поставили его на ноги. Выписался, пришел к Гнату Рыбалко, к новым друзьям, которые сразу же повели его на свой завод.

Впервые в жизни наш кровельщик попал на такой большой завод. Он прошелся по огромным цехам, осмотрел пробитые пулями и осколками стены, крыши. Казалось, будто страшный ураган пронесся здесь.

Истосковавшийся по работе, наш кровельщик просто ожил. Он начал с того, что обшарил все уголки огромного заводского двора и разыскал старые листы железа, обрывки жести. Надо было хоть кое-как залатать крыши цехов.

Когда Шмая позвал Хацкеля с собой, тот встретил это приглашение без особого восторга:

— На кой черт я полезу с тобой на крышу? Ни я, ни отец, ни дед мой не были кровельщиками. Эх, был бы ты, Шмая, не таким упрямым, все бы у нас пошло иначе, жили бы себе, как цари! Об осьмушке черствого хлеба не думали б... А так, видать, придется тебе до конца дней твоих лазить по дырявым крышам...

Но все же окончательно рассориться со Шмаей Хацкель не решался. На земле было еще неспокойно. Белые полчища и банды не давали людям покоя. Тревожные слухи приходили отовсюду. Неизвестно, как еще все обернется, а иметь рядом такого человека, как Шмая-разбойник, вовсе не плохо...

Теперь Шмая после работы часто отправляется в город. Ходит по детским домам, разыскивая своих детей, которых увезли от него в тот страшный год, когда банда сожгла местечко и сыпняк валил-косил людей... Куда бы Шмая ни пришел, его внимательно выслушивают, расспрашивают, начинают рыться в книгах, в списках, звонить по телефону — и все напрасно. Никаких следов, будто в воду канули малыши.

Днем, когда Шмая по горло занят работой, когда его окружают товарищи, он хоть немного забывает о своем горе. Но вот наступает ночь, он остается наедине с собой, ох как тяжело тогда! Он ворочается в постели и никак не может уснуть: перед ним, как наяву, встает горящее местечко, прощание с ребятишками, смерть жены, весь ужас пережитого...

Поделиться своим горем с Хацкелем? Нет, не стоит... С каждым днем отношения между ними становятся все напряженнее, они все меньше понимают друг друга.

Долгие часы бродил он по садам, присматривался к шумливым толпам ребятишек, искал своих и не находил. Забирался Шмая и в те отдаленные уголки города, где ютились бесприютные, замурзанные мальчишки и девчурки, но и там не было ни Сашки, ни Лизы.

На работе он хорохорился, шутил, смешил окружающих, а когда оставался один, сердце его разрывалось от боли.

И все же он не терял надежды найти своих детей. Со всей округи каждый раз привозили в детские дома сирот. Может быть, счастье улыбнется ему и среди этих будут и его дети?..

А жизнь то и дело преподносила свои сюрпризы. Сводки о боевых действиях Красной Армии и партизанских отрядов против Колчака, Юденича, Антонова не приносили особой радости. В Одессу черт принес французов, греков и еще каких-то оккупантов. На Дальнем Востоке высадились десанты англичан и американцев; шли бои с японскими самураями, а на юге все еще орудовал батько Махно и разные банды, которые возникали здесь, как грибы после дождя. Бушевал Дон. На Украину рвался Деникин. И чем чаще Шмая заглядывал в газеты, тем сильнее он расстраивался.

Настало знойное лето и принесло с собой еще больше тревог.

Армия генерала Деникина шла на Киев. Город готовился к большим боям.

Страх охватил людей. Еще не успели прийти в себя, как новые несчастья черной тучей надвинулись на них.

Опять доносился в город по ночам отдаленный гул орудий. Последние красноармейские части и рабочие отряды отправлялись на фронт. Ушел Рыбалко, ушли Юрко Стеценко и матрос Митька.

Тайком от Хацкеля Шмая тоже отправился в штаб просить, чтоб и его послали воевать. Но врачи, увидев незажившие раны, сразу же отказали ему, сказав при этом: хорошо еще, что человек на заводе так трудится. Его бы в госпиталь положить надо, если б другое время...

Жаркие бои с деникинскими полчищами уже шли на дальних подступах к Киеву, когда Шмая впервые услышал доселе незнакомое слово «эвакуация». Женщины с детьми покидали город. Всех охватила паника.

В один из этих летних дней, придя на завод, Шмая удивился необычному оживлению. Рабочие грузили на открытые платформы станки, незаконченные пушки, устанавливали на бронепоездах пулеметы. Ветер разносил по пустынному двору пепел сожженных бумаг...

Издалека доносился грозный грохот орудий.

Сбросив рубаху, Шмая тоже взялся за погрузку. Рядом с ним встал Хацкель, неустанно мучивший его одним и тем же вопросом:

— Что же с нами теперь будет? Надо нам уезжать или лучше останемся?

— Ты что?! С кем ты останешься? Ведь нас с потрохами сожрут беляки, как только ворвутся в город...

В работе они и не заметили, как прошел день.

Наутро во дворе завода они уже застали считанных людей. Последний поезд покинул заводской двор. Они опоздали на несколько минут...

Шмая вошел в помещение завкома. Там возле шкафов возился коренастый седоусый рабочий. Он, не разбирая, рвал бумаги и швырял их в горящую печь.

Увидев приятелей, он удивленно уставился на них:

— Почему вы не уехали? Эх, раззявы! Теперь вам придется уходить из города пешком. А может, еще застанете на вокзале наш поезд и успеете выехать... Бегите туда...

— А вы, батя, почему не уезжаете? — спросил Шмая.

— Все будешь знать, рано состаришься, — хитровато взглянул на него старик. — Если не уезжаю, стало быть, так надо... Понял?

— Понял, — упавшим голосом ответил кровельщик. — Значит, бежать на вокзал?

— Немедленно!.. Уйдет последний поезд, тогда поздно будет...

Приятели вышли на улицу. Город казался вымершим. Не ходили трамваи.

Шмая сказал спутнику, что надо идти быстрее, может, поспеют, но тот только пожал плечами:

— Не понимаю, зачем нам ехать... Крыша над головой есть, что будет с городом, то и с нами будет. Куда это ты собрался?

— На вокзале нам скажут...

— Скажут... Кому мы нужны в этой суматохе?

— Ох, не люблю, когда взрослый мужчина задает дурацкие вопросы!.. Шагай веселее!..

— Может, хоть забежим на квартиру? Нужно ведь добро свое захватить с собой.

— Какое у нас там добро? Солдатские мешки? Обоидемся без них...

— Хоть убей, а я так не пойду!.. Между прочим, Шмая, не забывай, что у тебя в мешке лежит карточка той дамочки, фронтовой...

В самом деле, Шмая чуть было не ушел без мешка, в котором хранилась карточка жены Корсунского и ее пожелтевшие письма. Зачем он все время таскает их с собой, ему

самому было непонятно. Что ж, видно, не придется выполнять обещания — найти ее и передать ей последние слова мужа. Как назло, обстановка складывается так, что не до этого теперь.

И все же Шмая поддался соблазну, завернул домой, чтобы взять с собой свои нехитрые пожитки.

В квартире, где царил полный хаос, было прохладно и тихо. Завалиться бы на кровать и уснуть. Но нужно было спешить. Шмая взял с собой старую шинельку, вскинул мешок на плечи и направился к выходу, от души жалея, что приходится оставлять такую уютную обитель.

— Эй, Хацкель! — крикнул он. — А побыстрее шевелиться ты не умеешь? Там, думаешь, будут ждать тебя?

Но вот он увидел запыхавшегося приятеля. Тот еще протискивался в боковую дверь. В руках были два огромных тюка, через плечо переброшено два чемодана...

Шмая с удивлением уставился на него:

— Это еще что такое? Куда это ты собрался? На свадьбу, что ли?

— А зачем же добро оставлять? Захватил с собой кое-что, ковры там, одеяла...

— Совсем с ума спятил! Ну-ка, брось это все к чертовой матери и возьми свой мешок!.. Что скажут люди, когда увидят у нас чужое добро?

— Не твое дело! Я ведь все это на своем горбу тащу...

— Говорю тебе, Хацкель, не выводи меня из терпения! Брось эти тряпки, в дороге они нам будут обузой... Выбрось, говорю, иначе не возьму тебя с собой. Стыдно!.. Что мы, грабители какие-нибудь?..

— Да хватит тебе меня учить, святоша! — сердито крикнул Хацкель. — Только ты готов прожить всю жизнь, имея рваную шинельку и стоптанные сапоги, которые давно каши просят... А я больше не хочу так, понял? Не хочу и не буду!..

Шмая не проронил больше ни слова, резко повернулся и, хлопнув дверью, вышел на лестницу.

Уже завернув за угол, он услышал чей-то крик и оглянулся. За ним бежал Хацкель, звал его, просил остановиться. Вместо тюков в руках у балагулы был один чемодан, на плечах — мешок.

Запыхавшись, он догнал Шмаю и, поравнявшись с ним, молча пошел рядом.

На улицах появилось много людей. Все куда-то спешили, что-то кричали. Трудно было разобрать, что происходит

сейчас в городе. Ясно было лишь то, что с каждой минутой опасность нарастает.

Пробираясь сквозь толпы, запрудившие главную улицу, Шмая встретил нескольких заводских рабочих с котомками. Он спросил, куда они держат путь. Те отвечали ему неохотно, но все же Шмае удалось узнать, что они спешат к Днепру, на пристань, хотят куда-то выехать пароходом. И Шмая вместе с Хацкелем двинулся за ними.

Над Днепром уже сгущались сумерки, когда они добрались до пристани. Всюду толпились крестьяне с мешками, женщины с детьми на руках. Стоял страшный шум и крик. Единственный пароход уже был забит пассажирами. Казалось, что от перегрузки эта махина с огромными колесами и пузатым трюмом вот-вот погрузится под воду, тем не менее люди все еще продолжали рваться к сходням, хоть пробраться на пароход уже не было никакой возможности.

— Видишь, Шмая, сам бог велел нам остаться здесь,— проговорил Хацкель.— Пойдем домой и все...

— Не морочь мне голову! — рассердился кровельщик.— Какой у нас дом, если завтра-послезавтра в этом доме будут деникинцы? А для нас на пароходе еще найдется местечко... Пошли!..

Взяв за руку приятеля, Шмая, обойдя часового, прошел к сходням, которые подпрыгивали на волнах, и, пробравшись вместе с ним на палубу, с облегчением вздохнул:

— Ну вот и едем. В тесноте, да не в обиде...

Он снял фуражку, вытер ею пот с лица и опустился на доски, втиснувшись между спавшими.

Яркие звезды усеяли небо, осветив силуэты многоэтажных домов, погасшие заводские трубы, купола Софии и Андреевской церкви, старинные башни. Луна своим холодным и скудным светом заливала мосты, повисшие над рекой.

— Почему мы так долго торчим здесь? — слышался чей-то недовольный голос.— Почему не отправляют пароход?

— Видно, еще мало пассажиров собралось... Билеты еще не раскупили...

— На мель сядем, вот тебе и будет «мало пассажиров»!..

— В самом деле, сколько нас еще будут тут мариновать? — возмущался невысокий полный мужчина в длинной шинели, с повязкой Красного Креста на рукаве. Шинель на нем сидела мешковато, а фуражка еле держалась на круглой не то бритой, не то лысой голове. Он тяжело дышал.

— Больные мои уже измучились... Не знаю, как быть с ними...

— Если не ошибаюсь, доктор, вы волнуетесь,— отозвался Шмая-разбойник, поднявшись с места и подойдя к незнакомцу в длинной шинели.— А сами, небось, говорите своим больным, что волноваться вредно... Возможно, начальство решило отправить наш пароход, когда уже начнет светать...

— Вот еще мудрец! — оживился доктор, вытирая платком голую голову.— Мосты надо проехать, покуда темно. Вы, видно, понимаете в военных делах столько, сколько и я...

— Вижу, вы в самом деле доктор! Я это сразу понял, когда заметил, как на вас сидят шинель и фуражка... Вы правки ни на грош!

— Ну, я доктор, и что из этого следует? Что вам угодно? Может, плохо себя чувствуете? Нужна моя помощь?

— Упаси бог! — перебил его кровельщик.— Мне ничего от вас не нужно... Я только хотел спросить вас, почему вы решили, что я ничего не понимаю в военных делах? На вас, вижу, шинель с иголки, только что из цейхауза, а я за время войны сносил несколько шинелей и не меньше чем пар двадцать подметок...— Достав из кармана кисет с табаком, он сказал уже мягче: — Может, закурим, товарищ доктор?

— Не курю и вам не советую!..

— Эх, доктор, доктор! Пороху вы, верно, еще не нюхали. Настоящий солдат никогда не посоветует другому бросить курить. Как же можно солдату жить без махорки? Хватит, что его заставляют жить без жены...

В эту минуту Шмая почувствовал, что его кто-то тянет за полу. Оглянулся. Ну, конечно, Хацкель!

— Чего тебе?

— Перестань, Шмая! Замолчи, прошу тебя! Нашел с кем ласы точить!

— Почему так сердится ваш товарищ? — кивнул доктор в сторону Хацкеля.

— А я знаю? Не прислушивайтесь! Ворчит, как злая теща. Манера такая у человека... А скажите, господин, то бишь, товарищ доктор, нет ли у вас случайно рецептика, чтобы мой приятель перестал быть таким грубияном?

— Разумеется, есть! — весело ответил доктор.— Но начнем с профилактики...

— Я еще о таком лекарстве не слыхал... Про-фи-лак-тика? Нет, не знаю.

Доктор рассмеялся, глядя на этого забавного человека, хотел было объяснить, что такое профилактика, но на палубе начался суматоха. Несколько солдат притащили с берега два пулемета и стали их устанавливать на палубе.

— А это еще что за новости? — насторожился доктор.

— С музыкой, стало быть, поедem! — сказал Шмая.

— Вроде что так... — негромко ответил доктор. — Только этого мне не хватало! Я сопровождаю несколько человек раненых и больных, им нужен покой, а не стрельба...

— Ничего, с этими штучками будет спокойнее, — кивнул Шмая на пулеметы.

— Да-а... Спокойно!.. — философски изрек доктор. — Когда уже все это кончится? — воскликнул он раздраженно.

— Вы, ученый человек, не знаете, так что же может вам сказать простой рабочий? Видно, заваривается новая каша. — ответил кровельщик, уныло покачав головой.

И вот уже пенятся под колесами парохода сердитые волны, а ночь доносит сюда отдаленные раскаты орудий.

Доктор расстелил на скамье свою шинель, улегся и тут же заснул. Шмая, задумавшись, еще долго стоял у борта, глядя на озаренные блеском звезд волны, а потом, махнув рукой, мол, все равно ничего путеного не придумаешь, растянулся на палубе рядом с Хацкем.

С высокого берега потянуло прохладным ветерком. Дрожь прошла по телу кровельщика. А может быть, дрожь не от холода, а оттого, что он снова в пути и не знает, к какому берегу приплывет?

Отовсюду слышалось тяжелое дыхание усталых людей. Но Шмая никак не мог уснуть.

Коротка летняя ночь. И вот уже огромный солнечный диск, показавшийся из-за горизонта, позолотил сады, усыпанные черешней и ранней вишней. Все вокруг — река и прибрежные сады, небо и рощи, пестрые хлеба и травы на полях, — все дышало свежестью, радостью жизни, и, если бы не уханье орудий, никто бы не поверил, что где-то поблизости идут бои.

Шмая невольно начал напевать свою любимую солдатскую песенку и даже не заметил, что люди прислушиваются к его пению. Никто не упрекнул его, что он мешает спать. Только Хацкель не выдержал и заворчал:

— Не спишься тебе, дьявол!.. Эх, погибель... — И он со злостью натянул шинель на голову.

Шмая посмотрел на спящего доктора. Его круглое лоснящееся лицо было освещено солнцем. Жирные сизые мухи

грызли его полные щеки, лоб, лысину, роились в светлых усах, но он продолжал крепко спать.

Шмая надел ему на голову фуражку, которую нашел под скамейкой, и стал будить его:

— Вставайте, господин, то бишь, товарищ доктор, уже утро... И муки вас вот-вот съедят...

— Что? Что случилось? — всполошился тот.

— Я, конечно, извиняюсь, — глядя в заспанное лицо доктора, продолжал кровельщик, — но вы мне сказали, что курить вредно... А наш фельдшер Барабаш, царство ему небесное, уверял нас, клялся всеми святыми, что нет ничего вреднее, чем спать на солнцепеке. Какие-то лучи, что ли...

— Плюньте в физиономию вашему Барабашу! — разозленный тем, что его разбудили, не своим голосом крикнул доктор. — Он невежда, ваш фельдшер! Когда куришь, вдыхаешь никотин, а никотин — это яд! А чем больше человек спит, тем здоровее для организма, понятно? Вы сравниваете никотин, гадость, яд со сном? Несусветная чушь!..

— А солнце... — попытался возразить доктору Шмая.

— Что солнце? Утром солнце — благодать! Утренние лучи, понимаете ли, ультрафиолетовые лучи! Что может быть лучше? А вашему фельдшеру скажите, чтоб он глупости не болтал... Уразумели, товарищ?

Постепенно доктор успокаивался. Он достал из своего саквояжа кусок колбасы, огурец, хлеб и приготовился позавтракать, предложив разговорчивому соседу разделить с ним хлеб-соль. Но Шмая, хоть и был голоден, заметив, что припасов у доктора немного, вежливо отказался.

— Спасибо. Я уже перекусил...

— А я не знал, что теперь люди ночью завтракают...

— Это уже кто как, — сказал кровельщик, глядя в сторону и облизывая пересохшие губы.

— Да, жизнь... — глубокомысленно произнес доктор, уписывая за обе щеки колбасу с хлебом. — Если бы моя благоверная, Надежда Сергеевна, увидела, как ее Петр Иванович ест и где он спит, она в обморок упала бы.

— Времена такие... — проронил кровельщик, опершись на перила и глядя вдаль.

— О чем задумались, голубчик? — спросил доктор.

— Думаю... Что же еще остается теперь делать?

— Думаете, шутите, смеетесь... Вот смотрю я на вас, — а я неплохой физиономист, — и никак не пойму, что вы за тип... Судя по вашему настроению, можно подумать, что людям на земле сейчас неплохо живется. А между тем челове-

чество переживает катастрофу, трагедию...— Доктору очень понравилось это слово: — Да, трагедию! А я вижу, это совсем не действует на вас, будто все, что теперь происходит на свете, к вам не имеет никакого касательства. Весь мир в огне, плакать надо, а вы смеетесь. Пир во время чумы!..

Шмая-разбойник улыбнулся:

— Что ж, ничего не поделаешь, таков уж есть. Вот вы, доктор, смотрите на человека совсем другими глазами, чем я. Вы на него смотрите и думаете: какие у этого бедняги болячки и что можно у него вырезать? Когда к вам попадает человек с больным желудком, слабыми нервами, с чахоткой, вы рады, вы при деле... А я не люблю копаться в чужих потрохах... Конечно, на свете сейчас невесело. Но если бы мы дали волю меланхолии, было б уже совсем плохо. Иногда добрым словом можно вылечить человека скорее, чем всеми вашими операциями и лекарствами. Я, как видите, простой человек, кровельщик... Всю жизнь на крышах сижу, вроде как на наблюдательном пункте, и вижу, что творится на свете божьем. Видел, что было, и вижу, что будет...

— Занятно? Что же, по-вашему, будет?

— Как это — что будет? Порядок будет! Вернется Советская власть, и люди станут жить как полагается...

— И все это вы с вашей крыши видите? — усмехнулся доктор, доедая колбасу.

— Это и без крыши видно, — ответил Шмая и, глядя на бегущие за пароходом волны, задумался.

Замолчал и доктор. Но скоро он нарушил молчание:

— А сейчас о чем же вы думаете, если это не секрет?

— Трудно сказать... Вот забудешь иной раз о своих горестях, да еще кишку чем-нибудь обманешь — ломтем хлеба, куском колбасы, — или потолкуешь с умным человеком, да посмотришь вокруг открытыми глазами и ясно видишь, что хороший мастер, не безрукий и не бестолковый, этот мир сколотил. Тут тебе и солнышко греет — благодать! А полюбуешься на реку и на поля, на сады и леса, на пароход, что так вольно плывет по Днепру. Разве это плохо? Так откуда же, скажите на милость, берется столько всяких мерзавцев и злодеев, которые этот прекрасный мир поганят, не дают людям спокойно жить?

— Эге, солдатик, — оживился доктор, — да вы, оказывается, еще и философствовать умеете! А говорили, что простой кровельщик...

— Конечно, кровельщик! А что вы думали, провизор или присяжный поверенный? Всю жизнь крыши чиню, чтобы

людям на голову не капало... Бывший наш царь Николка из меня солдата сделал, но меня тянет не к винтовке, а к крышам...

Пароход мирно плыл по реке, и так же мирно беседовали между собой доктор и кровельщик. Но вдруг со стороны роши на высоком берегу раздались выстрелы.

На палубе поднялась паника, беготня. Кого-то ранило, кто-то зарыдал. В углу палубы застрочил пулемет.

— Бандиты!..

— С кем они воюют, шкуры трусливые!..

Послышались стоны. Кто-то прибежал за доктором. Тот неохотно взял свою сумку и пошел на другой конец палубы.

Вернулся он не сразу, усталый, вспотевший, злой.

— Если у меня было мало раненых, то прибавилось еще несколько...— сказал он сердито.— Вот вам и профессия врача! Никогда нет у него покоя. Вы отсидели свои часы на крыше и — вольная птица, а я? — Он достал небольшой пузырек с какой-то жидкостью и стал тщательно мыть руки.

Хацкель, хоть и лежал поодаль, сразу учуял запах спиртного и весь просиял. Он быстро поднялся с места и, подойдя к доктору, сказал:

— Или мне показалось, или так оно и есть, но в бутылочке у вас спиртик? Такой дорогой продукт портите!.. Лучше бы нам с приятелем отдали! И я и Шмая-разбойник с таким бы удовольствием выпили за ваше здоровье!..

— Как вы сказали? Разбойник? Что за разбойник?

Хацкель улыбаясь кивнул на приятеля:

— Да вот он, разбойник! Мы с ним уж и запах этот забили. А приятно бы вспомнить... Только вы не подумайте, что он — настоящий разбойник. Так его в нашем местечке прозвали. Он меня таскает с собой по белу свету, а я сам не знаю зачем волокусь за ним...

— Просто вы, вероятно, любите быть рядом с веселым человеком...

Заметив, что на доктора не подействовали его слова и что тот прячет пузырек в сумку, балагула разочарованно махнул рукой:

— У вас, вижу, не разживешься...

Пароход плыл вниз по течению. Шмая понимал, что им следовало бы двигаться побыстрее. Надоело так медленно тащиться, с голоду помрешь. На одном из причалов, недалеко от густого леса, с парохода сошел какой-то вооруженный отряд. Люди ушли, не сказав ни слова. Вместе с ними ушел

и доктор, где-то выгрузив своих раненых. Все больше людей покидало пароход, и Шмае становилось здесь все скучнее.

Однажды в полночь, когда огромная посудина остановилась у безлюдного причала, Шмая-разбойник разбудил Хацкеля:

— Вставай, пошли! Не лезть же нам в зубы к белякам,— решительно сказал он.

Пустынная степь встретила их холодным ветром. Издали доносился приглушенный лай собак. Хацкель взглянул на приятеля и укоризненно покачал головой:

— Ну, а теперь куда ты меня тащишь? Чувствую, что пропаду я с тобой.

— Дурак! Не будь бабой! Может, здесь где-то поезда ходят. Попробуем пробраться в Таврическую губернию. Там, говорят, спокойно.

Глаза кровельщика заблестели.

Он еще на пароходе разузнал, как пробраться к Ингульцу. Где-то там находилась колония, в которой живет семья его фронтового друга Корсунского.

— Ты только не хнычь,— сказал Шмая.— Мы проберемся с тобой в благодатный, тихий край, где есть вдоволь хлеба и к хлебу, и проживем мы с тобой наконец по-человечески.

— Ладно уж, веди! Что с тобой поделаешь,— уныло промямлил Хацкель.— Посмотрим, в какой рай ты меня приведишь...

Они направились к отдаленному селу. Попросились к кому-то переночевать, а утром чуть свет уже чинили хозяйину крышу.

Спустя несколько дней они снова пустились в путь. На попутных подводах, а большей частью пешком пробирались все дальше и дальше. Но конца этой дороге все не было видно.

А тут еще выяснилось, что в округе гуляют банды Нестора Махно. И нашим путникам приходилось держаться подальше от большака и пробираться безлюдными проселками.

Не раз за эту трудную дорогу Хацкель упрекал Шмаю, что из-за какой-то бабы он готов обойти весь свет, ворчал, что пора, мол, кончать эти скитания. Шмая не обращал на его ворчанье внимания, все чаще думая о завещании своего фронтового друга.

Собственно говоря, он уже знал, что до заветной колонии осталось каких-нибудь десятков километров.

В одном селе они задержались на целую неделю. У богатого немца-колониста Шмая обнаружил разбитую крышу,

засучил рукава и взялся за дело. Здесь он разжился табаком, хлебом, салом. Если до этого дня Хацкель уже думал, что на разбойника надеяться нечего, что его рассказами и баснями сыт не будешь, то теперь он убедился в том, что в этом краю кровельщик на вес золота и стоит разбойнику только захотеть, как они заживут, не зная нужды. И балагула повеселел и перестал ворчать.

Попрошавшись со щедрым хозяином, приятели снова пустились в дорогу и скоро вышли к Ингульцу, змеившемуся по степной низине. Неширокая речка с чистой, прозрачной водой плескалась меж камышей и небольших скал, поросших мягким мхом.

Шмая взбежал на отлогий берег и остановился, залюбовавшись речкой. Недолго думая, сбросил с себя сапоги, пропитавшуюся потом одежду, вошел в воду и, крикнув от удовольствия, поплыл.

— Ну, чего ты там сидишь? Лезь скорее в воду, грехи свои отмоешь! — весело крикнул он Хацкелю.

— Нет у меня никаких грехов! — огрызнулся балагула, растянувшийся на травке.

— Давай, Хацкель, лезь в воду! Смоешь с себя грязь, может, и характер у тебя изменится, не будешь таким зловредным, — смеялся кровельщик, радуясь, как ребенок, приятной прохладе. — Водичка райская, ей-богу. За такую водичку полжизни можно отдать!

Ему удалось убедить балагулу, и Хацкель, сбросив с себя одежду, тяжелой, ленивой походкой направился к воде.

Переждав, пока спадет зной, отдохнув и подкрепившись, приятели двинулись дальше. Незасеянная степь, заросшая иван-чаем и полынью, выглядела мрачно и уныло, и Шмая понимал, что все это из-за того, что Корсунский и тысячи таких, как он, вот уже несколько лет не приходили в эту степь и не обрабатывали ее...

Погруженный в свои грустные думы, Шмая шагал, не замечая, что солнце начало медленно опускаться к горизонту, бросая на степь причудливые блики.

Солнце уже почти совсем спряталось, когда путники увидели вдали село с несколькими рядами каменных и глиняных домиков, уходящих террасами вверх от Ингульца. На выжженной зноем каменистой земле виднелись сады, а по южным склонам глубокой балки взбегали виноградники. Шмая подумал, сколько труда нужно было вложить в эту

неприветливую землю, чтобы на ней выросли сады и виноградники...

Прятели уже подходили к селу. Все отчетливее вырисовывались аккуратные обработанные сады, огороды, небольшие глиняные домики, низкие каменные ограды. И цветы в палисадниках. А домишки, как сразу заметил Шмая, давно не белены, крыши сколочены кое-как. Похоже, что обитателям этих домиков не до них было. Далеко от железной дороги, далеко от людского глаза затерялось это село, а вернее — одна из тех колоний на Ингульце, о которых так много рассказывал Иосиф Корсунский...

Из степи, с пастбища, двое кудрявых пастушков, загоревших до черноты, с сумками через плечо и с длинными бичами в руках гнали в село стадо коров.

Увидев усталых, вспотевших путников, они остановились у обочины дороги, о чем-то пошептались и двинулись за ними, держась на почтительном расстоянии от незнакомых людей. Они с опаской смотрели на них, как бы боясь их и готовясь вот-вот пуститься наутек. Однако через некоторое время старший из мальчишек несмело крикнул:

— Эй, дяденьки, закурить дадите?

— Ах, чертенята! — с напускной суровостью погрозил им кулаком Шмая. — Такие малыши, а уже курить научились! А читать-писать вы умеете? Вот сейчас сниму ремень и всыплю вам как следует, тогда будете знать, как курить...

Мальчишки прыснули и бросились в сторону.

— Видишь, и тут тебя узнали! — сказал Хацкель, — Сразу увидели, что разбойник идет...

— Эй вы, пацаны! — крикнул Шмая. — Идите-ка сюда. Да не бойтесь! Такие казаки, а хороших людей испугались...

— Мы вовсе не испугались, — важно сказал старший из ребят.

Шмая остановился, стал оглядываться, что-то припоминать. Тем временем пастушки осмелели, подошли ближе. Младший достал из своей сумки два еще зеленых яблока и протянул их путникам. А когда они пошли рядом по пыльной дороге, мальчишки почувствовали себя увереннее.

— Откуда у вас столько коров? — с завистью спросил Хацкель. — Имел бы я хоть половину, жил бы, как бог...

— Что вы! У нас, дяденька, даже телки своей нету! — воскликнул старший мальчуган. — Это мы чужой скот пасем... Есть тут у нас богатый колонист Авром-Эзра...

— Папка писал нам с войны, что когда вернется домой, он купит корову или телку... — вставил меньший пастушок,

все время щелкавший бичом.— Да что-то он все не едет... И не пишет нам писем... Когда мы вас увидели, то сперва подумали, что это папка идет домой. У некоторых ребят отцы уже пришли, а нашего все нет...

— Да, много пап не вернулось...— тяжело вздохнув, сказал кровельщик. Он с искренним участием смотрел на пастушков. Ведь он сам был в огне и видел, как там гибнут папы...

Надвинув фуражку на глаза, Шмая ускорил шаг и пошел, не оглядываясь на ребят. Он вспомнил своих детей, которых до сих пор не нашел, и щемящая боль пронзила его сердце.

Однако, пройдя несколько шагов, Шмая все же остановился и, пропустив вперед Хацкеля, спросил:

— А как это село называется, сынки?

— Это не село, дяденька, а колония...

— Колония? — переспросил кровельщик.— Где-то в этих краях жил мой дружок. На войне вместе служили... Может, слышали про такого — Корсунский, Иосиф Корсунский?..

Ребята испуганно переглянулись.

— Так это же наш папа, дяденька! — воскликнул старший пастушок, и черные глаза его заискрились.— Вы знаете нашего папку? А почему же он не пришел с вами?..

Шмая-разбойник опешил, опустил голову.

— Я побегу скажу мамке! — крикнул меньший паренек.— Я позову ее!..

— Не надо! — схватил его за рукав Шмая.

Хоть наш разбойник не раз думал о семье своего фронтowego друга, о том, что нужно разыскать ее и помочь ей, сейчас он не представлял себе, как он сможет войти в дом этих ребятишек, сообщить их матери недобрую весть.

«А может быть, лучше пройти мимо и ничего не говорить? — думал он.— Пусть ждут отца, пусть живут надеждой, и им легче будет...»

Шмая шагал вперед, не разбирая дороги, и никак не мог решить, как же поступить.

Хацкель пристально следил за товарищем и видел, как удручен Шмая. Так вот куда он его тащил! Балагуле очень хотелось сказать приятелю пару теплых слов, но жаль было еще больше расстраивать человека... К тому же балагула неожиданно проникся жалостью к этим милым черномазым пастушкам. Они засматривают им в глаза и все время говорят о войне, спрашивают, можно ли им туда поехать. Им казалось, что если б они попали на фронт, они быстро бы разыскали своего отца и привели его домой. Без отца очень

трудно им живется. Все обижают их мать, а они еще маленькие, не могут за нее заступиться.

Шмая уже решил было пройти мимо этой колонии, но навстречу им уже спешили женщины. Увидев пастушков, бегущих за двумя незнакомыми мужчинами, они остановились, пристально всматриваясь в чужаков.

Если б не этот в военной фуражке и гимнастерке с солдатским мешком за плечами, пастушкам, верно, попало бы за то, что так поздно пригнали стадо. Но сейчас женщины окружили путников и стали допытываться, кто они и откуда, зачем пришли сюда и что слышно на белом свете, скоро ли вернутся их кормильцы домой и скоро ли кончатся их муки...

Шмая был совершенно пришиблен и отвечал им уклончиво, невпопад. Он не знал, что ему делать, как переступить порог дома этих двух мальчуганов, которые не отстают от него и умоляют зайти к ним, как обрушить на их головы страшную весть.

Но выхода не было, и, воспользовавшись тем, что словоохотливые женщины окружили Хацкеля, Шмая направился вслед за пастушками к небольшому домику, окруженному густым садом. Ребятишки опередили его, и скоро навстречу из калитки выбежала ни жива ни мертва молодая смуглая женщина с большими, полными тревоги глазами. Она испуганно смотрела на незнакомого солдата:

— Вы, вы знаете моего Иосифа? Вы...

— Да, родная моя, знал его... Вместе воевали... Вместе и...

Она побелела и, посмотрев на человека, который, понурив голову, отвел от нее глаза, все поняла. Не сдержавшись, она заплакала горько, навзрыд, как могут плакать только исстрадавшиеся солдатики, которые, получив страшное известие, чувствуют, что жизнь уже ничего хорошего им не сулит.

Шмая опустил на лавочку у калитки и тихо произнес:

— Успокойтесь, не плачьте... Не надо убиваться!.. Мертвого не воскресишь, а у вас дети, вы должны заботиться о них. Что поделаешь, если война столько жизней унесла... Я понимаю ваше горе. Золотой человек он был, Иосиф Корсунский...

И стал рыться в своем мешке, чтобы отдать ей медальон мужа и истлевшие, уже никому не нужные ее письма.

Часть вторая



СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

Глава пятнадцатая

ДВЕ СВАДЬБЫ И ОДИН РАЗВОД

На пологой мшистой скале, омываемой Ингульцом, засучив штаны выше колен и расстегнув ворот рубахи, сидит Шмая-разбойник и удит рыбу.

Он то и дело забрасывает удочку и внимательно следит за поплавком, за тем, как жирный серебристый карась то подкрадывается к наживке, то отплывает от нее, будто дразнит рыбака.

Вокруг такая тишина, что, кажется, слышен шелест крыльев ласточек, стремительно проносящихся над водой.

Шмая любил перед закатом солнца приходить сюда, на берег, к скале. Здесь и мысли становятся яснее и тело отдыхает после трудового дня.

Почти год прошел с тех пор, как осел наш разбойник в этом благодатном краю. Он окреп, возмужал, и бронзовый степной загар, покрывший его лицо и шею, придавал ему здоровый вид. Казалось, что он даже помолодел за это время.

Шмая так привык к новому месту и к здешним людям, будто прожил здесь целую вечность.

Он часто вспоминает первые дни своей жизни в колонии. Долго пришлось ему тогда успокаивать вдову Корсунского, уговаривать ее, убеждать, что слезами горю не поможешь, что ее святой долг — вырастить сыновей достойными памяти отца людьми.

Он помог ей привести в порядок дом и сарай, которые без хозяина совсем покосились, выкопал картофель, привез из лесу дров на зиму, кое-как на свои гроши приделал разутых и раздетых детей.

Уж как над ним тогда смеялся Хацкель! «Нашли себе дурака,— говорил он,— вот и ездят на нем верхом... Сам ходишь оборванный, кормишься бог знает чем и все им отдаешь!»

Но Шмая и слушать его не хотел. Он от души радовался, если мог чем-нибудь помочь людям в беде.

День и ночь Шмая тяжело работал в богатом хозяйстве Авром-Эзры и перебивался с хлеба на квас, но последним куском делился с семьей погибшего друга. Чем только мог, помогал колонисткам-солдаткам, чинил их ветхие хатенки, до хрипоты ругался с хозяином, когда тот какую-нибудь из них обижал.

С особой нежностью относился он к вдове Корсунского. А в последнее время испытывал в ее присутствии сильное волнение. Его влекло к этой милой, доброй женщине. Хотелось крепко обнять ее, прижать к своей груди, расцеловать... Но разве мог он себе позволить даже думать об этом? Рана ее еще не зажила, образ мужа, вероятно, все еще стоит перед ее глазами. Да она, Рейзл, возмутилась бы до глубины души, если б он заикнулся о чем-нибудь таком...

Не раз он возвращался от нее домой взвинченный до предела. Но он, как умел, крепился, старался уговорить себя, что совсем ее не любит, а просто уважает как человека, жалеет как вдову своего фронтового друга. Иной раз ему хотелось даже бросить свое новое гнездо и уехать куда глаза глядят. Все труднее становилось скрывать от нее свои чувства.

А тут еще Хацкель, эта подлая душа, не дает ей покоя, все время пристает, чтобы она выходила за него замуж! Он знает, рыжий черт — ведь Рейзл этого вовсе не скрывает, — что она его терпеть не может. Она уж и выгоняла его из дому, а он продолжает обивать ее пороги.

Однажды, когда Шмая допоздна засиделся в милом его сердцу доме — ребята в соседней комнатухе крепко спали, печь жарко топилась, и раскрасневшаяся Рейзл была необычайно мила, — она посмотрела на него своими влажными черными глазами и вдруг прильнула к нему всем своим сильным телом, обвила руками его шею и нежно поцеловала. Это было такой неожиданностью, что он сперва даже растерялся, хоть все же не смог устоять от соблазна и крепко прижал ее к себе. Но увидев в ее глазах слезы, готов был сквозь землю провалиться.

Оба они почувствовали чрезвычайную неловкость и просто не могли больше оставаться в комнате. Не сговариваясь, они поднялись, вышли в садик, сели на скамейку и еще долго не могли смотреть друг другу в глаза, не знали, о чем говорить...

Вся колония уже крепко спала. Ни в одном окошке не видно было огонька. Все замерло. Только два трепещущих сердца колотились так, будто хотели выскочить из груди.

И наш разбойник, пожалуй впервые в жизни потеряв дар речи, молчал...

С той ночи все и пошло. Шмае стало ясно, что он любит эту женщину и должен сказать ей все, должен во что бы то ни стало! Однако здесь он растерялся, не зная, какими словами выразить свои чувства.

После этой встречи с Шмаей Рейзл строго-настрого предупредила балагулу, чтоб тот не смел показываться ей на глаза. Это окончательно взбесило Хацкеля. В нем вспыхнула неодолимая ревность, зависть... Он не мог простить приятелю, что Рейзл любит не его, а Шмаю, что Шмая покорила ее сердце. И он решил отомстить, жестоко отомстить за свой позор.

Теперь, как только Шмая-разбойник позже, чем обычно, возвращался в домик, который они вместе кое-как сколотили, балагула начинал донимать его:

— Ну, разбойник, как там твоя милашка? Верно, угощала тебя вкусными пирогами? И что ж, не могла тебя оставить у себя ночевать? В такую стужу ты приплелся домой?... А она ведь горячая баба, согрела бы лучше печки... Эх ты, хлопаешь ушами... Будь я на твоём месте, я б уж не зевал!.. Уступил бы ты её мне, а, Шмая? Ну, уступи!..

Шмая с трудом сдерживался и быстро укладывался спать, накрываясь с головой шинелью. А Хацкель не переставая продолжал говорить о Рейзл черт знает что.

Видя, что и это не может вывести разбойника из себя, Хацкель стал обвинять приятеля, что тот стал на его пути, губит его жизнь.

Стоило Шмае-разбойнику зайти во двор к Рейзл, принести ведро воды, наколоть дров, как Хацкель начинал кипеть.

Балагула уже не скрывал своей вражды к человеку, который столько добра ему сделал. А ещё больше возненавидел он ту, за которой ещё недавно ходил, как тень, и к которой и сейчас бы бросился со всех ног, если б она хоть пальцем поманила его.

Так и жили прежние приятели под одной крышей, жили, как чужие...

Хацкель, будто всем назло, зачастил к Авром-Эзре, с которым почему-то подружился в последнее время. И не только к старому скупому дельцу заходил балагула, но и к его засидевшейся в девках дочери, рябой рыжей Блуме, которую старик никак не мог выдать замуж, хоть и давал за

ней большое приданое... Вскоре он начал разъезжать с Авром-Эрой по ярмаркам, закупать там лошадей и коров, а затем стал компаньоном этого злодея в ермолке, безбожно обиравшего колонистов-бедняков.

В тот день Шмая, как и сегодня, сидел на мшистой скале над Ингульцом. Ведерко было уже полно рыбы. Он собирался уже домой, как вдруг услышал, что кто-то сюда бежит. Присмотрелся и увидел Рейзл. В глазах ее был невыразимый испуг. Она не могла и слова произнести.

— Что случилось, дорогая?

— Ой, беда! Бегите скорее домой... Пришел Хацкель с целой бандой... Все пьяны, как свиньи, еле на ногах держатся. Разваливают ваш дом, даже камни вывозят...

Шмая неторопливо поднялся с места, собрал удочки.

— Не может быть,— стал он ее успокаивать,— не может быть, Рейзл. Тебе показалось. Зачем ему это? Меня он от зависти задушил бы, это я знаю. Но причем тут наш дом? Чем стены провинились перед ним, перед балагулой?..

— Ой, ничего не знаю... Ничего не понимаю,— задыхаясь, повторяла она.— Говорю же, пришел Хацкель с оравой босяков... Ломают, крошат, страшно смотреть. Бегите скорее!

Шмая набил трубку табаком, медленно закурил, несколько раз затянулся терпким дымом и, не проронив ни слова, направился в гору, к своему дому, уже окруженному толпой.

Увидев издали Шмаю-разбойника, люди расступились, давая ему дорогу. Хацкель и его дружки, делая вид, что не замечают его, продолжали разбирать стены. Правда, делали это медленнее, не с таким жаром, как прежде.

Шмая остановился поодаль от развалин, безучастным взглядом посмотрел на разбросанные камни, балки, доски и, словно ничего не произошло, продолжал курить.

— Скажите этому разбойнику, что я от него отделяюсь!..— закричал балагула.— Пусть не жалуется... Я поступаю с ним по справедливости, по-братски,— ехидно улыбнулся он.— Забираю только свою половину дома, его половину оставляю... Развожусь с разбойником! Больше мне с ним не по пути. Больше, скажите ему, я его знать не желаю... Полный развод!..

Со всех сторон сбежались сюда люди. Одни возмущались дикой выходкой Хацкеля, громко ругали его, другие только посмеивались.

Сперва, не помня себя от гнева, Шмая чуть было не бросился на балагулу, чтобы выместить на нем все обуревавшие его чувства — обиду, горечь, злобу, стыд,— но сумел, хоть и с трудом, сдержаться и, овладев собой, негромко сказал:

— А я-то было испугался. Думал, он весь дом сокрушить хочет. А он только половину ломает. Что ж, это ничего, это по-божески...

Спокойствие разбойника уже совсем вывело Хацкеля из себя. Он с ожесточением стал расшвыривать во все стороны доски, бревна, камни, разваливать ломом стены, бить стекла в окнах.

Шмая следил за каждым его движением, улыбаясь прищуренными умными глазами, и тем же спокойным тоном бросил:

— Скажите, пожалуйста, этому умнику, чтоб он подождал, пока я затоплю печь. Тогда он заодно сможет забрать себе половину дыма... И еще напомните ему, чтобы он впопыхах не забыл захватить с собой половину нужника...

Окружающие громко засмеялись. Женщины стали осыпать Хацкеля проклятиями, грозились развалить ему голову. Послышались сердитые возгласы:

— И как только такого земля носит?!

— Наследник Авром-Ээры! Два сапога — пара!

— Бог сидит на небе, а парует на земле...

— Наглость какая! Собака бешеная!..

— Дом развалить! Оставить человека без крова... Такого у нас еще не бывало!

— Махно такого не творил здесь, а этот!..

— Люди, чего мы молчим? Камнями надо забросать его, подлеца!

— Чтоб его холера забрала!..

— Жених красавицы Блюмы хочет показать ей, какой он герой!

— Бейте этого негодяя!

В Хацкеля и его дружков полетели камни, куски глины. Побросав ломы и лопаты, они бросились врассыпную под улюлюканье толпы.

Стал накрапывать дождь. Люди подходили к удрученному кровельщику. Как умели, успокаивали, предлагали ему угол у себя, просили не принимать близко к сердцу человеческую подлость.

Но Шмая молчал. Больше всего ему сейчас нужен был покой. Ему не жаль было домика, хоть он и вложил в него

много труда, много сил. Хозяйством своим он никогда не дорожил. Ему было больно, стыдно перед колонистами, перед людьми, которые знали, что он, Шмая, привел сюда этого человека.

Дождь усиливался. Все меньше людей оставалось возле разваленного дома. Шмая еле дождался, пока все разошлось. Теперь ему, кажется, стало немного легче. Он был один, никто его не успокаивал, никто не жалел, не высказывал сочувствия. А он ведь этого так не любил!..

Он вошел в уцелевшую половину дома, переступая через груды, камни, бревна. Сквозь разбитое окно дул пронизывающий ветер, хлестал дождь. Шмая кое-как завесил окно одеялом, зажег коптилку, поставил корыто, миску, горшки там, где текло. Очистил от глины самодельную кушетку, закурил трубку и лег, глядя сквозь голые стропила на облачное небо.

Было уже за полночь, когда Шмая проснулся. Со стороны усадьбы Авром-Эзры доносились пьяные выкрики, грохотанье барабана, громовой рев медных труб. Музыканты, привезенные на свадьбу из Херсона, просто разрывались, угождая пьяным гостям. По всей колонии разносились простуженные и визгливые возгласы:

— Эх, гуляем!

— Давайте фрейлах. Ударьте, клезморим, шер!¹

— Виват!

— Веселее, партачи! Я плачу чистоганом!

— Горько! Лехаим!

— Танец для молодоженов!

— Играйте, черти! Рыжий Хацкель женится на дочери Авром-Эзры!

— Шире круг!..

Шмае было противно. Он накрылся шинелью, но это не помогало. Как он ни старался заснуть, это ему не удавалось.

Он лежал, погруженный в свои тревожные мысли, и вдруг услышал торопливые шаги. Кто-то спешил сюда. Шмая приподнялся, сел на топчане.

На пороге показалась женщина, закутанная в большую шаль. Промокшая под дождем, дрожащая не то от холо-

¹ Фрейлахс, шер — национальные танцы; клезморим — музыканты (евр.).

да, не то от волнения, она не могла и слова вымолвить.

— Рейзл?.. В такой холод?! — просияли его глаза, только что затуманенные печалью. — Это ты, Рейзл?..

Он больше ничего не мог сказать. Ему казалось, что само счастье вошло сейчас в его дом.

Шмая не знал, где посадить дорогую гостью, что ей сказать. Он понял, что отныне единственный его друг на свете — она, эта милая женщина с глубокими, полными слез глазами, сидевшая на стуле у разбитого окна.

— Здесь холодно... — после долгой паузы сказал Шмая. — Попробую растопить печь, хоть и не знаю, будет ли гореть...

— Зачем? Не надо... — остановила его Рейзл, поднявшись с места. — Я... я сейчас уйду. Я забежала на одну минутку... Хотела посмотреть, как вы здесь, в этих развалинах... Сейчас ухожу...

— Не уходи, не надо уходить... — прошептал Шмая, словно боясь, что их кто-нибудь может подслушать.

Он опустился на топчан и, взяв ее крепко за руку, усадил рядом с собой.

— Что вы! Не надо... Я уйду... Не надо... Вы только ничего плохого обо мне не подумайте!.. Так поздно пришла... Но я иначе не могла... Не осуждайте меня... Пусть бог простит мне мой грех, но я... я давно вас люблю, люблю, как жизнь, как своих детей... С первого дня, как только вы переступили мой порог, я... Не осуждайте меня!.. Может быть, это нехорошо, но я должна была это вам сказать...

Шмая молчал. Сердце его сильно билось, лицо освещала счастливая улыбка.

— Я мерзкая, подлая... Но я люблю вас... Не могу без вас жить...

Он смотрел сияющими глазами на эту дорогую ему женщину и видел в ней свою судьбу. Он слушал ее взволнованную речь, которая сладкой болью отдавалась в его душе.

— Я пришла к вам... Не могла дожидаться рассвета... Совесть меня мучила бы всю жизнь! Вы столько добра принесли мне и моим детям, моему дому... Нет, вы не понимаете, что творилось у меня в душе! Сажу дома, смотрю, как льет дождь, и думаю, что вы — в развалинах, под дождем, один, без друзей... Я накинула на себя шаль, пошла... И вот пришла сюда... Я не шла, бежала. На улице так темно, так страшно. У Авром-Эзры свадьбу справляют... Черная это свадьба! Мне хотелось побежать туда, разбить им все окна,

чтоб их дождь мочил так же, как вас... Я долго стояла возле вашего дома, Шая, не решалась войти... Мне кажется, что вся колония видела, как я бежала к вам... Завтра все будут надо мной смеяться, чесать языки, называть меня плохими словами... Но мне не страшно... Пусть все знают, что я посреди ночи прибежала к вам! Пусть смеются надо мной! Пусть...

— Не думай об этом, Рейзл,— прижимая к своей груди взволнованную женщину, негромко произнес Шмая.— Никто не будет смеяться над тобой. А если кто посмеет, убью, не дам тебя в обиду...

Дождь все усиливался. Корыто на полу было уже переполнено, но ни Шмая, ни Рейзл этого уже не замечали...

Где-то на горизонте утренняя заря окрасила тучи, когда Рейзл вскочила с топчана и стала поправлять растрепавшиеся волосы. Избегая взгляда Шмай, набросила на плечи шаль, посмотрела в окно — нет ли кого-нибудь на улице — и направилась к двери. Щеки ее пылали, глаза блестели, вся она светилась внутренним светом.

Глядя на ее стройный гибкий стан, лебединую шею, гордую красивую голову, Шмая приподнялся на топчане:

— Куда ты? Почему ты уходишь, родная?

Он вскочил с места, подбежал к ней и обнял, осыпая поцелуями губы, щеки, глаза:

— Куда ты от меня уходишь?

— Что вы! — испуганно посмотрела она на него, вырываясь из его сильных рук.— Ведь люди уже скоро встанут... Увидят, откуда я иду...

— Ну и что, если увидят? — еще крепче обнял он ее.— Украли мы у них что-нибудь?

— Ведь они обо мне бог знает что говорить станут...

— Ничего плохого никто о тебе не скажет, Рейзл... Ты теперь моя жена. Так и говори всем: «Я — жена Шмай-разбойника!»

Лицо ее просияло, в глазах засверкали слезы — невольные слезы солдатки, которая уже потеряла все надежды найти когда-нибудь свое счастье и неожиданно нашла его.

Многое хотелось ей сказать любимому человеку, но все слова казались бледными по сравнению с охватившим ее счастьем.

Она вырвалась из его рук и уже на пороге обернулась:

— Поздно, пойду будить ребят... Пора им уже выгонять

стадо... И приготовлю тебе поесть. Ты придешь ко мне попозже, позавтракаем вместе. Слышишь, родной, я жду...

Теперь Рейзал не торопилась покинуть дом Шмаи. Она вышла из него не украдкой, как пришла сюда ночью. Наоборот, в ней заговорила женская гордость, и ей очень хотелось, чтобы кто-нибудь попался навстречу и увидел, откуда она идет и как она счастлива. Но на улице было безлюдно, и только из большого дома Авром-Ээры все еще доносились пьяные голоса и визг скрипки...

А Шмая стоял на пороге и провожал восторженным взглядом женщину, которая принесла ему сегодня ночью такой драгоценный подарок — свою любовь, свою нежность, свою жизнь...

— Эх, бабоньки,— подумал он вслух,— кто же вас выдумал таких? Трудновато с вами, а без вас совсем худо...

И, посмотрев на освещенные окна Авром-Ээры, прислушиваясь к воплям скрипки, тихо проговорил:

— Вот и получились сегодня две свадьбы и один развод...

Шмая быстро умылся и, достав из солдатского мешка бритву, начал наводить на себя красоту. Потом вытащил свою единственную целую сорочку, пиджак и новую фуражку.

Нужно было привести себя в надлежащий вид, одеться по-праздничному и отправляться в свой новый дом.

Глава шестнадцатая

ШЛИ КОЛОНИСТЫ К ПЕРЕКОПУ

Хоть мир и лад царили в новой семье кровельщика, но тревога не покидала его.

Банда батьки Махно орудовала в этих краях, время от времени вихрем налетая на колонии и соседние села, и опустошала все на своем пути.

Неподалеку отсюда, за Каховкой, шли кровавые бои с белыми полчищами барона Врангеля.

Колонисты напряженно ждали вестей с фронта. Ведь там решалась и их судьба...

Шмая по-прежнему чинил людям крыши, строил дома, плотничал, а к тому же помогал жене по хозяйству, работал в огороде и на винограднике.

Он чувствовал себя окрепшим, бодрым. Раны уже зажили, можно было снова браться за оружие. Правда, жаль было оставлять жену, тем более, что она готовилась подарить ему ребенка. Но что поделаешь! У многих есть жены, которые готовятся стать матерями, а защищать родину, когда опасность стоит возле твоего дома, это для солдата первейший закон!

В одно осеннее утро, когда уже скосили хлеба и собрали виноград, издалека послышалась солдатская песня с привистом. Колонисты испугались, решив, что к ним идут махновцы. Шмая подошел к калитке, всматриваясь в ту сторону, откуда приближались песня и шум, и подумал, что это вовсе не махновцы.

И разбойник оказался прав.

В колонию въехал необычный обоз. На возах, двуколках и арбах — мешки с хлебом, мясо, фрукты, сено. Опережая его, неслись на резвых конях лихие парни из соседней колонии.

На небольшой площади возле сельсовета обоз остановился.

— Эй, колонисты! Собирайся на сход!

— На сход! На сход!..

Всадники мчались по улицам, приглашая людей на сход и пугая собак.

Народ повалил на площадь со всех сторон. Стар и млад, все сбегались взглянуть на ранних гостей, узнать, что случилось и куда эти люди держат путь.

Не успели еще старшие прийти на место схода, как малыши оседлали все ближайшие заборы и деревья, нетерпеливо ожидая, что здесь будет.

Прислонившись к одному из возов, стоял чернобровый крепкий человек лет двадцати пяти. Он был в казачьей кубанке. На плечах — голубоватый кавалерийский френч, в руках нагайка, а у пояса — допотопный пистолет.

Шмая сразу узнал Овруцкого, председателя сельсовета соседней колонии, подошел к нему и дружески протянул руку:

— Кого я вижу? Сам Овруцкий в гости к нам пожаловал! Здорово, начальник! Куда ты со своими молодцами собрался? Скажи, если не секрет...

Тот задорно улыбнулся и ответил:

— От тебя, Шмая-разбойник, у нас пока что секретов нет. погоди минуту, соберется народ, и мы все расскажем, все!..

— Что ж, послушаем! — промолвил кровельщик, внимательно разглядывая прибывших.

Овруцкий достал из-за голенища книжечку в клеенчатом переплете, фиолетовый карандаш и стал что-то записывать, то и дело слюнявя языком кончик карандаша, видимо, не зная, что язык у него стал уже совсем синим.

— Эй, дяденька Овруцкий, дяденька председатель! — дружно загалдели ребятишки на деревьях и заборах. — Язык, язык себе испортите!..

Овруцкий рассмеялся, достал платок, вытер им язык и притворно строго крикнул:

— Чего раскричались, как галчата! Ну-ка, быстро все по домам!

— А вы нам скажите, куда едете! Тогда сразу уйдем!..

— Ишь, какие хитрые, чего захотели! Расскажи им... Ну, к Перекопу едем...

— А зачем к Перекопу?

— За песнями... Поняли? За песнями! А теперь гайда домой!

Некоторые из менее смелых соскользнули с деревьев, отошли в сторону; те, что посмелее, остались на своих местах, а кое-кто из них даже подкрался к Овруцкому и стал ощупывать нагайку, пистолет, просить, чтоб дал им выстрелить из него хоть разок.

— Марш отсюда! Нашли себе игрушку! Это такая игрушка, что может вас сразу курносыми сделать! — с напускной суровостью сказал тот и неожиданно улыбнулся. — Я вам лучше на скрипочке сыграю...

— Сыграйте!..

Он вырвал из конской гривы волосок, взял один конец в зубы, второй — в руку и подергал пальцем натянутую струну. Ребята весело рассмеялись. Им эта музыка очень понравилась, а еще больше — то, что такой взрослый человек с ними запросто разговаривает, смеется, шутит.

— Дядя Овруцкий, поиграйте еще немножко на вашей скрипочке...

— Э нет, ребятки, больше нельзя. А то вырву у лошади всю ее чуприну, какой же я буду иметь вид на плешиной кобыле?..

А люди тем временем собирались на площади. Народу пришло много, пора было начинать сход. Но Овруцкий, окинув внимательным взглядом собравшихся, спросил:

— А где же ваш пуриц, то бишь пан? Этот, как его, Авром-Эзра?..

Долговязый Азриель, старший и единственный милиционер колонии, подъехал к нему и заговорил, словно оправдываясь:

— Я уже два раза ездил к этому черту, товарищ Овруцкий. И по-хорошему и по-плохому объяснял — не идет, собака!

Овруцкий даже переменялся в лице:

— Так что же, он ждет, чтобы его сюда с музыкой привели?

Азриель, неуклюже сидевший на низенькой лошадке, так что ноги его чуть не касались земли, понурил голову:

— Холера его батьку знает, что он себе думает, кровопийца... Не идет — и все. Говорит, что еще не завтракал, а не поевши, мол, не пляшут. Не горит, говорит, потерпит твой Овруцкий. Не горит...

— Поезжай скоренько, Азриель, и скажи ему, что именно горит! — вспыхнул председатель. — Скажи, что если он немедленно не явится сюда, на сход, то я сам за ним приеду. Тогда плохо ему будет, этой свинье. И зятька его сюда притащи! Как его там зовут?

— Хацкель...

— Хацкель? Ах, этот рыжий жулик? Ну, одним словом, пусть быстрее пошевеливаются. А не то сами расшевелим их!

— Ну что ж, — уныло промямлил Азриель, — мне не трудно еще раз заскочить к ним. Но я уж им говорил, старику и зятю, а они смеются...

— Как это смеются? Что же ты им такого сказал?

— Ничего будто... Ну, я сказал Авром-Эзре и его зятю, что их вызывает на сход Овруцкий...

— Вот это ты нехорошо сказал: «Овруцкий»! Овруцкий еще недавно у Авром-Эзры коров пас... Овруцкий этому пурицу, что прошлогодний снег...

— А что ж я должен ему теперь сказать?

— Скажи, что не Овруцкий, его бывший пастух, зовет, а Советская власть, народ!..

— Говорил, что власть зовет...

— Ну, а он что?

— А он говорит: «Плевать мне на вашу власть...» Ему наша власть, говорит, не указ...

— А ты ему что на это?

— Что ж я ему скажу? Его не переговоришь. Сыплет, собака, как из дырявого мешка. Слова сказать не дает...

— А ты?

— А я? Показал я ему дулю и пригрозил, что Советская власть за все его поступки по головке не погладит...

— И больше ничего?

— Больше ничего... А он мне сказал, что, если я к нему еще раз приеду и буду его тревожить, он меня оглоблей по черепу огреет...

— Да-а, милиция... Что и говорить, сильна!..— после долгой паузы, покачав головой, проговорил Овруцкий. Потом вынул пистолет и протянул его Азриелю, сказав при этом:

— На, возьми эту игрушку. Пугни его. Если будет артачиться, пощекочи его — сразу подобреет. Только, гляди, не стреляй... Убьешь собаку — мороки не оберешься...

Парень сразу повеселел, взял револьвер и уехал.

Через несколько минут два выстрела, один за другим, нарушили тишину.

— С ума он спятил! Вот черт!..— воскликнул взволнованный Овруцкий.

Все с испугом смотрели туда, где за высоким забором стоял дом богача, и вскоре увидели удивительную картину. Авром-Эзра шагал по направлению к ним в одном белье, накинув на плечи длинный кожух. На стриженной голове его еле держалась черная ермолка. Большие серые чуть навывкате глаза горели злобой, усы дергались, лицо было багровым. Подойдя к толпе, он крикнул:

— Что это делается? Где ж это видано такое свинство? Стреляет, проклятый! Он меня насмерть перепугал, этот Азриель, холера бы его забрала!.. Милиция наша... Провались...

— Зачем же проклинать человека, у которого есть жена и дети? — воскликнула какая-то старуха.

— Господин Цейтлин! — сурово сказал Овруцкий, забирая у милиционера пистолет и засовывая его за ремень.— Разве вы не знаете, что, если власть зовет, надо немедленно, сразу же явиться?!

— Уж я теперь и сам не знаю, кто у нас тут власть! Всякая шушера, босячня. Махно ко мне приезжал, так сидел мирно, обедал, выпил и все... А эти... Короче говоря, начальник, что тебе от меня надо?

— А зятек ваш, Хацкель, где? Испарился? Может быть, за ним отдельно посылать прикажете? Новый пурик в колонии объявился! — сердито сказал Овруцкий.— Порядка не знает!..

— Зять мой прихворнул...— не сразу ответил Авром-

Эзра Цейтлин, и его глаза тревожно забегали.— Говорите, что вам от меня надо... Я ему передам ваши мудрые слова...

Овруцкий даже не взглянул на него и, обернувшись к собравшимся, сказал;

— Ну, в общем, граждане и товарищи, начнем митинг. То есть сход...

Он взобрался на воз, снял кубанку, обвел взволнованным взглядом толпу и заговорил:

— Так вот что, граждане и гражданки, товарищи колонисты. О чем тут долго толковать? Мировая революция не стоит на месте... Власть наша Советская все крепче становится на ноги, и мировому капиталу и контре скоро придет конец... Сколько мы уже этой проклятой контры разгромили и отправили ко всем чертям! А она, эта сволочь, как пиявка, на теле рабочего и крестьянина сидит и хочет сосать рабочую и крестьянскую кровь... Недалеко отсюда, под Каховкой, засел черный барон Врангель. А черный он потому, что крови много насосался, гадина проклятая! Так надо, чтобы он скорее издох... Правильно я говорю?

— Правильно! Давай, давай дальше, Овруцкий!..

— Там, у Каховки, нас ждут не дождутся наши братья-красноармейцы. Кто из вас, граждане и товарищи, был на фронте, тот, конечно, знает, что без хлеба и мяса, без фуража война — не война, солдат — не солдат, лошадь — не лошадь... Так вот, сослились наши колонисты и решили, что нужно помочь фронту. Собрали все, что могли. Конечно, каждый давал по возможности. А еще пятьдесят наших орлов решили добровольцами пойти в Красную Армию, чтобы поскорее Врангеля разгромить.

У кого душа пролетарская, пристраивайтесь к нам! Будем драться до последней капли крови за нашу родную Советскую власть! Кто имеет совесть, пусть притащит с собой все, что только может, для наших братьев-красноармейцев, которые своей рабоче-крестьянской крови для нас не жалеют и отдают ее каплю по капле мировой революции. Правильно я говорю или нет? Скажите прямо!

— Правильно! Хорошо говоришь, Овруцкий!

— Ну вот! — махнул он рукой, нахлобучил кубанку на голову и умолк.

— Так я все-таки не понимаю, чего от меня хотят, — раздался недовольный голос Авром-Эзры. — Может быть, ты, Овруцкий, собираешься сделать из меня на старости лет солдата-новобранца?

— Солдатом вас сделать? Нет, господин Цейтлин, мы

вам винтовку не доверим, поскольку вы сами являетесь первойшей контрой... прыщом на здоровом теле революции... От вас мы хотим только получить хлеб и несколько лошадей...

Одобрительные возгласы послышались со всех сторон:

— Правильно! Правильно!

— Пусть дает хлеб и лошадей!

— Конный завод у меня, что ли?! — стараясь перекрычать всех, завопил Авром-Эзра. — Горе у меня, болячки, не лошади!.. И хлеб где я вам возьму? Рожу его вам, что ли? Или урожай у нас нынче очень велик? И разве не знаете, сколько хлеба и всякого добра вывез батько Махно?..

— Нет у него, несчастного, хлеба? Что ж, давайте, люди, соберем пану Цейтлину милостыню!..

— Пожертвуйте, люди добрые, на пропитание бедняку... Умирают с голоду Авром-Эзра Цейтлин и его зятек!..

— Пусть он отдаст тот хлеб, который еще в прошлом году закопал в землю!..

— Голодранцы, босяки! — воскликнул Авром-Эзра, и мясистое лицо его побагровело. — Вы что, уже забыли, как я вас всех спасал от голода в прошлом году? Но ничего, теперь вы у меня пухнуть будете, если вы такие умники! Никому не одолжу ни ведерка муки, вот и будете знать, как смеяться над Цейтлиным...

— За каждое ведерко ты три шкуры с нас драл!

— Как на панщине мы у тебя работали, живодер!

— Это кто сказал? — оглянулся по сторонам Авром-Эзра. — Не забывайте старую поговорку: «Придет еще коза к возу и скажет: «Ме-е!»

— Не дожدهшься!..

Овруцкий не выдержал, снова вылез на воз и сорвал ку-банку с головы.

— Господин Цейтлин! — крикнул он. — Не устраивайте ярмарку! Говорите: дадите вы лошадей и хлеб или не дадите?..

Старик махнул рукой:

— Ладно, пусть будет по-вашему. Хлеба пожертвую мешок-другой. Но лошадей? Где я вам их возьму? Лошади мои подошли... Хоть стреляйте, нет у меня лошадей!

А люди уже ташили к возам мешки, узлы, верейки. Несколько человек подошли к Овруцкому, прося записать их в добровольцы.

Стоя рядом с женой, Шмая-разбойник вдруг тряхнул головой, взял Рейзл за руку и торопливо заговорил:

— Что ж, Рейзл, дорогая, я тоже пойду с ними... Не дело в такое время дома сидеть. Надо подставить плечо... Запишусь...

— С ума ты сошел! — испугалась она. — Мало ты в окопах провалялся? Ты же весь изранен! Пусть идут те, кто помоложе...

— Ничего, родная моя, за битого солдата шестерых небитых дают! — ответил наш разбойник и твердым шагом направился к Овруцкому.

— Ну что ж, начальник, пиши и меня в список. Пойду с вами...

Овруцкий обрадовался, похлопал Шмаю по плечу:

— Молодец, товарищ Спивак! Немного еще повоюешь, зато на старости лет сможешь спокойно греться на печи...

— Нет, брат, и на старости лет мы тоже не будем сидеть на печи... Руки у нас не приспособлены к тому, чтобы ничего не делать. Не будут они винтовку держать, возьмутся за топор, за молоток. Покой у нас уже будет на том свете...

Овруцкий обнял Шмаю.

— Вот так я люблю! Это по-нашему! — И, заметив влажные глаза Рейзл, добавил: — А она что говорит?

— Ничего! Ей не привыкать быть солдаткой... Кому-то ведь надо воевать? Три года с гаком я за «веру, царя и отечество» воевал, надо теперь повоевать и за свою власть...

— И я так считаю! — оживился Овруцкий, записывая его в список.

Авром-Эзра затерялся в толпе, надеясь, что о нем забудут в этой суматохе. Но Овруцкий, поискав его глазами, громко спросил:

— Куда это девался наш барин? Не думайте, Авром-Эзра, что мы с вами шутки шутим! Вы нас задерживаете...

— Возьми нож, душегуб, и режь меня на части! Перережь мне глотку!.. Нет у меня никаких лошадей. Я от ваших замечательных порядков скоро нищим стану...

— Смотрите, не пожалейте! — крикнул Овруцкий. — Не забудьте, что я человек сердитый! Не для себя беру, а для тех, кто идет кровь проливать за нашу землю. Мы жизни своей не жалеем, а вы торгуетесь тут, как на ярмарке!

Цейтлин кряхтел, ломал руки, проклинал все на свете и оттягивал время, словно ожидая чуда.

Вдруг мальчишки на деревьях закричали хором, указывая пальцами в сторону степи:

— Дяденька председатель! Дяденька Овруцкий, видите, рыжий зайка лошадей угоняет!..

— Кто? Кто угоняет лошадей?

— Этот черт... Его зять... Хацкель! Удирает в степь с лошадьми, видите?

Овруцкий вскочил на коня. Выхватил из-за ремня пистолет, перезарядил его, выстрелил в воздух и что есть духу понесся в степь. Вслед за ним помчалось несколько всадников.

Шмая вместе со всей толпой несколько минут следил за погоней, потом пошел домой, надел свою старую солдатскую фуражку, выгоревшую гимнастерку, сапоги. Взял шинель, солдатский мешок. Посмотрел участливым взглядом на жену, сидевшую на завалянке возле дома. Глаза ее были полны слез.

— Что с тобой, родная? — с мягкой укоризной сказал он, нежно обнимая ее. — Не надо грустить! Эх, женщины, все вы на один лад скроены, будто одна мать вас родила.

— Солдат в тебе заговорил!.. Значит, уходишь от меня?

— Кто это от тебя уходит? Я ведь скоро вернусь...

— Дай-то бог!.. Но я же знаю, в какое пекло ты идешь...

— Эх, Рейзл, Рейзл... Ты подумай: работу на огороде мы закончили, крыши как будто я всем соседям починил, вот и представь себе, что я на осеннее время пошел в Херсон или в Екатеринослав на заработки.

— А почему эти проклятые Цейтлины, Хацкель твой рыжий с места не трогаются, дома сидят?

— А разве ты не слыхала, что сказал на сходе председатель Советской власти товарищ Овруцкий? А он человек толковый, с головой! Он сказал, что таким паразитам винтовки не доверит. Это же контра... Им и при батьке Махно и при Врангеле будет хорошо. А нам может быть хорошо только при одной власти, при Советах, понимаешь? И не надо плакать. Вытри слезы, дорогая моя солдатка!

— Легко тебе говорить: «Не надо плакать...» Душа моя плачет...

— Ну, если так, то поплачь, но только здесь, возле дома, а уж когда выйдем на площадь, держи себя на людях, как солдат, и чтоб глаза были сухие, слышишь?

— Только б ты вернулся домой. Ты должен жить! Ради меня и... ради того, кто скоро на свет появится. О нем ты, Шая, наверно, забыл, да? — тихо добавила она.

Шмая обнял ее еще нежнее.

— Нет, не забыл, — ответил он после долгой паузы. —

Клянусь тебе, не забыл...— Лицо его осветилось ласковой улыбкой: — Эх, если будет у нас сынок... И ради него тоже надо идти! Чтоб он уже не знал этих проклятых войн...

Шмая хотел еще что-то сказать, но Овруцкий уже прислал за ним.

Когда он вместе с женой пришел на площадь, все уже были готовы в путь. На дороге вытянулся обоз, нагруженный продовольствием и сеном. Тут же стояло с полдюжата откормленных коней, которых Овруцкий с добровольцами отбил у Хацкеля. Ребята с сумками на плечах, как новобранцы, стояли около возов, и председатель сельсовета громко и торжественно вызывал каждого по имени и фамилии, как и положено в таких случаях.

Молодые добровольцы были одеты по-разному: кто пришел в потрепанном пиджачке, кто — в старой фуфайке, кто — в крестьянской свитке. У одного на ногах старые опорки, другой — в лаптях. Но зато Шмая-разбойник явился в своей выдавшей виды шинели и в фуражке набекрень, как лихой солдат-рубака. Усы были молодецки подкручены. Волосы выбивались из-под козырька, и вид у него был бравый. Добровольцы смотрели на него не без зависти: ему легче на войне будет, как-никак человек бывалый.

Добровольцы уже начали устраиваться на возах и двуколках. Когда Шмая подошел к ним, все потеснились, освобождая для него местечко. Но он с улыбкой поглядел на ребят, потом недовольно покачал головой, швырнул наземь окурок цигарки и сказал:

— А может быть, земляки, вы слезете с возов? Кто вы такие — солдаты или женихи, что свататься к невестам собирались?

Добровольцы рассмеялись, а глядя на них, засмеялись и все, кто пришел их проводить.

Миг, и все соскочили с возов, а Шмая скомандовал:

— Станови-и-ись! Равнение напра-а-а-аво!

Добровольцы неумело строились, некоторые не могли найти себе места в строю, что вызывало веселое оживление окружающих, добродушный смех Овруцкого.

— Смирно! — гаркнул Шмая. — Ничего, я вас вымуштрую! Стыдно явиться в полк, не зная ни бе ни ме...

— Так, так, возьми их в работу, разбойник, возьми! — весело поддержал его Овруцкий. — Конечно, их подучить надо... В дороге мы ими займемся.

Добровольцы бодро двинулись к пыльному тракту, идущему в сторону Каховки.

По тропинке, змеившейся в высокой стерне у дороги, шагала Шмая-разбойник. Жена крепко держала его под руку. Она шла, опустив голову. Рядом бежали ее ребятишки, которые сейчас наглядеться не могли на своего «дядю» — ведь он снова стал солдатом!

— Дядя, а вы нам с войны гостинцев привезете? — спросил младший.

— А что, к примеру, вам привезти?

— Ружье привезите и много патронов!..

— Зачем вам ружье? — серьезно спросил Шмая, обнимая малышей, которые стали ему дороги, как родные дети. — Давайте уж лучше мы повоем за вас, и пусть настанет конец войнам... Привезу вам другие подарки, если жив останусь. Игрушки разные, книги, тетрадки... Поганое это дело война...

— Правда, — тихонько промолвила Рейзл.

Возле моста Овруцкий остановил обоз и обратился к провожающим:

— Ну, спасибо, колонисты, за проводы! Теперь возвращайтесь по домам, сами дорогу найдем. Прощайтесь...

Несколько минут спустя обоз тронулся дальше. Только Шмая еще немного задержался. Он стоял с женой на мосту, опершись о перила, и смотрел на прозрачные воды Ингульца.

Овруцкий подошел к ним, увидел заплаканные глаза Рейзл, дольше задержал свой взгляд на ее выпуклом животе и тихо вздохнул:

— Понимаю... Но что поделаешь, война, Рейзл...

Затем он перевел взгляд на опечаленного кровельщика:

— И бывалому солдату тоже трудно с женой расставаться?

— А ты думаешь, легко? Сам знаешь, в колонии такие волки засели... Чего стоит один этот Цейтлин? Беззащитными остаются наши жены и дети...

— Не волнуйся, Советская власть найдет управу на этих живодеров! — ответил Овруцкий и пошел к возам, чтоб не мешать человеку проститься с женой.

Шмая смотрел ему вслед и, когда Овруцкий отошел в сторонку, нежно обнял жену, заглядывая в ее добрые, теперь такие несчастные глаза:

— Ну, довольно, не плачь, милая. Береги себя и наших детей. Роди мне хорошего сына... Бог даст, вернусь, вся жизнь еще впереди... Что ты, родненькая? Ну, хватит... Не плачь!

Он расцеловался с ней и стал догонять своих.

Шмая шел широким, размеренным шагом, стараясь не оглядываться, хоть знал, что Рейзл все еще стоит на мосту и смотрит ему вслед.

Он не предполагал, что ему так тяжело будет оставлять свой новый дом, жену, детей. Сколько счастья принесла ему эта милая женщина! Теперь, после года их совместной жизни, она стала ему еще дороже.

Не сдержавшись, он оглянулся.

Рейзл все еще как прикованная стояла на мосту и махала ему рукой.

В эту минуту наш разбойник почувствовал, что какой-то комок подступил к его горлу...

Увидев Шмаю, Овруцкий окинул его чуть насмешливым взглядом:

— Что-то больно долго ты, дружок, с женой прощался. Совсем как жених с невестой...

— А чем же я не жених? — ответил Шмая и, пройдя несколько шагов, добавил: — Не впервые приходится мне покидать свой дом, жену, детей... Тяжело это, ох как тяжело... Но ты, кажется, убежденный холостяк, тебе не понять этого. Да и старею я все-таки...

— Кто это стареет? Ты, разбойник? Да нет! Ты принадлежишь к той породе людей, которые никогда не стареют. Ты совсем не изменился с тех пор, как пришел сюда. Наоборот, еще возмужал, стал таким, что любой девке еще можешь голову вскружить...

Подумав немного, Овруцкий добавил:

— Верно, только скучные и плохие люди быстро стареют... А веселый человек, по нем даже не видно, сколько ему лет, он вечно остается молодым.

— Может быть, ты и прав, — задумчиво сказал Шмая.

Колония уже скрылась из виду, осталась за косогором. Не видно уже было стоявшей на мосту Рейзл, и Шмая приободрился. Сейчас, когда жена была далеко от него, он себя почувствовал настоящим солдатом и, стараясь отогнать от себя тоску, озорно крикнул добровольцам, которые снова взобрались на возы:

— Ну-ка, слезай, ребята! Пошли пешочком, чтобы ножки привыкли к службе!

— Еще успеем натопаться! Пока пусть лошади нас везут, а там мы их повезем...

— Нет, нет, это непорядок! — настаивал на своем кривельщик. — Пускай лошадки отдохнут. Много у них работы

еще будет... Не стесняйтесь, мальчики, привыкайте! Там, на войне, у вас будет русская трехлинейка, а может, и максимум, да еще скатка, лопатка, мешок. Навьючат, будь здоров! Русский солдат — это тебе не английский или шотландский хлюпик, которые идут воевать в коротких штанишках, в юбках, шляпках и, если не ошибаюсь, даже в сатиновых лифчиках...

Все громко рассмеялись, глядя на повеселевшего кровельщика, и соскочили с возов.

Построились колонной, пошли по степи, где пахло полынью и чебрецом. Суслики, высовывая головы из бурьяна, пугливо оглядывались, прислушиваясь к непривычному шуму на дороге, и ныряли в свои норки.

Ребята с грустью смотрели на пустующую, незасеянную степь, на бурьяны.

— Что носы повесили, орлы? — крикнул кровельщик, выбегая к голове колонны. — Ну-ка, давайте песню, чтоб аж небу жарко было!

И он приятным грудным голосом затянул старую солдатскую песню про казака, ушедшего на войну, и про девчину, подарившую ему на прощанье платок...

Овруцкий подхватил песню. И через минуту пели уже все. А кто не знал слов песни, все равно пел, находя слова в своем сердце. Песня неслась по степным просторам. И казалось, что сразу стало легче идти.

Глава семнадцатая

КОМАНДАРМ И КРОВЕЛЬЩИК

— Да, братцы... А я и не догадывался, откуда взялась поговорка: «На турецкую каторгу», — сказал Шмая-разбойник уставшим, запыленным красноармейцем, шагавшим за скрипучей двуколкой, на которой лежало несколько ящиков с патронами и стоял старенький, выдавший виды пулемет. — Поставят перед тобой Турецкий вал: впереди — огромный ров, наполненный водой, слева — море, справа — гнилой Сиваш, позади посадят барона Врангеля, который опутал весь перешеек колючей проволокой, как паук паутиной, да еще лупит из пушек, и попробуй пройди к Перекопу, в Крым... Вот тебе и «турецкая каторга»!

— Ты думаешь, не доберемся мы до этого барона? — перебил его ротный Николай Дубравин, высокий худощавый парень с большими зеленоватыми глазами и льняным чубом,

выбивавшимся из-под коротенького козырька.— Доберемся как пить дать! Еще несколько деньков, ну неделька-другая пройдет, и мы ему, продажному псу, сломаем хребет. Уже почти всю страну очистили от всякой гадости, а этот еще торчит у нас бельмом на глазу и не дает нам спокойно жить. Скоро уже получит и этот пес по зубам, да так, что и следа от него не останется. Понял? Вот...

— Понял...

— А откуда тебе все это известно, товарищ ротный? — спросил бородатый красноармеец, поправляя на ходу обмотки.

Ротный заодно улыбнулся, опасливо огляделся по сторонам и с таинственным видом сказал:

— Все очень даже просто. Узнал я, что приезжает к нам сюда командарм Фрунзе, Михаил Васильевич... Слыхали про такого? Он будет командовать штурмом Перекопа... Переведет нас через Сиваш и через Турецкий вал. А как же! Понял? Вот!.. Его послал к нам товарищ Ленин. Вызвал его в Кремль, посадил рядом с собой и говорит, что плохи у нас дела, товарищ Фрунзе. Черный барон Врангель встал нам поперек горла, мешает двигаться к мирной жизни... Народ бедствует. Стало быть, надо опрокинуть и утопить в Черном море последнего барона, освободить Крым... Тогда народ вздохнет полной грудью и наш паровоз перейдет на мирные рельсы. Понял? Вот!..

Красноармейцы внимательно слушали горячие слова своего молодого ротного и смотрели на него так, будто все, что он рассказывал, произошло при нем, будто он присутствовал при разговоре Ленина с Фрунзе.

— Ну, ну, а что ж Фрунзе ответил Ленину?

— Как это — что он ответил Ленину? Ответил, что все будет сделано! Понял? Вот... И товарищ Фрунзе уже прибыл сюда. Значит, скоро начнется пирушка. Это как пить дать...

Дубравин замолк, неумело свернул сигарку, закурил. Но чувствуя на себе пытливые взгляды, понимая, что люди ждут, чтобы он еще что-нибудь рассказал о командарме, тихо продолжал:

— А Михаил Васильевич — человек правильный. Хоть и строгий. Он шутить не любит... Он как возьмется за дело, только держись. Это настоящий большевик. За народное дело жизнь отдаст и не задумается...

— А ты, товарищ ротный, — вмешался Шмая, — откуда его знаешь, командарма? Видел его когда-нибудь?

Мягкая улыбка озарила лицо ротного. Расправив гимнастерку, он не без гордости ответил:

— А как же! Мы с товарищем Фрунзе земляки, можно сказать... Оба иваново-вознесенские. Понял? Вот... У нас каждый знает его, Михаила Васильевича. Он народ поднимал на борьбу с буржуазией. В тюрьмах много сидел, за идею, значит... На каторге тоже был. Даже царь боялся Михаила Васильевича и послал его на виселицу. Да удалось бежать. Но скоро поймали его и присудили: расстрелять. Опять бежал Фрунзе... Ох и настрадался же он за свою жизнь, а до конца остался верен трудовому народу. Все с Лениным был, с большевиками, значит. Понял? Вот... Надежный он человек, Фрунзе. И Ленин это знает. Увидит, где революции тяжело приходится, Михаила Васильевича по старой памяти туда и посылает: езжай, мол, дружище, и наведи там порядок. И он наводит порядок, да еще как! Послал его Ленин на Колчака в Оренбургские степи, в Башкирию. Разбили Колчака!.. И куда только Ленин его не посылал... Надежный это человек, сила!.. Понял?.. Вот...

— Ты про все это в книжках, в газетах прочитал, товарищ ротный?

— Какие там книжки! Только недавно научился я их читать... Я еще юношей был, когда полк рабочих из Иванова-Вознесенска на Колчака пошел. Ну и удрал я из дому... Пристроился на буфере и айда с ними. Как увидели меня, ругались страшно, грозились домой отправить, но было уже поздно... Взяли с собой. В разведку я ходил. Ну, а теперь, сами видите, ротным стал... Батя погиб под Уфой. Фрунзе на его могиле речь держал... Дружили они, вместе в подполье работали... Помню, Михаил Васильевич сказал тогда: «Хорошие люди гибнут. Им бы такие памятники поставить, чтобы весь мир видел. Но мы другой памятник построим им, нашим боевым друзьям. Разобьем контру, и такая жизнь у нас пойдет, такой интернационал, значит, что весь мир нам будет завидовать...» Понял? Вот...

После этих слов ротный Дубравин, казалось, вырос в глазах бойцов на несколько голов, стал им дороже.

Люди и не заметили, как прошел короткий осенний день. Стемнело. Полил колючий, противный дождик из тех, что, как зарядит, может несколько суток моросить. Со стороны Сиваша дул соленый пронизывающий ветер, а со стороны Турецкого вала доносился злой гул орудий.

Полк свернул с дороги, спустился в глубокую балку. Привал. Бойцы составили винтовки в пирамиды и развели тут и там небольшие костры.

Шмая быстро выпряг из двуколки лошадку, стреножил ее и похлопал по худому крупу:

— Ну, гайда на отдых! Пошипай травку, если найдешь ее тут, а не найдешь — не обижайся. Сама должна понимать: война, всем нелегко.

Лошадка неуклюже поскакала в степь.

Красноармейцы сгрудились вокруг маленьких костров, некоторые бегали взад и вперед, чтобы кое-как согреться, постукивали ногой об ногу.

Засунув кнутовище за голенище, руки в рукава, Шмая подпрыгивал на месте, но от этого ему не становилось теплее. Собрав пересохший пырей, стебли кукурузы и сухие ветки, он развел огонь, и сразу вокруг костра собрались бойцы.

— Холод собачий! — воскликнул кровельщик. — Цыганский пот прошибает... Сразу видно, что уж недалеко Крым, курорт! Купальный сезон, кажется, еще не кончился? Как вы думаете, хлопцы? Эх, там уже погреемся!..

— Ничего, скоро тебе, браток, жарко станет! — отозвался кто-то из густой темени. — Там, у Перекопа, быстро отогреемся, аж чубы будут мокрые...

— Нам не привыкать!

— Прикончим проклятого барона, к своим женкам греться поедем...

— Да, так легко его прикончишь! Сидит, гад, как за крепостной стеной. Если б он один там был, быстро покончили бы с ним. А за ним — вся Антанта. И англичане, и французы шлют ему без конца пушки, аэропланы, корабли... Слышишь, как они бьют с моря!

— Ничего, все равно скоро всей контре конец придет! — перебил его Шмая.

— А ты почему знаешь, усач?

— Знаю, коли говорю! Товарищ Фрунзе к нам приехал, командарм. Наш ротный Дубравин сказал по секрету...

— Какой же это секрет, если комиссар нам газету читал?

Шмая понял, что попал впросак, схватил котелок, набрал в него воды, будто кашу сварить на костре собрался, да тут как раз горнист заиграл сбор. И степь снова загудела, послышалась команда: «Тушить костры! Строиться!»

Шмая побежал искать свою лошадку и весело рассмеялся, найдя свою клячу среди боевых кавалерийских коней. Засунув морду в чужую торбу, она с удовольствием лакомилась овсом...

Он похлопал ее по крупу:

— Молодец, кобылка! Не пропадешь, раз не теряешься... Счастье твое, что не заметил хозяин, ты бы у него получила!

Лошадка неохотно вытянула морду из брезентовой торбы, даже взглянула на Шмаю с укоризною, будто хотела сказать: «Как же тебе не стыдно! Мало, что ты меня плохо кормишь, так и здесь не даешь пожить...»

Шмая снял с ее ног путы и повел к двуколке...

Полк растянулся по степи.

Темная ночь нависла над головой. Дождик то усиливался, то затихал. Красноармейцы шли медленно, тяжело. Стучали колеса повозок. Изредка кто-то затягивал песню, ее подхватывали простуженные голоса, но песня быстро замирала. Мимо проносились кавалеристы на лихих конях. Оглашая степь грохотом, промчались броневики. Прошли огромные пушки. Все шло, двигалось, мчалось и катилось. Невидимая могучая рука направляла весь этот поток к Сивашу, к Турецкому валу, к перешейку, опутанному колючей проволокой.

Перед рассветом над колоннами послышался гул. Аэроплан с красными звездами на крыльях пронесся низко над землей, так низко, что видно было лицо пилота. Сверху посыпались разноцветные листовки. Солдаты на ходу ловили их, читали вслух. Это Реввоенсовет, командарм от имени республики обращались к красноармейцам: «Даешь Крым!», «Даешь Перекоп!»

Ротный Дубравин шагал среди своих бойцов и читал вслух листовку. Он весь сиял, и в глазах его можно было прочесть: «Ну, что я вам говорил?»

Предрассветный туман окутывал бескрайнюю голую степь, проглатывая колонну за колонной.

— Даешь Крым!

— На Перекоп!

Шли целый день. Недалеко уже были Сиваш, Турецкий вал. Здесь все отчетливее слышалось тяжелое дыхание войны.

Ночь застала полк у большого полусожженного села, где нужно было остановиться и ждать приказа о наступлении.

Снова разгорелись солдатские костры.

Бойцы расположились среди камней вокруг маленьких костров. Но не успели и задремать, как поднялся необычайный шум.

Прибежал ротный Дубравин, принес мешок с подарками, присланными красноармейцам рабочими Москвы и Киева, Петрограда и Харькова. Теперь все вспомнили, что был канун третьей годовщины Октября...

Вызывая каждого бойца, ротный доставал из мешка подарок и важно вручал ему, как великую драгоценность.

Шмая развернул маленький сверток и достал оттуда пару теплых варежек, носки, платок и гребешок. Он просиял, как ребенок, попробовал расчесать свои усы. Из одной варежки он вытянул маленькое письмо. Оно было из Киева, и писала его женщина, потерявшая мужа на войне. Наш разбойник вспомнил те дни, когда он вместе с Хацкелем приехал в этот огромный город из родного местечка. Невыразимое волнение охватило его. Присев к костру и перечитывая письмо, написанное женской рукой, он как наяву увидел Рейзл. Верно, уже родила она. Сына или дочь? Что за человек родился и какая судьба ждет его? За все время он ни одного письма не получил от жены, ни единой весточки из дому. Полк все время в пути — то в боях, то в походе. Разве найдет письмо его в таком водовороте? Как она там живет? Встретится ли он еще с ней?.. Столько чудесных парней ушло вместе с ним, а сколько уцелело? Он встретил только троих да еще Овруцкого, которого отправили куда-то в госпиталь, чтобы отрезать ему раздробленную ногу...

Больно ждалось сердце. Там, в колонии, остались Хацкель, его тесть. Хорошего от них ждать не приходится, а вот неприятностей они могут причинить немало. Кто поможет одинокой Рейзл? Лучшие ребята-колонисты ушли на фронт...

Шмая старался отогнать от себя тревожные мысли. Закурил и пошел к бойцам, примостившимся у костра возле каменной стены, чудом уцелевшей после недавнего налета врангелевских аэропланов.

Он притащил несколько обгоревших досок, щепок и подбросил их в огонь.

Солдаты, которые еще не устроились на ночлег, кипятили в котелках воду, говорили о подарках, читали записки, найденные в посылочках. Не так подарки, как эти письма от чужих, незнакомых людей принесли им столько радости, словно это были весточки от родных и любимых, от сестер, невест, матерей...

Постепенно разговоры стихли. Люди старались уснуть. Кто скажет, когда еще будет возможность отдохнуть, ведь впереди жестокие бои. Однако холод не давал им заснуть. Даже костры мало помогали.

Казалось, эта ночь никогда не кончится.

Шмая, устроившись у костра, бодрствовал. Подбросив в огонь какой-то деревянный обломок, он стал варить пшеничную кашу.

— Бог вас знает, ребятки,— проговорил он, доставая из-за голенища ложку,— и чего вы не спите, никак не пойму... Крым, курорт, купальный сезон...

— А ты почему не спишь, разбойник?

— Я-то? Я давно научился обманывать сон,— ответил Шмая и начал помешивать ложкой кашу в котелке.— Сон ко мне, а я от него, как черт от ладана. Жена у меня молодая, горячая, спать отучила... Однако без дела теперь сидеть не годится... Почему кашу себе не варите?

Достав из сумки соль, насыпал щепотку в котелок.

— А мы к тебе пристроимся...

— Почему нет, милости прошу!.. Был уже такой мудрец, который попробовал одним хлебом накормить пять тысяч голодных...

— Ну и что ж, кормил?

— А как же! Кормить-то кормил, а были ли они сыты, этого никто не знает...

— Что и говорить, хитер! Здорово выкрутился наш разбойник! — засмеялись все, глядя на веселого, добродушного солдата.

Он сидел, одним боком прислонившись к стене, чуть поодаль от пламени, освещавшего его осунувшееся, опаленное степным солнцем и ветрами лицо.

Прислушиваясь к доносившемуся издалека грохоту орудий, Шмая тихо запел, словно желая убаюкать усталых товарищей:

Как осколок от гранаты
В грудь солдату угодил,
Только верный конь солдата
До могилы проводил.

Только птицы над могилой
Пролетают в вышине.
Ой ты, ворон чернокрылый,
Что закрыл ты очи мне?

Он пел несильным грудным тенором, и солдаты, глядя в огонь, тихонько, чтоб не сбить его, подтягивали:

Только птицы над могилой
Пролетают в вышине.
Ой ты, ворон чернокрылый,
Что закрыл ты очи мне?

Никто и не видел, как из густого сумрака появился коренастый человек в длинной шинели и папахе. Он постоял поодаль от костра, вслушиваясь в задушевную песню, и опустился на камень так же тихо и незаметно, как и пришел сюда.

Шмая с озабоченным видом деловито мешал ложкой кашу и, заметив в темноте только огонек сигарки, небрежно бросил:

— Эй, землячок, за тобой сорок!..

Тот протянул ему окурок через головы лежавших впереди бойцов.

— Вот это, вижу, человек! — отозвался Шмая, глубоко затягиваясь. — И табачок хорош. Давно такого табачка не курил... Верно, из посылки у тебя? Да, постарались для нас бабоньки в тылу, дай им бог здоровья и добрых женихов!.. Может, теща тебе прислала?

Он затянулся еще раз-другой, хваля табак, передал бычок соседу, а сам стал энергичнее помешивать кашу в котелке.

— Говорят, в Крыму хороший табачок... Вот уже где накуримся за все эти годы! Скорей бы туда добраться...

И он снял с костра котелок, набрал ложку каши и с апетитом попробовал. Кивнул головой: мол, каша получилась на славу, принялся есть, приглашая в компанию соседей.

— Хорошо сварил кашу, солдат? — неожиданно послышался из густой темноты незнакомый голос.

— А ты как думал? Столько лет воюю, а кашу варить не научился? Хорош бы я был солдат!.. И чего спрашиваешь? Доставай свою ложку и пристраивайся...

— Жалость какая, ложки у меня нет... — кинул тот из темноты.

— Что, ложки нет у тебя? Да какой же ты после этого солдат? Думал, видно, что к теще в гости едешь? Эх ты! На войне, брат, солдат обязан соблюдать три золотых правила: никогда не расставаться с ложкой и котелком, не ссориться с кашеваром и от кухни не отставать...

Солдаты дружно расхохотались. Не выдержал и незнакомец. А Шмая, глотая горячую кашу, продолжал его отчитывать:

— Где ж это видано, чтоб человек пришел на фронт без ложки? Ты, верно, думаешь, что на войне тебе все поднесут на блюдечке? А винтовку ты часом не забыл где-нибудь? Ой брат, был бы ты в нашей роте, всыпал бы тебе ротный Дубравин три наряда вне очереди, тогда б ты знал, как ложку терять!.. Ну да ладно уж, не расстраивайся.. Погоди минутку,— уже мягче добавил Шмая,— сейчас я тебе одолжу свою. Только ты смотри мне, больше без ложки на глаза не показывайся!

Шмая поел, облизал языком ложку, потом вытер ее хорошенько краем шинели, передал через головы спавших вместе с котелком и встретился взглядом с улыбающимися внимательными глазами незнакомца. Почувствовав себя неловко, что так немилосердно отчитал незнакомца человека из-за какой-то ложки, он стал шевелить палкой уголья в костре.

— Ничего не скажешь, молодец!.. Каша что надо! — проговорил тот, пробуя кашу.— А насчет ложки ты совершенно правильно говорил. У хорошего солдата все должно быть на своем месте. Хуже нет, чем солдат-раззява!..

Слова эти обрадовали кровельщика. Не хотел ведь он обижать человека. А тут еще в свете разгоревшегося костра он увидел на голове незнакомца папаху, каких солдаты не носят. Сначала Шмая растерялся, но сразу же взял себя в руки и спросил:

— А как там, в Крыму, товарищ, нет таких ветров? Говорят, там всегда жарко, не то что в этой голой степи...

— Погоди малость, скоро будет жарко и здесь,— заметил кто-то из бойцов.— Конечно, если до тех пор не замерзнем...

— Кабы интендантство подкинуло нам немного теплой одежды, портяночек хотя бы... Днем еще так-сяк, а ночью зуб на зуб не попадает...

— Может, вы, товарищ, ближе к начальству стоите... Не знаете ли, не слыхали, скоро мы этого Врангеля в море утопим?

— Да, не мешало бы поскорее дать ему по морде, этому проклятому барону,— уже смелее вмешался в разговор кровельщик.— Тогда бы к женкам поехали. Под их крылышком куда теплее, чем здесь...

— Это и без тебя известно! Михаил Васильевич Фрунзе, наш командарм, писал в своей листовке, что дорога домой лежит через Крым... Вот, стало быть, и надо стараться быстрее освободить его...

— Нелегкая работенка... Вся Европа, вся Антанта собралась в Крыму. У них там пушек и танков чертова тьма...

— Ничего, придет Фрунзе, он им покажет, где раки зимуют!..

— Точно! Это как пить дать. Ленин дал Михаилу Васильевичу строгий приказ,— подойдя к костру, сказал худощавый, длинноногий красноармеец так, будто сам был при том, как Ленин отдавал этот приказ.— Велел покончить с Врангелем, дать этому барону по зубам так, чтобы он десятому заказал нос к нам, в Советскую Россию, совать.

— Видали, сколько кавалерии прошло, пушек, броневиков? Не с голыми руками Михаил Васильевич придет сюда... Стратегия! Ничего, скоро будет порядок,— уверенно сказал Шмая.

— Ага, порядок...— недовольно проворчал солдат, лежавший все время спиной к костру,— а через Сиваш как Фрунзе нас переведет? Коварный он, этот Сиваш! Река не река, море не море, болото не болото. Одни черти, видать, там водятся... Чумаки только сюда когда-то ездили на волах за солью...

— Ладно! Не хнычь! Товариш Фрунзе все это обмозгует, как положено. Ты, верно, думаешь, что он из тех стратегов, что, не зная броду, полезут в воду?..

— Опять ты со своими шуточками, разбойник! Если ты такой умный, тогда растолкуй, браток, как наш командарм перебросит войска через Сиваш?..

— Ну, как тебе это растолковать?— Поднялся кровельщик с места, расправил плечи и, попросив у соседа махорки, продолжал:— Конечно, что и говорить, переправиться через это Гнилое море — не шутейное дело... Легче сто крыш залатать, чем переправиться под огнем через Сиваш... Эх, если б я мог посоветовать кое-что нашему Михаилу Васильевичу! Если б он меня в помощники взял, командарм...

Солдаты дружно расхохотались. А наш Шмая-разбойник прикурил у костра, глубоко затянулся терпким дымом цигарки, посмотрел в сторону Сиваша и, пряча в усы улыбку, продолжал:

— Вот расскажу кое-что, слушайте внимательно. Нам, когда мы еще мальчишками были, старые люди поведали, как Моисей-пророк евреев из египетской неволи освобождал, как он их вел через пустыню... Правда, шли не так, как мы сейчас топаем — форсированным маршем. Всего-навсего срок лет тогда шли... Приблизились как-то вот к такому морю, Мертвым оно называлось, и задумались: как его пере-

йти? Ломает себе голову Моисей-пророк, а придумать, хоть караул кричи, не может ничего толкового. Разозлился тогда старик, да как рубанет своим посохом-булавой по воде и... расколол море. Расступилось. Короче говоря, все его ребята перешли благополучно на ту сторону, даже пятки не замочили и насморка никто из них не схватил... Вот бы нашему товарищу Фрунзе хоть бы на время такую булаву занять. Рассек бы он Сиваш...

— Наш Шмая-разбойник придумает!.. Одна умора с ним! — рассмеялись красноармейцы.

Незнакомец тоже не смог сдержаться и от души расхохотался. Потом поднялся с места, чтобы возвратить забавному солдату котелок с кашей, и подошел ближе к костру. Пламя на какое-то мгновение осветило открытое, волевое лицо незнакомца, его длинную, хорошо пригнанную шинель, высокую папаху. Все замолкли, пытливо рассматривая его. «Не иначе, кто-то из начальства... Кто это может быть?» — подумал каждый из красноармейцев.

— Как вы сказали — разбойник? — спросил незнакомец, глядя на смущенного солдата, который так и застыл с котелком в руках. — Что это за разбойники у вас завелись?..

— Да вы их не слушайте, товарищ начальник, — не знаю в точности, кто вы и как вас величать, — не сразу ответил Шмая и стал вытирать пучком соломой свой котелок. — Делать хлопцам нечего, вот и болтают всякий вздор... Это меня давно так прозвали. Прилепили прозвище, и оно от меня всю жизнь не отстаёт...

— Ах вот оно что! — ещё громче рассмеялся незнакомец. — А я уже, грешным делом, подумал, что это настоящий разбойник меня такой вкусной кашей угощал... Ну, теперь я спокоен...

Все молча смотрели на него. А он отошел от костра и после недолгой паузы сказал:

— Так ты что же, советуешь булавой рассекать Сиваш? Если бы существовала такая булава, было бы неплохо. Но мы постараемся без булавы форсировать Сиваш и штурмовать Перекоп... Как ты думаешь, возьмем?

— А как же! — оживился кровельщик. — Конечно, возьмем! Только бы скорее товарищ Фрунзе приезжал...

Незнакомец, с трудом скрывая улыбку, прервал его:

— Фрунзе-то приедет, но не в этом дело. Фрунзе — не бог. Нужно, чтобы все дружно взялись, нажали. Тогда и сбросим черного барона в Черное море...

Незнакомец посмотрел вдаль, но потом перевел взгляд на кровельщика, не сводившего с него удивленных глаз.

— Да, хороша каша, давно такой не ел,— сказал он как бы про себя.— Значит, разбойником прозвали тебя? А как же тебя по-настоящему звать?

— Спивак, Шая Спивак... Николаевский солдат, вернее, ефрейтор...— отчеканил тот, вытянувшись в струнку и спрятав за спину котелок. Неудобно, казалось ему, драить посуду перед таким человеком.

— Спивак?.. Спивак...— тихонько повторил незнакомец, будто желая запомнить это имя.— Что ж, очень хорошо, товарищ Спивак... Стало быть, вместе будем теперь воевать? Но я хотел бы тебя просить, когда будем в Крыму, зайти ко мне. Сваришь такую же кашу, какой ты меня сегодня угощал. Обещаешь?

— Что ж, это можно, это дело несложное,— просиял Шмая, обрадованный возможностью сделать человеку приятное.— Если б еще молочка разжиться, сахарку, тогда каша вышла бы царская. У меня ведь, кроме воды и соли, ничего не было...— И, подумав минутку, спохватился:— А где ж я вас там найду?

— Найдешь...— улыбаясь, ответил тот.— Спросишь Фрунзе, и тебе покажут...

Наш разбойник опешил, даже рот разинул... Но, увидев протянутую руку, сразу повеселел.

— Будем знакомы... Фрунзе...

— Фрунзе? — промямлил кровельщик, все еще не веря, что перед ним стоит прославленный командарм. Он не представлял себе, что это такой простой и доступный человек.

Через несколько минут, попрощавшись с солдатами, Михаил Васильевич Фрунзе направился в степь к догорающим кострам, вокруг которых спали усталые бойцы.

— Фрунзе?!

— Командарм, оказывается, сидел рядышком, а мы шутили, смеялись и не знали, кто к нам подсел... Ах, остопопы!..

— Ну и опростоволосился же ты, разбойник! И смех и грех...

Ошарашенный Шмая стоял на месте и не мог слова вымолвить. Он все смотрел в ту сторону, куда ушел командарм. Красноармейцы тесной толпой окружили кровельщика и стали над ним подтрунивать. Но Шмая уже пришел в себя и не без гордости сказал:

— Смейтесь на здоровье! Смейтесь, сколько вашей душе угодно! А с кем командарм из одного котелка кашу ел? Со мной! Ничего, товарищ Фрунзе на меня не обиделся. Он, видать, человек свойский. Верно, тоже хорошим солдатом был... Ох, ребята, а где же наш ротный? Узнает, кто у нас был, сам себя живьем съест. Своего земляка прозевал!..

Долго еще Шмая-разбойник ходил именинником, не мог нарадоваться тому, что разговаривал с самим командармом да еще кашей из своего котелка его угощал...

А вся рота не переставала хвалиться тем, что к ним ночью пришел сам командарм, рассказывали об этом со всеми подробностями, шутили, подсмеивались над кровельщиком и, кажется, с этой ночи стали к нему относиться с еще большим уважением, чем до сих пор.

Только ротный Дубравин упрекал его:

— Что ж ты, друг, не мог побегать позвать меня? Я мигом примчался бы и отрапортовал командарму по всей форме. Эх ты, разбойник!

А наш разбойник сиял от счастья:

— Ах, только бы вернуться домой живым-здоровым... Было бы о чем рассказать людям!..

Поздно ночью, когда густое марево тумана окутало все кругом, красноармейцы начали форсировать Гнилое море — Сиваш. Ноги вязли в илистом грунте. Люди проваливались по пояс, едва передвигались по холодной, густой грязи, но упорно рвались вперед, к другому берегу.

Со стороны бурного моря наугад была корабельная артиллерия белых. Изредка густую темень прорезали прожекторы с Турецкого вала. По всему видно было, что в том направлении, куда двигались штурмовые группы, в которые входила и рота Дубравина, враг в эту ночь не ждал гостей. Но бойцы понимали, что долго оставаться незамеченными им не удастся. Стало быть, нужно воспользоваться удачным моментом, поспешить зацепиться за тот берег...

То и дело проваливаясь в соленую воду, вслед за сосредоточенным ротным, стараясь не отставать от него, спешил Шмая-разбойник. Он нес на плечах тяжелый ствол станкового пулемета и напрягал все силы, чтобы не поскользнуться, не уронить его в воду. Ведь в роте остался один-единственный пулемет... Гнилой ветер пронизывал насквозь, добирался до костей, судорога сводила ноги, но об остановке нельзя было сейчас и думать. За Шмаей, чуть не

наступая ему на пятки, цепочкой шли товарищи, обливаясь потом под своей тяжелой ношей.

— Да,— наконец заговорил наш кровельщик,— завидую я теперь долговязым, у кого, значит, ноги длинные. Им легче шагать по трясине...

Еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, ротный Дубравин повернул к нему голову и прошептал:

— Нашел время для шуток. Замолчи!

Шмая умолк. Но, пройдя несколько шагов, продолжал:

— Попробуй-ка замолчи, когда в сапогах уже лягушки квакают.

— Отставить разговорчики! — прошипел Дубравин.— Шире шаг!..

Слева и справа уже грохотала артиллерия. Сильнее били с моря корабельные пушки. Но к суше нужно было пробиться любой ценой. Все знали, что неоднократные попытки взять Турецкий вал в лоб не увенчались успехом. Сотни бойцов легли на подступах к Перекопу.

И вот началась новая дерзкая операция — форсирование Гнилого моря, Сиваша. До рассвета нужно было захватить плацдарм, ударить в тыл белым...

Штурмовые группы продвигались по Сивашу. Каждый знал, что придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Пути назад нет, только вперед!

Сиваш окутала туманная мгла. Тут и там вспыхивал свет далеких прожекторов. Невдалеке шлепнулся в воду снаряд, обдав бойцов каскадом брызг грязи, ила. На мгновение все остановились, решив, что их уже нащупали и ведут огонь по Сивашу. Раздался негромкий голос ротного Дубравина:

— Чего остановились? Вперед, за мной!.. Скоро будет прилив, надо спешить, ребята. Поняли? Вот...

Собравшись с последними силами, красноармейцы двинулись дальше.

Время тянулось удивительно медленно. Казалось, не будет конца этому мучительному пути.

Но вот сквозь вспышки прожекторов и зарницы оружейных выстрелов наконец показалась кромка берега. В судорожном смятении огней виднелись вражеские окопы, проволочные заграждения. И через эти окопы и заграждения должны были пройти уставшие, насквозь промокшие, продрогшие воины.

Еще немного, и красноармейцы вступят на песчаные отмели, которые уже виднеются вдали. Только бы добраться туда, и тогда...

Близость берега придавала новые силы. Злость, ожесточение вели красноармейцев вперед.

Они выбрались на сушу, первые штурмовые группы. Лишь теперь враг заметил их и открыл огонь. Густую темень начали лихорадочно прорезать береговые прожекторы. С ожесточением ударили пушки.

Шмая припал к земле, быстро собрал со своим помощником пулемет. Максим ударил по заграждению, откуда стреляли белые. А со стороны Сиваша появлялись и тут же зарывались в кромку берега все новые группы бойцов и под прикрытием пулеметного огня двигались к окопам. Бросая мокрые шинели на колючую проволоку, они переправлялись на ту сторону, рвали проволоку и бросались в атаку. Сиваш вскипал от взрывов снарядов. Люди забыли о холоде, об усталости. Все рвались туда, где уже шли рукопашные схватки за каждый клочок земли.

Только забрезжил рассвет, бойцы увидели сквозь туман, как на их окопы ползет гремучее чудовище, изрыгая густые облака дыма, оглушая всю округу диким грохотом и гулом.

— Танк! — крикнул ротный Дубравин дрожащим голосом и почему-то надвинул на лоб помятую фуражку с маленьким козырьком. — Танк, гадина!

Ребята тревожно переглянулись, растерянно глядя то надвигающуюся машину, то на своего взволнованного командира, стали отползать в ложбину.

— Ротный, чего маячишь, жизнь надоела? — крикнул Шмая, потащив его за штанину. — Голову прячь, голову! — И, преодолевая страх, охвативший его, открыл огонь по солдатам, шедшим во весь рост за танком.

Несколько солдат замертво упали, а остальные повернули вспять, но танк двигался вперед не останавливаясь. Пулеметчик стал бить по броне, но пули отскакивали, как горошины, и Шмая-разбойник почувствовал, как по всему телу прошла дрожь, на лбу выступил холодный пот.

— Попробуем его ударить гранатами, ротный! Где гранаты?! — крикнул он и, достав две «лимонки», выполз на бруствер. За ним пополз Дубравин, прижимаясь к холодной земле.

Они переглянулись, словно прощаясь. За ними следили с ужасом бойцы, затаив дыхание, не зная, как помочь этим смельчакам, которые поднялись на поединок с этой гремющей машиной. Гул нарастал с угрожающей силой. И, когда

казалось, что широкие гусеницы вот-вот раздавят их, грянули взрывы гранат. Заскрежетало железо. Танк остановился, окутанный дымом, беспомощный, неподвижный. Снова под машину полетели гранаты. И бойцы восторженно защищали, поднялись во весь рост и помчались к горящему танку.

Приоткрылись боковые дверцы, и из машины выбрались оглушенные, очумевшие от страха, с поднятыми руками танкисты, молили не стрелять.

Оглушенные взрывами, лежали на песке ротный Дубравин и Шмая. Бойцы окружили их, помогли подняться, и в это время вдали показалась новая цепь белых. Превозмогая боль, пулеметчик пополз в свой окоп и через минуту уже строчил из пулемета по приближающейся цепи.

Ветер гнал к Сивашу мутные морские волны. Они медленно, с шумом перекачивались через отмели. Теперь уже невозможно было переправляться по воде. Бойцы понимали, что они отрезаны и что от исхода боя на соседних участках, у Турецкого вала, зависит их судьба. Знали также, что должны сражаться до последнего вздоха. И раненые оставались в строю. Кое-как перебинтовывали раны и шли дальше в бой. Прижавшись к неуютной, каменистой земле, они отбивали одну атаку за другой.

Весь день не было ни минуты покоя, передышки. Белые бросали в контратаку свои резервные части, шли по трупам своих солдат. Но ярость красноармейцев была сильнее вражеских пушек, танков и огнеметов.

— Смерть Врангелю! Даешь Крым! — С этими возгласами бойцы бросались в рукопашную схватку.

Ночью бой чуть утих. Ротный Дубравин подполз к траншее, где стоял у пулемета Шмая-разбойник.

— Ну как, держишься? Еще немного осталось...

Пулеметчик, вытирая рукавом порванной шинели окровавленное лицо, не спеша ответил:

— Если продержались в этом аду сутки, то теперь нам уже ничего не страшно. Залезли мы Врангелю в самые пещенки...

Второй день прошел в напряженных боях. Перед окопами показались юнкера. Огонь был такой, что нельзя было голову поднять. Казалось, лавина врага сметет все на своем пути.

Уцелевшие бойцы снова вступили в бой...

Раздался оглушительный взрыв. Земля впереди пулеметчика, казалось, вздыбилась. Взрывной волной Шмаю отшвырнуло в сторону, и он потерял сознание.

Он не знал, сколько пролежал так, пока, будто сквозь сон, услышал голос Дубравина.

— Ты жив? Жив, товарищ Спивак? — тормошил его ротный. — Молодец, батя! Крепись!.. Ничего, ты не сильно ранен, — успокаивал он его, как успокаивают ребенка. — Сейчас придут санитары, отправим тебя в лазарет. Только держись...

Шмая-разбойник, несмотря на острую боль во всем теле, чуть приподнял голову, посмотрел на унылую степь:

— Как наши?.. А где мой пулемет?..

Он увидел неподалеку лежавший вверх колесами изрешеченный осколками, искорверканный до неузнаваемости пулемет. «Какое-то чудо, — подумал кровельщик, — железо погибло, а я еще жив...» Он попытался подняться, опираясь на плечо ротного. Тот подал ему баклажку. Раненый жадно глотнул.

— Полежи спокойно... Сейчас носилки принесут, — сказал ротный, снял с себя изорванную осколками, насквозь промокшую шинель и прикрыл его. — Полежи. Сейчас придут санитары. Молодец, что жив остался... А я уж ду-мал...

— Ты что-то говоришь, ротный? — напрягая слух, спросил кровельщик. — Кажется, жив. Может, и на этот раз выкарабкаюсь... А где все наши? Взяли? Взяли Перекоп?

— Взяли!.. Взяли!.. Беляки удирают во все лопатки... Ты лежи... Санитары! Куда вы запропастились? Носилки сюда! — закричал ротный.

— Взяли?.. Это хорошо... — прошептал раненый, тяжело дыша. — Это чудо!

Прибежал фельдшер, стал перевязывать его, ожидая санитаров с носилками. Но когда, перевязав ему плечо и руку, фельдшер, пожилой рыжеватый человек с длинными усами, достал из сумки ножницы, чтобы разрезать голенище сапога, наш разбойник замотал головой:

— Зачем резать? Сапоги испортишь!

— Жив будешь, новые сапоги тебе выдадут! — прервал его фельдшер.

— Легко сказать, выдадут! Не режь голенище, слышишь? Не режь, ходить мне не в чем будет...

— Никуда вы сейчас не пойдете, товарищ боец. А в госпиталь вас отвезут. — И, взглянув на санитаров, бросил: —

Берите его. В госпиталь!.. Станный человек! Сапог ему жаль, когда речь о жизни идет...

Фельдшер поднялся, взял свою сумку и побежал к другому раненому.

Когда Шмая-разбойник остался с двумя разбитными санитарями, он почувствовал себя увереннее, чем с суровым, немногословным фельдшером.

Он попросил помочь ему подняться. Постоял с минутку перебинтованный, пошатнулся, как пьяный, и, почувствовав, что ноги все же кое-как держат его, обрадовался.

Впереди мелькала худощавая фигура ротного Дубравина, который шагал со своими людьми в сторону объятый дымом дороги.

Санитары торопили его, с удивлением глядя на бледного, как стена, солдата, который вдруг попросил подать ему винтовку, валявшуюся тут же у дороги. Один из санитаров принес ему винтовку. Шмая попробовал ее поднять и, чувствуя еще силу в руках, улыбнулся.

— Вы, ребята, идите... Я сам дойду до лазарета. Идите... — сказал он, поправляя на голове грязную фуражку с маленьким козырьком.

— Да что ты! Куда?..

— Идите. Я сам доберусь... Вон уже просят носилки...

Они побежали к полю, а Шмая медленно поплелся, преодолевая жгучую боль, в том направлении, куда ушла его рота.

Опираясь на винтовку, как на палку, кровельщикковылял по обочине дороги. Вскоре с ним поравнялась повозка со снарядами. Он поднял руку. Повозка остановилась, и ездовой, лихо соскочив на землю, подошел к раненому:

— Ты куда, братишка? В госпиталь не сюда... Обожди, скоро подойдет санитарная карета и отвезет тебя. А ты идешь к фронту...

— Рота моя там, и я туда должен идти, — не сразу ответил Шмая. — Подвези малость, а там я сам своих ребят, ротного нашего Дубравина найду...

Ездовой пожал плечами:

— Что ж, подвезти не трудно. Но ведь ты ранен. Куда тебе такому на фронт...

Но Шмая настоял на своем и на повозке догнал свою роту.

Увидев его, Дубравин обомлел:

— Ты как здесь очутился, батя? Почему не дал себя

отвезти в тыл, в госпиталь? — сокрушался ротный. — Зачем тащишься за нами? Не видишь разве, что впереди делается?

— Ничего, товарищ ротный, я еще держусь на ногах... Вот окончится бой, войдем в Крым, тогда будем лечиться. Ну, и по рюмочке выпьем по этому случаю...

— Все это хорошо, но почему ты моего приказа не выполнил?

— Какого приказа?

— Немедленно отправляться в госпиталь! Зачем тащишься за нами?

— Вместе мы потрудились, товарищ ротный, Сиваш переходили, по холмам карабкались... Как же мне от вас отстать? Самое трудное уже позади, теперь легче будет... Как-нибудь дойду...

— Да, как-нибудь... Приказываю тебе... Возвращайся! Давай сейчас же в санпункт! С первой повозкой отправлю... Понял? Вот!..

— Ротный, я тебя умным человеком считал... Как же это? Вся армия идет вперед, в Крым, а я буду двигаться назад? Не к лицу это старому солдату!.. Обидно! Так что не гони меня. Я помаленьку вместе с вами пойду, ротный... Тяжело мне, конечно, все болит. Но уже осталось немного идти... Посмотри на себя! Ты ведь тоже весь изранен, а не уходишь. Посмотри на наших ребят, им разве легко? Товарищ ротный, не гони меня...

— Не называй меня ротным! — перебил его Николай Дубравин, кивнув в сторону горстки бойцов. Голос его был сдавлен, слезы стояли в глазах. — Сам видишь, что осталось от нашей роты... Какие люди погибли на Сиваше! Как они шли в атаку!.. Золотые ребята! Орлы! Понял? Вот...

— Понял, понял, — удрученно покачал головой Шмая, чувствуя, что голова у него будто раскалывается. Опираясь на винтовку и напрягая последние силы, он шел дальше следом за немногими уцелевшими красноармейцами своей роты.

— Не понимаю тебя, товарищ Спивак!.. — не мог успокоиться Дубравин. — Упрям ты, как черт... Тебе в госпиталь нужно... Ты почему моего приказа не выполняешь? Я ведь еще ротный... Ну поезжай, друг, прошу тебя!

В его голосе были мольба, приказ, просьба...

— Пока ноги меня держат, не уйду. Есть ведь и другой приказ: «Дашь Крым!»

— Ты свой долг выполнил. Все равно нашу роту скоро выведут из боя... Сам понимаешь, не с кем идти мне в бой...

Шмая чувствовал, что ему становится все тяжелее идти.

Бинты уже промокли от крови. Сапоги весили, кажется, сто пудов, и он уже жалел, что не дал разрезать голенище, — может быть, легче было бы теперь. Он никогда и никому в своей жизни не завидовал. Но сейчас до боли остро завидовал красноармейцам, легко идущим вперед. А по дороге мимо него шли свежие части, только что брошенные в прорыв.

Солнце, пробившись сквозь тучи, начало пригревать. Пожелтевший бурьян на краю дороги словно ожил, изменил свою окраску. Стало легче дышать. Погожий осенний день был лучшей наградой промокшим, вспотевшим бойцам за их ратный труд.

Как ни старался ротный Дубравин двигаться быстрее со своей горсткой красноармейцев, но это ему не удавалось. Наступление развивалось слишком быстро, чтобы можно было не отстать от передовых частей. К тому же его задерживал раненый, который никак не давал уговорить себя отправиться в тыл, в госпиталь.

По лицу Шмаи ротный видел, что силы его иссякают и он вот-вот упадет. Нужно немедленно отправить его!.. Дубравин остановил своих людей, а сам всматривался, не идет ли по дороге какая-нибудь повозка в тыл. Уговоры не помогут — он силой посадит его и отправит!..

Но, как назло, ни одна повозка не шла в обратную сторону, все двигалось вперед, все спешило, скакало, несло туда, где сотрясалась земля, где бушевало пламя и гремели раскаты орудий.

Послышался рокот мотора. Тяжело пыхтя и оставляя за собой густые клубы дыма, пыли, на гору взбирался автомобиль. По равнине он понесся быстро, стремительно. Поравнявшись с горсткой бойцов Дубравина, машина остановилась. Из нее вышел коренастый человек в длиннополой, хорошо пригнанной шинели. Бойцы сразу узнали командарма, мгновенно вскочили с земли и вытянулись перед ним. Кровельщик, узнав того милого и добродушного человека, который недавно сидел с ним у костра и ел его кашу, весь просиял, вытянув руку, взял винтовку «по-ефрейторски» и приветствовал высокое начальство.

Командарм окинул его внимательным взглядом, кивнул своему молодому адъютанту: мол, былого солдата сразу узнать можно, — а потом воскликнул:

— Гляди, старый знакомый! — Добрая улыбка осветила его озабоченное усталое лицо. — Ну что ж, скоро будем в Крыму кашу твою пробовать. Помнишь, обещал? — проговорил Фрунзе, не сводя с него глаз. — А где это тебя ранило?..

— На Сиваше немного царапнуло, — с трудом ответил наш разбойник.

— Немного царапнуло? — покачал головой командарм. — Нет, крепко тебя ранило... И почему ты здесь, а не в госпитале? — строго спросил он, ища глазами старшего.

— Наступаем, товарищ командарм. Приказ выполняем: «Даешь Крым! Смерть Врангелю!»

— Я тебе дам «Даешь Крым!», — притворно рассердился Михаил Васильевич. — Тебе срочно необходимо отправляться в госпиталь! Почему ты здесь? Где твой командир?..

Дубравин, на ходу оправляя грязную, промокшую шинель, подскочил, вытянулся перед командармом и какое-то мгновение стоял растерянный, не зная, что ответить. Но, овладев собой, сказал:

— Ротный командир Дубравин слушает, товарищ командарм!

— Ротный командир Дубравин? Что это за командир, который не бережет своих людей? Почему не отправили красноармейца в госпиталь?

— Я приказывал ему... Не выполняет приказа! Сам передал его санитарам, а он удрал от них и догнал нас... Три раза приказывал, а он не выполняет... С нами хочет быть... — заикаясь от волнения, отвечал ротный.

— Это никуда не годится! — бросил командарм, глядя вдаль, откуда доносился усилившийся гром наступления. — Значит, не выполняешь приказа, солдат? Нехорошо, очень плохо...

— Товарищ командарм! Вы на него не сердитесь, — вмешался молодой русский солдат, на землистом лице которого пробивался первый пушок. — Он никогда не нарушал дисциплину. Спивак... Он первым переправился через Сиваш и так чесал беляков из своего пулемета, что дым стоял столбом, и танк подбил гранатами... Он и ротный Дубравин... Его там ранило, но он не вышел из боя. Недавно его снова хлопнуло, а он не хочет отставать от роты. Не надо его наказывать. Он у нас настоящий герой!..

— И за Турецким валом, — поддержал бойца другой, — он перебил немало юнкеров... Танк поджег... Боевой он у нас! Только жаль, что в таком состоянии теперь...

Командарм внимательно слушал, участливо оглядывая горстку измученных, насквозь промокших солдат, их взволнованного командира, который отрывисто рассказывал, как его бойцы штурмовали проволочные заграждения, как Спивак смело шел в бой...

Переведа взгляд на раненого, командарм приказал:

— Немедленно отправить его в госпиталь!

— А с совестью как же? Совесть не позволяет в такой момент отстать от своих. Видите, сколько нас осталось? А была рота...

— Опять! Так ты пойдешь в госпиталь или нет? — перебил Шмаю командарм.

— Что ж, пойду, если приказываете... Только... Все идут вперед, а я — назад? Стыд и срам! К тому же я терпеть не могу докторов и фельдшеров... Я у них в руках уже много раз побывал. Еле живой вырвался... Надо в атаку идти, а они у тебя пульс щупают, температуру меряют... Чудаки, скажу я вам...

— Как это — чудаки? — улыбаясь, спросил командарм. — Бывалый солдат, а говоришь глупости. Как же можно без медиков обойтись? — И, подумав, добавил: — Я сам когда-то был фельдшером...

Тут Шмая совсем растерялся:

— Что вы! Не может быть!..

— Может! — прервал его Фрунзе. — Во время империалистической был на фронте фельдшером, людей спасал...

Шмая пылко взглянул на него и, пряча глаза, негромко сказал:

— Фельдшером, признаться, я больше уважаю, чем докторов... Если приказываете, уж пойду к ним... Пускай...

— Попробуй не пойти! — погрозил ему командарм. — Подлечишься и снова придешь в свою роту... Помнишь, как ты меня тогда, у Сиваша, кашей потчевал и отругал, что не было со мной ложки?..

— Так точно! Но я ведь не знал, что вы такой большой начальник... Извиняюсь!

— Чего там извиняться! Правильно отругал. Заставил ты меня тогда краснеть...

— Он поджег танк! — вмешался ротный Дубравин. — Своим пулеметом много раз выручал роту из беды...

— Ну и молодец! — сказал Фрунзе. — Отправьте его в лазарет и представьте к боевой награде. Всех отличившихся бойцов ваших представьте...

— Понял!.. Вот... — взволнованно откозырнул Дубравин

и посмотрел вслед автомобилю командарма, который быстро понесся туда, где с новой силой нарастал бой.

Шмая-разбойник с трудом держался на ногах, опираясь на ствол винтовки. Он смотрел на облака пыли, в которых исчез командарм, еще чувствуя тепло его руки и слыша его мягкий отцовский голос.

«Почему он сказал ротному, чтоб представил к награде? — думал Шмая. — Верно, хотел успокоить: видит же, что не жилец я на этом свете...»

Голова закружилась, в глазах потемнело, и он начал опускаться на придорожный камень. Но Дубравин успел подхватить его.

— Держись, товарищ Спивак, — умолял он. — Слышал, что Фрунзе сказал? Жить тебе надо... Скоро домой поедешь, с орденом!.. К награде приказал представить... Тебя, Азизова, Левчука, Маргаляна, Сидорова представим... Вы заслужили!

Красноармейцы окружили Шмаю тесным кольцом. Кто-то поднес к его потрескавшимся губам баклажку с водой. На мгновение силы к нему возвратились, и он открыл глаза, окинув затуманенным взглядом своих боевых друзей.

— А так мне хотелось дойти с вами до конца...

Он с трудом выговорил эти слова и соскользнул на землю, услышав острый запах крови и полыни, раскаленного железа, стали и гари, который доносил сюда соленый ветер с Сиваша. Над ним что-то кричали товарищи, брызгали на него из баклажек водой, но он уже ничего не слышал. Перед ним, как в тумане, возникли Ингулец, домик за каменной оградой, жена с малышом на руках. Она шла навстречу ему, сияя от счастья, а он не мог подняться с земли...

Шмая потерял сознание и очнулся только тогда, когда прибыла санитарная повозка и товарищи стали укладывать его на носилки.

— Куда вы меня тащите, хлопцы? Ротный... Товарищ Дубравин! Что ж это такое? Рассчитались со мной? Разве я умираю?..

— Зачем глупости говорить? — услышал он хриплый голос ротного, который целовал его в колющую щеку. — Как это — умирать? Наша взяла! Перекоп прошли, белые гады бегут. Крым вот-вот уже наш! Победа! А ты — умирать! Жить надо, браток! Понял? Вот...

В ДОБРЫЙ ЧАС!

Прошло уже немало времени с тех пор, как Шмая-разбойник вернулся домой из симферопольского госпиталя, но и до сих пор сон его не берет. Стоит ему закрыть глаза, как перед мысленным взором возникает ротный Дубравин, и Шмая начинает на него злиться, что тот гонит его в лазарет в то время, когда вся рота, полк, армия движутся вперед, к Крыму...

По старой привычке Шмая встает до рассвета, берет толстую палку, без которой ему все еще трудно ходить, и выходит в палисадник, садится на заваulinke.

Солнце только-только взошло. На траве изумрудом сверкает роса. Беспокойно колышутся и шумят прибрежные камыши. Издалека доносится многоголосое щебетание проснувшихся жаворонков. Первые лучи солнца озаряют бескрайние зеленые поля, сливающиеся с горизонтом.

Шмая оглядывается вокруг. Ему хочется запомнить рождение этого золотого утра.

Он жмурит глаза, как бы желая разглядеть в вышине голосистых пернатых. Давно не был он здесь, и край этот кажется ему сейчас еще красивее, милее, чем прежде.

Гимнастерка на нем распахнута, и мягкий ветерок, налетая с реки, освежает его волосатую грудь. Рядом шумят молодые топольки. Ого, как они вытянулись! А ведь не так уж много времени прошло с тех пор, как он их посадил. Это было незадолго до того, как он пошел к Перекопу, а они так буйно разрослись, красавцы!

Шмая разглядывает заросшую бурьяном, покосившуюся ограду из серого камня. Крышу тоже уже пора чинить, а то еще скажут: «Сапожник ходит без сапог, портной — без штанов, а кровельщик сидит под дырявой крышей...» Соседи уже не раз невзначай напоминали ему о своих нуждах: мол, будь он здоров, много работы нашлось бы...

Однако пока и говорить об этом нечего. Жена бережет его как зеницу ока, даже ведро воды принести не дает. Еле дождалась его, бедняжка. Дважды в госпиталь к нему ездила, глаза свои выплакала, пока дожидая до того дня, когда удалось его вырвать из рук врачей, которые нашли у него еще три осколка и норовили снова оперировать его, который раз за последнее время...

— Чудаки вы! — говорил наш разбойник врачам. — Жалко вам, что ли, если в моем теле немного железа останется? Крепче на ногах держаться буду...

И вот он, наконец, дома. Колония еще сладко спит. На дворе свежо и так тихо, что, кажется, можно услышать, как скрипит жук, ползая по прошлогодним пожелтевшим листьям.

Шмая достает из кармана кисет, свертывает сигарку, хочет закурить, как вдруг слышит стук колес и видит, что к его палисаднику подъезжает бричка, с которой слезают Авром-Эзра и Хацкель.

— Доброе утро! С возвращением тебя, дорогой сосед! Как поживаешь? Как здоровье? — участливо спрашивает Авром-Эзра, протягивая кровельщику руку. Но Шмая, делая вид, что не замечает этого, отворачивается в сторону.

Сконфуженный Авром-Эзра сунул руку в карман длинного пиджака, сказав при этом:

— Хороша нынче погода, не правда ли? Золото, а не погода. Это ты нам привез такую!..

Шмая-разбойник сердито взглянул на непрошенных гостей:

— Не знаю, погодой не торгую...

Он поднялся, сделал несколько шагов вдоль завалянки и снова опустился на прежнее место.

— Да тебе, голубчик, верно, еще трудно ходить... Все еще не можешь прийти в себя после Врангеля, холера ему в бок?.. Сколько наших ребят он погубил!.. Боже, боже...

Кровельщик молча пожал плечами. Тогда рядом с ним уселся Хацкель. Наряженный по-праздничному, в новом картузе и хромовых сапогах, он выглядел преуспевающим дельцом. Подмигнув Шмае, он с улыбочкой сказал:

— Ты что ж, земляк, уже своих не узнаешь? Хоть Фрунзе и дал тебе золотой орден, но господа бога ты еще за бороду не схватил!.. Помолчав, он добавил: — А я думал, разбойник, что ты еще спишь. Жена соскучилась, молодая, кровь еще играет...

— Ну ты, невежа, прикуси язык! Не больно-то расхотелось, не на ярмарке! — рассердился Авром-Эзра на своего зятя. — Грубиян этакий!.. Разве так с красным героем разговаривают?..

Шмая-разбойник молча курил, будто все это к нему никакого касательства не имело.

Авром-Эзра вынул из кармана коробку папирос «Сальве» и предложил соседу:

— Брось, Шмая, эти корешки! Закури мои. Пожалей свое сердце и легкие! Послушай меня, закури настоящую папироску...

— Спасибо за ласку! — отрезал Шмая, глядя в сторону.

— Странный ты человек. Шмая! — заволновался Авром-Эзра. — Почему ты сердисься? Мало того, что вы тогда нас без ножа зарезали, забрали лучших лошадей, а обратно даже подков не привезли, так еще дуешься! Как индюк все равно...

Шмая резко поднялся с места, подошел к калитке и стал возиться с засовом, но Авром-Эзра, улыбаясь, подошел и положил руку ему на плечо:

— Ну хватит, Шмая, хватит! Кто старое помянет, тому глаз вон! Мы тебе все прощаем... Пострадал, несчастный... Слава богу, что хоть вернулся живой. — И, указав на бричку, добавил: — Мы привезли тебе мешочек муки, немного мяса, картошечки. Бери и поправляйся. Ведь ты на человека не похож, одна тень осталась...

В доме у Шмаи не было ни горсточки муки, а о мясе и говорить нечего, но он и глаз не поднял на бричку, повернулся спиной к непрошеному гостю.

— Эй, братец, брось-ка свои солдатские штучки! — вмешался Хацкель. — Подумаешь, экая шишка! Ты не крути, бери продукты и еще спасибо скажи! Не забывай, что Рейзл у тебя такая бабенка, которая может пять молодых девчат за пояс заткнуть... Ей нужен крепкий мужчина, а без харчей ты осрамишься перед нею! — хитро подмигивая, рассмеялся он.

Наш разбойник насилу сдержался. Но увидев, что Авром-Эзра уже тащит мешки к его порогу, гневно крикнул:

— Забирайте свое добро! Мне не нужны ваши подачки! Тоже мне благодетели нашлись...

На шум выбежала Рейзл и, увидев неожиданных и непрошенных гостей, испугалась:

— Что случилось? Что за крик?

— Ничего, пустяки! — примирительно отозвался Авром-Эзра и, обращаясь к ней, продолжал: — Возьми, дочка, тащи все в дом. Это вам от меня... Разбогатеете когда-нибудь, отдадите. Если нет, тоже не беда. Где наше не пропадало!.. Ведь мы же свои люди, соседи. Пусть будет уже конец нашим ссорам, давайте жить в мире... Мы вам сделаем добро, вы — нам, легче все-таки будет. А время нынче трудное...

Забирай все быстрее, корми своего мужа и детей... Да, для наследника своего можешь брать у меня молоко, пусть пьет на здоровье...

Рейзл стояла в недоумении, поглядывая то на мешки, то на мрачного, насупившегося мужа, и не знала, что делать.

— Чего ты еще раздумываешь? Тащи, чернявая, все в дом и свари что-нибудь своему солдату и детям. Ведь я-то хорошо знаю, что у вас в доме хоть шаром покати.

Рейзл подошла, взялась было за мешок, но Шмая раздраженно крикнул:

— Не тронь! Не нужна нам их милостыня, Рейзл! Не притрагивайся к этим паскудным мешкам!..

— Это не милостыня, Шая, мы им все вернем... Только ты на ноги станешь...

— И слушать не хочу! Ты уже, кажется, все забыла? А почему они тебе не хотели одолжить ведерко картошки, когда я был под Перекопом? Мальчики у них скот пасли, а для малыша молока не хотели дать. Кричали: «Не хотим выкормить на свою голову нового разбойника!..» Пока я жив, обойдемся без них. Их кусок станет мне поперек горла. Ведь это ваши слезы! Ничего, без хлеба сидеть не будем...

Рейзл грустно посмотрела на мешки, сиротливо лежавшие возле брички, и молчала, так как хорошо знала, что все ее уговоры ни к чему не приведут.

— С ума сошел!.. Ему теперь и слова нельзя сказать! — пожимая плечами, тяжелой, медвежьей походкой подошел к ней Авром-Эзра. — Люди зверями становятся... Ведь ты хорошо знаешь, Рейзл, председателя сельсовета Овруцко-го? И ты, Шмая, его знаешь. Скажи, пожалуйста, дорогой, чего он ко мне пристал, как банный лист? Последнюю рубашку с меня снять хочет? Понимаешь, посреди ночи посылает за мной. Слыханное ли это дело? Приспичило ему! Требуется, чтобы я дал хлеб для демобилизованных солдат и вдов... То подавай ему семена для бедняков, то сено для воинской части... Чего доброго, еще потребует, чтоб я жену свою отдал... Вот злодей на мою голову навязался! Хуже батьки Махно. Каждый раз что-нибудь новое выдумывает... Понимаешь, когда был голод, некоторые колонисты ленились обрабатывать свою землю... Ну, я ее у них откупил, дал им хлеба, денег... А теперь наш начальник требует, чтобы я вернул им эту землю. Разве это справедливо? Как же можно требовать обратно то, что я купил за свои кровные деньги, за свой хлеб? Известно ведь: что с воза упало, то пропало. Это и маленький ребенок знает...

Жить он нам не дает, изверг. Уж я пробовал с ним и так и этак — все, как горох об стенку. Затвердил, как попугай: «Вы должны подчиняться Советской власти, иначе хуже будет!» Ах ты господи, и почему это ему на фронте только одну ногу оторвало?!

— А чего вы, собственно, от меня хотите? — со злостью перебил его Шмая. — Зачем явились?

— Проведать тебя приехали... С благополучным возвращением поздравить. Ну, а к слову пришлось, вот и рассказываю... Ведь вы с ним, как говорится, закадычные друзья. Одно твое слово, и он нас оставит в покое. А что для тебя значит одно слово? Ты ведь любишь много говорить. Вот я и прошу: скажи ему одно слово! Тебя он послушает... Теперь, когда тебе нацепили, как это называется, большой орден, так ты же для них шишка!..

— Вчера он снова вызвал нас в Совет, председатель твой безногий, — вмешался в разговор Хацкель. — Что случилось? Что опять? А вот что: мало того, что он заставляет нас вернуть колонистам нашу землю, так еще хочет, чтобы мы дали семян, а в придачу — волов и лошадей для работы. Дай, значит, ключи от шкафа да еще покажи, где деньги лежат! Я начал говорить ему, что это настоящий грабеж, а он на меня костылями замахнулся. Если б не мой тесть, он бы, ей-богу, мне череп размозил! Ну, видали такого идиота? Будь человеком, разбойник, поговори с ним...

— Так вот, оказывается, зачем вы сюда пожаловали? — вспылал Шмая. — Ну-ка, катитесь отсюда ко всем чертям собачьим с вашими мешками! Вон отсюда, чтоб я вас здесь не видел!

— Послушай меня, разбойник, не горячись! — умолял Авром-Эзра. — Давай жить в мире. Скажи твоему Овруцкому, пусть перестанет нам голову морочить. Говорят ведь: не плюй в колодец... Авось и тебе от нас что-нибудь понадобится...

— Мне от вас? — уже спокойнее проговорил Шмая. — Видно, не знаете, за что меня разбойником прозвали. Никогда в жизни мироедам не кланялся...

— Э, кто-кто, а я тебя, кажется, хорошо знаю, — снова вмешался в разговор Хацкель. — Знаю как облупленного...

— Ай, боже мой, зачем ссориться? — смиренно качая головой, просил Авром-Эзра. — Соседи не должны быть врагами. Это трех перед богом... Ведь в нашем священном писании так прямо и сказано. А мы ведь с тобой единоверцы...

— Почему вы не вспомнили о священном писании раньше, когда людям надо было помочь? — еще больше разозлился наш разбойник. — И почему вы не вспоминаете, если уж вы такой знаток священного писания, слова: «Зуб за зуб, око за око»? Эх вы!.. Убирайтесь-ка вон отсюда, убирайтесь из моего двора, пока я еще не рассердился.

Авром-Эзра зло рассмеялся:

— Стало быть, ты гонишь нас, Шмая-разбойник? Вот это мне нравится! В таком случае могу тебе напомнить кое-что. Двор этот давно уже не твой, а наш. Когда ты на Врангеля пошел, твоя жена взяла у меня четыре пуда ржи под этот дом... Должок она до сих пор не вернула, стало быть, по закону дом и двор уже наши. Что ты на это скажешь?

Глаза Шмаи вспыхнули ненавистью. Он замахнулся палкой:

— Если вы сейчас же не уберетесь ко всем чертям, плохо вам будет!

— Смотри, пожалуйста, совсем как Овруцкий! Два сапога пара! — с притворной улыбочкой проговорил Авром-Эзра. — Думаешь, я тебя испугался? Я не из пугливых! Я еще могу укусить, и так укусить, что долго помнить будешь! Пошли, Хацкель! Разбойник разбойником остается!

Лицо Цейтлина исказилось от злости. Тонкие губы сжались и посинели. Большие бычьи глаза вышли из орбит и налились кровью:

— Лучше с нами не заводишься! Не забудь, с кем имеешь дело!.. Не забудь, что сидишь на нашей земле. Твоя власть далеко, а бог высоко. Собирай, Хацкель, мешки и гайда, поехали! Он еще пожалеет, разбойник!..

Авром-Эзра вскочил на подножку брички и бросил:

— Еще придет свинья к моему корыту...

— Не дождетесь, кровопийцы! — плюнул Шмая на землю и, разгневанный, пошел в дом.

— Шая, к чему тебе ссориться с этими собаками? — тихо сказала Рейзл. — Ведь ты знаешь: пока все еще у них в руках, и к ним приходится идти на поклон...

— Ничего, вечно так не будет! Скоро все возьмем в свои руки... Думаешь, зря мы кровь проливали?

— Пока суд да дело, они все же на коне, — ответила она. — А у кого сто рублей, тот и сильнее...

— Ты так думаешь? Как это ты сказала: «У кого сто рублей, тот и сильнее»? — повторил Шмая и, помолчав, добавил: — Глупенькая ты у меня! Так было когда-то, а теперь

будет по-иному... Люди в тюрьмах сидели, на каторгу шли, в Сибирь... Михаил Васильевич Фрунзе три раза был присужден к смертной казни... Люди на фронтах воевали, под Перекопом гибли, чтобы все стало иначе, по справедливости чтоб...

— Ну что ж, я с тобой спорить не стану,— примирительным тоном сказала жена.— Пусть будет по-твоему! Но все же надо было бы тебе зайти в Совет. Насколько я поняла из слов рыжего дьявола и Авром-Эзры, там уже начинают распределять семена и возвращать колонистам их землю. Может, и нам отдадут... Ты заслужил, тебе первому полагается...

— Почему же первому? — улыбнулся Шмая.— Разве теперь мало таких, как я? А сколько погибло, и вдовы, дети остались... Сам Овруцкий тоже ногу в бою потерял. Я такой же, как все, и как будет со всеми, так будет и со мной, с нами...

В колонии стоял дым коромыслом. Всюду спорили, ругались, кричали. Однако шумнее, чем везде, было, пожалуй, в сельсовете. С утра до поздней ночи здесь толпились люди.

Когда в это утро сюда зашел Шмая-разбойник, все обрадовались. Его окружили, расспрашивали, как он себя чувствует, скоро ли бросит палку и возьмется за работу. Молодые парни восторженно рассматривали сверкающий на его гимнастерке боевой орден.

Отбиваясь от любопытных, Шмая с трудом протиснулся в битком набитую людьми комнату, где в густых облаках махорочного дыма сидел над бумагами председатель Совета Овруцкий.

— Ого, какой гость! Давно не заходил сюда...

— Легок на помине!

— Присаживайся, дорогой! — протягивая ему руку, указал на стул Овруцкий.— Только осторожно садись,— добавил он с улыбкой,— а то стулья у нас на курьих ножках... Наш Азриель-милиция не может раздобыть у кулачья несколько приличных стульев для сельсовета. Стесняется, как красная девица. А они нас не стесняются, гады...

Он кивнул в сторону долговязого Азриеля, забившегося в угол возле печки. На рукаве у него была красная повязка, а на плече — старое ружье, из которого, видно, лет сто никто уже не стрелял.

Огорченный милиционер смущенно пробормотал:

— Ну что ж я могу сделать? Где я вам возьму стулья?

— Слыхали? — спросил Овруцкий. — Слыхали, чтобы милиция задавала такие детские вопросы? Сбежал бы к Цейтлину и, так сказать, одолжил бы несколько стульев, а может, и бархатных кресел... Там их полным-полно. Зашел бы вежливенько и дипломатически потолковал бы с ними, чтоб, конечно, не было никаких нарушений закона... Тебя нынче все обязаны уважать!

— Да, зайдешь туда! Легче зайти в клетку к тигру, — удрученно ответил Азриель. — Хацкель, зятек, мне уже заявил при людях, что, если я еще раз переступлю его порог, он мне голову оторвет... И еще такое сказал, что даже повторить неудобно...

— Кому это он так сказал? Тебе, представителю власти? — весело расхохотался Овруцкий. — Ну, брат, знаешь, с такой милицией мы далеко не уедем. Какая наглость! Так и сказал?

— А что ж, я буду вас обманывать? Так и сказал.

— А ты? Что ты ему ответил?

Азриель понурил голову. Неловко все-таки, что председатель допрашивает его в присутствии стольких людей.

— Ну, говори!

— Что ж я ему мог ответить? — с обидой в голосе проговорил тот. — Пригрозил винтовкой и сказал, что нужно вежливо разговаривать с представителями власти. Поинтеллигентному, не как балагула... Не то, сказал я, власть так возьмет вас за жабры, что и дух из вас вон...

— Так и сказал или это ты только здесь такой храбрый?

— Скажи правду, — вмешался Шмая, — верно, просто испугался их?

— Ладно уж... Еще раз туда пойду! — неохотно поднялся с места Азриель и, взяв с собой нескольких добровольцев, снова отправился на дипломатические переговоры.

Овруцкий смотрел им вслед и улыбался. Затем, повернувшись к Шмае, сказал:

— Что поделаешь, когда всем и во всем нужна нянька... Всякими мелочами приходится заниматься. Кулачье наше совсем распоясалось, а мы иной раз бываем так вежливы, что самим противно!.. Как хорошо, что ты пришел! — хлопал он Шмаю по плечу. — Ну-ка, садись поближе... Мы вот ломаем себе голову, не знаем, как быть. Земли у нас мало, семян — и того меньше, чем обрабатывать ее, никак не придумаем. Вот и попробуй на минутку стать Соломоном

мудрым и посоветуй, как выйти из положения, сделать так, чтобы все были довольны...

Шмая с минуту просматривал список, и на лице его появилась добродушная улыбка. Он разгладил усы, сдвинул фуражку на затылок и сказал:

— Да-а... Тут и Соломон мудрый, пожалуй, ничего не придумает. Сложная арифметика... По этой части я не сильно силен. Рассказывают, однако, такую историю...

Но наш разбойник не успел начать свой рассказ, как в комнату вбежал запыхавшийся Азриель. Он раскрыл рот, но не мог произнести ни слова. На нем лица не было. Люди испуганно смотрели на него, а он только размахивал руками.

— Ну, короче, Азриель! Что случилось?! — разозлился Овруцкий. — Говори толком!..

— Ой, не спрашивайте! Там бьют, режут!..

— Где бьют? Кого режут?

Овруцкий взял костыли, вышел из-за стола:

— Ну, что случилось?

— Авром-Эзра... его зятек... и целая орава налетели, как саранча, на поле. Там творится что-то ужасное... Старому Гдале уже голову проломили...

— А милиция куда смотрела?

— Какая уж милиция! Один с ружьем, а трое безоружных... Тоже мне милиция! Курам на смех!

— Пошли, товарищи, — отрывисто сказал Овруцкий и вышел на улицу. За ним бросились все, хватая на ходу, что попадалось под руку: поленья, камни, доски.

Посреди поля, возле разбросанных мешков с семенами, стоял, широко расставив ноги, с оглоблей в руках Авром-Эзра. С головы его свалилась фуражка, и на макушке торчала черная атласная ермолка. Глаза его горели, лицо налилось кровью. Длинная всклокоченная борода развевалась по ветру. Он был страшен в своей ярости, и, казалось, никто не осмелится подойти к нему.

Рядом с ним стоял Хацкель, а за его спиной виднелось несколько подвыпивших молодчиков с дубинками.

Заметив колонистов, спешивших сюда, они застыли в настороженном ожидании и молча смотрели на приближавшуюся толпу, на Овруцкого, который подпрыгивал на своих костылях, стараясь не отстать от остальных.

Овруцкий подошел к лежавшему на вспаханной земле изувеченному Гдале и, опершись на костыли, смотрел на безжизненное лицо старого колониста, на женщин, которые перевязывали его. Он побагровел от злости и с трудом сдер-

живался, чтобы не выместить сейчас же весь свой гнев на бородаче в ермолке.

Все молчали, стиснув зубы.

И тут из толпы вышел Шмая-разбойник. Окинув ненавидящим взглядом разъяренного, но все же растерявшегося Цейтлина, он сказал, стараясь сохранить спокойствие:

— Вы, господин Цейтлин, кажется, недавно говорили, что надо жить в мире и согласии... Люби, мол, ближнего и так далее. В священном писании будто так написано... Злодей в ермолке! — не сдержался кровельщик и плюнул в его сторону.

— Надоели! Надоели вы мне хуже горькой редьки, голодранцы! — рявкнул Авром-Эзра. — Я вас своим хлебом и картошкой все годы кормлю. Я для вас ничего не жалею. Кто приходит с протянутой рукой, тому и даю... А вы меня разоряете! Знайте, — кивнул он в сторону лежавшего на земле старика, — так будет со всеми, кто тронет мою землю, мое добро!

— Все у тебя награбленное! Все это — наш пот и наша кровь! — слышались возгласы в толпе.

— Искалечил человека! А за что?

— Убить его мало!

— В тюрьму убийцу! — раздались гневные голоса, и уже трудно было сдерживать колонистов, бросившихся к Цейтлину.

— Стойте, люди! — преградил им дорогу Овруцкий. — Судить его надо, а не пачкать об него руки...

— Я никого не боюсь, Овруцкий! И не страшай меня! — крикнул срывающимся голосом Авром-Эзра. — Никому не отдам свое добро! Только через мой труп!.. Но и мертвый я не отдам вам ничего, запомните это навсегда! Убью, своими руками убью!

Овруцкий сделал несколько шагов по направлению к возбешенному старику и негромко сказал:

— Все это мы уже слышали! Ваш крик никого не испугает. Мы уже пуганные... Кстати, может быть, вы на минутку бросите свою тросточку? — кивнул он на оглоблю, которую Авром-Эзра не выпускал из своих крепких рук. — Бросьте ее, говорю! Кого запугать собираетесь? Весь народ? — показал он на возмущенную толпу, которая готова была растерзать Цейтлина, его зятя и прятавшихся за спиной Хацкеля подвыпивших молодчиков.

Овруцкий так посмотрел на своего бывшего хозяина, что

тот, не выдержав его взгляда, отшвырнул в сторону оглоблю.

И тут произошло неожиданное. Авром-Эзра весь съёжился, заплакал и стал бить себя кулаком в грудь:

— Разбойники! Грабители! Откуда вы взяли на мою голову? Если б эти голодранцы пришли к тебе, Овруцкий, отнимать твою землю, твое добро, ты бы молчал? Если б сеяли твоим зерном, пахали твоими волами, ты молчал бы, скажи? А я должен молчать? Знай, кровь прольется!..

— Уж мы на своем веку видали, как льется кровь,— прервал его Овруцкий,— и сами немало крови своей пролили... А вот вы только пили нашу кровь! — И, замахнувшись на него костью, крикнул: — Убирайтесь вы к чертовой матери, чтобы и духу вашего здесь не было!..

— Вон с нашего поля! — загалдела толпа.

Первыми побежали пьяные наемники, побросав дубинки и железные палки. За ними двинулись Авром-Эзра и Хацкель.

Люди с презрением смотрели им вслед, бросая вдогонку крепкие словечки.

Увидев, что еле живого Гдалью уже положили на воз, Овруцкий громко сказал:

— Они заплатят за твою кровь, Гдалья, дорого заплатят!..

И он направился к разорванным мешкам с зерном, возле которых сгрудились колонисты.

— Люди, товарищи,— крикнул он.— Чего вы стоите? Уже полдень, смотрите, где солнце! Пора приниматься за работу!..

— А если эта банда опять сюда явится? — слышался чей-то робкий голос.

— С ними опасно шутить... Они подкупят босяков, тогда нам несдобровать!

— Очень мы их испугались! — оживился Шмая-разбойник.— Первую атаку отбили? Отбили! А если они снова сюда сунутся, мы им печенки отобьем...

— Шмая, дорогой, ты нам в сельсовете, кажется, какую-то историю рассказать хотел... — подошел к нему кто-то из молодых парней.

— Что вы! Кажется, такой интересной истории,— улыбнулся кровельщик, кивнув в сторону поселка, куда удрал Авром-Эзра со своим зятьком,— мне не рассказать. Да не думайте вы о них, запрягайте волов, лошадей и сейте на здоровье! Нечего бояться, больше они сюда не полезут...

— Мне тоже так кажется! — поддержал его Овруцкий. — Смелее! Все это ваше... А если еще не все, так скоро все будет вашим, народным!..

— Да... Бедняга Гдалья тоже так думал... Трудно жить рядом с волками...

— Конечно, невесело... — сказал Овруцкий. — Они еще покажут, и не раз, свои волчьи клыки... Но волков бояться — в лес не ходить... — И, окинув взглядом степь, добавил: — Ну, пора браться за дело!

Люди сперва робко, а потом смелее принялись запрягать волов, лошадей. Острозубые бороны взрыхлили влажную, недавно вспаханную землю, и золотистое зерно упало в грунт.

Окруженный оживленной толпой, Шмая-разбойник стоял, опершись на палку, и взволнованным взглядом провожал парней, ушедших с боронами вперед.

После долгой паузы он сказал:

— Хотя я не хлебороб, а мастеровой-кровельщик, но скажу вам, люди добрые, что на эту картину куда приятнее смотреть, чем на поле боя... Тут как-то веселее.... — И, добродушно улыбнувшись, добавил:

— В добрый час!

— В добрый час, люди! — слышались дружные возгласы.

Азриель-милиция тоже расхрабрился. Он бегал по полю, где еще недавно гремел голос Авром-Эзры, и собирал трофеи — дубинки, оглобли, железные палки...

— А это зачем? — спросил его Овруцкий.

— Даже странно, что вы задаете такие вопросы, товарищ председатель, — удивленно ответил милиционер. — Я сейчас составляю на этих бандитов протокол, а весь их инвентарь отдам в суд вместе с протоколом как вещественное доказательство. Доказательство того, что они таки большие сволочи, эти живодеры!

Овруцкий похлопал его по спине:

— Молодец, Азриель! Теперь я вижу, что наша милиция уже начинает действовать!..

Глава девятнадцатая

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

— И бывают же такие люди, которые не терпят соседей. Для них сосед, что бельмо на глазу, — так начал сегодня разговор наш разбойник. — А если хорошо разобраться, то

выйдет, что половина человечества состоит из соседей. Как же, скажите, можно их не уважать?.. Иные, услышав слово «соседи», сразу вспоминают о ссорах на кухне, на меже огорода или виноградной плантации, о размолвках, скандалах, драках. А я считаю, что без соседей было бы скучно на свете. Я, собственно говоря, даже не представляю себе, как можно жить без соседей!

Случается, на душе у тебя кошки скребут, грустно тебе и тоскливо... Кто придет доброе слово сказать? Соседи! У вас в доме какое-то торжество. Кто первый явится чарку выпить, разделить с тобой хлеб-соль? Конечно, соседи, чтоб они были живы и здоровы! Поссоришься ты иной раз с женой. Кто масло в огонь будет подливать? Опять-таки соседи!

Как же можно их не любить?

К своим соседям я претензий не имею, никакой вражды к ним не питаю. Правда, это не относится к Цейтлину, Хацкелю и их банде. Просто ума не приложу, как их земля носит! Эти соседи только о том и думают, как бы содрать с вас шкуру, как бы вытянуть из вас все жилы. Благо, Советская власть не дает им разгуляться, а то туго пришлось бы нашему брату. Больше всего они проклинают нашего Овруцкого и, конечно, меня. Если б они могли утопить нас в ложке воды, охотно бы это сделали. Дураки! Думают, видно, что, кроме нас, нет людей, которые могут их согнуть в бараний рог! Но, кажется, скоро уже песенка их будет спета. Пожили они тут в свое удовольствие — и хватит!

Прижали рабов божьих, и они вроде бы притихли. Только ненадолго. Скоро опять подняли голову. Не одумались. Снова взялись за старые дела. Правду у нас говорят: из собачьего хвоста шубу не выкроишь...

«Какой он хлебоборб, Шмая-разбойник, какой колонист? — опять стал рычать наш милейший Авром-Эзра. — Что он внес в колонию? Пришел гол как сокол... И какая нечистая сила пригнала его сюда?.. Разве он что-нибудь понимает в земле, когда он на ней не вырос?..»

Слыхали, люди, что мелет? Я не вырос на земле!.. А где же, скажите на милость, я вырос — на небе или на луне? Мало я крови пролил за эту землю! Разве не подставлял плечо там, под Перекопом, чтобы эту землю Врангель и Антанта не заграбастали?.. Или, может, я в поселке мало крыш починил, мало срубов поставил, мало дров наколол?.. Да разве все упомнишь? Ни дня не сидел сложа руки. У меня золотое правило: что бы ни случилось, трудиться до сень-

мого пота. Прожил день и ничего для людей не сделал — считаю, что это потерянный день... Возьмусь за какую-нибудь работу, люблю, чтобы по совести все было сделано, по-хозяйски, а не так-сяк.

Жене тоже помогаю на виноградной плантации — то лозы подвязываю, то купоросом их опрыскиваю, то взрыхляю почву, то виноград собираю, а если нет тут работы, беру свои причиндалы и иду к соседям чинить им крыши. Если у кого колесо сломалось, тоже знаю, как сделать новое; стекло разбилось во время бури — закачу рукава и становлюсь стеклить окно; у соседки печь дымит — пропасть можно! — прибегают ко мне, и я не стесняюсь, чиню печь, чтоб бабка не расстраивалась, чтоб дым ей глаза не ел... Я человек не гордый и все, что надо, делаю. Так скажите, могу я себя считать колонистом или нет? Честно я ем свой хлеб или у кого-то последний кусок отнимаю?.. Чего ж они лают на меня, эти выродки, я вас спрашиваю?

Соседи не скажут плохого слова о Шмае-разбойнике, а я о соседях — тем паче. Дружба у нас старая, и никто ее никогда не нарушит.

Да... Жена моя разлюбезная иной раз сердится: зачем, мол, я за всякую работу берусь. Есть старая, говорит, мудрая пословица: «За все возьмешься — много не напасешься».

— Глупенькая моя, — отвечаю я ей, — почему же людям не помочь? Почему не сделать им добро? Их так мало баловали добром, что, кажется, скоро совсем от него отвыкнут... Я все буду делать — и крыши латать, и дома строить, и окна стеклить, и печи чинить. Пройдут годы, ты составишься и сможешь тогда гордо ходить по поселку и говорить своим внукам: «Видали этот домик? Видали крышу, виноградник, печь? Ко всему этому наш Шмая-разбойник руку приложил... Видите эти сады, мельницу, круподерку — сюда он тоже немало труда вложил...» И никто не скажет, что напрасно прожил человек на земле... Разве это не радость? Поневоле будешь молодеть душой, смотреть на мир открытыми глазами. И соседи тебя уважать будут. А как же! Это куда лучше, чем прожить свои годы, чтобы люди, встретив тебя на улице, сказали: «Видишь, прожил жизнь, черт, ни себе, ни людям!..»

Бывает иной раз и так. Хлеб на твоём участке не уродил, виноград погиб во время града, хоть зубы на полку клади. Но нет! Выход всегда найдешь. Ноги — на плечи, инструмент — в чемоданчик и гайда в Екатеринослав или Херсон на заработки. Работящего человека и там уважают...

Там, в городе, много крыш, а крыша, скажу я вам, это тонкая штука. Она любит, чтоб за ней ухаживали, как за бабышкой. Иначе она вам такое может устроить, что рады не будете. Стало быть, там, в городе, ждут кровельщика, как манны небесной. И вот я иду в атаку на эти крыши. Мне хорошо, а людям еще лучше...

Поработаю месяц-другой в городе и возвращаюсь домой, к жене и детям, с хлебом и калачами. Тоже веселее и у них на душе становится. Соседи прибегут, узнав, что я вернулся, поговорят о том, о сем, попросят кое-что взаймы. Ну, конечно, не откажешь им. Правда, один вернет долг, другой забудет да еще начнет сердиться и обходить тебя десятой дорогой. Но это уж другое дело... Не обеднеешь от этого. Есть у тебя руки, на хлеб всегда заработаешь...

Но коли уж о соседях разговор зашел, то я доскажу все до конца. Давненько я вам забавных историй не рассказывал.

Так вот... Иду я недавно по Екатеринославу — есть такой город на Днепре-батюшке. Я как раз закончил одну работенку, получил немного денжат, купил подарки жене и детям и шагаю на вокзал. Было это в канун праздника. На площадях — портреты, плакаты. Балконы украшены красными флагами. Людей на улицах — не протолкнешься... Иду, значит, город рассматриваю и тихонько так напеваю. Зашел по дороге в буфет, выпил на радостях добрую чарку, а когда добрался — этак-то напевая — до вокзала, оказалось, что поезд уже час тому назад просвистел — и будь здоров!

Я готов был себя съесть. Я ведь писал своей благоверной, что непременно приеду к празднику... Ну, да что поделаешь. Иду с вокзала обратно в город. Уже не пою, злюсь на себя и на весь мир.

Стемнело. В домах зажигают свет, люди готовятся встречать праздник, только один я, словно овца, отбившаяся от стада. Получается вроде ни дома, ни в гостях.

Вернулся я к хозяйке, у которой обычно останавливаюсь, когда приезжаю сюда. С горя завалился спать и проснулся только рано утром. Вернее, не проснулся, а меня разбудила музыка. Выглянул в окно, а на улице уже тьма-тьмущая народу, шагают нарядные, с красными лентами в петлицах, с красными повязками на рукавах, с цветами и знаменами. Такого праздника я еще в жизни не видал.

Я быстро оделся и выбежал на улицу.

Стою на краю тротуара и смотрю, как проходят колонны, как трудятся барабанщики, как ликует народ.

Красота!

И тут я слышу детские голоса, веселые песни, смех. Приближается колонна детей-школьников с красными флажками, цветами. Все в новой одежде, в новых ботиночках. Пляшут, подпрыгивают, машут руками.

Что и говорить, я в их годы рос, как бурьян, и понятия не имел о таких праздниках. О каких новых ботинках и новых штанишках тогда могла идти речь, когда у отца нас была, чтоб не сглазить, целая орава мал мала меньше? Чтоб только накормить такой отряд, надо было иметь капиталы Бродского или Терещенко... Выхватишь кусок хлеба, вот тебе и праздник!

Когда я был такой, как эти пацаны, дед ударил меня коленкой по мягкому месту, взял за руку и сказал:

— Хватит тебе, Шая, сидеть на моей шее. Полезай, сынок, со мной на крышу, и я тебе покажу, как на кусок хлеба зарабатывают...

Так благословил меня дед в двенадцать лет, и с тех пор я стал кровельщиком...

И вот я смотрю на счастливых ребят и вспоминаю своих детей — Лизу и Сашку. Были б они живы, верно, тоже шагали бы в строю. А я и не знаю, где их косточки лежат...

Музыка играет, дети идут, радуются, смеются, поют, а у меня душа разрывается.

Пробираюсь поближе, хочу получше рассмотреть ребят. Милиционеры, ясное дело, сердятся, что я нарушаю порядок, но я на них никакого внимания не обращаю.

И вот в то время, как объяснялся с каким-то упрямым милиционером, я увидел бойкую девчонку, чернявую, как цыганочка. Личико у нее светилось от радости, глаза сияли так, словно весь мир принадлежал ей.

И екнуло у меня сердце: как она похожа на мою Лизу! А может быть, это она?

Но тут же я подумал: «Что ты, Шмая? Чудес на свете не бывает... Сколько лет прошло с тех пор, как ты потерял своих детей, и где только их не искал! Как в воду канули...»

А ребята все идут и идут. Вот они уже поднимаются в гору. Я все еще не могу прийти в себя, и вместе с тем меня начинает мучить другая мысль: «Эх, глупец! Разве ты не мог подойти спросить, что это за дети, откуда и кто их родители? А то, что милиционер на тебя будет сердиться, — как-нибудь переживешь...» И я бросился догонять детей.

Расталкиваю людей, все на меня косятся, милиционеры свистят. Ничего, думаю, пусть свистят, сколько их душе угодно.

Я уже догнал колонну. Отыскал среди ребят чернявую девчурку и спрашиваю, как ее зовут, кто она, чья, откуда?

Нет, не она.. И так тяжело стало на душе, словно вернулся тот страшный год, когда пришлось оторвать от своего сердца самое дорогое и отправить детей куда-то из родного дома, чтобы они с голоду не умерли...

Но ведь я было уже смирился с мыслью, что не найду своих детей, а сейчас...

Я отошел в сторонку, чтобы не мешать демонстрантам. И вдруг чувствую, что на мое плечо легла чья-то рука. Кто бы это мог быть? Ведь в этом городе у меня никого нет, никого я не знаю, кроме тех людей, у кого крыши чинили...

Оглядываюсь и вижу перед собой улыбающееся лицо, задумчивые глаза, высокий открытый лоб.

— Разбойник Шмая! Что ж это ты? Видно, разбогател, что старых друзей не узнаешь? Стало быть, жив, казак?

— А как же! Мы, брат, такой породы, что никакая сила нас не сломит! — отвечаю я и присматриваюсь к этому человеку. Какое знакомое лицо! Где я его встречал? Боже мой, да это Билецкий! Фридель-Наполеон! Как он изменился за эти годы! Вот где мы встретились!.. Недаром говорят, что мир тесен.

Оказывается, Билецкий уже несколько лет живет в Екатеринославе, заведует детским домом.

Ну, он, конечно, затащил меня к себе, познакомил с женой, с детьми. Выпили мы по рюмочке, закусили, как полагается, разговорились. И вдруг он как закричит не своим голосом:

— Совсем забыл! Да у меня ж в детдоме был твой сынок, Сашка Сливак...

У меня даже голова закружилась. Сынок мой жив! А мы сидим уже два часа за столом и болтаем всякий вздор...

— Где же он, где? Почему сразу не сказал? Почему же ты...

— По правде говоря, не думал я, что ты жив, Шмая, и не искал тебя, хоть хорошо помнил... Сашка жил тут у нас...

— Но как же он попал сюда?

— Долго рассказывать... — вздохнув, ответил Билецкий. — Помнишь, как мы с отрядом ушли из местечка? Много боев пришлось выдержать по пути. Мало нас осталось... Я, Юрко Стеценко и еще человек двадцать пробились в Киев, но было уже поздно... Там гетман, немцы. Мы ушли в

подполье. А когда началась забастовка рабочих, ясное дело, снова взялись за оружие... Долго держаться не могли, силы были неравные, разбили нас. Попали мы с Юрком в Лукьяновскую тюрьму...

— Слушай, родной, я тоже там был! В одной камере с Юрком и...

— Я его после тюрьмы не встречал. Верно, погиб наш Юрко,— удрученно сказал Билецкий.— Меня держали в камере смертников, в сыром подвале. Здесь и напомнила о себе старая болезнь, которую заработал еще в Сибири... Чудом выжил. Потом наши вырвали меня из тюрьмы. Сам понимаешь, какой я был... Подлечили! Ну и послали заведовать детскими домами...

— А Сашка мой? Где же он?

— В тот год где-то в пути буденновцы подобрали его. Мальчишка он был хороший, и все его полюбили. Встретил я его случайно, когда к нам бойцы в гости пришли. Узнал я Сашку, ну и забрал сюда... Три года жил он здесь и все бредил военной школой. Мечтал стать таким, как Буденный. Подрос, окреп, я его и отправил в военное училище в Ленинград. Там он учится. Узнаю его точный адрес и сразу напишу тебе...

— Я поеду искать его!

— Успеешь. Я тебе напишу. Он жив-здоров, чудесный паренек...

— А Лиза, дочурка? Может, и о ней что-нибудь знаешь? Что тебе Сашка рассказывал? Где она?..

— Говорил... Когда детей везли в приют, по дороге на поезд напала банда. Паровоз пустили под откос. Кто жив остался, бежал куда глаза глядят. Тогда Сашка и потерял сестренку. Больше он о ней ничего не знает. Пропала...

Я собрался было в дорогу, хотелось поскорее поделиться новостью с женой, с добрыми соседями, но Фридель меня не пустил. Оказывается, в одном детдоме крыша в нескольких местах текла, вот и спросил: не потружусь ли я, не починою ли? «А как же! — ответил я.— Непременно почию! Все-му миру чиню крыши, а тут откажусь сделать доброе дело для детей, для Наполеона, который меня так обрадовал?»

Не дождавшись, пока кончится праздник, я полез на крышу и через два дня закончил работу. Навел порядок, как в хорошей аптеке.

Прожил эти два дня в шумной компании детей. Играл с ними, забавлял их, мастерил им разные игрушки, помог дров наколоть, печи исправил.

И вот я уже готов! Пошел на станцию, сел в поезд и еду домой.

Всю дорогу злился. Казалось, поезд слишком медленно тащится. Скорее бы добраться домой, усадить за стол жену, детей, добрых моих соседей и выпить по такому случаю. Что вы, шутите, сына нашел!

Утречком вылез я из поезда на своем полустанке, что посреди чистой степи, а там стоит с лошадьми наш колонист, сосед мой, милейший парень. И повез он меня с шиком домой.

Едем степью. А в сумке у меня добрый штоф казенки. Остановили лошадей, опорожнили бутылек и едем дальше. Пою песню, да так, что степь перед нами расступается. С этой песней въехали и в поселок.

Изо всех дворов выбежали соседи, смотрят на меня, смеются:

— Эй, Рейзл, твоя пропажа нашлась!

— Отыскалось твое сокровище!

— Напрасно плакала, приехал!

— Шмая-разбойник нашелся, ура!

Меня окружили добрые соседи, стащили с подводы и кричат:

— Где ты пропадал? Мы уже не знали, что и делать...

— Тут твоя женушка тебя уж оплакивала!

— Как это можно столько времени где-то болтаться?

— Писал же, что на праздник явишься! Мы так готовились к твоему приезду, индюшку зарезали и таких пирогов напекли!..

— Испортил нам праздник, разбойник!

— Ничего,— говорю,— не испортил. Для нас всегда праздник, когда на душе хорошо... И сегодня мы устроим пир, что небу будет жарко! Есть повод!

Тут прибежала моя Рейзл. Остановилась, смотрит на меня и не знает, что делать: ругать меня или радоваться моему приезду? Наконец она улыбнулась. Ну, думаю, слава богу, пронесло! А я ведь считал, что мне попадет. Правда, потом побожилась, что больше никогда меня в город не отпустит. Какие только мысли ей не приходили в голову!.. В общем, нахлобучку я все-таки получил. Но какой бы я был муж, если б жена мне не устраивала хоть изредка концерты? И чего бы стоила такая жена, которая никогда не ругает своего муженька? Скучно было бы жить на свете!

Шагаю я, грешник, по улице, а за мной идут соседи, шутят, смеются. Довели меня до самой калитки. А я пою!

Во весь голос. Жена на меня смотрит удивленно и говорит:

— Люди, скажите мне, что с ним? Ей-богу, его нужно повести к фельдшеру... Что это на тебя нашло, Шая? С чего это ты запел?

— Ой дорогая моя женушка, милые мои соседи, не спрашивайте! — говорю я. — Всем бы моим добрым друзьям такую радость! Ну-ка, Рейзл, не ленись, накрывай скорее на стол, ставь вино, давай угощение, зови сюда всех соседей!

— С ума ты сошел, Шая! Ни с того ни с сего праздник устраивать среди бела дня, когда работать надо! Иди лучше выспись! Кончился уже праздник, надо было приезжать, когда тебя ждали... Иди спать! Наклюкался, вот и ложись!

— Глупенькая ты моя! Как же можно спать среди бела дня? Сейчас увидишь... Эй, соседи, заходите, все вам расскажу! Для кого праздник прошел, а для меня он начинается!

Бросив работу, прибежали все соседи. Смотрят на меня, на Рейзл.

— А ведь Шмая-разбойник прав! — сказали они. — У тебя, Рейзл, в самом деле, сегодня большой праздник. Если б с нашим Шмаей, не приведи бог, что-нибудь случилось, разве тебе легче было бы? Конечно, он прав! Приехал жив-здоров, стало быть, праздник у вас! Сказано ведь: когда бедняк радуется? Когда что-нибудь теряет и уходит...

Не успели мы оглянуться, как дом уже был полон народу. Пришел и Овруцкий.

— Что за торжество у тебя, разбойник? — удивленно спросил он.

И тут я выложил со всеми подробностями все, что произошло со мной в городе, рассказал о найденном сыне, о Фриделе-Наполеоне. Все были рады и от души поздравляли меня. Добрые соседи, дай им бог здоровья, помогли мне в тот день уничтожить жареную индюшку и опорожнить добрый бочонок вина.

А вы говорите, соседи!..

Глава двадцатая

КОГДА УЛЫБАЕТСЯ СЧАСТЬЕ

— Какой-то мудрец, — говорит Шмая-разбойник, — долго ломал себе голову над вопросом, откуда берутся на свете вдовые жены? Ведь, за небольшим исключением, все девушки,

когда они влюблены, нежны и милы, как ангелы, громкого слова от них не услышишь. Но стоит им выйти замуж, и их уж не узнать!

Жены, как известно, бывают разные, и вы, конечно, не встретите двух жен, как и двух людей, которые были бы похожи друг на друга. У каждой свои болячки, свои капризы, свои заскоки. Правда, в одном деле все они похожи одна на другую, как две капли воды: когда пилят своих мужей, кажется, будто прошли они одну школу.

Иная начинает на тебя наступать сразу же после свадьбы, и тогда уж можешь быть уверен, что она будет грызть тебя до последних дней твоей жизни... Была у нас в местечке одна такая, Лейбы-столяра жена. Когда ее вели под венец, все Лейбе завидовали: «Чистая голубка. Ангел!» И верно, характер у нее был ангельский. Но через недельку-другую после свадьбы она так прижала беднягу столяра, что тот уже не знал, куда деваться. А потом перестала с ним разговаривать и не разговаривала до седых волос. Правда, этак, не разговаривая, она родила ему восемь душ детей... Уж люди диву давались, как это могло случиться, но соседи божатся, что это было именно так.

— На свою жену, — продолжал Шмая-разбойник, — я никогда не жаловался. Жили мы мирно, дружно. И взялась она, Рейзл, за меня только спустя десять лет после того, как мы сошлись. Не иначе, как она, пожалев о том, что целый десяток лет не мучила меня, не трогала, не терзала, решила наверстать упущенное. В самом деле, чем она хуже других жен?

И пошло...

Началось с того, что она налетела на меня, как коршун, после схода, на котором мы решили создать у нас в колонии артель.

...Шумно было на сходе. С утра и до утра спорили, кричали, ссорились колонисты. Больше всех горячились зажиточные люди. У них ведь и лошадки, и коровы, и козы, и виноградники, и на голову им не каплет. Те, что победнее, тоже не решались первыми записаться, выжидая, пока запишется сосед. Но так как известно, что человечество состоит в основном из соседей, то они не спешили. А тут еще кулаки распустили самые невероятные слухи, и кое-кто поверил им.

Время шло, ночь уже была на исходе. Тогда поднялся с места Шмая-разбойник, попросил слова и сказал:

— Люди добрые! Что тут долго мудрить! Наш Овруц-

кий — человек серьезный, партийный, мы его знаем не один год. Он нам не враг. Правильно он все сказал, и нечего морочить голову себе и другим. Давайте создадим артель! Свезем в одно место наше добро и начнем действовать. Государство поддержит нас семенами, машинами, а там дело у нас как-нибудь пойдет. Одним словом, товарищ Овруцкий, пиши меня первым в список...

Сперва колонисты сидели тихо, внимательно прислушиваясь к каждому слову кровельщика, но когда он закончил, поднялось такое, что Овруцкому пришлось стучать костылями по столу. Набросились на Шмаю чуть ли не с кулаками. И его счастье, что он был не из пугливых...

— Он нас по миру хочет пустить, разбойник!

— Решил погубить нас!

— Ему легко говорить, Шмае! В любую минуту возьмет свой молоток и ножницы, топор да пилу и полезет на крышу. Она его и прокормит. А нам как жить, если в артели будет плохо? Мы крыш чинить не умеем...

— Конечно, вырос бы он на этой земле, тогда бы дорожил ею. А то ему что земля, что крыша, что сруб — один черт!..

— Ну чего, соседи, напали на человека? Разве он плохо обрабатывает свой участок, огород? Лучше многих из вас!..

— Для артели такой мастеровой, как Шмая, — находка! Придется много строить, а кто лучше нашего разбойника знает в этом толк?..

Последние слова немного охладили горячих колонистов, и Шмаю оставили в покое.

Но, как известно, человек никогда не знает, откуда ждать удара. На сей раз он был нанесен ему с фланга, в собственном доме.

Не успел он переступить порог, как жена набросилась на него:

— Что это ты там наболтал? Зачем тебе снова лезть в драку с этими душегубами, с Цейтлиными? Тебе нужно больше, чем всем? Верно, хочешь, чтобы они пришли ночью и подожгли наш дом, отравили телушку, выбили все стекла так, как сделали у Овруцкого?.. Они никого не боятся. Хочешь остаться без стекол? Зачем ты первым записался в артель? Ты разве не знаешь, что сказал Авром-Эзра?

— Откуда мне знать, что он там гавкает!

— Так слушай! Он заявил: кто первым запишется в артель, тому первому проломим голову, подожжем хату, выбьем все стекла...

— Глупенькая ты моя, чего же ты горюешь? Стекла, говоришь, выбьют. Ну и что? Дело ведь к весне идет, а без стекла весною даже лучше — больше свежего воздуха будет в доме. Будешь жить, как на даче...

— Подумайте только! Он еще смеется! Разве ты не знаешь этих зверей? Они тебе кости переломают...

— У меня, дорогая, кости крепкие, и не так-то просто их переломать. Банда Цейтлина — это маленькая кучка, а нас, честных людей, — тысячи. Кого же нам бояться? Петлюру, Деникина, Врангеля и других баронов — всех одолеи, так неужто не справимся с кучкой паршивцев?

— Ты, видно, думаешь, дорогой мой муженек, что я возьму нашу единственную телку и отведу ее в твою артель?

— Почему это — «моя» артель? Если не ошибаюсь, то она также и твоя!

— Ну, словом, ты записался, ты и иди! А если там будет хорошо, ударишь мне телеграмму... Горе мне с тобой! Только-только на ноги стали, а ты хочешь все разрушить...

— Кто это, скажи, собирается разрушать твоё имение, твои экономии? Всю жизнь ты мучилась, батрачила у этих Цейтлиных, спину гнула на них, дети на них работали. Хорошего дня не видела и еще раздумываешь: идти в артель или не идти? Стыдно!

— А там, в артели, тебе уже все приготовили? На блюдечке с золотой каемочкой все поднесут?

— А кто тебе должен готовить и подносить? Что ты мелешь? Сама видишь, что делается, Цейтлины снова голову подняли. Ради того ли мы кровь проливали, чтобы кланяться этим паразитам?.. Будет артель, им конец придет!

— Я тебе уже сказала: каждый сходит с ума по-своему! Хочешь, иди, записывайся! — со слезами на глазах сказала Рейзл. — А меня не неволь. Кто знает, как оно там будет, в твоей артели...

Шмая улынулся и покачал головой:

— Никто тебе не выдаст векселя, что в артели мы с первого же дня заживем, как в раю. Трудно будет... Дело новое, непривычное. И Москва не сразу строилась. Но как себе постелишь, так и будешь спать. Как будем работать, так и жить будем...

— Ну хватит! Это тебе не на собрании, — сердито перебила его жена. — Все это я уже слыхала от Овруцкого и от того, что из города приезжал, из райкома... Ты записался,

ну и радуйся! Иди туда, в артель, а я еще обожду. У меня не горит...

— Э, моя дорогая, это уж совсем не по-нашенски. Не-хорошо! Стало быть, хочешь прийти на все готовенькое? Этого я от тебя не ожидал, нет...

— Отстань от меня! Я уже сказала: позовешь меня, если там будет хорошо. Я тогда надену свои новые тапочки и не пойду, а побегу в артель. Но если я и тогда не приду, то знай, что я с детьми и телушкой ушла из дому...

— Ну, это уж совсем ни на что не похоже! Значит, бросаешь меня? Остаюсь холостяком? Выходит, нужно мне уже подыскивать себе невесту? — рассмеялся Шмая.

Рейзл умолкла, но через несколько минут все началось сначала.

Весь вечер они ссорились. Рейзл, однако, не могла вернуться вовсю. Своими шутками Шмая каждый раз сбивал ее и невольно приходилось улыбаться там, где было не до смеху. Всю ночь они не спали, и кто знает, насколько затянулся бы их спор, если б в дело не вмешался почтальон.

Случилось это ранним утром. Пришло письмо от Сашки. В конверте, кроме письма, была фотография, вызвавшая восторг и у Шмаи и у соседей, которые тут же сбежались взглянуть на найденыша — крепкого, чернявого паренька со стриженной головой, курсанта военного училища.

Карточка пошла по рукам, и девчата дольше всех любовались ею.

— Ну как, девки, подходящий жених? — подмигивал им Шмая-разбойник, и смущенные девчата вихрем вылетали из его дома.

— Видали солдатику? Вылитый отец!

— Шмая, а он тоже такой разбойник, как ты?

— Кто его знает... По карточке, видать, толковый хлопец...

— Конечно... Яблоко от яблони далеко не падает...

Отец сиял от счастья.

А через несколько дней Шмая-разбойник оделся потеплее и, взвалив на плечи свой верный солдатский мешок, стал прощаться с родными. Жена отговаривала, умоляла его отложить поездку до весны. Как же можно в такое время оставлять дом, когда все в поселке пошло вверх тормашками? Малыш Мишка тоже упрашивал отца не уезжать, плакал, но на Шмаю и это не действовало.

— Понимаешь, сыночек, надо мне поехать к твоему

братику. Он ждет... Когда-нибудь я тебе расскажу о нем. Я его привезу к тебе.

И только когда Шмая пообещал Мишке взять у Саши винтовку и привезти ему, тот согласился отпустить отца.

«До чего же все малыши похожи друг на друга! — размышлял Шмая. — У всех на уме винтовка. Видно, они думают, что это очень веселое дело — орудовать ею...»

Облепленный с ног до головы инеем, промерзший до костей, добрался Шмая до полустанка, потонувшего в снегу, и увидел летящий ему навстречу по снежной пустыне поезд. Остановившись здесь на одну минуту, поезд помчался дальше, а наш разбойник уже сидел в жарко натопленном вагоне в гуще пассажиров. За короткое время он успел переизвеститься со всеми соседями по вагону и веселил их, со всеми подробностями рассказывая, куда он едет и зачем.

«Умная все-таки штука поезд! — думал Шмая, устраиваясь на третьей полке. — За несколько дней объезжаешь столько разных мест, а заодно узнаешь о том, что творится на белом свете, куда больше, чем за много лет, сидя дома. Одни пассажиры выходят, другие приходят, и узкие, тесные стены вагона всех быстро сближают. Стоит пассажиру только влезть в поезд, найти себе местечко, как это уже другой человек. Он тебе выложит в точности, откуда едет, куда и что происходит в его родном краю... Милые люди, весело с ними ездить! И как они не похожи на тех, с кем в прошлые годы приходилось тесниться на крышах вагонов и в теплушках...»

Кого только не встретишь теперь в поездах! Все куда-то едут, куда-то спешат, у всех важные, срочные дела. Разговоры, шутки, песни. Одним словом, весело ездить в компании добрых людей!»

А поезд идет не торопясь. На каждой станции и полустанке, возле каждого столба он останавливается, одних пассажиров высаживает, других принимает. Очень долго подчас стоит поезд, будто раздумывая, стоит ли еще двигаться дальше в такую метель? Но не все ли равно теперь пассажирам? В вагоне хоть тесновато, а тепло, и никто даже не замечает, как бежит время.

Так потихоньку Шмая добрался до Ленинграда. Хоть он был здесь очень давно — проездом с фронта домой, в бурные дни семнадцатого года, когда все рушилось и все рождалось, — город этот теперь казался ему хорошо знакомым.

Вот дом, где была казарма. А вот и сад, где его и других солдат-фронтовиков разоружили казаки...

Сияющими глазами смотрел он на удивительный город, ходил по его широким проспектам и площадям, подолгу стоял и любовался памятниками, Невой. И множество мыслей и воспоминаний возникало как раз теперь, когда ему нужно было спешить.

Вынув из кармана конверт, Шмая стал расспрашивать прохожих, как ему дойти до военного училища. Оказалось, что не так уж просто попасть к сыну. Училище расположено не в самом городе, а в Царском Селе.

«Вот так история! — изумился наш разбойник. — Саша Спивак, сын кровельщика из Раковки, учится в Царском Селе, там, где когда-то жил и развлекался царь Николка со своей свитой! Если б царь вдруг встал из гроба и увидел, кто нынче живет и учится здесь, он, наверно, сразу бы шлепнулся назад».

Через час Шмая уже ехал рабочим поездом в Царское Село. Ему не терпелось поскорее добраться к сыну, взглянуть на него. Какова будет эта встреча? Узнает ли Саша отца?

Шмая не мог усидеть на месте и почти всю дорогу стоял у окна, глядя на заснеженные поля, села, здания, проносящиеся перед глазами. В вагоне было полно пассажиров. Много молодых веселых ребят с лыжами и коньками. В другое время Шмая, наверно, поговорил бы с каждым, но сейчас его мысли были заняты совсем другим.

«Жил да был король... — замурлыкал кровельщик слова старинной песни. — Жил да был...» А теперь кто живет там, где жил король? Тоже, верно, простые люди!

Разве мог простой человек когда-то взять и поехать в Царское Село? На пушечный выстрел туда таких не подпускали. Знают ли об этом молодые безусые ребята с лыжами, которые сейчас так весело смеются?..

Шмая-разбойник неожиданно вспомнил, как он когда-то морочил голову солдаткам в местечке баснями о том, как он попал с царевной Татьяной в Царское Село, во дворец, и как он беседовал с самим царем... Вспомнил и рассмеялся, вызвав удивленные взгляды соседей по вагону.

И вот он уже вылез из поезда и направился по заснеженной дороге к училищу.

Тут уже никого расспрашивать не пришлось. За большим озером на поляне он увидел команду молоденьких безусых курсантов в куцых полушубках и валенках. Держа винтовки наперевес, они браво маршировали, и снег скрипел под их ногами.

Шмая остановился под деревом, густо запорошенным пушистым инеем, и стал искать глазами своего сына среди этих крепких краснощеких ребят.

Но как ты его найдешь, когда все они так похожи один на другого? Давно наш кровельщик не волновался так, как сейчас.

Он долго не отваживался подойти ближе к строю. Но вот он дождался перекура. Курсанты разбежались по плацу, который тут же огласился громкими возгласами, веселым смехом.

Наконец, не выдержав больше этого томительного ожидания, Шмая остановил бойкого сероглазого курсанта. Тот, выслушав его, отковырял и побежал к гурьбе ребят, которые стояли под елями и курили махорку.

Через несколько минут от гурьбы отделился коренастый черноглазый курсант и побежал к ожидавшему его человеку. Не добежав нескольких шагов, он остановился. Лицо его было напряженно, щеки пылали. Так они стояли друг против друга долгую, мучительную минуту, пока парень удивленно и взволнованно воскликнул:

— Папа!

Ком подступил к горлу Шмаи и стал его душить. Если б не постеснялся товарищей сына, наверно, заплакал бы. С трудом сдержав слезы, Шмая бросился к сыну, обхватил его обеими руками и стал целовать:

— Сыночек мой родной... Наконец-то мы встретились! А я уж не думал, что увижу тебя когда-нибудь... Как же ты? Жив-здоров?

Приезду отца курсанта Спивака обрадовалось все училище и его начальник, пожилой полковник, воевавший против Врангеля на Сиваше. То, что Шмая служил в одной с ним дивизии, было особенно приятно полковнику.

Но почему время так быстро бежит? Уже пролетело несколько дней, а они с сыном так и не успели обо всем поговорить. Что ж, видно, придется отложить на лето, когда Саша приедет к нему в гости на Ингулец. Уж там они вдвоём наговорятся!..

Ни на минуту они не оставались одни. Все время их окружала толпа товарищей-курсантов, часто приходил начальник училища, и они с Шмаей долго вспоминали минувшие дни, бои под Перекопом...

За эти короткие дни Шмая успел заметить, что сына очень любят товарищи, а у начальства он на хорошем счету. Учится Сашка отлично, дисциплину знает, чего же еще? Пройдет несколько лет, и он станет настоящим офицером.

Крепко пришлись ему по душе товарищи сына, и он понял, что у него тоже прибавилось друзей. Это и Андрей Павлович Никитин, начальник училища, и курсанты Карим Галимбаев из Башкирии, и Иван Семенко из Чернигова, и Гурген Маргулян из Армении, и Алио Кцховели из Кутаиси, и Николай Петров из Пензы...

А когда настал день отъезда, ребята веселой толпой проводили гостя на вокзал, усадили в поезд, шутили, смеялись, приглашали приезжать к ним.

Некогда было даже подумать, что вот сейчас загудит паровоз и он опять расстанется с сыном кто знает на сколько времени!..

И вот поезд тронулся. Курсанты замахали руками, шапками, а Шмая стоял у окна, взволнованный и счастливый. Полушубок его был расстегнут, на груди сверкал боевой орден. Сын любовался высокой наградой отца.

Правду сказать, когда отец только приехал, Саша испытывал непонятное чувство смущения и растерянности. Может быть, это объяснялось тем, что ребята, как и он сам, знали, что у него нет отца. Сначала он ощущал страшную неловкость, шагая рядом с человеком, который казался ему чужим, и не сразу привык к мысли, что у него есть отец, живой, бодрый, веселый. Саша мало знал о жизни своего отца и теперь не без гордости смотрел на него и на его боевую награду.

Пассажиры с любопытством глядели на необычно оживленного человека, на его горящие глаза. Им казалось даже, что он немного выпил. Но Шмая теперь меньше всего интересовало, что о нем подумают случайные соседи по вагону, с которыми он через час расстанется. Его больше волновала встреча с сыном, дружба с ним и его товарищами.

Станция, сын, его новые молодые друзья остались где-то за заснеженным лесом, и Шмая, сбросив полушубок, улегся на верхней полке. А через несколько минут он уже рассказывал соседям о своем большом счастье так, будто перед ним были старые друзья и знакомые.

Хороша все-таки жизнь! Хорошо, когда тебя окружают добрые люди и есть с кем переброситься словом в дороге! Жаль, конечно, что жену не взял с собой, увидела бы, какой у него славный сынок и как радушно его, Шмаю, все встретили. Не грызла бы его, не злилась. Но пусть грызет, пусть злится! На то и жена!..

Глава двадцать первая

ПРИШЛА ВЕСНА

Испокон веков так бывает, что весна любит перед своим приходом немного пококетничать. Приходит она не сразу, а с разными фокусами, выкрутасами. То солнце ярко светит и, словно наперегонки, пускаются вскачь к Ингульцу веселые ручьи, то они застывают, покрываются ледяной коркой, и вступает в свои права метель, вьюга. Снег заносит степь, дороги, тут и там вырастают высокие сугробы. Кажется, что сызнова начинается лютая зима...

Но как бы то ни было, весна уже властно давала о себе знать.

В эти дни больше всех был озабочен Овруцкий. Шутка сказать, сколько теперь дел навалилось на него! Избрали председателем артели. Дело новое, работы неуправляемой.

Уж люди диву давались, откуда у человека столько энергии! Другой на двух ногах ничего не успевает, а этот на одной и на костылях носится, как вихрь, и всюду, чтоб не сглазить, поспевает!

Ночь сегодня выдалась не из приятных, хоть весна уже была на носу. Ветер истошно выл в проводах и дымоходах, валил с ног, а сырой, лохматый снег сыпал без конца, точно в декабре.

И в такую непогоду, когда, как говорится, добрый хозяин собаку за ворота не выпустит, Шмая-разбойник услышал стук в дверь. Пришел не кто иной, как Овруцкий с группой колонистов. Зашли, отряхнулись от снега, сели на скамью, что под окном. Хотели что-то сказать, но, видно, застеснялись хозяйки, которая сидела у печи, что-то вязала и ругала Мишку, младшего разбойничка.

Все на нем горит! Наденет новую рубашку, штаны, возвращается из школы в лохмотьях; сапоги сшили — солдат не порвет за три года!.. А этот озорник порвал их за две недели... И в кого он только пошел?! А с чего это пожаловали к ним поздние гости? Что случилось?.. Рейзл косилась

на мужа, о чем-то шептавшегося с председателем. Хотя это ей явно не нравилось, она сдерживала себя, молчала. Но когда Шмая стал быстро одеваться, ее прорвало. Она вскочила с места и сердито закричала:

— Что это еще за секреты? Куда это вы собрались? Банк или церковь ограбить решили?..— И, немного подумав, добавила: — Вы как себе хотите, а Шмаю я никуда не пушу!..

— Он скоро вернется,— тихо сказал Овруцкий.

— Вы мне голову не морочьте! Думаете, я не знаю, что вы идете выселять Авром-Эзру из поселка?

— А разве это секрет? Так решил сход, так, значит, и будет...

— Делайте, что вам угодно, но Шмая никуда не пойдет! Он не будет вмешиваться... Нам уже пригрозили, что дом подожгут. Не хочу! Идите сами!

— Нехорошо, Рейзл! Не пристало тебе так говорить,— вмешался старик Гдаля, мягко касаясь плеча соседки.— Разве мало горя причинили тебе, мне, всем нам эти душегубы? Ты уже, видно, забыла, что Авром-Эзра проломил мне голову и я только чудом выжил? Таких злодеев жалеть не приходится. Будут они подальше от нас, спокойнее будет на душе...

— Все знаю! Все помню!.. Но мой муж никуда с вами не пойдет, и все тут! Он не пойдет людей убивать...

— А кто говорит, что их собираются убивать? — рассердился старик.— Я никогда еще не убивал хороших людей. Цейтлиных просто выгонят из колонии, чтоб они больше не могли нам пакостить... С собственной женой, бывает, расходятся, почему же мы должны вечно жить по соседству с этими паршивцами, будь они трижды прокляты?

— Да говорю я вам,— вспыхнула она,— что Шмая никуда не пойдет! Не хочу, чтоб он связывался с ними!

Шмая подошел к ней, поправляя на ходу шапку-ушанку и заодно улыбаясь:

— Скажи мне, дорогая, ты в самом деле обо мне так заботишься или просто жалеешь их, этих Цейтлиных?.. Что ты, маленькая, не понимаешь, что жизнь у нас светлее станет, когда мы избавимся от таких соседей?

— Никуда ты не пойдешь, говорю тебе!

— Что ж, Шмая,— поднялся с места Овруцкий,— может, и вправду останешься? Пойдем сами...

— Вот тебе и раз! — воскликнул Шмая, застегивая полушубок на все пуговицы.— Хорош бы я был, если б в та-

ких делах по бабьему разумению действовал! Про такие случаи и говорят: жену надо выслушать, а сделать все наоборот!..

Рейзл покраснела, испытывая страшную неловкость перед колонистами. Так ее обидеть при людях!..

Придя немного в себя, она сказала:

— Смотри, Шмая, как бы тебе не раскаяться... Небось, если б тебя твой сынок Саша позвал, ты на край света помчался бы?.. Тебе не трудно проехать тысячи километров, чтобы встретиться с ним. А если жена тебя о чем-нибудь просит, так ты и слушать не хочешь... Ты еще пожалеешь об этом!

— О чем ты говоришь? — стоя уже на пороге, отозвался расстроенный Шмая. — Я тебя сегодня не узнаю. Глупостей наболтала — уши вянут. Хватит! Перед людьми стыдно... Шла бы лучше спать!

Да, впервые за все годы Шмая увидел свою жену такой разъяренной. А ее слова о сыне задели его до глубины души.

«Что с ней? — с горечью думал он. — Разве я не люблю, не готов жизнь отдать за малыша Мишку и за ее мальчуганов, которые мне дороги, как родные дети? А мой Сашка для нее пасынок! Откуда это у нее? От злости это? Из ревности?..»

Нет, подобного Шмая от жены не ожидал! И, вспомнив ее слова, сказанные несколько минут назад: «Смотри, Шмая, как бы тебе не пришлось раскаяться», — задумчиво проговорил:

— Да, милая моя, видать, еще не съели мы с тобой пуда соли, не дотянули... — И после долгой паузы добавил: — И черт его знает, какой это червяк стал точить душу хорошего человека!..

Необычно взволнованный, Шмая кивнул Овруцкому, товарищам, сидевшим молча в углу, и вышел за дверь, даже не взглянув на жену.

Темная ночь окутала колонию. Падал мокрый снег вперемишку с дождем. Со стороны степи дул холодный порывистый ветер.

Впрочем, только в первую минуту могло показаться, что колония спит. Во многих окнах светились огоньки, из труб валил дым.

По дороге проехало несколько саней. Лошади, тяжело ступая, скользя и отфыркиваясь, повернули к пригорку, где раскинулась усадьба Авром-Эзры Цейтлина. Колонисты, сидевшие в розвальнях, молча смотрели на освещенные окна огромного дома. Чует, видно, сатана, что гости к нему этой ночью собираются, и не спит, ждет чуда...

Кто-то из прислуги открыл ворота. Колонисты направились к резному застекленному крыльцу.

Хозяин дома стоял в дверях с оглоблей в руках. Увидев Овруцкого, он поднял оглоблю, но тот, посмотрев на него прищуренным глазом, негромко сказал:

— Что вы, Авром-Эзра, шутить изволите? Прошли те времена, когда вы безнаказанно бросались на нас с оглоблей... И для вас же будет хуже, если начнете баловаться такими игрушками...

Старик немного присмирел. Тем временем Шмая подошел к нему, вырвал из его рук дубину и швырнул в сугроб.

— Зачем вам, такому святому человеку, оглобля? Мозоли еще себе натрете!

Старик тяжело и часто дышал. Достав фонарь, он поднял его над головой, стараясь лучше всмотреться в стоявших внизу колонистов. Лицо его было искажено злобой. И все же он не был уже страшен, Авром-Эзра. Сейчас он был похож на затравленного зверя. Если б у него была сила, он всех передушил бы. Уж он отомстил бы за то, что подняли руку на его добро, на него самого!..

— Запомните, колонисты: велик и всемогущ наш бог! Он воздаст вам, голодранцам, за мое разорение! Он отомстит за меня своей всемогущей рукой, и вы проклянете тот день и час, когда пришли сюда... Он вам за все заплатит!

— Слыхали, люди, кто говорит о боге? Ах ты, кровожадная тварь, грешная твоя душа!..— послышался голос старика Гдальи.

— Авром-Эзра,— спокойно сказал Овруцкий.— Вот вы носите ермолку и с господом богом три раза в день по душам разговариваете... Почему же вы не советовались с ним раньше, когда эксплуатировали всех колонистов, три шкуры с них драли?.. То, что вы проклинаете нас, на это нам наплевать. Ведите себя прилично, гражданин Цейтлин, и собирайтесь в дорогу...

Хацкель, словно обезумев, метался по дому. Вдруг он остановился перед Шмаей и приложил руку к козырьку, как бы отдавая честь:

— Ваше благородие, разбойник Шмая! Теперь ты уже доволен? Отомстил мне? Ну, хозяйничай в моем доме и подавись моим добром!..

Шмая притворился, будто не слышит его слов.

— Знал бы я, что ты станешь моим врагом,— вытирая слезы, продолжал бывший балагула,— я бы задушил тебя еще десять лет тому назад...

Шмая пожал плечами, посмотрел прямо ему в глаза и проговорил:

— Десять лет тому назад ни ты ко мне, ни я к тебе никаких претензий не имели... Тогда ты еще был немного похож на человека. Правда, уже и тогда мне было ясно, куда ты идешь, куда заворачиваешь. А потом... Чем ты стал потом, это уже всем известно. Вот и имей претензии к самому себе, к глазам своим завидующим, к рукам загребушим и к душе своей мелкой...

— Ах, ты все еще учить меня уму-разуму хочешь, разбойник? Ты меня уже научил! Ничего, мы еще с тобой встретимся! Мертвый буду, с того света вернусь, чтобы отомстить тебе!

— Может, все-таки перестанешь меня пугать? Смотри какие!.. Тесть с оглоблей на нас бросается, этот — языком паскудит...

— Неужели,— смиренно заговорил Авром-Эзра,— наши дорогие соседи так жестоко обойдутся с нами? Разве мы не можем жить в дружбе и согласии?

— Хватит! Слыхали! — перебил его Овруцкий.— Все это изложите нам в письменной форме! Одевайтесь, пожалуйста, побыстрее и уезжайте. Вот сани, и — скатертью дорога!

— Одумайтесь, люди! Что вы делаете? Пожалейте! — воскликнул Авром-Эзра, и, выбежав во двор, упал на землю, раскинув руки, и заплакал.

— Плачешь, сатана? — послышался голос из толпы.— А когда вся колония плакала, ты смеялся!

— Крокодилы это слезы... Всю жизнь над людьми издевался!

— Поделом ему!

— Что посеешь, то и пожнешь!

— Да кончайте скорее, пускай садятся в сани и убиваются отсюда!

— Пусть еще спасибо скажут, что не отправляем их пешком!..

Авром-Эзра разорвал на груди рубаху. Он метался по двору и иступленно кричал:

— Я никогда не прощу себе, что не сжег все это, чтоб ничего из моего добра не досталось вам, голодранцы! Будьте вы прокляты! Да отсохнут руки у каждого, кто притронется к моему имуществу, господи милосердный! Пошли на их голову страшную кару, о боже!

Теперь уже возмутился Азриель-милиция. Он подошел к Цейтлину и властно сказал:

— Ну, помолились, и хватит! Мы не собираемся долго выслушивать ваши грубости и проклятья. Собирайтесь скорее, иначе придется вам пешком топать. Нет у нас времени возиться с вами!..

С бешеной злобой смотрел на Азриеля-милицию его бывший хозяин, у которого он с детства батрачил. Парень на мгновение смутился, но овладел собой и спросил:

— Чего вы так смотрите, не узнаете меня?

— Узнаю,— процедил тот,— всех узнаю!.. И всем отомщу. Всем!

Старик резко повернулся, что-то пробормотал и проворно взбежал по ступенькам. Распахнув дверь, он ворвался в дом и через несколько минут уже вышел с двумя тюками в руках. Ни на кого не глядя, направился к саням. За ним двинулись все его домочадцы.

— Пусть будет по-вашему! Но вы меня еще вспомните!..

Он окинул скорбным взором свой двор, дом, постройки, покосился на шумливую толпу колонистов и, опустившись на узлы, уронил голову на руки и громко зарыдал.

Лошади понеслись к воротам, потом свернули в степь, к полустанку.

Колонисты, сопровождавшие Цейтлиных, возвратились домой лишь к утру, усталые, продрогшие, но радостно возбужденные.

Шагая по раскисшему снегу домой, Шмая вдруг почувствовал, как нарастает в его душе тревога. А подойдя к дому, увидел замок на двери и опешил. Дверь у них никогда не запиралась. Что же случилось?

Он огляделся вокруг. Тропинка была занесена снегом, на завалинке лежали ключи...

На усталом лице Шмаи промелькнула лукавая улыбка: «Видно, поугаты меня решила Рейзл!»

Он отпер ключом дверь, вошел в дом и еще не успел раздеться, как за окном послышались быстрые шаги.

Закутанная в большой платок, вошла в дом пожилая соседка, окинула его быстрым взглядом и, волнуясь, заговорила:

— Я пришла вам сказать, сосед, что жена ваша забрала детей, телушку и ушла от вас... Сказала, что навсегда... Просила меня не говорить, но я по секрету скажу: ушла она к вашим друзьям, к Марине и Даниле Лукачу, пасечнику... У них поселилась. Она, Рейзл, сказала, что больше так жить не может, что вы с ней совершенно не считаетесь...

— Ах вот оно что! А я думал, что она пошла на базар что-нибудь к завтраку купить... Праздник ведь у нас сегодня. Избавились мы наконец от наших милых Цейтлиных, и по этому поводу не грех выпить и закусить...

Глядя на смущенную соседку, Шмая почесал затылок и добавил:

— Интересно... Значит, забрала детей и телушку и ушла к Лукачам за Ингулец?.. Стало быть, бросила меня? Интересно!.. Что ж, придется подыскать себе невесту, да помоложе... Как вы думаете, сразу искать или, может быть, еще вернется моя благоверная?

— А кто знает!.. Разве в таком деле посоветуешь? Просила вам передать, что больше ее ноги здесь не будет, раз вы ее не слушаетесь...

— Да-а...— закуривая и прохаживаясь по комнате, улыбался Шмая.— Ну, а хоть бумажку на развод она оставила или так, без развода, хочет?

Белесые брови соседки поползли вверх, и полное лицо ее от удивления будто даже немного вытянулось.

— Видали такое?! — тихо проговорила она.— А я думала, что вы расстроитесь... Ну и человек!..

— Что же прикажете мне делать? Утопиться? Повеситься? Я думаю так: если уж повеситься, то на шее у хорошей молодухи... Как вы считаете, соседушка, могу я еще молодой невесте понравиться?

— Вот солдатская натура! Какие мысли приходят ему в голову! А бедная Рейзл так плакала, так убивалась, когда уходила из дому. Пойдите лучше к Лукачам, помиритесь с ней, заберите ее домой...

— Как же я пойду? — притворно удивляясь, посмотрел он на нее.— Вы только что сами говорили, дорогая, что она меня бросила, ушла навсегда. Что ж я могу поделаться?

Такова уж судьба... Может, она себе найдет другого, послушного, погуляю у них на свадьбе...— продолжал наш разбойник и начал насвистывать мотив солдатской песни, словно вся эта история не имела к нему никакого отношения.

— Прошу вас, Шмая, не делайте глупостей! — умоляющим тоном сказала растерянная соседка.— Может быть, все еще утрясется... Рейзл такая милая женщина и такая хорошая хозяйка! Да и вы хороший человек... Ей все солдаты в колонии завидовали, когда вы поженились. А тут такое...

— Ничего не знаю, соседка, спрашивайте у нее... Меня бросили, вот и все...

Избавившись от назойливой соседки, Шмая долго еще, как неприкаянный, ходил по опустевшему дому. Только потом, присев на скамейку и внимательно оглядев каждый уголок, он увидел, что в доме чисто прибрано, что все вещи остались на своих местах. В печке стоял приготовленный для него завтрак, а на комоде лежала чистая выглаженная рубашка.

По лицу Шмаи скользнула улыбка: «Да, все же позаботилась обо мне...»

Послышался стук костылей. На крылечко медленно поднимался Овруцкий. Он вошел в дом, хотел позвать Шмаю в просторный двор Авром-Эзры, где решено было развернуть хозяйство артели, но, заметив, что Шмая чем-то расстроен, спросил:

— Что с тобой?.. А где жена, дети? — удивился он тишине, царившей в доме.

— Ушла. Вроде как бросила меня, раба божьего...

Овруцкий прислонил костыли к стене, сел на скамью и так засмеялся, что даже стекла задребезжали:

— Ты шутишь, Шмая-разбойник!

— Хороши шутки! Забрала ребят, телушку — и будь здоров!

— Брось шутить, говори серьезно!

— Разве не видишь, что дом пуст? Я уже, слава богу, холостяк, ищу невесту!..

Овруцкий достал кисет, закурил, посмотрел на чисто вымытый пол и улыбнулся:

— Вижу, солдатская закваска в тебе еще жива, — сказал он, — вижу, что и без хозяйки ты неплохо справляешься... Если ты еще можешь навести такой порядок в хате, то и в холостяках не пропадешь...

— Думаешь, это я так ловко со всем управился?
— А кто же здесь прибрал, полы вымыл?
— Она... Верно, перед уходом все сделала... И завтрак приготовила, и рубашку выгладила...

— В таком случае, можешь не беспокоиться! Она скоро снова будет здесь. Придет как миленькая,— улыбаясь, сказал Овруцкий.— Знаю я эти женские штучки! Моя тоже уже не раз мне разные фокусы выкидывала... Главное, не подавай виду, что все это тебя сильно расстраивает, иначе ей это понравится и она часто начнет тебе устраивать такие спектакли. Не поддавайся, иначе плохо тебе будет...

Овруцкий подошел к печке, посмотрел на румяные пирожки с фасолью, на дымящийся ароматный суп и сказал:

— Ставь-ка на стол, червячка заморить надо. Голоден как волк... Дома еще не был, все на усадьбе... Да, и кувшинчик вина поставь. Верно, тоже она приготовила тебе?

Шмая подошел к шкафу и, увидев большой кувшин самодельного вина, просиял:

— Ты будто был при этом! Приготовила... Вот сатана!

— А я что говорю? Ну, наливай поскорее, сон прогоним и душу согреем... Сам понимаешь, начинается у нас горячая пора. Работы у нас теперь пропасть!

Через несколько минут оба уже сидели за столом и обсуждали события прошедшей ночи. Правда, Шмая слушал друга не очень внимательно. Хоть он и старался казаться веселым, шутил, но чувствовалось, что он огорчен, скован, и все у него получалось совсем не так, как обычно. Заметив это, Овруцкий поднялся из-за стола, сочувственно взглянул на Шмая и сказал:

— Ну, не надо все это принимать близко к сердцу. Тебе ли, старому солдату, расстраиваться из-за женских причуд? Далеко она не уйдет... Сам же знаешь, что она молится на тебя, дурень! Знаем мы женскую натуру. Насолит тебе, а потом долго будет каяться... А Рейзл у тебя хорошая, работающая, сердце у нее доброе. Давай выпьем за ее здоровье! Так. А теперь, брат, пошли. Люди нас ждут. Надо работать. Нужно, как ты, Шмая, любишь говорить, плечо подставить...

Наш разбойник как-то сразу повеселел и оживился. Накинув на плечи полушубок и надев шапку, вышел из дому. За ним пошел Овруцкий. Оба молчали, глядя в сторону новой колхозной усадьбы, привольно раскинувшейся над Ингульцом.

А на усадьбе артели была необычная суета. Со всех сторон колонисты свозили сюда свое немудреное хозяйство — плуги, бороны, сеялки, тащили непослушных коров, лошадей. Женщины и девушки хлопотали в просторном доме, выметали сор, мыли полы, окна, наводили порядок.

Шмая-разбойник обошел двор, заглядывая в каждый уголок и прикидывая, за что нужно в первую голову браться. Подойдя к сваленному в кучу инструменту, он вытащил острый топор и направился с ним к воротам.

Нужно было снять с петель старые, покрывшиеся плесенью и мхом ворота. Вместо них хотелось сделать высокую арку, чтобы повесить на ней вывеску с полным названием поселка и артели, родившейся в таких муках и спорах.

Старые ворота почему-то напоминали Шмае вход в тюремный двор. Не должны они тут оставаться! Все должно быть здесь новым, начиная с ворот.

Окунувшись в работу, Шмая сразу же забыл о всех своих горестях. Он громко запел свою любимую солдатскую песню, и все вокруг с улыбкой посматривали на него:

— Молодец наш Шмая-разбойник! Никогда не падает духом...

— Жена от него ушла, а ему хоть бы что! Живет — не горюет!

— Эх, ребята, некогда мне горевать... Сами видите, какая куча работы на нас свалилась! Вот лет через сто, когда состаримся, тогда уж будет у нас время переживать. Давайте только работать аккуратнее. Надо, чтоб арка имела приятный вид! За десять верст отсюда люди должны видеть нашу фирму!

— Э, Шмая, разве это самое главное — вывеска, внешний вид? — отозвался кто-то из стариков. — Главное в том, чтобы жизнь у нас пошла хорошая!

— Это вы мудро сказали, сосед! — расправил плечи Шмая, вытирая рукавом пиджака мокрый топор. — Ясное дело... Но, понимаете, в хорошем хозяйстве все должно быть на месте и по-хозяйски сделано: начиная от арки и кончая стойлами для лошадей... — И, помолчав, добавил: — Если вы думаете, что этот двор мне нравится, то я скажу, что вы ошибаетесь... Как бы мы ни чистили, ни мыли это логово, все равно оно для настоящей фирменной артели не годится. Цейтлины строили для себя и для своего хамова отродья, для какого-нибудь десятка человек, а мы должны строить для целой колонии. И самое главное — этот дух, дух Цейлина и его компании, будь они неладны, трудно

выветривается... Когда станем немного на ноги, надо будет построить новую усадьбу, новые коровники, конюшни. А это все сжечь.

Двор гудел. И кого только здесь сегодня не было! Малыши, которые никогда не отваживались подойти близко к дому Цейтлиных, теперь весело бегали по двору, путались под ногами, мешая людям работать, и чувствовали себя тут полноправными хозяевами. Пришли и старики, которые дальше своего двора давно уже никуда не ходили.

Шмая не мог оторвать глаз от детворы. В этот день все, кажется, забыли, что детям нужно идти в школу. Он искал глазами своего сыночка, но его здесь не было. Видно, мать не пустила...

Сунув топор за солдатский ремень, он направился в другой конец двора за досками и вдруг увидел двух колонистов, которые еще недавно кричали, что ни в какую артель они не пойдут, а сейчас везли сюда два плужка и борону.

Шмая остановился и, глядя на это добро, с улыбкой сказал:

— Ну и плуги же вы тащите в нашу артель! На какой свалке вы это барахло нашли? Да такими плугами, кажется, работали еще предки Александра Македонского. И те, которые в пещерах жили... Давно уже надо было сдать этот хлам в утиль... И это драгоценное имущество вы боялись внести в общее дело? Ну и мудрецы! Смех да и только!..

— А что ж особенное внес ты в артель, что позволяешь себе смеяться над нами? — обиженно спросил один из колонистов.

— Как это — что я внес? Внес все, что у меня есть. Совесть — раз, всю душу — два, руки свои — три! Разве этого мало?

— Нет, мы к тебе ничего не имеем, наоборот, очень хорошо, что такой умелый мастеровой будет с нами... Вот ты уже с топором ходишь. Но сам должен понимать, что мы — люди разные. Перед тобой открыты все пути. Куда бы ты ни пришел, везде ты в почете, и хлеб тебя ждет, и по усам мед будет течь. А мы извечные хлебобобы, винограда-ри. Понимаешь, отсюда, с этой земли, мы никуда не уйдем. Тут работали наши отцы, деды и прадеды, и мы останемся здесь, и наши дети и внуки останутся. Эта земля нам дорога, как жизнь...

— Я все понимаю,— миролюбиво проговорил Шмая.— Это я только так сказал, к слову пришлось...

Он уже завалил себе на плечи несколько пахнувших смолой сосновых досок и пошел с ними к воротам, сбросил на землю и взялся за топор.

Шмая снова запел, но почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд, оглянулся и увидел жену. Она стояла чуть поодаль, у забора, в своей черной шерстяной шали, которую обычно надевала только по большим праздникам. Делая вид, что он ее не замечает, Шмая перевернул доску на другую сторону и взялся еще энергичнее тесать ее. Ему стало жарко, и он расстегнул ворот рубашки, сдвинул шапку на затылок, продолжая напевать.

Рейзл быстро подошла к нему и, не сводя с него глаз, тихо сказала:

— Зачем рубашку расстегнул? Холодно... Простудиться хочешь? Этого мне еще не хватало...

— Не понимаю, почему тебя это беспокоит! Ты ведь бросила меня, вот теперь уже другого будешь учить уму-разуму...

— Почему ты сердишься? Может, ты считаешь, что прав? Разве можно так с женой обращаться?

— Слушай, Рейзл,— волнуясь, начал он,— ты меня перед всеми осрамила. И за что?

— Застегнись, слышишь? Застегнись, простудишься...— настойчиво повторяла она и, достав из кошелки чугунок с горячими оладьями, поставила его на бревно.— Присядь и перекуси. Ты, верно, уже проголодался...

— Спасибо за угощение!— бросил Шмая.— Но обо мне тебе уже нечего беспокоиться, я уж сам как-нибудь справлюсь. С голоду не помру. Найдутся добрые люди, накормят...

— Боже мой, смотрите, какой он сегодня сердитый! Он еще прав!..

— Нет, ты права!..

— Пойдем домой, отдохнешь... Всю ночь не спал и уже успел наработаться, как вол. Оставь немного работы на завтра... Ты, вижу, больше всех стараешься. Думаешь, золотой памятник тебе за это поставят? К тому же Авром-Эзра передавал, чтобы вы не очень-то старались... Все равно он свое отсудит. В Москву будет жаловаться...

— Это ему поможет как мертвому припарки! Москва слезам не верит. А тем более крокодильим слезам...

Они встретились глазами. Брови у Рейзл были насуплены, как у провинившегося ребенка. Шмая не выдержал и улынулся. Она отвернулась, вытирая слезы кончиком шали.

Заметив Овруцкого, который спешил сюда, она совсем смутилась и, взяв мужа за рукав, попросила:

— Ну, пойдем домой. Отдохнешь немного... Пойдем скорее!

Шмая только махнул рукой, продолжая обтесывать доску:

— А чего я там не видел? Пустой дом... Жены нет, детей нет... Вот закончу работу и пойду искать теплый уголок у какой-нибудь молоденькой колонистки...

— Ты хоть сейчас оставь свои шуточки!

Шмая положил топор на бревно, расправил плечи и, глядя на заплаканную жену, сказал:

— Вот что, милая моя, если ты забыла, хочу тебе напомнить: я люблю шутить, но только не в серьезном деле. Десять лет знаешь меня, и, кажется, никогда мы не ссорились, не обижали друг друга. Дети — свидетели... Ты мне дорога, ты мать моего ребенка. Давай договоримся, что таких историй никогда больше не будет. Я этого не люблю. Мы живем среди людей, и нас люди до сих пор уважали... Не будем позорить наше доброе имя...

Рейзл долго молчала, опустив голову, а потом тихо проговорила:

— Ну, хватит тебе мучить меня... Прости! Этого больше никогда не будет...

— Вот так я люблю! — оживился Шмая, и лицо его сразу стало, как всегда, добродушным и ласковым.

— Я пойду домой, затоплю печь. Приходи обедать...

— Хорошо! Как закончу, приду... Ты ведь знаешь, взялся я за дело, не уйду, пока не дам всему толк. А здесь надо работать лучше, чем у себя дома, понимаешь?

— Понимаю, — бросила она и, заметив, что приближается Овруцкий, быстро пошла домой.

Тот подошел к Шмае, присел рядом с ним на бревна, пряча в усах улыбку:

— Что, помирились? Ну, поздравляю! Так я и знал...

Шмая ничего ему не ответил, а запел еще громче.

— Эй, Шмая-разбойник, что это с тобой сегодня происходит? — спросил, проходя мимо, кто-то из колонистов. — Праздник у тебя какой-нибудь?

— Не спрашивай,— весело ответил тот.— Двойной у меня сегодня праздник...

— Что ж это за двойной праздник?

— Ну, о первом вы сами знаете. Разве не праздник, что мы наконец избавились от Авром-Ээры и всей его компании?.. Ну, а второй...— Шмая на минуту задумался, лукаво посмотрел на Овруцкого и, прищулив глаза, добавил:— Об этом я сегодня не скажу. Это мой секрет... К тому же, все будете знать, скоро состаритесь! Одним словом, если я вам говорю, что у меня двойной праздник, можете мне поверить... Я не люблю бросать слова на ветер, когда дело касается серьезных вещей...

Глава двадцать вторая

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

«Леший знает, кто и зачем выдумал вас, женщины! Если только для того, чтобы было кому досажать мужчинам, не давая им покоя, терзать их грешные души, то это, видно, был самый зловерный пакостник, и он заслужил, чтобы его жарили в пекле на самой горячей сковородке.

Подумать только, сколько приходится страдать несчастным мужчинам! Какое ангельское терпение надо иметь, чтобы выносить женские капризы и придирки! Просто в голове не укладывается, какая страшная жизнь была у турецкого султана, имевшего на своей шее целый гарем, и как тяжело пришлось бедняге Соломону Мудрому, у которого, говорят, было на хозяйстве семьсот жен и триста наложниц!

Шутка сказать, этакая орава! А ведь у каждой, поди, был свой характер, свои заскоки, свои повадки!

Вот у меня, грешного, слава богу, одна-единственная жена, и то я порой не знаю, как с ней сладить».

Эти мысли посетили Шмаю именно тогда, когда он стоял на краю виноградной плантации, протянувшейся от самого Ингульца и избежавшей террасами чуть ли не до горизонта. Он привычными движениями подхватывал верейки с сочными гроздьями винограда и грузил их на автомашины, которые выстроились вдоль каменной ограды, отделяющей виноградник артели от дороги. Женщины и девчата, языкатые и шумливые, со всех сторон ташили к нему полные до краев верейки и подмигивали: мол, давай быстрее, а иные кричали еще издали, махая платками:

— Эй, «тяжелая индустрия», не отставай, давай веселее!

«Тяжелая индустрия»... Это еще что за новость?

— Такое, видать, у меня счастье, — вздыхает Шмая, — присобачат мне какое-нибудь прозвище и как гвоздь в доску вгоняют. Навсегда, навеки! Так было с «разбойником», а теперь, с некоторых пор, пошла в ход эта самая «тяжелая индустрия»...

Было время, когда я в одиночку ходил по усадьбе с топором, молотком, пилой и хозяйничал. Тут надо крышу починить, там забор поставить, здесь досок напилить, там проложить трубы к плантации, чтобы не бездельничали воды Ингульда, а поливали бы участки, когда солнце безбожно сушит землю. Мало ли работы в таком большом хозяйстве! Приходилось и плуги ремонтировать, и бороны, подковывать лошадей, которые не хотели бегать по нашему каменистому грунту босиком.

Стал я мастером на все руки. В самом деле, не будешь же каждый раз вызывать из соседних сел, из Херсона и Днепропетровска столяра, слесаря, механика, когда есть на месте Шмая-разбойник, который за все берется и у которого, как говорят люди, все получается неплохо.

Вот и дали мне тогда еще одно прозвище: «тяжелая индустрия».

Дела у нас чем дальше пошли веселее, виноградник буйно разросся, и помаленьку мы дошли до того, что стали миллионерами. Появилась у нас свободная копейка, стало быть, можно теперь и строить. Тогда наши правленцы выделили большую группу крепких хороших ребят и сказали: «Вам и карты в руки, стройте! Постепенно войдете во вкус, и дело у вас пойдет как по маслу. А если сначала получится у вас не совсем так, известно ведь: первый блин комом. Второй пойдет лучше!»

И вот в один прекрасный день вызывает меня Овруцкий и говорит:

— Ну, «тяжелая индустрия», хватит тебе кустарничать. Раньше не по праву присвоили тебе это звание, а теперь оно будет в самый раз... Выделили тебе группу орлов. Сам подучись, их научи и действуй...

Тут уж я не выдержал и говорю:

— Спасибо за высокую честь, но сколько живу на свете, я не любил быть начальником. Всю жизнь я был простым ремесленником, простым солдатом, выше ефрейтора

не поднимался. Вот и хочу рядовым или ефрейтором остаться. Для меня этот чин в самый раз!

— Э, брат, так дело не пойдет! — сказал Овруцкий. — Плох тот солдат, который не стремится стать генералом!.. Выходит, зря мы тебя посылали в область на курсы строителей? Да к тому же ты знаешь, сколько нам теперь строить придется...

Ну что ты скажешь? Попался! Придется подчиниться. Знал бы, с какой целью меня посылали на эти курсы, разве поехал бы? Да ни за какие блага!

С тех пор и пошло! Зимой, летом, осенью, весной строим. И столько понастроили за эти годы, что колонию «Тихая балка» следовало бы уже переименовать в «Гремучую балку». Не узнать наш поселок! От построек, что остались нам в наследство от Цейтлиных, вы здесь уже почти ничего не найдете. Душа радуется, когда смотришь на новые каменные коровники, конюшни. А клуб, детский сад, контора! А одна винодельня чего стоит! Прямо с плантации везут сюда, под прессы, виноград! И такое вино у нас получается — пальчики оближешь!..

Да, были времена, когда на меня иные колонисты смотрели, как на приبلудную овцу. Посидит, мол, на крыше, потом отдохнет, наберется сил и прощай, «Тихая балка»! Прибился, мол, человек к чужому берегу и живет временно, приймаком. Трудится, правда, старательно, но это не настоящий потомственный колонист-виноградарь, который обеими ногами стоит на земле, врос в нее душой. Что с такого возьмешь?..

Правда, это меня глубоко обижало, но я виду не подавал.

А теперь совсем другое дело! Кто посмеет сказать, что я не стою обеими ногами на земле? Хотя на земле я мало стою, больше стою на лесах и сижу на крышах, на стропилах...

Но часто приходится спускаться с крыш. Это тогда, когда начинается горячка на виноградной плантации. Сбор винограда. Тут уж, хоть кричи, хоть плачь, тебе ничего не поможет.

Прибегают к нам бабы и подымают гвалт, будто их режут:

— Давай, «тяжелая индустрия», выручай! Возьми свою гвардию и к нам. Ваши постройки не заискнут, подождут, а виноград ждать на лозах не желает. Он просится в чаны и бочки. Вино, небось, любите пить, то давайте к нам!

И тут тебе уж ничего не поможет. Бабы как насядут, тогда ты пропал. Отбрехаться не сможешь.

Вместе с бабами на нас насаждает моя Рейзл. На винограднике она большая начальница. Вы ведь помните, как она кричала, что ни за какие блага в артель не пойдет, а теперь ее оттуда и не прогонишь. День и ночь пропадает на плантации. В особенности теперь, когда начался сбор урожая. Забыла все на свете, будто нет у нее ни дома, ни мужа, ни коровы, ни детей.

А семья наша выросла. Жена мне подарила еще двух девочек, чтобы Мишке было кого драть за косички, кого дразнить. Когда эта святая троица собирается вместе, тогда и в цирк не надо ходить. Переворачивают наш дом вверх ногами. Уже шутили соседи, когда две девчонки мне родила моя жена. Говорили, ну, слава богу, у Шмаи-разбойника пошли девчата. Это лучший признак того, что войны больше не будет. Подкрепление армии он больше не дает. Не будет солдат, значит, и войны не будет...

Вот недавно примчались наши бабы и согнали нас с крыши. Надо клуб закончить, а те подняли шум на весь район. Сколько я их ни упрасивал не трогать нас, ведь мы тоже нынче по твердому плану трудимся, но куда там! Пришлось на время отложить в сторону инструмент и слезть с крыши. Что с ними поделаешь?..

И вот наш разбойник, бронзовый от загара, стоит бо-сиком на горячей, как огонь, каменистой земле в широко-полой соломенной шляпе, в расстегнутой до пояса рубаше и, засучив рукава выше локтей, грузит виноград. Он старается не отставать от женщин и девчат, которые все под-носят и подносят плетенные из лозняка верейки, полные ароматного винограда. Подхватывая на ходу, он ставит их в кузовы грузовиков, то и дело подгоняя сборщиц:

— Ну-ка, бабоньки, больше жару! Мы вам покажем, как нужно грузить виноград!.. Наш виноградник в этом году не подвел нас, так давайте и мы не будем его под-водить!

Солнце уже повисло над головой. Между буйно разрос-шимися лозами мелькают белые платочки. Женщины, дев-чата, подростки ловко срезают увесистые, сочные гроздья. В воздухе стоит пьянящий запах спелого винограда. Меж-ду рядами одна за другой вырастают верейки, через края которых свисают сизые, красные, золотистые гроздья. Во-

круг вереек и ящиков жужжат трудяги-пчелы, прилетевшие сюда со всей округи, чтобы поживиться драгоценным нектаром. Каждый раз то на одном, то на другом краю плантации вспыхивает задорный девичий смех, раздается громкая песня, и Шмае подчас кажется, что сегодня большой праздник. Хочется и ему петь, смеяться, шутить вместе со всеми, но работы уйма. Каждый раз подкатывают машины, и только поспевая грузить!

Девчата приносят верейки с виноградом, смеются, заигрывают с шоферами, которые не могут отвести глаз от безбрежной плантации, от богатого урожая.

Жена Шмаи щедро угощает их.

— А знаете,— охотно рассказывает она шоферам,— тут у нас был когда-то один богач, Цейтлин по фамилии... Скупой, как сто чертей. При нем вы не попробовали бы и ягодки. Когда начинался сбор винограда, он со всей семьей, со всеми родичами дневал и ночевал на плантации. А девчаты время работы заставлял петь до хрипоты. Как вы думаете, для чего? А для того, чтоб рот был все время занят и они не могли бы есть виноград... Разорится, сатана, если девчонка съест гроздь!..

И снова вспыхивает задорный смех.

— Не стесняйтесь, ребята,— приглашает Шмая приехавших из города шоферов,— будьте у нас, как дома, ешьте на здоровье. У нас нынче урожай на славу... Эти девчонки постарались, не сглазить бы...— И он подносит ребятам гроздь винограда, объясняя при этом, какой это сорт и какое вино из каждого сорта можно получить.— Вы думаете, что только виноград у нас хороший? Девчата у нас еще лучше! Вы только поглядите, какие они! Где еще вы таких невест найдете? А вы зевааете...

Шмая-разбойник только хотел было повести речь о том, какие в артели замечательные невесты, как слышался звон рельса, оповещающий, что наступило время обеденного перерыва. И сборщики винограда — девчата, женщины, подростки — стали собираться к большому шалашу.

Шмая опустил на солому у ветвистого богатыря ореха, образовавшего возле шалаша настоящий шатер, развязал свой узелок, приготовленный женой, вынул кувшинчик молодого игристого вина, поставил его на камень и, подмигивая шоферам-гостям, сказал:

— Ну, ребята, отведайте нашего винца! Это такое вино, что если даже автоинспектор остановит, тоже ничего вам не будет. От нашего вина не пьянеют, только настроение

становится хорошим. Это тебе не водка и не самогон, от которых люди чумеют... Присаживайтесь, пейте!

Никто не смог устоять против соблазна, и через несколько минут, только попробовав Шмаиного вина, приезжие развеселились. Раздался смех, громкий говор, слышались шутки, без которых никогда здесь не обходится. И скоро показалось, что под орехом у огромного, наскоро сколоченного шалаша собралась большая дружная семья...

Угостив гостей, наш разбойник тоже опорожнил две кружечки, с удовольствием крикнул, вытер губы рукавом. Глаза его занеслись.

— Эх, друзья мои! Хорошо все-таки жить на свете! — сказал он, глядя на шоферов, закусывавших свежими пирогами. — Теперь у нас уже порядок есть, сами видите, и хлеб и к хлебу, как старики говорят. А досталось все это нам совсем не легко. Взгляните, какая у нас виноградная плантация — любо посмотреть, правда? А ведь земля наша каменистая, безводная... Представляете себе, сколько труда пришлось в нее вложить? Да, идешь по винограднику, конца-края ему не видать. Настоящий лес. Иной раз заблудится здесь влюбленная парочка, не найдешь ее до утра! А посмотрите на наш поселок! Чем не город?

Хорошо у нас! Вот и приезжайте сюда свататься. Только помните, девчат отсюда не отдаем, к себе женихов принимаем, поняли? А то есть еще такие хитрецы! Приезжают, приглядываются, и смотришь — хорошая сборщица уже тютю-тютю... Забрали! Нет, братцы, так дело не пойдет! Нам тоже нужны хорошие люди, а шоферы тем более, для них у нас работы хоть отбавляй.

А летом к нам со всех концов страны съезжаются гости. Поразлетелись отсюда наши птенцы, кто — в институты, кто — на фабрики, стройки, заводы, в армию, а в родной уголок, к Ингульцу, все-таки всех тянет...

Да... Вот недавно гостил у меня мой старший сын, может, встречали его — Саша, Саша Спивак. Жаль, мало побывал здесь, спешил. Работа у него нелегкая. Офицер он у меня. Служит на границе, начальник пограничной заставы. Охраняет со своими ребятами границу, чтобы какая-нибудь мерзость не пролезла к нам. Беспокойная это служба. Неохота ему было так скоро уезжать отсюда, понравилось ему очень у нас. И девчата наши, невесты ему понравились. Сказал, выпросит отпуск у начальства и приедет сюда свадьбу играть... У него уже есть на примете одна красавица. Только я вам не скажу, кто она... Это только мы

трое — он, я и она — знаем... Правда? — обвел он улыбающимся взглядом кучку смуглолицых девчонок, которые, сидя в сторонке, переглядывались и хихикали, а когда он посмотрел на них, замахали руками, вскочили и разбежались кто куда.

Шмая потянулся к корзине, взял увесистую гроздь золотистого винограда, полюбовался ею минутку и продолжал:

— Вот она, красота наша! Целые книги поэты о ней написали, и даже, говорят, сам царь Соломон тоже вроде что-то написал... Когда-то читал я «Песнь Песней»... Там говорится о винограднике и об одной невесте, забыл, как ее зовут. Конечно, виноград — хорошая вещь. Эта маленькая гроздь людям кровь согревает на свадьбах и праздниках... Есть такие темные люди, которые думают, что виноград растет прямо в плетеных верейках, в корзинах. Эге, пока ты его в корзинах увидишь, глаза у тебя на лоб вылезут. Виноград — это такая цаца, вокруг которой надо на цыпочках ходить. Это тебе не ячмень и не овес, хоть и с ними, с ячменем и овсом, немало хлопот!.. У нас, видите, какой виноградник, целый лес, и разные сорта в нем растут, а каждый сорт имеет свои причуды и капризы, каждая лоза иначе, чем другие, воспитана, и обойдешься с ней не так, неважно будешь выглядеть, когда дело дойдет до сбора урожая...

Конечно, жена моя могла бы вам больше рассказать о винограде, она возле него ходит всю жизнь, с малых лет. Ее отец, дед, прадед тоже были виноградарями. Но и я кое-что в этом деле кумекаю, хоть меня больше всего тянет на крышу...

Да... Вот, скажем, ребята, начинается весна. Снег только-только сполз с виноградника. Приходят на плантацию девчата, ну и, конечно, тащат с собой и «тяжелую индустрию» — меня и моих ребят. Начинаем, значит, открывать виноградную лозу, которая перезимовала, аккуратно прикрытая землей, чтобы, упаси бог, не простудилась. И тогда начинается работа. Не буду вам подробно рассказывать обо всем. Скажу только, что особенно много мороки с почвой. Земля очень любит пить. Благо еще, что она вина не пьет, а то никакие винные подвалы не выдержали бы такого потребителя!..

Потом что надо? Потом надо, чтобы солнышко пригревало, чтобы дождик поливал. А если нет ни солнца, ни дождя, что тогда? Тогда, мои дорогие, плохо, очень плохо. прямо беда! Тогда и песен здесь не поют, и смеха не

услышишь, и ходят люди мрачные, как туча. И даже не пробуй пошутить, сам рад не будешь...

Но вот выглянуло солнце, полил дождик. Опять повеселели виноградари, снова можно пошутить, девушки опять поют, пишут любовные письма своим женихам, а бухгалтер начинает подсчитывать доходы, расходы, дебет и кредит — холера его знает, как это называется на бухгалтерском языке...

Но вы думаете, что это уже все, что можно сложить руки и ждать, пока виноград поспеет? Как бы не так! Ведь не вы одни следите, как он растет, — за виноградом еще следят миллиарды разных паразитов, готовых наброситься на него еще до того, как покажутся чуть заметные гроздья. Если прозеваешь, вся твоя работа пойдет прахом, сожрут паразиты все с потрохами. Проходит еще немного времени. А там, смотришь, опять ни единой тучки на небе не видеть. Снова начинаются тревоги. К тому же не дремлют сорняки, пристраиваются к лозам и начинают высасывать из земли последние соки.

Да, люди добрые, десятый пот с тебя сойдет, пока выведешь лозу на правильный путь, покуда дождешься вот таких гроздьев...

Деликатное это растение! Пришло оно к нам из теплых краев, и сколько мы ни приучаем лозу к холодам, заморозкам, она никак привыкать к ним не хочет. Стало быть, надо ухаживать за лозой, как за барышней, иначе беда!

Видите, что теперь у нас делается? Надо поспеть вовремя убрать виноград, быстрее послать в город, чтоб и горожане его попробовали, получили удовольствие. А большую часть урожая отправляем на свою винодельню. Посмотрели бы вы, что теперь там творится! Подойдешь поближе, опьянеешь от одного запаха. Прессы работают, аж скрипят. Вино у нас знаменитое! Иные, знаете, любят вино, что в бутылках с красивыми наклейками, этикетками. Им бы только пестрая бумажка была... А вот настоящие знатоки очень уважают наше вино. С виду оно, возможно, и не такое красивое, как другие, крепленые, но поверьте мне, натуральное вино — самое лучшее и самое полезное из всех сортов! Наши вина подают к праздничному столу и в Москве, и в Киеве, и в Донбассе... Где вы только не встретите наше вино!

Шмая-разбойник на минутку замолк, набил трубку ароматным табаком, угостил гостей. И тут какая-то из женщин, собирая в кошелку посуду, сказала:

— Шмая, голубчик! Все знают, что ты уже у нас настоящий профессор в этом деле. Но ты бы лучше рассказывал гостям о другом... Вот уже сколько лет мы тебя знаем, а ты все не стареешь. Годы проходят, а ты все такой же! Может быть, у тебя есть какой-то секрет, свой секрет молодости, долголетия?..

Наш разбойник задорно рассмеялся:

— Ну, конечно, у меня есть секрет долголетия! И не один он у меня... Если попросите меня, сразу открою вам секрет! Я человек не скрытный и не жадный. Поделюсь с вами. Только наберитесь терпения. Одну минуточку, дайте докурить. Сейчас вам открою секрет, как прожить сто двадцать лет и не состариться... Ну, конечно, расскажу не поученому, а так, как я, простой рабочий человек, это понимаю. Университетов я не проходил и много толстых книг тоже не читал. Так что не обижайтесь, если будет немножко не так...

Да, слышал я, что какие-то ученые давно ломают себе голову над тем, как продлить человеку жизнь. Очень хотят, значит, найти секрет долголетия. Один профессор, говорят, чуть было не добился успеха... Чудак установил, что нужно мало работать, много есть, много спать, отдыхать, получать много денег и таким путем продлить себе жизнь... Другой мудрый ученый — мне его в прошлом году показывали, когда я поехал на выставку, — очень добросовестно искал этот секрет. Он даже лекцию читал в клубе о том, как, значит, продлить жизнь... Ну, этот советовал есть простоквашу и не пить сырой воды, словом, не есть, не пить и за дамами не ухаживать... А я посмотрел на него — тощий-претощий, кожа да кости. Подуй на него, и он упадет. И на что, подумал я, нужно тебе это самое долголетие и чему ты можешь научить людей?.. Я узнал, что он много лет питался одной простоквашей, редко выходил на улицу, так как там, на улице, полно микробов... В общем, берег себя страшно. И что вы думаете? Читаю я недавно в газете, что он уже отдал богу душу, еле дожив до пятидесяти пяти лет. Говорят, что после его смерти осталось несколько ученых трудов, в которых даются трогательные советы, как продлить свои годы и как долго оставаться молодым и красивым...

А, кроме шуток, хорошо все-таки было бы, если бы хорошие люди жили долго и не старели так быстро! В самом деле, что за безобразие! Только начинаешь вкус в жизни понимать, как тебя уже подстерегает старость, а за ней

старая карга смерть плетется. Хотя я и простой, неученый человек, но я тоже размышляю над тем, как продлить жизнь людям. И, кажется, мои рецепты самые верные. В этом деле я уже собаку съел.

Первый мой секрет долголетия — это жена! Надо все сделать так, чтоб она тебя меньше пилила. Не так, конечно, чтоб уже совсем не пилила. Что это за жена, если она хоть изредка не станет тебя пилить? Тебе будет скучно жить. Но надо стараться, чтобы это случалось как можно реже...

Второй мой секрет вот в чем. Я страх как не люблю врачей, микстур, порошков и предпочитаю всем лекарствам хороший кусок жареного мяса и кружку красного вина, гроздь винограда и яблоко из своего сада. Право же, в них целая аптека и даже больше.

Третий мой секрет — это хороший характер. Надо стараться жить с соседями в мире и согласии, поменьше ссориться с ними, поменьше ругаться. Нужно помнить, что соседей больше всего ожесточает зависть. Есть такие, которые занимаются только одним делом: они завидуют. Увидят, что у тебя лучше идут дела, — завидуют, у тебя лучший пиджак — завидуют, купил ты себе новый радио-приемник, отремонтировал своими руками дом, забор — завидуют. Зависть, надо вам сказать, съедает здоровье пудами, тоннами. А я, с тех пор как себя помню, никому еще не завидовал. Трудись так, как я, моя жена, мои дети, не придется тебе никому завидовать, сэкономишь здоровье и прибавишь себе несколько лет жизни...

Я уже не говорю о том, как приятно пользоваться уважением коллектива, знать, что никогда никаких подлостей никому не делал, не кривил душой, что совесть у тебя чиста и ты можешь смело смотреть в глаза каждому и ходить с высоко поднятой головой. А если голова высоко поднята, конечно, выглядишь моложе....

Четвертый секрет долголетия — это радость, доставляемая детьми. Вот посмотрите, как у нас. Ребята наши растут, как на дрожжах, чтоб не сглазить. Старших хлопцев я уже не считаю — они уже вышли в люди, работают на электростанции, завели свои семьи, отстроились, а к нам приходят в гости. Не хвалясь скажу, ими можно гордиться. Им под стать наши младшие — Мишка и девчонки. Мишка, который родился, когда я под Перекопом был, стал мастером на все руки. А девчонки в школу бегают. Красивые, крепкие, веселые. В поселке их хвалят, и краснеть за них не приходится. О моем пограничнике и говорить

ничего. Хороший парень. Это тоже прибавляет годы жизни...

Теперь мы с вами подошли к самому главному секрету. Это — труд. Старайся хорошо и много трудиться, не сидеть без дела, не бить баклуши. От безделья и лени человек слабеет и дряхлеет. Когда много работаешь, ты всегда занят, всегда находишься в движении, и кровь твоя не застывает, а циркулирует, как часы.

Выходишь ты на улицу, видишь новые постройки, новые здания,— в них вложен и твой труд. Ты любишь и гордишься тем, что сделано твоими руками, и от радости тебе прибавляется еще несколько лет жизни. К тому же, вечно занятый работой, ты забываешь о том, что стареешь, нет у тебя времени думать о всяких болячках и хворобах. А раз ты не думаешь о старости и болезнях, то и они от тебя отступают, как черт от ладана. И это, поверьте мне на слово, куда лучше всякой простокваши и зельтерской воды... Кроме всего, надо гнать от себя меланхолию, быть веселым, любить шутку, остроту, улыбаться, смеяться...

Да, чуть не забыл еще об одной очень важной штуке. Нужно всегда помнить, что жизнь наша не поезд — купил билет до такой-то станции, сядешь в вагон, и гайда. Едешь по точному расписанию и графику; знаешь, когда выехал и когда приедешь. Нет, брат, так не бывает. Если ты за всю свою жизнь горя не хлебнул, не побывал в сложных переплетках, не подставлял там, где надо, свое плечо, не приносил людям пользы, тогда не поймешь, что такое жизнь, что такое настоящее счастье, и не сможешь оценить его как следует.

А теперь взгляните на меня, Шаю Спивака, Шмаю-разбойника. Сколько горя перенес я на своем веку, сколько дорог прошел, сколько раз подставлял свое плечо, когда надо было помочь людям, сколько строил, трудился. Так посудите сами, люди добрые, имею ли я право сбросить со счетов какой-нибудь десяток-другой лет? Вы должны понять, что жизнь передо мной в долгу и мне с нее еще кое-что причитается!

Ну вот, собственно, мой секрет долголетия. Ничего я от вас не скрыл. Нравится он вам, можете им воспользоваться. Не нравится, не хотите? Что ж, в обиду не буду. Ешьте на здоровье простоквашу и принимайте пилули!..

Часть третья



ПОД КОНЕМ И НА КОНЕ

Глава двадцать третья

СЧАСТЬЕ ОТВЕРНУЛОСЬ

Счастье, говорят, штука очень капризная и изменчивая. Заглянет к тебе, улыбнется, пококетничает, а захочешь его в руки взять, взбунтуется, отвернется от тебя и — ищи ветра в поле!

Однако счастье счастьем, а беда не дремлет! И нынешним летом счастье вдруг всем честным людям на земле изменило.

— Ведь вот история, — размышлял наш кровельщик, — все уже так хорошо налаживалось, начинали жить по-человечески, тут опять несчастье на нас обрушилось, как гром среди ясного неба. Наверно, если б я начал шить саваны, люди перестали бы умирать!

Еще не успели зажить раны недавних войн, так вот тебе новая напасть! Начиная все сначала...

Кажется, столько ученых и мудрых людей живет на свете. Они выдумывают новые машины, строят города, электростанции, пишут книги, лечат больных, стараются сделать так, чтобы лучше жилось на свете, веселее, радостнее. И вот появляется какой-то мерзавец, ничтожество, подлец и превращает весь мир в сущий ад, а мудрецы не то от страха, не то от нежелания связываться с ним уходят в кусты. А когда спохватываются, уже поздно...

Ведь только недавно заговорили о том, что появился в Германии маленький человечек с маленькими усиками, длинным чубом и лицом кретина, собрал все черное, грязное, что только было в стране, и начал орать на всех перекрестках, что, только дайте ему развернуться, он установит в Европе «новый порядок». И пока мудрецы раздумывали, как обуздать одержимого, он дорвался до власти, превратил свою страну в сумасшедший дом, возомнил себя властелином всей земли, и вот уже все в мире перевернулось. Рушатся города, гибнут люди, а пожар войны разгорается, распространяется все дальше и дальше, и кровь людская льется рекой...

Эх, горе, горе!

Если бы вытащить у всех солдат мира застрявшие в их телах осколки, то из этого железа можно было бы, пожалуй, построить огромный мост. Если бы собрать в одно место слезы, пролитые во время недавней войны всеми матерями, женами, сиротами, вдовами, разлилось бы безбрежное море. И если бы мудрецы и политики с того моста заглянули в глубь этого моря, они давно бы увидели своих истинных врагов и быстро утопили бы их в этом море — самом страшном море на земле!

Так размышлял вслух перед своими односельчанами наш разбойник.

Да, в самом деле, люди уже воспрянули было духом, понемногу отстроились, приоделись, трудились, жили, мечтали, любили. У каждого было свое счастье, свои радости и печали. и можно было бы свободно обойтись без войны, без кровопролития. Так вот тебе! Столько дел впереди, столько работы, такие большие планы, что голова шла кругом! И в один день все пошло прахом!

— Чего ты так сокрушаешься, Шмая-разбойник? — говорили соседи. — Тебя ведь эта война не касается. Был бы ты помоложе, дали бы тебе винтовку в руки и пошел бы воевать. Но ты уже свое отслужил, теперь на войну пойдут другие...

— Чудаки! — огрызался он. — Рано собираетесь меня сбросить со счетов! Разве вы не знаете, что старый солдат похож на доброго кавалерийского коня? Тот, только услышит сигнал горниста, уже на месте устоять не может. Хоть я и старше тех, кто сразу пойдет на фронт, но не забывайте, что я не из таких, которые скоро стареют, а в особенности когда надвигается на нас такая туча...

Весть о том, что началась война, принесли Шмае, когда он, засучив брюки до колен, сидел на берегу Ингульца и ловил рыбу.

Он шагал домой удрученный, мрачный. Никак не укладывалось в голове, что так неожиданно-негаданно это могло случиться. Весь поселок уже высыпал на площадь. Женщины забыли подоить коров, и животные беспрерывно ревели. Над дымоходами не видно было привычного дыма, никто не готовил завтрака, дети не спешили в детсад — все оборвалось, все потеряло свое значение. Люди ждали сообщений по радио. Уже говорили, что на границах идет кровопролитная война.

Наш разбойник просто места себе не находил, бродил

по поселку как неприкаянный. Ему казалось, что война идет уже совсем близко от Ингульца.

После полудня прискакал на разгоряченном коне всадник из района и привез пачку повесток из военкомата.

Но солдаты запаса и молодые призывники и без того уже готовились в путь-дорогу.

Женщины и девушки шили мужьям, сыновьям, женихам, братьям солдатские мешки и пекли плюшки, сушили сухари на дорогу. У Шмаи забот было, кажется, больше, чем у всех. У него уходили в солдаты трое сыновей, четвертый воевал где-то далеко отсюда, на границе. Да, пожалуй, и все ребята в поселке были сейчас дороги ему, как родные дети.

Кровельщик забегал то к одному соседу, то к другому взглянуть, как снаряжают в дорогу хлопцев, не дают ли им лишнего груза,— он-то хорошо понимал, что необходимо в походе. И к его совету теперь все прислушивались: как-никак старый солдат!

Рейзл шила три мешка. Сухари и пампушки разделила на три равные части — кто знает, попадут ли все ребята в один полк...

Придя домой, Шмая взглянул на заплаканную жену и почувствовал, как сердце у него в груди замерло. Может быть, она вспомнила, как провожала на войну своего первого мужа, как ждала его и не дождалась?..

Не сказав ни слова, Шмая тихонько вышел из дому и снова стал бродить по поселку.

До того как привезли повестки, весь ужас войны все же чувствовался не так остро, как теперь. Ведь почти в каждом доме кого-то снаряжали в дорогу. Все были ошеломлены, потрясены...

Седлали лошадей, откормленных специально для армии: чистили и украшали подводы, брички, на которых отвезут ребят на сборный пункт в районный военкомат. В стойлах ржали кони, просили воды, блеяли в кошаре овцы, ревели коровы в ожидании доярок, но не до них теперь было. Горе, страшное горе обрушилось на людей.

Обойдя весь поселок, Шмая возвратился домой смертельно усталый, хоть он сегодня и не приступал к работе.

Жена встретила его молча. Он прилег на кушетку и стал тихонько, под нос напевать грустную солдатскую песню, которую почему-то давненько не вспоминал. Одним ухом он прислушивался к разговору сыновей с матерью, которая укладывала их вещи.

Шмая хорошо помнил день, когда он пришел сюда, к Ингульцу, и встретил двух замурзанных кудрявых пастушков, гнавших с выгона стадо коров. Он вспомнил сейчас и то утро, когда, возвратившись после перекопских боев из госпиталя, он увидел жену, державшую на руках маленького крикуна Мишку... А теперь? Орлы! Еще не успели пожить, а уже должны идти в огонь...

В углу навзрыд плакали молоденькие снохи, а в саду под вишнями стояла, не решаясь войти в дом, светловолосая синеглазая Оля — единственная дочурка Данилы Лукача, пасечника из соседнего колхоза, закадычного друга Шмай-разбойника.

У Мишки все валится из рук, он спешит к любимой. Уже несколько раз звал ее в дом, просил зайти, а она продолжает стоять под деревом, краснея и бледнея, когда мимо проходят знакомые и бросают на нее лукавые взгляды. И Мишке тоже страшно неловко оттого, что ему приходится каждый раз то выбегать к ней, то бежать к матери, которая явно ревнует сына к этой девчурке.

На столе уже давно остыл обед, приготовленный для Шмай. Рейзл, подняв на мужа большие, полные слез глаза, сказала:

— Что ж, и за тобой я должна сегодня ухаживать?

— Не надо за мной ухаживать... И так уже сыт! — ответил он, поднялся с кушетки и, подойдя к окну, поискал глазами девушку с длинной косой. Она уже стояла под старым орехом в дальнем углу сада, смотрела влюбленными глазами на молчаливого Мишку и, видно, не знала, что сказать ему на прощанье.

Шмая стал тихонько напевать:

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?
Наши жены — пушки заряжены,
Вот где наши жены!
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши сестры?
Наши сестры — сабли, шашки остры,
Вот где наши сестры!

Почувствовав на себе сердитый взгляд жены, оглянулся.

— Песни поешь? Веселишься? Мои дети на фронт уходят, а тебе весело...

«Мои дети...» — острым ножом полоснули его по сердцу слова жены. Стало нестерпимо обидно и больно. Разве

не одинаково любит он всех детей, разве не готов он за каждого из них отдать по капле всю свою кровь? Зачем же она так говорит?..

Рейзл была очень удручена, и Шмая понимал, что не следует сейчас заводить разговор об этом. Но все же обида не становилась меньше. Он ходил из одной комнаты в другую, не знал, за что взяться. Наконец достал из шкафа праздничный пиджак, приколот к нему орден, хорошенько, до блеска надраил его суконкой и вышел на улицу.

Ребятишки весело плескались в Ингульце, почувствовав себя самостоятельными людьми, безнадзорными. Никому, казалось, нынче дела не было до них — отцы уходят на войну, здесь остаются только матери, а их бояться нечего.

Шмая-разбойник встревоженный шагал по улице. Ему вдруг тесно стало в колонии, трудно было наблюдать, как девочки прощаются по углам со своими парнями. Он свернул к опустевшей виноградной плантации. Сюда едва доносились звуки бравурной музыки с площади. На солнце сверкали виноградные гроздья, переливаясь всеми цветами радуги. Вокруг не было ни души. Такая благодать. А денек-то какой — раздолье. Наслаждаться бы людям этой красотой природы, трудиться, жить, радоваться, любить — что ж еще человеку надо? Но где там! Боже, сколько жизней уже отнято! Сколько чудесных ребят уже сложили свои буйные головы там, на границе, приняв на себя первый удар проклятого врага!

Сердце бывалого солдата сжалось от боли и досады.

Где-то там, на краю нашей земли, сражается сейчас его любимый сын со своими боевыми пограничниками. Помочь бы им. Как должно им быть трудно! Неожиданно ведь навалилась дикая фашистская орда с танками, самолетами, и земля стонет. Где-то там, в огне, мечется, верно, семья сына — жена с мальчуганом. Живы ли они? Быть бы рядом с ними, помочь им. Но как? И неожиданно возникло решение — отправиться вместе с призывниками колонии на фронт. Где-то там он их, возможно, найдет. Это не так просто? Чудес не бывает? Ничего! Горе раздирает душу, ненависть к врагу не дает покоя, и он пойдет воевать. К осени все конечно будет, и он вернется домой. Так он решил, и так он поступит!

Усталый, взволнованный вернулся Шмая в дом. Сыновья уже готовы были в путь-дорогу. Он быстро натянул на себя старую солдатскую гимнастерку с солдатским ремнем, сапоги, взял мешок, выдавший виды, засунул пару белья,

полотенце, кружку и ложку, буханку хлеба и кусок сала с чесноком и луком.

В соседней большой комнате было шумно. Вокруг стола расселись сыновья, их жены, соседи. Уже успели изрядно выпить за победу, за скорое возвращение домой. Ждали мать, которая разыскивала на поселке пропавшего мужа. Завидев Шмаю, вошедшего в комнату, все обрадовались:

— Гляньте, люди, как человек нарядился, как на парад! Чего, батя, так нарядился, может, и ты повестку получил явиться к призыву?

Кто-то подал ему кружку вина, и он, недолго думая, выпил, налил себе другую. Пожелав сыновьям скорее возвратиться домой, он осушил вторую кружку, но тут почувствовал, что голова у него начала чуть-чуть кружиться. Он достал патефон, поставил пластинку, стал подпевать. Сыновья и гости посмеивались, удивленно глядя на него.

— Чего вы, ребята, носы повесили? Разве так уходят новобранцы на службу? — оживился Шмая и, подойдя к окну, заметил под орехом Мишку и Олю. Он выбежал в сад, затащил обоих в дом, усадил за стол и заставил выпить вина.

Засылав музыку в доме кровельщика, соседи стали собираться сюда. Через несколько минут в доме уже было полно людей. Пришел и Овруцкий. Ему понравилось, что Шмая-разбойник не дает людям унывать, подошел, обнял его и выпил с ним за старую дружбу.

Шмая развеселился еще больше. Дав команду, чтобы люди расступились, он пустился в пляс, а за ним, не раздумывая, пошли две бойкие молодницы.

Глядя, какие коленца выделяет кровельщик, старики только пожимали плечами, мол, совсем сдурел человек! На что это похоже — веселиться, когда у всех такое большое горе! Но Шмая не обращал ни на что внимания и продолжал плясать, втягивая в круг все больше и больше людей.

Раскрасневшаяся, запыхавшаяся, вбежала в дом Рейзл. Она остановилась на пороге и, видя, что вытворяет муж, не на шутку рассердилась.

— Может быть, уже хватит? Ты что, с ума сошел? Опять в тебе солдат заговорил? И чего ты так вырядился? — окинула она злым взглядом его солдатский мундир.

Шмая остановился, словно кто-то внезапно окатил его холодной водой. Он посмотрел на жену. Вспомнил ее сло-

ва: «...Мои дети идут на войну, а тебе весело?..» Однако при людях не хотел заводить разговор об этом и негромко сказал:

— Что же ты думаешь, дорогая моя, если война, то надо плакать и рыдать, чтобы наши враги радовались? Пускай проклятый Гитлер плачет, а мы будем веселиться. Все равно придет гибель на его голову. Вспомнишь мои слова!..

Он умолк, достал трубку, набил ее табаком, закурил. И, снова вспомнив ее слова о сыновьях, уходящих на фронт, добавил:

— Ну откуда же мне знать, что значит уходить на войну? Я ведь все годы сидел на печи сложа руки и ждал, чтоб дядя за меня воевал...

Эти слова он произнес с горечью, и лицо его, еще недавно такое возбужденное, сразу затуманилось. Он молча прошел в другую комнату, взял свой мешок на плечи, окинул рассеянным взглядом дом, обнял дочурок, которые прижались к нему и испуганно глядели ему в глаза.

— Ну, доченьки мои, прощайте! Слушайтесь маму...

— Куда это ты собрался? — крикнула жена, преградив ему дорогу. — Куда, спрашиваю тебя?

Он ответил только после долгой паузы:

— Туда же, куда все ребята собираются...

— А все-таки куда? — взяла она его за руку. — Скажи мне, куда?

— На фронт...

— Совсем человек рехнулся, прости господи!.. Это уже не ты, а вино за тебя говорит!.. — крикнула она. — И кто же тебя туда посылает?

— Совесть! — ответил кровельщик, немного помолчав. Он отстегнул орден, протянул его жене: — Возьми, спрячь. Вдруг со мной что-нибудь случится, пусть малышки наши знают, что их отец в тяжелое время, когда за Советскую власть воевали, не сидел сложа руки. И вообще, если когда-нибудь какой-то подлец скажет, что нам, мол, не дорога наша земля, что мы не воевали за нее, плюнь ему в морду и покажи вот это! И еще скажи, сколько солдат дала Родине только одна наша семья... Смотри здесь за детьми и не плачь...

Все стояли тихо, обратив взоры к Шмае-разбойнику, который выглядел сейчас намного старше, чем обычно.

Рейзл опустила глаза. Она знала, что не в ее силах уговорить его остаться. В напряженной тишине Шмая со

всеми расцеловался, жестом позвал сыновей и молча направился к двери.

На площади возле сельсовета уже собрался весь поселок. Дети прыгали вокруг лошадей, вертелись около накрытых ковриками телег. В гривы лошадей девчата вплетали ленты. В сторонке, у крыльца клуба, играл оркестр. Но это уже был не тот знаменитый во всей округе оркестр, не та игра, что когда-то. Не слышать было барабанщика Лейзера и флейтиста Шимона, не играл на своей скрипке Давид Гуральник, а Саня Грин — на тромбоне, — все они стояли с солдатскими сумками и прощались с родными, с невестами.

Оставшиеся оркестранты старательно играли марши и всем знакомые песни, но веселее от этого никому не становилось.

Люди разговаривали тихо, будто чего-то ожидали. Иногда даже закрадывалась мысль, что все это только страшный сон, а на самом деле никакой войны нет, сейчас позвонят из района, что то была учебная тревога и что, мол, можно расходиться по домам...

Музыканты не переставали играть... И когда люди присмотрелись к поредевшему оркестру, они особенно остро почувствовали, поняли, скольких парней забирает у них война. Из поселка уходили лучшие трактористы, виноградари, шоферы и строители, кузнецы и механики...

На площади было шумно.

Но вот вдали показался Шмая в полном солдатском обмундировании, и все сразу затихли.

— Смотри-ка, Шмая! С чего это ты так вырядился? — воскликнул старый кузнец Кива.

— Как — с чего? На фронт иду с нашими хлопцами, — ответил кровельщик, поискав глазами в толпе своих сыновей.

— А помоложе тебя в колонии не нашлось? Ведь ты уже, слава богу, человек в годах...

— Во-первых, у меня нету такой привычки считать свои годы, — усмехнулся Шмая-разбойник, — я не засиживаясь в девках барышня, а во-вторых, разве на одних молодых свет держится? Молодых еще учить надо, а я уже готовенький солдат... — И, помолчав, добавил: — К тому же известно, что за одного битого солдата шесть небитых дают...

— Что ж, это, пожалуй, правда... — задумчиво сказал кто-то из молодых.

Люди тесной толпой окружили Шмая. Удивленно смотрели на него женщины, все еще не веря, что он решил добровольно пойти на фронт. Одна из них стала просить, чтоб он там, на фронте, присмотрел за ее сыном, помог ему в трудную минуту, — ведь что такой сосунок понимает в военном деле...

Шмая выслушал ее и кивнул, не желая разочаровать женщину, которая, видно, думает, что на войне все ходят компанией, как на гулянье, и земляки всегда собираются в одной части. Но когда к нему подошло еще несколько матерей с такими же просьбами, он улыбнулся и весело сказал:

— Знаете что, соседки мои дорогие? Дайте мне звание генерала, тогда я начну командовать дивизией и всех ваших ребят возьму к себе. Всех к себе запишу, и вас в том числе...

Окружающие дружно рассмеялись, но некоторые женщины все же смотрели на Шмая с любопытством и завистью: что и говорить, ему будет легче на войне, чем их мальчикам...

Шмая без труда понял, о чем думают женщины, и хотел им сказать: «Эх, когда меня впервые послали воевать, мне было не больше лет, чем вашим сыновьям...» — но промолчал.

Рейз стояла чуть поодаль и с тоской смотрела на мужа. Она только сейчас поняла, что он не шутит, что он расстанется с ней и... кто знает, может быть, навсегда. Сердце у нее заныло. Прошлая война отняла у нее первого мужа, а теперь уходит и этот, уходят ее сыновья. Может быть, попытаться удержать его? Особенно больно было, что он расстанется с ней в таком плохом настроении, что она его так горько обидела. Ей стало ясно, что он принял свое решение после их размолвки. Это она во всем виновата! Неужели Шмая мог подумать, что он ей не дорог, не мил? Нужно отозвать его в сторонку и все сказать, удержать его. Правда, он притворяется веселым, шутит, как всегда, однако она знает, что у него совсем не весело на душе, что он тревожится о своем сыне, который сражается сейчас вместе со своими бойцами где-то на границе, в самом пекле...

В эту минуту она, кажется, забыла обо всем на свете, думала только о нем, своем ласковом и добром друге.

который принес ей столько хорошего в жизни, она думала об отце ее детей, о своем верном друге. Рейзл не сводила глаз с чело века, столько лет делившего с ней радость и горе. Но что это с ним? Почему он не смотрит в ее сторону, не подходит к ней?..

И она сама подошла к нему, будто для того, чтобы лучше завязать мешок, и ласково проговорила:

— Опомнись, родной мой! Что ты делаешь? Подумай о девочках...

— Я давно все обдумал...

— Разве мало ты уже перенес?.. Опять откроются твои старые раны...

— Ничего, Рейзл, на войне все заживет, там все горести быстро забываются...

Как хотелось ей сейчас сказать ему много-много хороших, теплых слов, но что-то сжало горло, и она отошла в сторонку.

Все уже были готовы. Ждали Овруцкого. Он проковылял вдоль подвод, дал последние советы ездовым, попрощался со всеми.

— Ну, дорогие земляки,— взволнованно сказал он,— счастливого вам пути! Возвращайтесь с победой! Не осрамьте нашу семью колонистов!

Он хотел еще что-то сказать, но не мог говорить, только махнул рукой и отвернулся.

Послышался женский плач, громкие рыдания.

Колеса загрохотали по дороге. Ребята пошли за подводами.

Рейзл шагала рядом с мужем, стараясь не отставать от него. За ними бежали обе девочки. Теперь они уже не были так оживлены, как час назад. До их детского сознания уже дошло: случилось нечто страшное, непоправимое... Вот они и притихли.

Рейзл шла и чувствовала, что с каждым шагом на душе у нее становится все тяжелее. Старшие сыновья заняты своими женами, Мишка никак не может расстаться с Олей, которая, стыдясь окружающих, прячет заплаканные глаза. Шмая молчит, словно воды в рот набрал, смотрит по сторонам, не отвечает на ее вопросы. Кажется даже, будто он с нетерпением ждет минуты, когда можно будет уже с ней распрощаться...

Подводы остановились на мосту. Хлопцы смотрели на свой поселок, на свои дома, казавшиеся в эту минуту еще милее, еще дороже и роднее, чем всегда.

— Ну что ж, дорогая, возвращаясь домой, нам надо спешить,— тихо сказал Шмая-разбойник и слегка обнял жену. Она зарыдала, прижалась к его груди. Слезы ручьем катились по ее щекам.

— Ну хватит, не надо плакать... Бог даст, скоро закончится война, и мы вернемся... Не надо плакать! Придет время, когда наши враги заплачут кровавыми слезами, а мы будем радоваться... Ну не надо! Попрощайся с нашими сыновьями...

Он поцеловал ее и подтолкнул к сыновьям, которые уже подходили к ней.

— Мама... Ну, мама, зачем ты так? — первым подошел Мишка, стройный, крепкий, как дубок, юноша с густым смолистым чубом.— Ну, прошу тебя, не плачь, не надо...— И он прижался к ее мокрой от слез щеке.

Шмая-разбойник стоял в сторонке и смотрел, как сыновья прощаются с матерью. Но в этот момент ему на шею бросились девчурки, стали осыпать его поцелуями, плакать.

— Папка, правда, ты скоро вернешься к нам?..

— Конечно, скоро! Как только уничтожим фашистскую гадину...

— А что ты нам с войны привезешь?

Он задумался, но тут же ответил:

— Непременно привезу подарки, только вы тут ведите себя хорошо...

Они что-то ответили, зашумели, но Шмая отстранил их от себя и, обращаясь к провожающим, сказал:

— Ну, соседи, прощайтесь поскорее... Солнце уже заходит, нам надо спешить.— И, улыбнувшись, добавил: — Давайте закругляться! Ну-ка, невесты, покажите, как вы любите своих женихов, расцелуйтесь с ними и пожелайте им счастливого пути. Только без слез! Ох и погуляем же мы на ваших свадьбах, когда вернемся!..

Он осекся, подумав, сколько уходящих сейчас не вернется домой, сколько этих славных ребят поляжет в жестоком бою...

Через несколько минут шумливый обоз растянулся по старому тракту, по которому колонисты уже не раз уходили воевать с врагом.

Провожжающие остались на месте и долго еще махали вслед руками, платочками, фуражками:

— Возвращайтесь с победой!..

Настал чудесный летний вечер. Но никто не замечал

его прелести и никому не нужна была его краса. Молодые солдаты впервые в жизни ощутили всю горечь разлуки с родным краем, с любимыми и близкими людьми. Оглядывались, поглядывали на милый сердцу, сейчас притихший поселок на Ингульце, где они познали первые радости и печали. Телеги, монотонно поскрипывая, медленно тащились в гору. Некоторые ребята, сильно устав за этот, казалось, бесконечный день, усаживались на подводы. Только Шмая-разбойник все время шагал, погруженный в свои думы. Жалко было, что так нескладно простился с женой.

— Что ж это вы все пешком, дядя Шмая? — спросил с подводы безусый парнишка. — Пожалейте ваши ноги, они вам еще пригодятся...

— Ничего. Солдату ноги жалеть не положено, надо по-размяться.

— О чем вы теперь думаете?

— Думаю, что когда прибуду в полк, — ответил Шмая-разбойник, — обращусь к начальству с просьбой снять с меня старое звание — ефрейтора...

— А почему? Разве это плохое звание?

— Нет, хорошее. Но очень уж досадно, понимаете, — этот бешеный пес Гитлер тоже, оказывается, ефрейтор... Он мне испортил такое славное звание... Провалиться б ему сквозь землю, гаду проклятому!..

Глава двадцать четвертая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

На следующий день наш разбойник благополучно возвратился домой.

Он шел по улице крадучись, прижимаясь к плетням и заборам, чтобы, упаси бог, никто его не увидел. Лицо пылало от стыда. Солдатский мешок уныло болтался за плечами. Не думал он, что все так кончится. Как не хотелось ему сейчас встретить кого-нибудь из земляков! Начнут приставать с расспросами, а что ты им скажешь, когда на душе так паршиво!

Но в тот самый момент, когда он уже было решил, что, проскочив через чужой огород, попадет незамеченным в свой дом, черт принес сюда любопытную соседку, которая, не вымолвив ни слова, подняла такой крик, что со всех сторон к ней бросились люди.

Увидев Шмаю, они оторопели:

— Что случилось, Шмая? Может быть, уже кончилась война?

— Говори скорее, не выматывай душу!

— А где же остальные?..

Шмая упорно молчал. Если б в эту минуту перед ним разверзлась земля, он охотно провалился бы сквозь нее. Поди расскажи им, что произошло с ним в районе, когда он никак и не рассчитывал на такое... Он махнул рукой, чтобы его оставили в покое, но люди не переставали доносить его, прося, требуя поскорее рассказать, что с ним стряслось.

Волей-неволей пришлось уступить, и огорченный Шмая стал подробно рассказывать о том, как вежливо его встретили в районе, как благодарили, а потом заявили, что все очень хорошо понимают его патриотические чувства, но пусть он возвращается домой, на фронт его не пошлют. Почему? По той причине, сказали в районе, что нет еще указания брать добровольцев, а его год не призывают, есть помоложе...

— Да, дожил...—с горечью произнес Шмая.— Не годен, сошел, значит, с мерки... Да разве я смогу спокойно сидеть здесь, когда такая война идет?.. Уж я там и по-хорошему говорил, и ругался, угрожал даже жаловаться начальству, ничего не помогло. Вот и вернулся несолоно хлебавши...

Пришибленный неудачей, шел кровельщик к своему дому, а за ним длинным хвостом тянулись соседи, расспрашивая, что слышно на белом свете, словно он возвратился не из района, а, по крайней мере, из Москвы...

Шмая отвечал им рассеянно, часто невпопад. Он вошел в садик, со злостью швырнул солдатский мешок на траву, сел на скамейку, закурил. Соседи смотрели на него кто с участием, а кто — с затаенной усмешкой.

— Эх, Шмая, Шмая,—проговорил старый кузнец Кива.— Вышло все-таки по-моему: кто красив, а я таки умен... Сразу тебе сказал, что человека, которому, не сглазить бы, около полусотни лет, никак на фронт не возьмут...

— Мы еще посмотрим,—перебил его Шмая.— Я человек упрямый, своего добьюсь... Если не сегодня, так завтра...

— Твоя жена родилась под счастливой звездой,—вздохнув, сказала молоденькая женщина, которая так горько плакала вчера, прощаясь со своим мужем.— Боже мой,

как она обрадуется!.. Надо побежать к ней, сообщить радостную новость!

Но пока она собиралась пойти передать Рейзл добрую весть, та уже обо всем узнала и сломя голову примчалась сюда.

В ее глазах были и радость и тревога. Взглянув на усталого мужа, она сразу попросила соседей оставить его в покое, зайти к ним как-нибудь в другой раз, а сама побежала к колодцу за холодной водой. Надо ведь человеку после такой дороги умыться и отдохнуть.

Однако соседи были не из тех, которые легко соглашались уйти. А кроме того, они прекрасно знали, что долго быть удрученным и мрачным не в характере Шмаи-разбойника. Еще немного, и он придет в себя, поболеет, настроение исправится, а тогда можно будет услышать от него что-нибудь утешительное.

И действительно, прошло немного времени, наш кровельщик умылся, перекусил и стал почти таким, как всегда.

— Вот это другое дело! — проговорил кто-то из соседей. — А то говоришь ему что-нибудь, а он тебя и не слышит...

— Ну как же! Побыл человек на фронте, понимать это надо!

— Да ведь кончилась служба у него...

— Братцы! Вы еще долго будете меня мучить? — повеселев, спросил Шмая. — Если бы врачебная комиссия меня забракела, тогда плохо было бы, но ведь меня отправили домой, так как указаний нет... Это совсем другое дело. Значит, не все еще потеряно...

Утром, едва забрезжил рассвет, Шмая, сунув ноги в сандалии, направился к площади, послушать, что передают по радио. Хоть все можно было услышать и дома у репродуктора, но там, где много людей, всегда лучше. Услышишь комментарии к передаче, сам скажешь словечко, и не будет так трудно слушать плохие известия, как в одиночестве.

Хоть радио еще молчало, но люди уже стояли тихо, боясь что-нибудь пропустить. Ведь ждать, пока привезут газету, просто невыносимо. Всем очень хотелось думать, что сегодня будут передавать хорошие известия, что советские воины остановили на границе немецко-фашистские полчища, но вместо этого люди слышали сообщение о

бомбежке, о жертвах, пожарах, об отступлении наших войск.

Горестные вести тяжелым камнем ложились на сердце, и все труднее становилось дышать. Люди стояли, понуриив головы, будто они были виноваты в неудачах и поражениях на фронте...

В один из августовских вечеров со стороны тракта слышался необычный шум. Поднимая клубы пыли, тянулись на восток обозы. За возами, арбами, телегами и кибитками брели усталые, обессиленные городские и сельские жители — мужчины, женщины, старики, дети. Гнали табуны лошадей, стада коров, отары овец. Казалось, не будет конца этому нескончаемому потоку.

Все это напоминало передвижение какого-то огромного цыганского табора. По всему видно было, что люди давно уже в пути и никто из них не знает, когда они прибудут на место.

Вся колония — стар и млад — побежала к тракту. Стояли у обочины дороги и скорбным взором следили за необычной процессией. Останавливали беженцев, расспрашивали, куда и откуда они идут, а те отвечали на ходу и смотрели таким же взглядом на колонистов, про себя думая, что скоро настанет и их черед бросить насиженные гнезда и двинуться в глубь страны...

Если до сих пор война кое-кому казалась далекой и неправдоподобной, то теперь она уже подходила к их дому. Это она, война, отражалась в глазах людей, бросивших свои дома и бредущих незнакомыми дорогами все дальше на восток.

Шмая-разбойник стоял у тракта, с болью в душе смотря на беженцев, на бесконечные обозы, стада, идущие от самой границы. Как он ни старался крепиться, но не в силах был скрыть свое горе. Не хотелось думать, что и ему предстоит пережить подобное.

«Нет, — твердо решил он про себя, — к нам сюда война не дойдет!»

До полуночи двигались обозы на восток, а колонисты все не расходились, а потом, опечаленные, мрачные, молча пошли домой.

Особенно огорчал их Шмая. Уж если он молчит и так удручен, значит, дела совсем плохи.

— Шмая, дорогой, — тихо промолвил старый кузнец Кива. — Скажи нам, что ж это будет?

— В самом деле, почему не остановят злодея?

- Подумать только, куда он залез!..
- А нам говорили, что будем воевать на чужой территории... Еще пели песню: «Если завтра война...»
- Что ж это, управы нет на этого подлого Гитлера?
- Почему ему отдают наши города?..

Шмая только пожимал плечами, не зная, что ответить землякам. Наконец он нашел выход: прикинулся рассерженным:

— Скажите, пожалуйста, какие все стали знатоки! Стало быть, так надо, какой-то план имеется там, наверху...

— Какой же это план, если мы без конца отступаем? — сердито крикнула соседка.

Кровельщик долго молчал, затем сказал:

— Что и говорить, пока все, конечно, очень плохо. Но, по-моему, Гитлер должен скоро свернуть себе шею. Правда, он быстро продвигается вперед, но вы еще увидите, как он будет бежать назад. Война — это, знаете, стратегия...

— А что такое стратегия? — вмешался в спор Кива. — Скажи, с чем это едят? Ты как-никак старый солдат. Весь свет исходил, все должен знать...

По правде говоря, Шмая и сам не знал, что означает это слово. Однако признаться в этом ни за что не хотел. Он сдвинул картуз на затылок, потер лоб, будто припоминая что-то. Но, как на грех, в голову не приходило ничего, что могло бы растолковать людям это непонятное слово.

— Ну, Шмая, скажи наконец что-нибудь, не выматывай душу!

— Стратегия? — переспросил он. — Как же вам это объяснить?.. Стратегия — вещь очень деликатная... Стратегия, насколько я понимаю, это сила и мудрость страны. А коли так, то клянусь вам, что Гитлер и вся его банда плохо кончат... Помните мои слова! Это уже такой закон: все, кто нападал на нашу страну, плохо кончали. А чем этот душегуб лучше других?

Старый кузнец кивнул головой:

— Честное слово, Шмая-разбойник прав! Уж если, напав на старую Россию, все враги себе голову тут ломали, то какая же гибель ждет этого злодея в Советском государстве!..

— Золотые слова! — оживился Шмая, радуясь тому, что старик помог ему выйти из неловкого положения.

Хотя бабы, выслушав ответы кровельщика и кузнеца Кивы, молчали, но, должно быть, только из вежливости.

Не хотелось смущать их. В душе они считали, что ответ не точен и надо будет еще к этому вопросу вернуться.

На следующий вечер, когда Шмая ушел к Овруцкому — надо же было старым друзьям поговорить о текущих делах артели, — у него в доме собралось много соседак. Долго сидели они здесь, болтая о том, о сем. Хозяйка поставила на стол сулею доброго вина. угостила всех, и бабы, охмелев, вдруг то и дело стали вспоминать неизвестную им «стратегию». Пристало к ним это словечко, хоть никто и не знал, что оно означает. И тогда жена кузнеца Кивы, высокая, худая, очень словоохотливая Марьям, заявила, что никакая стратегия ей не нужна. Она, мол, умеет хорошо гадать и сейчас в точности ответит на вопрос, чем закончится эта война...

Не прошло и десяти минут, как она притащила из дому большую клетку и пустила в нее огромного, могучего красавца петуха. Он расхаживал по клетке гордо и важно, с удивлением глядя на повеселевших, раскрасневшихся женщин, мирно поклевывал зерно. Потом в эту клетку бросили несколько маленьких карликовых петушков. Они сразу кинулись на могучего петуха, а он, бедняга, от неожиданности забился в угол. Петушки, воспользовавшись этим, изрядно пощипали его. Однако это избиение длилось недолго. Петух опомнился, пришел в себя, расправил крылья и как стал бить петушков, только перья полетели. Наконец огромный петух начал топтать мелюзгу. Бабы и не успели выхватить из клетки заносчивых петушков, которые нашли здесь свой бесславный конец...

— Вот так будет с Гитлером и его союзниками. Это уж наверняка! — воскликнула жена кузнеца.

Женщины от души смеялись и радовались, выпили по этому поводу еще вина и пустились в пляс. Со всех сторон сбежались сюда люди, спрашивая, что случилось, что за веселье. А жена кузнеца Марьям гордо объясняла:

— Такая уж у нас стратегия!..

Время летело, казалось, очень быстро. Однако ничего утешительного оно не приносило. Известия приходили самые мрачные, и всем уже ясно было, что недалек тот день, когда придется подняться с места со всем хозяйством, с отарой, стадом и двинуться в глубь страны.

Ждали из района распоряжений, готовились к эвакуа-

ции (это мудреное слово все уже знали), но все же надеялись, что до этого дело не дойдет.

Все больше людей уходило в военкомат, а оттуда — в армию. Шмая еще раз ходил вместе с ними, но неудачно. Его возвратили домой, напоминая, что когда нужен будет, его позовут... пока пусть работает на своем месте в артели, и так уже там осталось мало мужчин...

С начала войны не было весточек от сына-пограничника, и Шмая бродил по колонии мрачный, как туча. Неужели погиб Сашка? И он даже не сможет узнать, что с ним было, как он там сражался на своей заставе. Где его жена, ребенок? Несколько писем пришло от сыновей, от Мишки, но потом и ребята замолкли. Слезы не высохали на глазах у Рейзл. Трое сыновей, и ни один не пишет, не дает знать о себе... Сердце у Шмаи разрывалось, когда он смотрел на убитую горем жену.

Работа не клеилась. За что бы он ни брался, все валилось из рук. На месте тоже не сиделось. То он пропадал у Овруцкого, в конторе или дома, то уходил к своему другу Даниле Лукачу, на ту сторону Ингульца, в соседнюю, украинскую артель. Сидели, курили, разговаривали, стараясь понять, что же происходит на фронте. Оля смотрела на отца Мишки с уважением. Ей очень хотелось узнать, есть ли от сына письма, но она не решалась заговорить об этом. Девчонка похудела, сильно осунулась, и никто, должно быть, кроме Шмаи, не знал причины этого.

Данило Лукач, человек спокойный, немногословный, в последние дни совсем растерялся. Его сын тоже ушел в первые дни войны на фронт, и скоро пришло извещение: «Погиб смертью храбрых...» После этого Марина, жена, стала совсем плоха, плачет дни и ночи — глаза уже выпала, — вот и делай что хочешь...

Да, всем достается... И что ты скажешь другу в утешение? В таких случаях лучше всего молчать. И Шмая, немного посидев у Данилы, молча пожимал другу руку и снова где-то без толку бродил.

Однажды поздней ночью Шмая-разбойник, облокотившись на измазанный чернилами и клеем канцелярский стол, крепко задремал. Как депутат сельсовета он должен был сегодня до утра дежурить здесь у телефона.

После того как по тракту несколько дней и ночей кряду шли на восток новые обозы с беженцами, отарами овец, бесчисленными стадами коров, тракт неожиданно опустел, и люди ломали себе голову, думая, что это могло означать.

К лучшему оно или к худшему? Может быть, остановили где-то на Днестре врага и сюда война не дойдет? Не иначе как фашистам уже нанесен смертельный удар и они откатываются назад. Значит, больше не придется отступать, эвакуировать людей, имущество, скот?..

Посреди ночи Шмая проснулся, подошел к окну, посмотрел в сторону тракта, но там не было никаких признаков жизни — не горели костры беженцев, не слышно было людского гама, ржания лошадей.

Оттого, что стало так тихо, на душе было и радостно и тревожно. Если судить по сообщениям радио, которые Шмая внимательно слушал несколько раз в день, никак нельзя было сказать, что дела на фронте изменились к лучшему. Так что же означает эта тишина? Почему прекратилось движение на тракте, ведущем на восток?

Не то от безделья, не то от тяжелых дум Шмая почувствовал невыносимую усталость и снова уснул, сидя у стола.

И странно, не успел он сомкнуть глаз, как уже видел сны. И хорошие сны! Он видел, как вдоль Днестра выстроились огромные пушки со стволами, чуть ли не достигавшими облаков. Они со всей своей яростью обрушились на фашистов, и вот уже снаряды рвутся в Берлине. Город горит со всех сторон. И потянулись по дорогам немцы — женщины, старики, дети — на фургонах, подводах. Они колятся по полям, испуганные, голодные, и там, на полях, горят костры беженцев, ржут кони, мычат голодные коровы...

«Это вам за наши истерзанные города и села, это вам за кровь и муки наших сыновей!.. — шепчет Шмая во сне, и лицо его сияет от радости. — Что ж, проклятые фашисты, разве вы не знаете старой истины: кто роет другому яму, сам в нее попадет?..»

Он не успел договорить, как его разбудил резкий и продолжительный звонок телефона. Телефон трезвонил, как на пожар.

Шмая вскочил с места. Что случилось? Где это звонят? Телефон гудел настойчиво и угрожающе.

Прошла долгая минута, пока наш разбойник протер глаза, сообразил, где он находится, и направился к аппарату.

Сердце тревожно билось. Это был какой-то необычный звонок. Не к добру, видно... Сперва даже не хотелось снимать трубку. Страшные мысли пронеслись в голове.

Звонили из района. Продиктовали срочную телефонограмму.

Нужно немедленно поднять всех на ноги, взять все, что удастся эвакуировать, а остальное сжечь, уничтожить, ничего не оставлять врагу. Понятно? Главное — успеть вывезти всех людей в глубь страны...

Понятно...

Шмая слушал слова секретаря райкома, а сердце замирало, голова кружилась, горло сдавливали спазмы.

— Все пропало,— прошептал Шмая и вышел на крыльцо.

Над головой раскинулось синее звездное небо. Далеко, на берегу Ингульца, квакали, совсем как в мирное время, болтливые лягушки. Теперь дежурному по сельсовету предстояло сообщить людям страшную весть.

И должно же было так случиться, чтобы произошло это именно тогда, когда он, Шмая-разбойник, был на дежурстве!.. Как повернется у него язык сказать людям: «Бросайте свои насиженные гнезда, все нажитое за долгие годы жизни и езжайте куда глаза глядят»? И как они будут разрушать то, что своими руками с таким трудом построили?

Он шел, чувствуя, что ноги его будто наливаются свинцом.

Колония еще спала тяжелым, беспокойным сном, когда Шмая пришел на колхозную усадьбу и подошел к столбу, к которому был подвешен кусок рельса. Схватил палку и хотел было бить тревогу, но тут же подумал, что так можно насмерть перепугать женщин, ребят, и двинулся к дому Овруцкого. Осторожно постучал в окно:

— Проснись, хозяин! Слышишь, вставай!..

— Что за чертовщина! Кто это? — донесся сонный голос. Слышно было, как Овруцкий доставал костыли. В одном белье, встревоженный, взлохмаченный, вышел он на крылечко.

— Что там случилось?

— Не спрашивай, одевайся! — с болью в голосе ответил Шмая. — Из райкома звонили... Срочно надо выезжать...

Скоро вся колония уже была на ногах. Люди готовились в дальний путь, собирали свое немудреное имущество, закапывали, прятали, разбивали то, чего не могли с собой взять, грузили свои пожитки на подводы и арбы.

Шмая стоял у себя во дворе, сколачивая из жести и фанеры кибитку, чтобы дети могли укрыться от дождей и холода. Он делал свою работу быстро, молча, не глядя

в ту сторону, где заплаканная Рейзл упаковывала в мешки домашний скarb.

Было еще темно, и в доме и во дворе горели замаскированные лампочки. И вдруг послышался страшный взрыв. Повсюду стало темно. Дети испуганно закричали. Рейзл схватила Шмаю за руку:

— Бомбы уже падают, бежим!

— Спокойнее, Рейзл! Никто нас не бомбит... Это работа Овруцкого. Взорвали нашу электростанцию, и все...

— Так что же, света больше не будет?

— Бог даст, вернемся обратно, и все у нас будет. Пустыню они тут застанут, гады проклятые!..

Непривычно мрачно выглядели улицы без затемненных фонарей, дома с погасшими окнами.

Тут и там слышались взрывы. Рушились постройки, валялись крыши.

Люди спешили. Еще два-три часа, и надо будет отправляться...

Как обидно было сейчас Шмае, что его не взяли в армию, не пустили на фронт! Там ему все же было бы легче... Лучше уж драться с врагом, чем наблюдать эту страшную картину, видеть, как все рушится, как колонисты бросают свой угол, свое хозяйство. Неужели, думал он, сюда придут фашисты? И будут жить в его доме, валяться своими грязными сапожищами на его постели, будут пить его вино, есть из его тарелок, укрываться от дождя под его крышей, которую он так любовно мастерил? Надо бы всем взяться за топоры, оглобли, вилы и выйти навстречу врагу, драться за каждый клочок родной земли...

Но тут же он спохватился: «Что за глупости лезут мне в голову? Всех крепких молодых ребят забрали на войну. Кто тут остался? И с голыми руками разве пойдешь против фашистских танков, самолетов, пушек? Такая армия, как наша, не может остановить фашистские полчища, так что уж о нас говорить?..»

Сколотив кибитку, Шмая погрузил в нее мешки и узлы, сказал жене, чтобы скорее собиралась, а сам пошел на усадьбу.

Резкий запах вина стоял в воздухе. В канавах текли ручьи красного вина, вылитого из подвалов. И Шмая стал помогать разбивать бочки, ломать постройки, машины. Все это он делал как во сне.

Скоро все было закончено. На улице уже выстроились подводы с имуществом артели и колонисты. Возле колодца

сгрудилось большое стадо — коровы, овцы, свиньи. Все это скоро потянется по старому тракту и возьмет курс на восток, к Волге, а там, может быть, дальше, куда укажут.

Овруцкий ходил вдоль обоза, проверял, все ли забрало, все ли хорошо уложено.

Рейзл, взволнованная и испуганная, догнала председателя уже около его двуколки, стоявшей в хвосте обоза:

— А где же мой? Где его носит, когда уже надо ехать?

Овруцкий остановился, потер рукой потный лоб. Он совсем было забыл о том, что Шмая утром говорил ему. Никуда, мол, он не хочет выезжать, отправит семью, сам останется на месте, а когда наши части подойдут сюда, упросит, чтоб его взяли в армию... Возьмут непременно! Если откажут, он пойдет к партизанам. Овруцкий забеспокоился: куда же мог деваться разбойник? От него всего можно было теперь ожидать...

Несколько человек побежало искать кровельщика. Искали на плантации, возле разбитых построек. А Овруцкий поехал на двуколке к нему домой и застал его сидящим на заваulinке, позади дома. Шмая уже приготовил сухой хворост и бутылъ керосина, чтобы сжечь свое хозяйство, а сейчас тщательно чистил старое ружье, с которым Азриель-милиция когда-то поддерживал порядок в поселке, а потом охранял плантацию.

Заметив издали, что едет Овруцкий, Шмая насторожился, чувствуя, что ему влетит. Они встретились глазами, и председатель укоризненно покачал головой.

— Что ты себе думаешь, Шмая? — с трудом сдерживая гнев, проговорил Овруцкий. — Или ты, может быть, еще не проснулся после ночного дежурства? Ты что ж, милый мой, не видишь, что делается? Люди уже готовы в путь, надо спешить, еще раз звонили из района, а ты тут торчишь! Ну, есть, конечно, старики, старухи, несколько чудаков, которые думают, что им нечего выезжать, что никто их не тронет, — это их дело, насильно мы никого не увозим... Но ты?.. Ты всех задерживаешь!

— Мне надо приготовить оружие... — тихо промолвил Шмая. — Подойдут наши войска, и я или с ними останусь, или в район двину. Говорят, что создается где-то партизанский отряд. В степь уйдем...

Овруцкий пожал плечами и, сдерживая злость, сказал:

— Что ж, это дело неплохое... Я бы сам остался. Но если б ты там нужен был, тебе не постеснялись бы об этом сказать. Но, видно, обойдутся тут как-нибудь без тебя.

И нечего самовольничать!..— Подумав минутку, он добавил:— Ты не забудь, что мы обязаны спасти людей, хозяйство, скот... А тебя правление назначило старшим гуртовщиком... Ты должен весь скот перегнать через Волгу. Ты отвечаешь за это головой. Это ведь государственное дело... Государственное, понимаешь?..

— Государственное дело, говоришь? — поднялся с места Шмая, глядя в озабоченное лицо Овруцкого.— Что ж, если это государственное дело, значит, я обязан. Но зачем же ты меня старшим гуртовщиком назначил? Я не обижусь на тебя, если буду просто пастухом. Мне чины не лужны...

Не говоря ни слова, Шмая сунул свое ружье в двуколку Овруцкого и побежал к площади. Подойдя к кибитке, где сидели жена с детьми и соседки, он сказал, что пойдет за стадом, и направился к большому гурту.

Пастухи, погонщики и доярки очень обрадовались, увидев озабоченного кровельщика.

— Дядя Шмая, это правда, что вы будете нашим начальником?

— А что поделаешь? — с грустной улыбкой промолвил кровельщик, взяв кнут в руки.— Кем только я уже не был на своем веку? Теперь пришлось стать погонщиком... Ну, что ж, ребята, гайда!

Подводы двинулись к тракту. Они вытянулись цепочкой, нагруженные домашним скарбом — корытами, узлами, ведрами, чайниками, детскими колясками. Позади горели постройки, застилая дымом весь поселок. Были собаки. Испуганные кошки выскакивали из домов и прятались в огородах...

Подводы уже были за мостом, когда Шмая дал команду и пастухи выгнали гурт на дорогу. Над трактом поднялись облака пыли.

Обоз казался бесконечным. Он растянулся на добрый километр по старому тракту. Позади тяжелой поступью шли упитанные коровы, быки, шумно неслась с горки вниз большая отара овец. На подводах с бидонами сидели доярки, молча глядя в степь, где пылали скирды нового урожая.

Как ни старались двигаться быстро, но это не удавалось. Трудно было шагать по пыльной степи в зной, сквозь дым. Куда ни взглянешь — всюду горело, и едкий дым

застилаа степь, поселки, села. По всем дорогам тянулись гурты и обозы с беженцами. Надо было часто останавливаться, чтобы напоить скот, подоить коров, накормить людей, отдохнуть.

День за днем тянулся обоз. Люди постепенно привыкали к кочевой жизни. Детворе она даже нравилась, особенно когда проходили мимо брошенных баштанов и садов, где можно было без страха брать огромные полосатые арбузы, одним ударом о землю раскалывать их и с наслаждением вонзать зубы в их мякоть, взбираться на раскидистые яблони и набирать полную пазуху яблок. Арбузами и фруктами лакомились не только ребята и взрослые люди, но и коровы, лошади, овцы... Доярки даже сокрушались: некуда было девать молоко и приходилось выливать его на землю, в канавы.

Отойдя далеко от поселка, люди уже не так остро тосковали по своему дому. Теперь все уже стремились поскорее добраться до заветной Волги, чтобы переправиться через нее, перегнать скот и поскорее найти себе приют. Все понимали, что мешкать нельзя, скоро наступит осенняя распутица, тогда еще труднее будет...

Постепенно приходил в себя и Шмая-разбойник. Он и сам не мог себе объяснить, что с ним творилось в последние дни дома. Теперь он уже снова шутил, забавлял пастухов.

Овруцкий все чаще отлучался куда-то. То, что, несмотря на все старания, обоз и гурт продвигались вперед так медленно, очень его тревожило. Он заезжал в близлежащие села, советовался, как быть дальше, и решил, что надо поскорее добраться до большой узловой станции, может быть, там удастся погрузить людей и имущество в вагоны. Он отлично понимал, что это не так просто: кто в такое время, когда вывозят на восток заводы и фабрики, даст ему вагоны, — но все же не оставлял этой надежды.

Однажды перед закатом солнца послышался отдаленный грохот. Он надвигался на тракт, как могучая морская волна. Все с ужасом устремили взоры к горизонту. И вот уже все оглушены зловещим рокотом моторов. В небе показались бомбардировщики. Чьи они? Свои? Чужие?

Вот они уже близко, и в лучах солнца на фюзеляжах отчетливо видны ненавистные черные кресты.

Люди соскочили с подвод. Дети с плачем жались к матерям. Лошади ржали, рвались в степь, и трудно было их удержать. Гурт сбился на дороге.

— Фашисты!..

— Боже мой, куда бежать?

— Что делать?

Шмая-разбойник поднял руку козырьком и посмотрел на ровные треугольники, мчавшиеся в небе с угрожающим ревом:

— Спокойно! Разве они не видят, что мы гоним гурт, что мирные люди эвакуируются...

— Будут они тебя стесняться, эти людоеды... Бежим куда-нибудь!..

Люди замолкли, увидев, что самолеты, развернувшись, пошли на небольшое село, спрятавшееся за косогором. Прошло несколько секунд, и взрывы потрясли воздух. Все увидели, как село потонуло в дыму и огненные языки взвились над крышами...

— Гады... Бомбят мирных людей!..— удрученно бросил Шмая и, заметив, что самолеты снова направились к тракту, крикнул не своим голосом:

— Чего вы столпились, как отара овец? Разбегайтесь по степи! Ложитесь в ямки и канавы!..

Люди рассеялись по степи, попадали на землю. Шмая со своими пастухами погнал гурт на обочину дороги. Коровы подняли страшный рев. Лошади рвались из оглобей.

Шмая успел только отскочить в сторону и припасть к земле, как близко раздался оглушительный взрыв.казалось, вся земля вздыбилась. А тут еще застрекотали пулеметы...

— Душегубы проклятые! Нет на вас погибели!— поднявшись с земли, крикнул Шмая и бросился к тракту, где стонали раненые. Тут и там лежали сраженные пулеметным огнем коровы, овцы...

Весь остаток дня до полуночи обоз и гурты двигались дальше. С подвоя доносились стоны людей, раненных во время бомбежки. Уже было недалеко до узловой станции, но там виднелись огромные облака дыма — горели цистерны с бензином и нефтью, громоздились обгоревшие вагоны, сброшенные с рельс воздушной волной. Развороченные паровозы торчали среди обломков зданий, валялись искореженные рельсы, и повсюду зияли воронки, наполненные водой и нефтью...

Никто уже не тешил себя надеждой, что здесь удастся сесть в поезд. И обозы, гурты, не останавливаясь, шли все дальше и дальше на восток.

Найти уцелевшую станцию, свободный эшелон стало целью жизни Овруцкого. Только бы погрузить имущество, посадить женщин, стариков и детей, отправить их, а остальные с гуртом уже как-нибудь своим ходом доберутся до переправы.

Как только миновали разрушенную станцию и вышли в чистое поле, Овруцкий помчался на своей двуколке вперед, вдоль железнодорожного полотна, всматриваясь вдаль: нет ли поблизости разъезда? Он совсем загнал коня, но все же достиг цели. На небольшой станции стоял длинный состав — эвакуировался какой-то завод. На запасном пути паровоз брал воду. Ждали еще каких-то машин. И Овруцкому удалось упросить старшего погрузить в вагоны людей, имущество, несколько пар лошадей.

Он быстро поехал обратно и отправил обоз с людьми к станции.

Шмая-разбойник подбежал к кибитке, где сидела его жена с детьми.

— Ну, Рейзл, хорошо, что вы поедете дальше поездом. Вижу, как вам трудно... Смотри хорошенько за дочками... Скоро мы встретимся там, за Волгой. Сама понимаешь, надо спасти скот, это ведь все наше богатство...

— Я все понимаю... Что ж поделаешь... Бог даст, там, за Волгой, уже встретимся... Но как же с письмами будет? Письма будут приходить в «Тихую балку», а оттуда кто нам их перешлет?..

— Ну, хватит об этом... Не ты первая, не ты последняя...

Шмая с грустью смотрел на жену, на спящих детей. Такое теперь творится на дорогах, что неизвестно, когда они увидятся, где сойдутся их пути. Но как бы то ни было, Шмая рад был, что они сядут в поезд и, возможно, больше не попадут под бомбежку... Пусть они больше не видят этой страшной дороги страданий...

— Ну, дорогая моя, — нежно обнял он жену, — спешి скорее на станцию! Смотри, не отставай... Береги детейшек... Езжай, а мне надо к гурту идти... Скоро увидимся!

Он осторожно поцеловал детей, чтобы не разбудить их, и отошел от кибитки.

Рейзл взглянула на него заплаканными глазами:

— Ох, как горько мне, дорогой мой, как горько!.. Лучше уж я с тобой останусь...

— Что ты? Горько, говоришь? Я понимаю... Но скоро врагам нашим будет горько... Ты думаешь, что за это им не

отомстят? — кивнул он на разбитую станцию, на облака дыма, затянувшие полнеба. — Такое не прощается...

Он хотел ей еще что-то сказать, но лошадь рванулась с места, и кибитка покатила за обозом.

— Счастливого пути! Держись молодцом, не унывай, не падай духом!..

Он помахал фуражкой вслед удаляющейся кибитке и быстро пошел к гуртку, сгрудившемуся на дороге. Там его уже ждали пастухи и доярки.

— Ну что ж, друзья, — возбужденно воскликнул кровельщик, — значит, пошли! Отправили наших на станцию, легче теперь будет. Они нас только задерживали. Давайте теперь двигаться веселее...

И снова заklubились над трактом облака пыли.

Шмая-разбойник шагал с кнутом позади гурта, запыленный, заросший, и негромко напевал свою любимую солдатскую песенку. Но на душе у него было вовсе не так весело, как могло показаться со стороны...

Глава двадцать пятая

БЕДА НА ДОРОГАХ

Все свое нехитрое имущество — подушечку, полотенце, пару белья, портянки и кусок мыла — Шмая аккуратно перевязал бечевкой и взял под мышку. Коровы совсем отбились от рук, обнаглели, не слушались окриков пастухов, и зевать было нельзя, а то разбегутся по белу свету... А сверток Шмае мешал, и он решил ткнуть его куда-нибудь. Но куда? Несколько подвод, оставшихся с гуртом, он послал вперед — может, хлопцы подыщут подходящее местечко для ночевки. Единственная подвода с бидонами, на которой ехала молоденькая доярка Шифра, где-то отстала, и ее даже не видно. Верно, возится девушка со своими длинными косами и обо всем на свете забыла... Вот и попробуй ткни куда-нибудь свой узелок...

И тут неожиданно ему в голову пришла счастливая мысль.

Шмая двинулся к огромному величественному быку, который все время важно шествовал во главе гурта, к животному с багровыми разбойничьими глазищами, богатырскими рогами и могучей, сморщенной, как у слона, шеей. Он с минутку смотрел на быка и, подойдя с опаской поближе, осторожно погладил его по шее.

— Эй, красавец мой драгоценный! — обратился он к гордому быку. — Прошу тебя, не смотри на меня так сердито и не важничай, води себя прилично. Не согласишься ли ты, дорогой, понести мой узелок? Ну-ка, милый, нагни голову. Вот так. Ниже! Не фыркай, дьявол!.. Не злись, пожалуйста, не реви, как на ветфельдшера, хлопчик!.. И ногами не дрыгай. Стой спокойно, а то, если заденешь меня своими рогами, от старшего гуртовщика ничего не останется... Ну не сердись, сделай милость! Я тебя не собираюсь ни резать, ни убивать... Я только привяжу к твоим рогам этот маленький узелок... Он ничего не весит... Даже не почувствуешь. Слышишь, красавчик?..

Так мирно разговаривал Шмая с породистым животным — гордостью артельной фермы, а шедшие рядом пастиухи, погонщик Азриель-милиция и подоспевшая доярка Шифра покатывались со смеху.

— Вот так дядя Шмая!.. Кажется, уговорит Тюльпана... Сейчас он нагнет голову...

— Просто умора!..

И все же всех немного беспокоило то, что свирепый бык косо поглядывает на старшего гуртовщика. Как бы беды не случилось...

— Ну-ну, не шали, сударь! — продолжал тем же веселым тоном Шмая-разбойник. — Не задавайся, мой мальчик! Ты, верно, думаешь, что это тебе дома, где все с тобой носились как с писаной торбой и пылинке упасть на тебя не давали? Нет, милый мой, прошли те времена. Теперь война... Видишь, как поцарапал осколок твой бок, и нельзя даже ветеринара позвать!.. Ты уже забыл, как метался, словно угорелый, по полю, когда налетели бомбардировщики, бросали в тебя бомбы и стреляли из пулеметов? Еще хорошо, что жив остался. Ничего не попишешь, война... Конечно, у нас на ферме ты был важной птицей, единственным кавалером. Водили к тебе барышень со всего района, и то по особым талонам из земотдела... Готовили тебе отдельный рацион, чтоб, упаси бог, ты не похудел... В Москву на сельскохозяйственную выставку возили тебя на показ, и ты стоял там рядом со всеми лучшими быками... За красоту свою и силу, за чистые крови золотую медаль заслужил... Да, времена переменялись, и всем нам теперь туго приходится...

Шмая-разбойник снова подступил к быку, собираясь привязать к его рогам свою ношу, но тот ускорил шаг, раздул влажные розовые ноздри, а заплывшие глазищи гля-

нули на Шмаю, будто говорили: «Отстань подобру-поздорову. Мне и так осточертела эта дорога, а тут еще ты пристаешь!..»

Но старший гуртовщик не оробел. Он одним прыжком догнал быка, потянул железное кольцо, вдетое в его ноздрю, и продолжал:

— Но-но! Ты только без фокусов! Спокойнее, мой дорогой!.. Что поделаешь, когда такая беда на весь мир свалилась, такая страшная война идет, что не знаешь, где теперь фронт, а где тыл. Это тебе не прежняя война, когда были позиции, окопы и все выглядело совсем иначе...

Всем теперь плохо... Никого проклятые фашисты не щадят — ни человека, ни скотину... Они хотят со всех нас шкуру содрать... Но не надо унывать, падать духом! Мы уже хорошо знаем немца, мы уже сидели в окопах нос к носу и били его в хвост и в гриву. Он, паршивец, правда, потом снова припелся к нам на Украину, грабил, убивал, разбойничал... А чем все это кончилось? Едва ноги от нас унес. Ничего, милый мой, потерпи еще немного... Нам бы только до Волги добраться и перескочить на ту сторону. Там и нам и тебе уже будет лучше, возьмемся за работу. А разобьют врага — домой вернемся и снова поставим тебя в станок на усиленный рацион... И опять к тебе будут гнать невест со всей округи... А пока, сударь, не будь таким гонористым и шагай веселее! Живее переставляй ножки, не стесняйся!..

И случилось невероятное. Свирепое животное успокоилось, послушно наклонило могучую шею и дало привязать сверток к своим рогам.

Теперь Шмая чувствовал себя свободнее. Он шагал за гуртом, лихо размахивая кнутом. Время от времени он крикивал на усталых коров:

— Айда, айда, шире шаг, девчата! Не отставайте от вашего кавалера! Медлить нам никак нельзя. И так уже задержались в пути...

Однако, как ни старался он бодриться и подбадривать остальных, предчувствие близкой беды все больше охватывало его. Горизонт был весь в дыму и пламени. Земля сотрясалась от взрывов бомб. Грохот артиллерии, не прекращавшийся ни днем ни ночью, все отчетливее доносился сюда. Приуныли люди, и в глазах у каждого можно было прочесть тревожный вопрос: «Выберемся ли мы отсюда живыми?»

Шмая украдкой посматривал на товарищей и неожиданно для всех начал напевать: «Солдатушки, бравы ребятушки...» Но в ту же минуту поймал на себе удивленный взгляд долгового Азриеля, ставшего теперь погонщиком. Тот смотрел на него осуждающе и наконец не выдержал:

— Сколько лет я тебя знаю, Шмая, и каждый раз удивляюсь. Не иначе как в тебе засел какой-то бес, который веселит тебя, делает беззаботным... У меня душа болит, разрывается, что покинул дом, потерял свою семью, тащусь за этим гуртом неизвестно куда, а ты себе шагаешь, будто на свете все хорошо, даже веселишь нас, песни поешь...

Глаза Шмайи на мгновение подернулись печалью. На высоком лбу, опаленном солнцем, сбежались глубокие морщины. И он не сразу ответил Азриелю:

— Что тебе, дорогой мой, сказать на это? В самом деле, не родился я меланхоликом и, видно, уже неисправим, таким умру... К тому же, должен тебе признаться, люблю смотреть вперед. И вот я вижу впереди, что и на нашей улице будет праздник. Пока жива Москва, мы не пропадем!

— «Жива Москва!» А немцы с аэропланов разбрасывали листовки — сам читал, — что они уже захватили Москву и Ленинград...

— Шиш с маком они захватили! — перебил его Шмая. — Они уже трижды объявляли, что вот-вот покончат с нами. А мы каждый день слышим по радио Москву... Не верь всяким выдумкам!

— Это, конечно, так, но нашим, Шмая, видно, трудно приходится, — продолжал Азриель. — Посмотри вон туда — все там горит. А уж если наши все сжигают, затопают шахты, взрывают рудники, стало быть, скверно, а?

— Чудак ты! — воскликнул кровельщик. — Кто тебе сказал, что скверно нам? Даже очень паршиво, дорогой мой! Но опускать голову нельзя... Говоришь, затопают шахты? Это я сам вчера видел. Сжигают склады, вывозят машины, оборудование заводов — тоже видел. А разве ты бы хотел, чтобы все это добро мы оставили врагу?..

— Но ведь так можно ломать и сжигать черт знает сколько! А с чем мы останемся?

— Не бойся, все будет сделано с головой, с умом. А выгоним фашистов, все отстроим заново... Для нас, понимаешь, самое главное, чтобы жила Советская власть... Будет Советская власть — все станет на свои места. Не

будет Советской власти...— Шмая на минутку призадумался и решительно добавил: — Наша Советская власть вечно будет!

— Твоими устами да мед пить... И еще я хочу спросить тебя, Шмая, куда повезли наши семьи? Кто их встретит, кто им поможет?..

— Государство у нас огромное, а Советская власть всюду одна. Везде живут наши советские люди, они и помогут. Башкиры, узбеки, казахи... В прошлом году на выставке в Москве мы их видели, гуляли с ними... Они были в папахах, в полосатых халатах, в тюбетейках... Еще сидели с ними в чайхане и пили чай из пузатых чашек, ели кишмиш и плов с изюмом... Помнишь?

— Конечно, помню... Люди хорошие... А все-таки беспокоюсь, что будет с нашими семьями...

Наконец они выбрались на большую шумную дорогу. Внизу, в долине, собралось много народу, гурты, отары. Ждали, пока колонна воинских машин проедет на ту сторону речки по единственному мосту.

Шмая спустился к воде посмотреть, что там за пробка образовалась, и вдруг увидел в толпе погонщиков скота Данилу Лукача — своего друга из украинского колхоза за Ингульцом. Оба обрадовались, обнялись, расцеловались. Оказывается, Данило тоже гонит к Волге гурт своей артели и назначен старшим.

— Вот это здорово, Данило! Теперь не будем отрываться друг от друга, вместе будем двигаться. Легче и веселее...

— Если б ты только знал, Шмая, как я рад!.. Мы ушли из села так неожиданно, что не было времени заскочить попрощаться,— взволнованно говорил Данило.— И все время меня совесть мучила... Да и жинка меня ругала за это, а Оля чуть живьем не съела...

— А где они?

— Уже далеко ушли с обозом... Верно, уже где-то там, на Волге...

Шмая смотрел на невысокого худощавого человека с бородкой клинышком и пронизательными синими глазами. За время, что Данило шагает по этим дорогам, ботинки его поизносились, белая вышитая крестиком рубашка почернела, и трудно было подумать, что этот погонщик гурта еще совсем недавно был знаменитым во всей округе пасечником,

к которому люди относились с особым вниманием и уважением.

И вот они с Данилой очутились на этой шумной и безалаберной дороге, скромные, простые люди с золотыми руками, истосковавшимися по любимой работе. Теперь оба были озабочены одним: как бы скорее добраться до Волги, догнать своих.

О многом хотелось поговорить, многим поделиться, и друзья были безмерно обрадованы своей встречей.

Гурт Данилы Лукача уже был далеко впереди, и он передал, чтобы там его не ждали — он догонит, идет вместе с гуртом «Тихой балки».

Переправившись на ту сторону реки, они оторвались от толпы и выбрались на проселочную дорогу.

Двигаться вперед становилось все труднее. Шли воинские части. Тянулись в тыл повозки и машины с ранеными бойцами. Погонщики заглядывали в каждую машину, допытывались, что происходит на фронте, но никто ничего утешительного не мог сказать, как и ответить на вопрос, далеко ли отсюда немцы. Однако было ясно, что положение ухудшается с каждым часом.

А тут еще пошел дождь. Дороги раскисли, и каждую машину приходилось подталкивать, вытаскивать из луж, из липкой грязи донецких болот.

К Шмае подбежал расстроенный Азриель:

— Мне только что один лейтенант сказал, что утром разбили мост. Как же мы перегоним стадо на ту сторону Донца?

— Это ничего, — сказал Шмая, желая успокоить пастуха. — Пока доберемся до реки, мост уже отремонтируют и переправа будет налажена. Я сам видел, как ночью туда спешили саперы с понтонами...

— Но разве ты не видишь, что все время туда летят фашистские самолеты?

— Ну и холера с ними, пусть летят! — перебил его кровельщик. — Наши саперы такие ребята, что и под бомбежкой будут мост чинить...

— А если починят, так кто же пустит гурты? Пропускают только военных и эвакуированных...

— Ничего, и скот будут пропускать по мосту. Все понимают, что это государственное дело.

— Но там движутся войска... Это важнее — резервы

подтягивать...— сказала Шифра и покраснела, застеснявшись, что вмешивается в спор старших людей.

Шмая задумался, развел руками: доводы были уж очень вескими.

— Ничего, братцы, раз уж так туго нам придется, попросим наших коров, чтобы они потрудились перебраться на ту сторону реки вплавь.

— Тоже сказали! — возмутилась Шифра. Она могла стесняться, когда речь шла о посторонних делах или политике, но, коль уже заговорили о коровах, тут уж она не смолчит, нет! Дома она ухаживала за коровами, доила их и теперь, в пути, с такой же любовью присматривает за ними.— Я не допущу этого! Коровы сами не переплывут. Река очень быстрая, и они могут утонуть. Не пушу и все!

— Не сердись, доченька,— погладил ее Шмая по голове.— Война идет... И коровы это уже на своей шкуре почувствовали... Нынче не только людям, но и животным мучиться приходится...

— Как себе хотите, а я не дам погубить наше стадо! Пока не построят мост, коровы с места не тронутся...

Погонщики посмеивались, глядя на упрямую девчонку, которая нервно расплетала и заплетала косы.

Чтоб успокоить ее, Шмая ласково сказал:

— Придем к переправе, там видно будет.

Но взглянув в ту сторону, откуда доносился зловеющий гул орудий, подумал: «А удастся ли нам добраться до реки?»

— А вообще-то, дядя Шмая,— в сердцах сказала Шифра,— отпустили бы вы меня... В армию пойду!..

— Еще что придумаешь, умница? — оборвал он ее.— А кто будет твоих коров доить, я, что ли? Отпусти лучше ты меня!.. Уж сколько раз я просился, а мне все твердят одно: «Когда нужен будешь, тебя найдут...» Вот и стал я погонщиком гурта... Государственное это дело...

— Не пустите, сама убегу! — упрямо крикнула она.— Видали, сколько девушек в пилотках и шинелях вчера проехало?

Тут и Азриель подошел с какой-то претензией, а вслед за ним остальные погонщики со своими жалобами.

Шмая-разбойник не выдержал и, обращаясь к Даниле, бросил:

— Ну, дорогой мой, слышишь, что делается? Как тебе нравится моя боевая бригада?..— Качая головой, он

посмотрел на миловидную девушку с потрескавшимися от ветра губами, с большими грустными глазами, и ему стало безумно жаль ее:— Ничего, ничего, доченька, скоро это кончится. Придем на место, сдадим в целости по акту гурт, а там уже пойдешь, если хочешь, в солдаты...

Был полдень, когда они добрались до перекрестка. Все здесь было забито повозками, машинами, гуртами. Все перемешалось. Надо было срочно очистить дорогу и дать пройти воинским колоннам. Армия отступала к Донцу, опережая беженцев, гурты. Тянулись подводы с ранеными бойцами...

Шмая и Данило стояли у обочины тракта, молча глядя на этот страшный поток. Шифра и погонщики подносили сюда бидоны с молоком, приглашая красноармейцев напиться, подавая раненым кружки теплого парного молока. Многие бойцы проходили молча, опустив голову, будто они были повинны в том, что приходится снова отступать, оставляя беззащитных людей на произвол судьбы.

Шмая-разбойник и Данило были потрясены тем, что видели теперь на этой дороге. Слишком быстро проносятся машины, слишком велика тревога. Солдаты недвусмысленно советуют побыстрее пробираться к переправе. Близко слышится грохот пушек. Не иначе, как немцы прорвались и семимильными шагами движутся по донецкой земле — к шахтам и углю. И, кажется, нет такой силы, которая остановила бы натиск фашистских полчищ...

Шифра и погонщики металась от одной санитарной повозки к другой, предлагая раненым молоко. Девушка низко надвинула на глаза косынку, чтобы не видеть изуродованных людей.

Где-то на фронте сражались сейчас ее отец, брат, жёны. Может, и их везут где-то в таких повозках? Может, и они лежат так, как эти, страдают, корчатся от боли, вскрикивают, когда повозка подскакивает на выбоинах? А может, они затерялись в этом водовороте?

Да, хоть это очень страшно, хоть она боится крови, она пойдет работать в госпиталь, постарается облегчить страданиям их боль и мучения...

Как Шмая ни старался побыстрее двигаться со своим беспокойным хозяйством, но коровы плелись, как сонные,

и никакие крики, угрозы, даже удары бича на них уже не действовали. Теперь гурты гнали уже не по дорогам, а по обочинам, пропуская разрозненные воинские обозы и санитарные повозки.

А опасность с каждым часом возрастала.

Гурты Шмая и Данилы спустились в балку, покрытую угольной пылью. Люди расположились на отдых. Хотя кто-то из командиров предупредил старших гуртовщиков, что нужно скорее добираться к переправе, но это от них не зависело. Двигаться дальше не было никаких сил, и они решили дать людям и скоту часок-другой отдохнуть, а там уже без передышки идти к переправе.

Холодный ветер, мокрый, противный, пронизывал насквозь. Шмая, собрав в дороге несколько досок, чурок, щепок, развел костер. Погонщики последовали его примеру, и тут и там загорелись в балке огни.

Шмая сидел у костра, грея озябшие руки. Рядом с ним полулежа сидел Данило Лукач, который ни на минуту не расставался со своим другом. Тут же пристроились Азриель и Шифра. Они молча смотрели на кровельщика, прислушивались к тревожному грохоту войны.

— Ничего не поделаешь, придется, видно, бросать гурты и самим кое-как добираться до переправы,— тихо проговорил Азриель.— Со стадом мы и через два дня не дойдем до реки, а немцы уже наступают нам на пятки...

— Жалко, дядя Азриель...— умоляюще сказала девушка.— Столько лет мы трудились, пока вырастили такое стадо. И они ведь тоже живые существа, коровы наши...

— Я понимаю... Но жизнь человека дороже...

Шмая улыбнулся, поднялся и крепко обнял Шифру.

От неожиданности девушка вздрогнула, отпрянула в сторону и взглянула на него удивленными глазами:

— Что вы делаете? Как вам не стыдно!.. Расскажу жене!..

Он задорно улыбнулся:

— Эх, Шифра, расцеловал бы я тебя, да вот зарос, как медведь, колючий...

— Не говорите глупостей!.. Как вам не стыдно?! — покачала она головой, слегка усмехаясь.— А что ваша жена скажет?..

— Ну-ну, не бойся! Это я пошутил...

— Нашли время для шуток!

Шмая заметил, что девушка вздрогнула, снял с себя куртку и набросил ей на плечи.

Она не обернулась, все еще сердясь на него, достала из золы горячие картофелины, угостила всех и сама принялась с аппетитом есть, обжигая губы, язык, пальцы.

Люди молча ели, на какое-то время позабыв о всех бедах и об опасности, которая их подстерегала.

Высоко в небе гудели вражеские бомбардировщики. Сюда, в балку, все время доносился грохот взрывов. Немцы, видно, били по переправе. Впереди, куда держали путь гурты, горел небольшой городок. Огненные языки поднимались к небу. Дым обволакивал горизонт.

Как же гнать туда гурты? Не лучше ли переждать, чтобы не попасть под бомбы?.. Что с переправой? Разузнать бы, что там теперь творится. Может быть, погнать гурты к другой переправе?..

Давно уже опустел тракт. И бомбардировщики больше не летают. Необычная тишина воцарилась в донецкой степи, и эта тишина угнетала людей. Непривычно было не слышать гула самолетов, грохота орудий. Что же произошло? Что стряслось? Неужели по тракту больше не промчится ни одна машина, ни одна повозка и не у кого будет спросить совета, узнать, почему так все затихло? А может быть...

Шмая встал, расправил плечи и взбежал на косогор. Услышав шум моторов, он посмотрел на небо. Но небо было чистым, никаких бомбардировщиков не видно нигде. Что же это там гудит?

Но скоро все стало ясно. Это был грохот танков. Чьих — наших или чужих?.. Они быстро продвигались вперед по косогорам и глубоким балкам. За танками неслись огромные черные грузовики. Моторы натужно ревели. Послышалась дробь пулеметов. «Фашисты...» — промелькнуло в голове, и Шмая почувствовал, как подкосились у него ноги. Он припал к мокрой земле, всматриваясь в ту сторону, где нарастал шум моторов. Да, прорвались... Вот они едут, как на парад, и никто их не останавливает, никто им не преграждает дорогу. Все погибло... Какая-то непонятная сила прижимала его к земле. Но тут он опомнился: надо бежать, передать товарищам эту страшную весть. И Шмая-разбойник сполз с косогора и что было силы бросился к костру.

Но ему уже не пришлось ничего говорить. Навстречу бежали Шифра, Данило Лукач, Азрель, остальные погонщики. Гурты встревожились, чуя близкую опасность.

Заволновались, забежали пастухи, испуганно глядя на дорогу, откуда доносился несмолкаемый гул.

Шифра подбежала к кровельщику, взяла его за рукав и всем своим дрожащим телом, как ребенок, прижалась к нему:

— Фашисты... Немцы... Как же так? Что теперь с нами будет? — плача говорила она. — Может, еще успеем, дядя Шмая?.. Надо бежать...

— Куда ты теперь побежишь, дочка? — угрюмо промолвил Шмая, глядя ее по голове. — Успокойся, милая, не плачь... Они не должны видеть, как мы плачем...

Гурты смешались. Блеяли овцы, ревели коровы, услышав нарастающий гул моторов, видя беспокойство своих погонщиков.

Из глубокой балки уже отчетливо видны были огромные черные грузовики, на которых ровными рядами сидели немцы в шинелях, касках. Они со страхом оглядывали пустынную донецкую степь, пропитанную запахом горелого и полыни. Застрекотали на дороге мотоциклы, на которых сидели автоматчики.

Лукач и Шифра молча смотрели на взволнованного кровельщика, глазами спрашивая его, что делать, куда бежать.

Но что можно было придумать, когда в нескольких десятках метров от балки движется такая сила?..

Шмая не успел вымолвить и слова, как совсем близко послышался шум мотоциклов. Подпрыгивая на ухабах, по раскисшей степи неслись к гуртам два мотоциклиста. Один из них орал, ругался и для остротки дал очередь из автомата.

Они неслись с косогора прямо на людей, будто шли в атаку на целый полк солдат. Мотоциклы свернули к костру. Две ненавистные черные каски, два автомата, два фашистских солдата в мышиного цвета шинелях мчались сюда, с опаской глядя на горстку людей, сбившихся в кучу, как овцы перед грозой.

— Ну, друзья, — тихо сказал Шмая, — сейчас нам будет весело...

Данило Лукач покачал головой, укоризненно бросил:

— Помолчи, разбойник... Не до шуток!.. Кажется, попали мы, как кур во щи. Будем держаться дружно. Один за всех, все за одного...

— Только так, — подтвердил Шмая и, с ненавистью

взглянув на приближающихся палачей в черных касках, сделал шаг вперед:

— Сядем. Пусть не думают, гады, что мы перед ними будем стоять навтыжку. И не смотрите в их сторону...

Глава двадцать шестая

ВИЛЬГЕЛЬМ ШИНДЕЛЬ СОВЕРШАЕТ ПОДВИГ

Судя по тому, как обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель ехал на мотоцикле, забрызганный с ног до головы липкой грязью, сразу можно было заключить, что он не принадлежит к числу знаменитых мотоциклистов. К тому же и он и его спутник были основательно под градусом, о чем свидетельствовали их багровые лица.

Мотоциклы швыряло из стороны в сторону, и обер безбожно проклинал русский дождь, грязь и дороги. Все здесь было не по душе обер-ефрейтору Вильгельму Шинделю.

До стада он так и не доехал. Шагах в пятидесяти оба немца двинулись пешком, не выпуская из рук автоматы.

— Русс капут! Хенде хох! — пискливым голосом крикнул обер, не без страха поглядывая на людей, сидевших у костра и настороженно смотревших мимо него.

Через минуту обер, длинный, костлявый белобрысый немец в больших очках на остром носу, направился к костру. Он остановился в нескольких шагах от людей, широко расставив ноги и высоко задрал голову, словно был по крайней мере фельдмаршалом, а не заурядным обер-ефрейтором хозяйственной команды, получившим строжайший приказ: захватывать на дорогах стада, гурты скота, которые гонят на восток, и возвращать их назад — цурюк.

Обер-ефрейтор стоял, презрительно глядя на людей, и вдруг раскричался: почему, мол, эти русские «швайне» не становятся «смирно» перед чистокровным арийцем, победителем?..

Обер был вне себя от возмущения. Он кричал, топал ногами и наконец поднял автомат, угрожая всех перестрелять.

Безоружным пастухам и погонщикам не оставалось ничего другого, как подняться с места.

Немец медленно раскачивался на длинных ногах, желчно поглядывая на пастухов, куривших цигарки с таким видом, будто прибытие сюда обер-ефрейтора Третьего рейха Вильгельма Шинделя не имеет к ним никакого отношения.

Обер все еще не мог прийти в себя после тряски по этой разбитой дороге, кажется, вытряхнувшей из него все внутренности. Помимо того, что он был зол на пастухов и готовился выместить на них всю свою злость, в нем кипела ярость еще и по другому поводу. Его подчиненный, пожилой тучный солдат с пышными усами, вместо того, чтобы стоять как вкопанному и охранять персону обера от всяких неожиданностей, уже роется в вещах, лежащих на подводе, перебирая женские трусы, башмаки и всякое тряпье...

Однако обер не счел удобным делать выговор своему подчиненному в столь ответственный момент, когда он должен говорить с русскими «швайнами», которых он победил и которым он должен показать силу и величие Третьего рейха...

Сперва, когда Шмая встретился взглядом с мертвым глазком автомата обера, внутри у него будто что-то оборвалось. И тут же его охватило странное безразличие ко всему окружающему и к самой жизни. «Что ж, гад,— подумал он,— у тебя в лапах оружие, стреляй. Что я могу поделать, безоружный?» Но так просто уходить из жизни нашему разбойнику все же не хотелось. И, поправив на голове фуражку, он проговорил:

— Мы простые люди, гражданские, и не имеем понятия, как надо стоять перед таким высоким начальством...

Обер презрительно взглянул на Шмаю, состроил дикую рожу, показал ему язык. Потом перевел пьяные, оловянные глаза на Данилу Лукача и свирепо гаркнул:

— Юде?

Данило Лукач удивленно взглянул на пьяного обер-ефрейтора, не понимая, чего тот от него хочет. Но за него ответил Шмая:

— Нет, герр начальник, Данило Лукач не юде... Христианской веры человек. Хотя у нас в стране это давно уже не имеет значения,— все у нас равны,— но Данило не еврей...

— Врешь, швайн, все евреи носят такие бородки! Все они смуглые, как он! Не ври! Всех вас перестрелять надо!..

С нашего разбойника семь потов сошло, пока он разъяснил оберу, что среди них нет евреев — все, мол, советские люди, а его старый друг, пасечник Данило Лукач, вовсе не принадлежит к еврейской нации. А что касается бороды, то он уже давно в пути и ему некогда было сходить к парикмахеру. К тому же, справедливости ради, надо сказать,

что у самого обера точно такая же борода, как у Лукача, тем не менее это не мешает ему быть чистокровным арийцем...

Шифра стояла возле Шмаи, надвинув косынку на глаза, и с ужасом следила за обером и его солдатом, который уже разбросал на подводе все ее имущество.

— Русс капут! Юде капут! Коммунисты капут! Все капут! — кричал обер-ефрейтор так, точно выступал перед огромной толпой людей где-то на площади. — Вся эта земля, шахты, заводы будут принадлежать Третьему рейху, а хозяйничать здесь будут люди чистой расы. Кто осмелится поднять голос, тому паф-паф, капут...

Обер засмеялся, а глядя на него, загоготал солдат, который, оставив в покое Шифрины тряпки, иступленно набросился на сметану и творог в бидонах. Он ел с такой жадностью, что даже не заметил, как измазал себе все лицо, усы, даже уши.

Такой неприглядный вид солдата «великой Германии» вывел обера из себя. Он сердито крикнул усачу что-то вроде того, чтобы тот прекратил это свинство. Его начальник ведет с этими руссами такой серьезный разговор, а он, мол, портит все дело...

И все же обер куражился и очень строго спросил у пастухов:

— Нах Вольга, нах остен гнали скот?

— Никак нет! — ответил не задумываясь Шмая. — Тут очень хорошие пастбища... И дом наш неподалеку... Вот и пасем здесь скот...

— Цурюк! Цурюк, швайне! Нах Дойчланд! Нах Дойчланд! — брызгал слюной обер-ефрейтор. — Почему стоите, как остолопы? Быстро поворачивайте гурты назад! Нах Дойчланд! Нах Германия! Понял?

Шмая-разбойник покачал головой: нет, мол, он ничего не понял, он не хозяин этого гурта и не вправе распоряжаться им. Приедут хозяева, они скажут, как поступить со скотом...

Обер вскипел:

— Ферфлюхте швайне! Теперь хозяином всех стад является здесь не кто иной, как он, обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель! Он есть уполномоченный Третьего рейха, хозяйственной команды германской армии. Он может приказывать вывезти все в Германию, нах Дойчланд, и все обязаны беспрекословно подчиняться ему. Иначе он — паф-паф, и всем капут! Теперь понятно?

Шмая молча развел руками.

Красное длинное лицо обер стало свирепым. Он набросился на Шмаю, сорвал с него фуражку и швырнул ее в лужу, порвал на нем рубаху и стал его избивать. Только когда из носа и изо рта у Шмана потекла кровь, обер оставил его и отошел в сторону.

— Ну, а теперь руссишес швайн будет знать, как разговаривать с победителем или нет?..

Шмая гневно смотрел на разъяренного обера. Ветер развеивал его взъерошенные волосы, трепал полосы изорванной в лохмотья рубахи. Он бросился бы на обера и задушил бы его на месте, растоптал бы ногами, но, посмотрев на дула автоматов, опустил голову и стал вытирать рукавом кровь.

Данило Лукач подошел к Шмае, стал вытирать ему лицо платком, но обер бросился к Даниле и ударил его сапогом в живот. Данило вскрикнул и повалился на землю. Он корчился от боли, громко стонал. Тогда не выдержал Азриель. Забыв, что на него уже давно подозрительно поглядывает обер, он подбежал к Даниле, опустился рядом с ним на землю, своим телом заслоняя его. Но обер подскочил к Азриелю и, оттолкнув его от Лукача, выстрелил ему в спину.

Пастух вскинул руки и с проклятьем на устах упал на мокрую донецкую землю.

— Зо! Зо! Ферфлюхте швайне! Теперь, небось, поняли, что обер-ефрейтор Вильгельм Шиндель есть хозяин России, что ему надо повиноваться? Все капут! Вся Украина капут! Москва капут, Ленинград капут, Донбасс капут! Русс, большевик — все капут! Шнелль, шнелль, нах Дойчланд! — скомандовал он, указывая на перепуганных коров, которые, услышав запах свежей крови, сбились в кучу.

Шмая-разбойник с трудом поднял голову. Азриель лежал мертвый в луже крови, а рядом катался по земле, крича от боли, Данило Лукач. И горько было оттого, что он не мог отомстить за них...

— Ну что? — иступленно кричал обер. — Погоните гурты нах Дойчланд или нет?

Шмая кивнул головой:

— Что ж поделаешь... Дайте только немного прийти в себя...

И он подошел к Даниле, наклонился над ним:

— Крепись, дорогой, а то бандюги пристрелят тебя...

Он помог ему подняться на ноги.

— Лучше пускай пристрелят...

— Что ты говоришь? — тихо промолвил Шмая, остановив свой взгляд на мертвом Азриеле. Слезы душили его, но он всеми силами сдерживался, чтобы не заплакать на глазах у душегубов.

— Ненавижу их! Будь они прокляты!.. — прошептал Данило, делая первые шаги.

— Вас? Вас? Что такое? — направился к нему обер.

Вместо Данилы отозвался Шмая:

— Это он говорит, что повинуется вам... Сейчас погоним худобу нах Дойчланд...

— Яволь! — бросил обер, надев на шею автомат, и с ненавистью посмотрел на пастухов, которые направились к гурту.

Шмая на минутку остановился над мертвым телом товарища, с которым прошел такой тяжелый путь, и, сам не зная почему, обратился к оберу:

— Герр, а, герр начальник, позволь нам хоть похоронить друга... Хороший был человек... Честный, благородный...

— Битте! — рассмеялся Вильгельм Шиндель, сразу поняв, чего просит этот оборванец. — Сейчас вызову музыкантов и батарею артиллерии, чтоб дала салют... А чего еще желает эта свинья? Может, хочет остаться рядом с ним? Мне это нетрудно сделать...

Шмая в последний раз взглянул на убитого, склонил растрепанную голову и, подняв кнут с земли, каким-то чужим, не своим голосом крикнул:

— Айда, айда, проклятые!

И никто не понял, к кому был обращен этот крик. Только обер Вильгельм Шиндель покосился на него и, взяв мотоцикл, пошел к дороге.

Два завоевателя, толкая по грязи свои мотоциклы, шагали вдоль шоссе. Невдалеке погонщики шли за стадом.

Шмая брел по грязи босой, оборванный, измазанный кровью, одним своим видом вызывая смех у обера и его солдата. Но Шинделю захотелось, чтобы было еще смешнее. Почему бы не заставить этого пастуха плясать, забавляя этим немецких солдат, которые мчались на машинах по дороге?

Солдаты в самом деле смеялись, махали руками, глядя, как их соотечественник заставляет русского «швайна» плясать. А обер все время посматривал на девушку, решив, как

только настанет ночь, забрать ее к себе. Только бы добраться до какого-нибудь селения...

Гурт уже шел по обочине дороги. Навстречу двигались машины с мотопехотой. Но тут обер увидел, что этот оборванец и тот, с бородкой, с недостаточным почтением смотрят на немецких солдат и совсем не веселы. Коль так, он их сейчас развеселит!

— Живее, швайне! Веселее! — крикнул он и несколько раз выстрелил в воздух.

Из-за поворота показалась легковая машина. Она остановилась, и из нее вылезли три офицера с фотоаппаратами и стали снимать русских, которые танцуют, встречая немецкую армию. Как они счастливы, эти свиньи, что их освободили от коммунистов!..

Получив благословение высоких начальников, Шиндель спохватился, что ему, такому герою, вовсе не пристало тащиться с мотоциклом по грязи, и, подойдя к подводе, приказал погрузить на нее мотоциклы, сам вместе с солдатом взобрался на сиденья и хлестнул измученных лошадей кнутом. Но этого ему было мало. На радостях он стал из всех сил сигналить: мол, дайте дорогу обер-ефрейтору Вильгельму Шинделю! Обер Шиндель гуляет, прожигает жизнь, совершает подвиг на Украине!..

Солдаты, ехавшие навстречу на грузовиках, наблюдая эту картину, покатывались со смеху: на какие только выдумки не способен представитель высшей расы!..

Оберу, ошалевшему от успеха, захотелось еще больше развеселить своих доблестных коллег, отправлявшихся на фронт. Он приказал оборванцу и его товарищу самим запрячься в подводу вместо лошадей и мчаться рысью!

Шмае и Даниле пришлось повиноваться.

— Ого, руссише швайне! Шнеллер! Форвертс! — кричал охрипшим голосом обер Шиндель, размахивая над их головой кнутом. — Скоро закончим войну, победим всю Россию, тогда я вас в Берлин отправлю, в зоопарке буду показывать...

Проделки обер-а не очень смешили солдата, и он к ним относился с полным безразличием. Его куда больше волновало содержимое белых бидонов. И, набирая полные пригоршни творога, он, захлебываясь от жадности, не переставал есть.

Тем временем обер всматривался вдаль — не идут ли новые колонны мотопехоты. Очень уж понравилось ему

забавлять земляков. Пусть смеются, получают удовольствие. Пусть видят, каковы эти глупые руссы. Они рады-счастливы, что их освободили от большевиков, и в знак благодарности даже готовы возить на себе своих освободителей...

Темнота окутала донецкую степь. Небо становилось грозным, свинцовым. Издали доносился грохот орудий, гул бомбардировщиков. Шмая и его друг уже выбились из сил. Но обер не давал им передышки — хлестал кнутом, то и дело разряжал над их головой автомат.

Дорога круто сбегала вниз, к недостроенному мосту. Справа и слева под мостом тянулся глубокий овраг, по которому среди нагромождения камней, породы и обломков железа текла грязная вода.

Напрягая последние силы, Шмая и Данило еле удерживали подводу, но, должно быть, счастливая мысль осенила обоих одновременно. Они переглянулись и поняли друг друга с одного взгляда. Кивнув Шифре, подталкивавшей подводу сзади, чтоб отошла в сторонку, ускорили шаг и, разбежавшись, мгновенно отскочили в сторону. Подвода с обезумевшими от ужаса пассажирами покатилась в глубокий овраг, откуда через несколько мгновений донесся страшный треск и крик...

Трое остановились над оврагом, всматриваясь в пропасть, но все там было покрыто мраком. Не слышно было уже ни крика, ни стога. Все затихло. Ночь опустилась над донецкой степью.

— Надо скорее бежать! — бросил Шмая, оглянувшись в ту сторону, откуда приближалась новая колонна машин и где уже показались лучи автомобильных фар.— Быстрее!..

Они отошли от оврага и, осторожно перебравшись через канаву, побежали в степь, туда, где вырисовывался во мраке шахтерский поселок.

Добежав до пастухов, гнавших стадо, Данило крикнул, чтобы те бросили все и разбрелись по степи, а сам с другом и девушкой свернул в сторону, подальше от моста.

Никто не знал, откуда взялись у них силы, чтобы так быстро бежать. Должно быть, то, что им удалось отомстить хоть двоим палачам, придавало силы. И трое бежали дальше, не веря, что вырвались из рук гитлеровцев, и донецкая степь гостеприимно раскрыла перед ними свои просторы...

ЕСТЬ ЕЩЕ СЧАСТЬЕ НА ЗЕМЛЕ

Все трое считали, что если им удалось уйти от палачей да к тому же отомстить им, значит, сама судьба пришла им на помощь в эту тяжелую минуту. Значит, не погасла еще их звезда!.. Благословенна будь, донецкая земля, донецкая ночь, укрывшая их...

И все же их мучила неизвестность: удалось ли бежать остальным, где они скитаются? Может быть, им будет легче в одиночку перейти линию фронта и добраться до своих...

Шли быстро. Все время казалось, что за ними кто-то гонится, кто-то преследует их. Но нет, это эхо войны отдавалось в пустынной степи, где причудливыми гигантами высились могучие шахтные терриконы...

— Дядя Шмая, остановитесь, прошу вас! — дрожащим голосом вдруг крикнула Шифра, схватив Шмаю за рукав.

— Что? Что случилось? — испуганно оглянулся тот.

— Кошка перебежала нам дорогу, беды не миновать... Видали, какие у нее глазищи, у той кошки?.. Как автомобильные фары...

Шмая замедлил шаг, и мягкая улыбка скользнула по его лицу.

— Что ты, доченька? — сказал он, всматриваясь в черную мглу. — Какой-то паршивой кошки испугалась! Нам уже перебежали дорогу бешеные псы, и то мы как-то выпутались... Теперь уже легче. Через ад мы уже прошли, и наша дорога ведет сейчас прямо в рай...

— До рая нам еще далеко, а вокруг враги, звери...

— Мы все-таки находимся на своей родной земле, среди своих людей, а они, фашисты, здесь непрошенные гости, и все их ненавидят...

— Это, конечно, так, — поддержал Шмаю Данило Лукач и, вспомнив о своей трубке, которую уронил, когда Шиндель набросился на него, проговорил:

— Да, хорошая была трубка, ореховая... Мне подарил ее один грузин, когда мы в двадцатом наступали с Буденным под Варшавой. Старинная трубка... Но не так трубки жаль, как подарка друга. Хороший был человек Сурадзе... Гогн его звали. Жаль, погиб...

Шмаю обрадовало, что Данило после долгого молчания наконец заговорил. Стало быть, немного воспрянул духом

после того, как думал, что все потеряно и никакого выхода уже нет.

Шмая-разбойник не только любил, чтобы его внимательно слушали, но и сам любил послушать других. И сейчас, не перебивая друга, слушал его неторопливую речь, думая в то же время о том, что, видно, самая большая опасность уже миновала, и теперь им осталось одно — добраться до рабочего поселка, зайти в теплый дом, отогреться, отдохнуть, привести себя в божеский вид, чтобы чуть свет двинуться дальше. Но куда? А туда, куда они до сих пор шли. Правда, теперь дело осложнилось. Придется переходить линию фронта, которая, вероятно, сейчас там, где виднеется огромное зарево и слышится грохот орудий.

А между тем дождь моросил без конца и все ожесточеннее, все злее. А ведь столько еще было идти! Но сквозь темень уже вырисовывались вдали очертания домов, врезывалась в черное небо огромная гора с острым пиком, на вершине которой что-то тлело.

Перебравшись через крутой мрачный яр, они поднялись по извилистой тропинке и наткнулись на небольшой домик, где не было ни живой души, если не считать огромного кота, лежавшего на погасшей печи и сверлившего темень ночи своими зелеными хищными глазами.

Они вышли из домика и молча стояли, глядя на пустынную улицу, где не видно было ни единого огонька, никаких признаков жизни.

«Не бывало еще так, чтобы люди ни с того ни с сего бросали свои очаги,— подумал Шмая.— Значит, и нам не следует тут оставаться». Но он чувствовал, что если придется еще хоть час месить грязь и мокнуть под дождем, все они не выдержат. И он решил переночевать здесь, отдохнуть, а утро вечера всегда мудренее...

Наш разбойник решительно повернул обратно и вошел в домик. За ним последовали остальные.

Первым делом Шмая обошел обе комнатухи, нащупал на печке спички, нашел лампу. Завесив всяким тряпьем окна, зажег ее. Посмотрев на себя и на своих спутников, он испугался. Увидели бы их люди, шарахнулись бы, как от прокаженных...

Шифра еле добрела до кровати. Сбросив грязные ботинки, она упала на нее и через несколько минут уже спала мертвым сном. На нее глядя и Данило Лукач собрал какое-то тряпье и пристроился на полу возле пустого сундука.

Шмая стоял в сторонке и с завистью смотрел на них.

Он понимал, что спать всем никак нельзя, мало ли что может случиться. И он затопил печь, поставил греть воду. Надо было смыть с себя грязь, привести себя в порядок. Опускаться ни в коем случае нельзя было.

Он ходил по дому, оглядывая каждый уголок, рассматривая фотографии на стенах. Да, вот так и он бросил свой дом... Тысячи, сотни тысяч семей оставили свои очаги и бродят сейчас по дорогам страны. Кто успел перебраться на ту сторону Волги, а кто еще мечется, не зная, как жить, куда деваться...

В каморке он увидел раскрытый комод. Все там было перерыто, и на полу валялась рабочая куртка, поношенная ватная фуфайка, латанные брюки, рваные кирзовые сапоги. Шмая обрадовался. Можно немного приодеться, легче будет двигаться дальше. Нашлось кое-что и для Данилы и для Шифры.

— Хорошие, должно быть, люди тут жили, если позаботились о беглецах,— вслух подумал Шмая.— Может быть, это и нечестно — прийти в чужой дом и взять без спроса одежду, но что поделаешь! Время такое. Да и хозяевам приятнее будет узнать, что это взяли свои люди, а не проклятые оккупанты...

Тут Шмая услышал шум в печи. Он подбежал и, увидев, что вода в чугуне уже закипела, вытащил его. Достав миску и ведро холодной воды, кусок мыла, он вышел в сени и впервые за долгие дни умылся и переоделся. Он сразу почувствовал, как легче ему стало и усталость вроде куда-то улетучилась. Даже спать уже не хотелось.

Вернулся в комнату, посмотрел на свернувшуюся калачиком Шифру, увидел на ее лице улыбку и решил, что в эту минуту она видит какой-то прекрасный сон. Постоял немного, глядя на ее полудетское милое лицо, и направился туда, где на тряпье, как на пуховике, лежал Данило Лукач. Погасив огонь, пристроился рядом с другом и попробовал уснуть. Однако сон его долго не брал.

Шмая-разбойник перебирал в памяти события последних дней. Холод прошел по всему телу, когда он вспомнил вражеские колонны, пронесившиеся мимо, обер-ефрейтора Вильгельма Шинделя, холодный и страшный глазок автомата, который был нацелен на него, Шмаю, и мог в любую секунду оборвать его жизнь. Никто в мире и не узнал бы, как глупо он погиб...

То, что после всех страданий они нашли теплое убежище, Шмая считал настоящим счастьем. Хотелось, чтобы

эта ночь тянулась долго-долго, но он знал, что она когда-нибудь должна кончиться. К тому же долго оставаться в этом домике тоже нельзя было. Вот-вот начнутся холода, и немцы придут сюда. А чем жить рядом с такими соседями, лучше уж петлю на шею...

Шмая старался отогнать от себя тяжелые мысли. Надо было думать о жизни. Нужно было набраться сил и как-нибудь перейти линию фронта. Иначе, рано или поздно, они снова попадут в лапы палачей и вряд ли им уже удастся вырваться...

А пока что можно немного вздремнуть, но чуть свет подняться, нагреть воду для Шифры и Данилы, чтоб и они смогли умыться, переодеться. Надо будет поискать и что-нибудь съестное. Ведь все они голодны и совсем обессилены...

Но, оказывается, смертельно уставшему человеку трудно заранее планировать свое время.

Шифра разбудила Шмаю, когда было уже совсем светло. Она успела согреть воду, умыться, переодеться и привести в порядок свои косы; она уже слила Даниле, и оба приобрели человеческий вид, как и Шмая, которого они сперва даже не узнали... Еще успела девушка сварить картошку, разыскать в соседних брошенных домах буханку черствого хлеба, какие-то консервы — и завтрак был приготовлен на славу!

— Ты смотри! — оживился Шмая, глядя на стол. — Совсем как в мирное время!.. Если ты, дочка, будешь нас так кормить, то мы и не захотим уходить отсюда. — И, подумав немного, добавил: — Да, хорошо это, когда один за всех, а все за одного...

— А ты что думал? — вытирая полотенцем мокрую голову, сказал повеселевший Данило. — Дружба — это великое дело. Друзья познаются в беде... Будем держаться вместе, тогда, может быть, и выберемся из этого капкана.

Они уселись за стол и стали с аппетитом уничтожать все, что на нем было. Давно они не ели под крышей, в тепле, и к Шмае-разбойнику вернулось его обычное бодрое настроение.

— Молодец, Шифра! Учись, учись быть хозяйкой. Вот придем к своим, а там война кончится, и мы тебе справим такую свадьбу, что небу будет жарко...

— Что вы говорите! — краснея и давясь куском, покачала головой смущенная девушка. — Нечего вам делать... Нашли время шутить!..

— А кто тебе сказал, что это шутка? — возмутился кровельщик. — Думаешь, пришел конец свету? Беда пройдет, и мы тебе у нас на Ингульце такую свадьбу устроим, какой еще свет не видал, чтобы все враги наши лопнули от злости, а все друзья прыгали от радости!

Шифра махнула рукой, посмотрела на улыбающееся доброе лицо Шмай, перевела взгляд на Данилу и сама улыбнулась, вспомнив, как обер принял его за еврея...

В углу, под иконой, стоял репродуктор, запыленный, старый, как мир, и сколько Шмая ни тормошил его, никак не мог вытрясти из него ни звука.

— Черт полосатый! — ругался Шмая. — Когда не нужно, он орет, как оглашенный, остановить нельзя, а вот теперь, когда так хочется знать, что слышно на свете, он молчит, как рыба...

Где-то далеко, на дороге, слышен был рокот моторов. Грузовики шли туда и обратно, немецкие грузовики. Но сюда никто не сворачивал, и поселок был по-прежнему мертв.

Только на рассвете второго дня Шифра, выглянув в окно, заметила невдалеке пожилую женщину с большим узлом и кошелкой. Увидев, что над дымоходом вьется дымок, женщина обомлела. Стояла на одном месте, не решаясь подойти к дому.

Теперь уже все трое выглядывали в окно. Никто не знал, что делать. Позвать ее? Но она может испугаться, увидев незнакомых людей. Выйти к ней? Но тогда может быть еще хуже. А вдруг она подымет шум на весь поселок и сюда сбегутся люди? Может быть, они попрятались в подвалах?

Постояв еще несколько минут, женщина направилась к дому. Навстречу ей вышла Шифра, поклонилась, сказала ей что-то и позвала в дом.

Хозяйка вскрикнула при виде двух незнакомых мужчин.

— Не бойтесь нас, мамаша, — обратился к ней Шмая, — ничего плохого мы вам не сделаем... Беда нас сюда привела. Только погреемся, отдохнем и пойдем дальше...

Хозяйка дома еще долго с опаской смотрела на незнакомых людей, не решаясь присесть. Но поняв, что это хорошие, мирные люди, поставила в уголок свой узел и кошелку, стала снимать ватник.

— А я так испугалась! — заговорила она, придя не-

много в себя.— Увидела дымок над трубой, и сердце оборвалось. Думала, что немцы уже пришли... Еле ушла от них и опять к этим паразитам вернулась... Хотела было уже бежать...

Шмае понравилась милая разговорчивая женщина с седой головой и усталым круглым лицом.

— Так, выходит, вы хозяйка дома? — спросил он, испытывая страшную неловкость оттого, что без спроса переоделся и переодел друга и девушку.

— Какие уж мы теперь хозяйки и хозяева! — покачала она головой.— Разве не видите, кто сейчас здесь хозяин? Саранча на нас налетела... Все жгут, всех убивают... Встретят на дороге бабу, и пять автоматчиков стреляют по ней...

— Да, мы тоже уже кое-что повидали, мамаша... — смелее заговорил Шмая.— Побывали у них в лапах и насилиу спаслись... Оборванные пришли сюда от них, в одних лохмотьях, стыдно было на люди показаться... А тут, у вас, мы нашли кое-какую одежду... Ну и оделись... Если хотите, можем отдать, можем заплатить...

— Что вы! — махнула она рукой.— Носите на здоровье, если подходит. Мужа и двоих сыновей отправила на фронт... Мужа уже нечего ждать — извещение пришло. Погиб мой старик. А от сыновей никаких известий... Живы останутся, купят себе другую одежду, а если здесь немец будет — нам ничего не надо. Пропали мы тогда... А может, произойдет какое чудо и остановит проклятых злодеев?.. Ой, что делается на дорогах, возле переправы! Такие там бои, сколько убитых — и наших и ихних... Горит все... Думала, успею эвакуироваться, а дороги перерезаны. Насилу вырвалась из окружения и добралась сюда...

Она поправила волосы рукой, огляделась вокруг:

— Вы уже не взыщите, что такой беспорядок застали. Кому в голове было убирать, когда жизнь на волоске. Не взыщите!..

Женщина не переставая рассказывала о том, что видела на военных дорогах. И гости слушали ее с тоской, думая об одном: как им выбраться отсюда, как перейти линию фронта?..

Хозяйка дома разыскала среди разбросанных повсюду бумажек справку мужа о том, что он действительно является забойщиком шахты № 5, что удостоверяется подписями и печатью. Эту справку она передала Шмае — может быть, пригодится ему в дороге. Еще одну такую справку она нашла в соседнем брошенном доме. Теперь уже не так страш-

но будет, если их и задержат. Ежели такое случится, пусть они скажут, что они горняки и возвращаются домой, а были на окопах, куда их силой погнали коммунисты...

Это необходимо было хорошо заучить, ибо, как успела убедиться хозяйка, немало людей, когда их задерживали, вырывалось таким образом из рук фашистов...

Ранним утром хозяйка накормила своих неожиданных постояльцев, дала им на дорогу кое-что из продуктов и, пожелав удачи, попрощалась с ними, как со старыми друзьями.

Отойдя несколько шагов от гостеприимного домика, Шмая оглянулся.

— Ты что-то забыл, друг? — спросил Данило Лукач.

— Забыл посмотреть номер дома. Когда-нибудь, если живы останемся, надо будет приехать сюда поблагодарить хозяйку или хоть написать ей письмо...

После того как они хорошо отдохнули, идти было куда легче, и они двинулись по степной дороге, по которой шли другие, должно быть, так же, как и они, жаждущие перейти линию фронта.

Дождь лил не переставая, и дороги развезло так, что огромные черные грузовики оседали в грязи. Немцы возили лес, бревна, доски, рыли траншеи, окопы, видно, примирившись с мыслью, что им преградили путь и они должны зарыться пока что в землю. С одной стороны, это радовало наших путников, но с другой — они понимали, что пересечь линию фронта и перебраться к своим стало гораздо труднее и опаснее. Остаться же в одном из рабочих поселков, которые попадались им на дороге, нельзя было, так как там стояли немецкие обозы.

И тут им неожиданно повезло. Они познакомились с группой шахтеров и присоединились к ним. Долго, настойчиво искали лазейку, чтобы перескочить на ту сторону, но все никак не удавалось.

Однажды ночью, когда, казалось, цель уже была близка, неожиданно из-за сарая, казавшегося пустым и заброшенным, появилось, словно из-под земли, несколько немецких автоматчиков. Послышалось знакомое:

— Хальт! Хенде хох!..

И вот они уже бредут по раскисшей дороге, окруженные конвоирами-автоматчиками, чувствуя на своей спине жуткий холодок автоматных глазков.

Долго гнали их. Из двадцати человек пятерых уже пристрелили тут же, на дороге, так как они не в силах были двигаться дальше. Наконец их пригнали к колючей проволоке, за которой тянулись длинные покосившиеся бараки. И тут впервые в жизни Шмая-разбойник, Данило Лукач и Шифра услышали незнакомое слово — лагерь.

Прошло еще два часа. Новичков втиснули в переполненный барак. За стеной слышалась стрельба.

— Что это?

Старожилы успокоили их:

— Это часовые забавляются. Запугивают арестантов и себя подбадривают...

А издали доносился грохот пушек. Он не отдалялся и не приближался. По этому грохоту можно было судить, что фронт стоит на месте и ни одна из сторон не продвигается вперед.

У Шмай-разбойника сразу же возникла мысль о победе. Если б можно было договориться и все дружно бросились бы к воротам барака, снесли бы их и разбежались кто куда, верно, можно было бы спастись... Но прислушавшись к шепоту соседей, он понял, что это не так просто. Уже пробовали. Проволока вокруг лагеря — под электрическим током, и если даже вырвешься из барака, через проволоку невозможно пробраться...

Ночь была холодная и темная. Шмая старался разглядеть сквозь темень, кто сидит рядом с ним, но, кроме бородатого лица и испуганных глаз, ничего не мог различить. Он попытался заговорить с соседом, но тот смотрел на него удивленно, недоверчиво и упорно молчал...

Рано утром за стеной барака послышался гортанный крик, топот, лязг оружия и хриплый лай собак. Люди, не дожидаясь команды, вскочили со своих мест. Двери барака раскрылись с угрожающим скрипом, и раздалась команда:

— Выйти! Построиться! Шнель, шнель, швайн!

Дождь все не прекращался. Оборванные, обросшие люди, с ненавистью глядя на белобрых молодых, бежали из барака, подгоняемые прикладами автоматов, и строились по четыре в ряд — мужчины отдельно, женщины отдельно.

Шифра рванулась было к Шмае, но солдат оттолкнул ее прикладом. Глаза девушки наполнились слезами. Неужели их разделят и она больше не увидит этого милого че-

ловека, на которого была вся ее надежда? И куда их погонят? Ночью она слышала от одной старушки, что немцы недавно выгнали из барака больше ста задержанных, повели их к затопленной шахте и сбросили туда. Неужели и с ними будет так? Не укладывалось в голове, что человекоподобные существа могут так по-зверски поступать с ни в чем не повинными людьми. Как глупо все получилось!.. Погибнуть в бою, с оружием в руках — это тоже страшно, но не так обидно, как погибнуть здесь. И почему она не убежала тогда, когда такие же девчата, как она, ехали на грузовиках, в пилотках и шинелях?..

Грозный окрик автоматчика прервал ее мысли.

Она вздрогнула всем телом, оглянулась. На нее холодными неподвижными глазами смотрел белообрый солдат. Возле него виляла хвостом огромная серая овчарка. Первое, что пришло в голову девушке, это броситься к Даниле Лукачу, к Шмае, которые стояли в нескольких шагах от нее, но тут она услышала громкое рычание. Казалось, страшный пес вот-вот разорвет ее.

— Мама! — крикнула она не своим голосом и прижалась к высокой худой женщине, которая обняла ее, как мать, и заплакала вместе с ней.

Скоро перед строем появился холеный офицер в пенсне. Окинув рассеянным взглядом поникших арестантов, он приказал отделить стариков и больных от работоспособных людей и повести их назад.

Длинная колонна узников вытянулась вдоль дороги. По обе стороны — конвоиры с автоматами и огромными овчарками. И вдруг с той стороны, где за колючей проволокой остались старики, больные и калеки, донеслись душевраздирающие крики, мольбы о помощи, проклятья. Автоматные очереди прекратили шум, и скоро там воцарилась зловещая тишина.

Шмая на ходу обернулся, прислушиваясь к автоматным очередям. Дрожь прошла по всему телу. «Палачи, стариков и больных пристреливают!..» — промелькнуло в голове.

Понуро брела колонна. Все уже знали, что их гонят чинить дорогу. И еще знали, что в любую минуту их могут по дороге пристрелить так же, как стариков и больных, оставшихся в лагере...

Командовал конвоем пожилой толстый ефрейтор с одутловатым лицом и большими зелеными глазами навыкате. Он вел на поводке огромного рыжего пса, который все

время рычал на узников, готовый каждую минуту броситься на несчастных.

Если Шмая еще недавно радовался тому, что дожди размыли дороги, мешая врагу продвигаться вперед, то теперь он их проклинал. Как мучительно трудно было, не разгибаясь, таскать булыжник, песок. И все это надо было делать бегом, под угрозой смерти.

День тянулся мучительно долго. До густой темноты люди мостили дорогу, с ненавистью поглядывая на толстяка ефрейтора, который уже пристрелил нескольких узников, бил палкой отстающих, издевался над обессиленными людьми.

Но вот послышалась долгожданная команда строиться. В лагерь люди пришли промокшие, вконец измученные и уже не в силах были даже пойти за баландой...

Чуть свет снова началось движение за стенами барака, послышался лай собак, крики солдат.

Двери распахнулись, последовал приказ выйти, строиться.

Тот же толстый ефрейтор подошел к строю, обвел узников насмешливым взглядом:

— Ну, работнички, сегодня вам было свободнее спать? Видите, как мы заботимся о вас!.. Почему опустили головы? Веселее!.. Вот исправите дорогу, начнем наступать, заведем в России новый порядок. Научим вас жить, как люди, а то вы на свиней похожи... Вчера вы плохо работали... Я доволен вашей работой. Может, есть среди вас больные? Ну-ка, больные, три шага вперед!..

Он отошел от строя. Пять человек несмело сделали три шага.

— Еще кто болен? Три шага!.. Больных я не могу заставлять работать. Мы, немцы, люди гуманные...

Из строя нерешительно вышли еще два старика.

— Гут! — потер ефрейтор озябшие руки. Отвел больных к проволоке и, сняв с плеча автомат, дал по ним длинную очередь... Потом окинул холодным взглядом убитых и, направляясь к строю, сказал: — Больных у меня не будет! Нам нужны работники... Симулянтов буду расстреливать... Форвертс!

Строй на какое-то мгновение замер. Казалось, люди сейчас бросятся на ефрейтора. Но, увидев пулеметы на вышках и автоматчиков, все, понурив головы, направились к воротам.

Шли молча, по четыре в ряд, поддерживая друг друга под руки.

Холод пронизывал.

Шмая шагал, еле передвигая ноги. Рядом шел Данило, белый, как стена... Когда несколько минут назад ефрейтор объявил, чтобы больные вышли из строя, он уже хотел было выйти вперед вместе с Данилой, который явно был болен, но какая-то неведомая сила удержала его. Какое счастье, что они не сделали трех роковых шагов! А то навсегда остались бы лежать возле колючей проволоки...

Какая-то доля секунды решила их судьбу. И вот они идут рядом, они живы... Но разве это жизнь? Они совершают преступление перед своей совестью, ремонтируя для врагов дорогу. Не лучше ли смерть, чем такое унижение, такой позор? Не броситься ли на этого толстяка ефрейтора, не задушить ли его, а потом уже умереть с чистой совестью?

Думая так, Шмая все же понял, что это не выход. Один в поле не воин, гласит пословица.

Стоя рядом с Данилой, Шмая с ожесточением орудовал киркой и волновался. Что-то слишком присматривался к нему ефрейтор, долго задерживал на нем и Даниле свои выпученные мертвые глазищи. Его надменный, неподвижный взгляд бросал Шмаю в жар и холод. Не обнаружил ли этот пес, что он, ко всем своим грехам, имеет еще один страшный грех — позволил себе родиться не чистокровным арийцем, а что ни на есть настоящим евреем? А уж это одно является страшным преступлением перед фашистами... Не вызывает ли подозрение борода Данилы Лукача? Ведь она его однажды уже чуть было не погубила, когда они встретились с обер-ефрейтором Вильгельмом Шинделем...

Шмая облегченно вздохнул, заметив, что ефрейтор перевел свой свирепый взгляд на других и отошел в сторону. Значит, пока пронесло! Но надолго ли? Как страшно каждую секунду подвергаться смертельной опасности!..

Была поздняя ночь, когда их пригнали в лагерь. Барак уже был набит новыми узниками, и для этих не нашлось места. Так, под проливным дождем, дрожа от холода и проклиная свою судьбу, скоротали они еще одну ночь.

Только под утро им удалось кое-как втиснуться в переполненный барак. Однако места, чтобы сесть или лечь, нельзя было найти. И Шмая со своим другом стояли, прижатые к косяку дверей. Невозможно было пошевеливаться, млели ноги. А как хотелось спать!.. Но не успеешь вот так, стоя, задремать, как кто-то тебя толкнет в бок, и сон сразу

пропадает. И все же то, что над ними была крыша, казалось вконец изнуренным людям величайшим счастьем...

За стеной барака бушевал ветер, лил холодный, противный дождь. Шмая прислушался. Издалека доносился грохот орудий. Видно, там идет ожесточенный бой. Дальше немцев не пускают. Кончилось их продвижение. Застряли на месте надменные колбасники, получили по зубам! Уже несколько дней они не поют, не хохочут, как прежде. Вчера по дороге шли бесконечным потоком немецкие машины с искалеченными фрицами. Эти уже отвоевались. Они уже не хотят войны и молят бога помочь им скорее вернуться нах гауз — домой...

С каждым часом везут все больше раненых. На огромных грузовиках, на которых еще так недавно восседали автоматчики, нынче возят гробы, осиновые кресты...

Барак слегка сотрясался от взрывов, хотя они раздавались не так уж близко от лагеря.

— Слышишь, Данило, наши бьют!.. — прошептал над ухом друга Шмая. — Слышишь, брат, что там делается? Должно быть, бьют гадов по чем зря. Сбили с них спесь... Ничего, мы еще увидим, как их будут гнать с нашей земли!

— Скорее бы дожидаться этого дня...

— Хоть бы глоток воды, горло смочить, — простонал кто-то в углу. — Палачи, лучше б убили!

— Сколько может человек терпеть? — бросил кто-то. — Это ведь сущий ад... Целый день держат людей под дождем, заставляют работать до изнеможения и куска хлеба не дают, глотка воды не дают!.. Да где ж это видано, люди?..

— Все равно погибнем... Только починим дорогу, а там нас всех перестреляют...

— Может, бог даст, наши вернутся, спасут...

— Спасут тебя!.. У фашистов столько танков, машин, пушек, а наши все отступают...

Шмая молча слушал ропот соседей. Когда стало тихо, он спросил:

— А вы слышите, как пушки бьют?

— Ну и что ж? — прозвучал сердитый голос. — Сейчас бабахнет снаряд по барaku, и от нас только мокрое место останется...

— Ты это брось! — сердито кинул Шмая. — Я о другом говорю... Это фронт остановился, и наши дают немцу сдачи... Разве не видите, как фрицы хвосты поджали?..

— Пока они хвосты подожмут, мы тут пропадем... Ви-

дали, что сегодня творил этот паразит ефрейтор? И упавы на них нет!..

— Будет!..

— Пока солнце взойдет, роса очи выест...

Чуть свет раскрылись ворота барака, и люди высыпали во двор. Приехала повозка, с которой сняли два котла баланды, горку пустых консервных банок и мешок сухарей. Сразу выстроилась длинная очередь, и мрачный немец-повар молча наливал каждому банку похлебки и совал в руки два сухаря.

Люди, не отходя от котлов, жадно съедали баланду и не уходили, ждали, может быть, еще нальет. Но тут появился ефрейтор и погнал голодных узников за ворота строиться.

Хотя находились люди, которые косо посматривали на Шмаю и ворчали: незачем, мол, строить себе какие-то планы, когда все потеряно, он все же не поддавался унынию и, как только часовые забирались в шалаши греться, старался поддержать павших духом.

Правда, самому было вовсе не весело. Он все больше беспокоился о судьбе Данилы. Немцы с подозрением смотрели на его бородку и о чем-то шептались между собой. Иные даже подходили и, презрительно глядя на Данилу, спрашивали, не еврей ли он. Шмая был в отчаянии. Будь у него ножницы, он тут же остриг бы другу бородку, и тогда пусть эти гады горят на медленном огне! Но пока Шмае уже не раз приходилось доставать справки, которые дала им в дорогу старушка из шахтерского поселка, и частично по-немецки, частично по-русски, а главное — руками и мимикой — доказывать, что Данило является его соседом, вместе с которым он работал в шахте, и божиться, что в жилах Лукача нет ни капли еврейской крови... Хотя, если здраво рассуждать, то у всех людей на земле одна кровь, так как все происходят от одного Адама и одной Евы, и все дышат одним воздухом, и все недолговечны на этой земле, и для каждого, будь он трижды генералом или солдатом, трижды арийцем или неарийцем, заготовлено всего лишь два метра земли...

В те минуты, когда Шмая объяснялся с немцами, Данило дрожал от страха, но не за себя, а за друга...

— Да, старая, как божий свет, басня, — тихонько философствовал Шмая-разбойник, — старый заезженный конь. На нем Гитлер далеко не уедет... и до него, проклятого, были

такие мудрецы, которые хотели отыгаться на вражде между народами. Сеяли вражду. Наши цари... Династия Романовых... А чем все это кончилось? Крахом. Таков уж, видно, закон: кто этим делом занимается, того ждет плохой конец. Да, не от хорошей жизни начинают тыкать пальцем: ты, мол, еврей, ты — русский, а ты — грузин, а он — узбек, а тот — украинец, мулат. И начинают выдумывать, кто умней, кто лучше... У кого какая кровь течет в жилах... До этой проклятой войны, кажется, никому в голову не приходило спрашивать: какой нации твоя бабушка и прабабушка. А тут вспомнили старые царские штучки. Ищут козла отпущения... Невестка, мол, виновата, что хата валится...

— Пришли устанавливать «новый порядок», фашистские звери, — задумчиво сказал Данило, жуя кусок черствого хлеба, брошенный сюда кем-то, — хороший порядочек, ничего не скажешь! За колючей проволокой... А какую красивую жизнь нам поломали... — и, подумав немного, добавил: — Ничего, они за это еще поплатятся! Заплачут, гады, горькими слезами. А то, что ты, Шмая, сказал о царских порядках, это ты правильно сказал, дорогой... Но вся эта подлость была только там, в верхах... Народ, простой человек, наш брат, рабочий и крестьянин, этого не понимал. Не хотел знать! Сколько лет, скажи, жили мы с вами, с колонистами, душа в душу... Одни горести были у нас, одни радости и заботы...

Тяжелый, каторжный труд, голод, унижения сблизили людей, согнанных в этот мерзкий барак за колючей проволокой. Без опаски, откровеннее стали они разговаривать друг с другом.

По ночам узники шептались в углах, договариваясь о побеге. Каждый раз возникали новые планы. Не обходилось и без споров. Не лучше ли выждать, говорили одни. Мол, толстяк ефрейтор сказал как-то, что, если будут хорошо работать, скорее отремонтируют дорогу, тогда всех отпустят по домам...

— Да, нашли кому верить!.. За посул денег не берут... Вы уже забыли, как он своими руками убивал больных людей на наших глазах? Это они сейчас, когда бьют их, гадов, стали немножко мягче, кормят вонючим супом и швыряют кусок просяного хлеба... — Эти слова Данило Лукач произнес тихо, но гневно. — Закончим чинить дорогу, всех нас сразу в расход пустят. Или мы уже не сможем на ногах

держаться от истощения и сами подохнем. Надо бежать, и чем скорее...

— Легко сказать — бежать, когда кругом пулеметы, автоматы, собаки...

— И куда ты побежишь, когда повсюду немцы?

— Но мы на своей земле, а враги тут — временные жители...

— Может быть, бог даст, и отпустят домой?

— Тут выбирать нечего... Надо попробовать вырваться из этого ада...

— Как бы хуже не было...

— Что? Хуже? Еще хуже? — раздался голос Шман, в котором слышалась горькая усмешка. — Если уж на то пошло, могу вам рассказать одну историю... Как-то присудили двух дружков-цыган к расстрелу. Уже вырыли для них могилу, и солдаты повели их на расстрел. Идут они, значит, идут. Еще несколько десятков шагов, и конец... А близко, у самой дороги, был лесок. «Бежим, брат, — шепнул один дружок другому. — Бежим, может, бог даст, и спасемся». А тот, другой, посмотрел на дружка и говорит: «Бежать? А хуже нам не будет?..» Так и здесь получается. Что может быть еще хуже? Нет, хуже уже не будет!..

И узники стали готовиться к побегу.

Но однажды ночью, когда все уже было готово и люди ждали сигнала, где-то вдали началась ожесточенная перестрелка. А утром прибыл усиленный конвой и погнал узников в тыл.

Целый день и всю ночь гнали обессиленных людей и наконец привели в другой лагерь. Та же колючая проволока, но барачников тут было больше, да и людей бесчисленное множество.

Фронт отсюда был гораздо дальше. Но режим в лагере был не менее жестоким, чем в прежнем, и работать заставляли еще больше.

Шмаю и Данилу все время мучила мысль о Шифре. Когда они работали на дороге, то часто видели ее — она подносила им булыжник, а когда немцы с лихорадочной поспешностью собрали узников и погнали их в тыл, совсем потеряли ее из виду. Правда, они ничем не могли помочь девушке, но все же легче было, когда видели ее хоть издали, знали, что она жива.

И когда оба уже потеряли всякую надежду найти Шифру в этом людском водовороте, они неожиданно увидели ее в колонне женщин, которых гнали в соседний барак.

Девушку трудно было узнать. Она срезала свои косы, была одета в какие-то лохмотья. Краса ее померкла.

Прекратились дожди. Небо быстро очищалось от облаков. Ночи становились холоднее. По утрам на крышах сверкал иней. Болота постепенно замерзали, и вскоре мороз сковал землю.

То, что узников так внезапно перегнали в другой лагерь, перемешали с неизвестными арестантами, усложняло побег. Надо было искать новые связи, знакомиться с людьми, начинать все сначала.

И опять потянулись мрачные дни.

Шмая-разбойник сокрушался, кажется, больше всех. Он почему-то был уверен, что побег закончился бы благополучно и тогда он с Данилой, Шифрой и новыми друзьями попытался бы пробиться к своим, за линию фронта.

В лагерь каждый день пригоняли новых арестантов. Говорили, что вот-вот подадут эшелоны и всех отправят на работу в Германию. Разные слухи ходили за колючей проволокой, но из всех слухов кровельщика больше всего радовал разговор о том, будто поблизости действует какой-то партизанский отряд. Партизаны нападают на фашистов, взрывают склады, поезда, освобождают людей из лагерей. Некоторые говорили, что это вовсе не партизаны, а бойцы Красной Армии, выходящие из окружения, которые сколотили сильную часть и, прорываясь к своим, громят по пути немецкие гарнизоны.

И снова появилась надежда на спасение.

А несколько дней спустя поздно ночью в поселке, находящемся в двух километрах от лагеря, послышалась стрельба, взрывы гранат. Над железнодорожной станцией показались огненные языки, и густые облака дыма взвились в небо. Вокруг лагеря забегали немцы, начали стрелять из автоматов, что-то кричать. Паника нарастала, однако двери барака были наглухо закрыты и нельзя было разглядеть, что происходит на воле.

Узники вскочили со своих мест, двинулись к дверям, стали ломиться, но двери не открывались. А тут послышались вопли раненых конвоиров, возгласы: «Капут! Капут!»

Среди стрельбы и взрывов в барак донесся цокот копыт. А через несколько минут рухнули двери барака, и люди увидели в зареве пожара красноармейцев в зеленых фуражках пограничников. Люди глядели на них, не веря своим

глазам. Откуда тут могли взяться пограничники? И неу-
жели пришло спасение?..

— Ну чего ж вы стоите? Смелее, товарищи! Вы свобод-
ны! — слезая с коня, сказал коренастый бородатый офицер,
всматриваясь в изможденные лица узников. — Можете не
бояться! Свои пришли...

Люди нерешительно выходили из барака, оглядывались
вокруг и, убедившись, что это не сон, не провокация, бро-
сались обнимать бойцов, осыпать их поцелуями.

Но коренастый человек, видно, командир, продолжал:

— Спокойнее, товарищи, спокойнее!.. Времени у нас ма-
ло... Слушайте внимательно. Мы пробиваемся к линии фрон-
та по тылам врага... Кто в силах носить оружие, может
идти с нами. Остальные пусть расходятся по домам... Не
мешкайте! Фрицы очнутся, и начнется карусель... Преду-
преждаю, наш путь труден и опасен... Мы все время в бо-
ях... Решайте скорее! Берите оружие!

Узники разбили замки на соседних бараках, и через не-
сколько минут все бараки уже горели, словно огромные фа-
келы. Люди ринулись во все стороны, уходя в степь, в до-
лины, направляясь к родным поселкам, а многие потянулись
вслед за бойцами, быстро покидавшими лагерь.

Шмая-разбойник насилиу разыскал в этой суматохе Лу-
кача и Шифру. Глаза его сияли. Он не знал, откуда взялись
силы, но, казалось, он мог сейчас пройти сто, тысячу кило-
метров, лишь бы вырваться отсюда, пробраться к своим.
Не сговариваясь, все трое побежали вслед за бойцами,
брезгливо обходя трупы конвоиров, валявшиеся на дороге.

Прошло немного времени, и огромный лагерь уже был
пуст. Только повсюду бушевали пожары, и огромные языки
пламени пожирали то, что еще недавно было лагерем стра-
даний и смерти.

Шли быстро. Надо было уйти подальше, пока фашисты
не опомнились и не начали преследование. Нельзя было
вявязываться в открытый бой, нужно было сохранить силы,
чтобы двигаться дальше, к линии фронта.

Шмая-разбойник с карабином на плече и тяжелой сум-
кой патронов снова почувствовал себя солдатом. Сначала
ему, как и его друзьям, казалось, что все это происходит во
сне, и он то и дело ощупывал приклад карабина, вслушивал-
ся в скрип возов, топот копыт, негромкий разговор бойцов.
А поняв, что это явь, что он уже не в лагере, что завтра

чуть свет не погонят его с киркой и лопатой на дорогу, не будут издеваться, морить голодом, приставлять к виску холодное дуло автомата, что он снова человек, каким был всюду, куда бы ни забрасывала его судьба, Шмая почувствовал себя безмерно счастливым.

Позади остались пожарища, разбитые эшелоны, взорванные бараки, трупы фашистских палачей. Колонна двигалась быстро. Шли напористо, преодолевая усталость, голод. Отстающие подсаживались на подводы. Шмая усадил на повозку Шифру. Она было запротестовала, сказав, что еще может идти, но Шмая-разбойник прикрикнул на нее: мол, скажи спасибо, что подвернулся случай, можно немного поддохнуть,— и она покорно согласилась.

Оба друга двигались в последних рядах колонны. Как ни было тяжело, они старались не отставать и шли, то опираясь на палки, подобранные по дороге, то держась за задок последней подводы.

Вдали уже чернел лес, где собирались устроить привал.

И вдруг позади колонны на дороге послышался цокот копыт. Шмая оглянулся: к колонне мчалась группа всадников. И вот уже коренастый бородатый офицер в коротком полушубке и зеленой фуражке, поравнявшись с отставшими от колонны штатскими, спешил и запросто завел разговор с незнакомыми людьми: кто они, откуда?

По тому, как на него смотрели остальные всадники, Шмая понял, что это, верно, командир отряда. Сердечные слова его согрели душу, и Шмая стал присматриваться к нему. Сосредоточенное мужественное лицо командира, обрамленное густой черной бородой, показалось Шмае знакомым. Кого-то напоминал ему этот пристальный взгляд карих глаз...

Луна, вынырнувшая из-за облаков, осветила всю фигуру офицера в лихо сидевшей на голове фуражке. На груди висели трофейный автомат и большой полевой бинокль.

Подойдя ближе и встретившись взглядом с глазами командира, освещенного ярким светом луны, Шмая почувствовал, как больно сжалось у него сердце, неожиданно закружилась голова, и он с трудом прошептал:

— Боже мой, Саша?! Сынок... Ты жив... Какое счастье...

Слезы покатались по впалым, заросшим щекам Шмаи. И в ту же минуту он почувствовал, как сильные руки обняли его и родной голос произнес:

— Успокойся, папа... Не надо плакать... Зачем? Радость надо!

СНОВА СРЕДИ СВОИХ

Пограничники, как и моряки, люди особого склада.

Их сразу узнаешь среди сотен обыкновенных бойцов. Попробуй-ка отними у моряка бескозырку, тельняшку или у пограничника зеленую фуражку!

Даже теперь, в эти тяжелые месяцы непрерывного отступления, когда немцы с особой яростью набрасывались на пограничников, зверски расправлялись с ними, никто из бойцов не отказывался от своей зеленой фуражки. И каждый носил ее с особой гордостью.

Капитан Спивак, начав свой боевой путь на пограничной заставе, не расставался с зеленой фуражкой, как и его бойцы, даже теперь, за тысячу километров от границы, вступая в дерзкие схватки с фашистами, он свое оружие, как и фуражку, берег как зеницу ока.

В селах и поселках советские люди с восторгом смотрели на пограничников, оказавшихся в глубоком тылу врага и не сложивших оружия: «Значит, жива Советская власть, жива Красная Армия».

Иные беспокоились:

— Что же будет с вами, сыночки? Так далеко отошли от нашей границы. Вы бы сняли свои зеленые фуражки. Немцы приказали даже в плен вас не брать, расстреливать на месте...

— А мы, мамыши, в плен не сдаемся... До последнего вздоха мы воюем с врагом,— гордо отвечали пограничники и, высоко подняв головы, шли дальше на восток, к своим, зная, что ничем не запятнали свою честь, свой мундир.

— Советуете снять пограничную фуражку? Нет, только смерть нас может с ней разлучить... К тому же мы надеемся вернуться на свою заставу, и фуражка нам будет скоро нужна...

Со стороны несколько странно было видеть пограничников в степях Донбасса. Но и здесь, за тридцать земель от родной заставы, они сохранили свою выправку, навыки, были так же отважны, решительны и научились уже сражаться в открытом бою.

Прошла еще одна ночь. Командир этого необычного отряда, сперва состоявшего из двенадцати бойцов-пограничников, а по дороге разросшегося в целый батальон, еще одну ночь не сомкнул глаз. Надо было обойти посты, прове-

рять, как отдыхают люди, как замаскировались они от вражеских бомбардировщиков. Особенно хотелось пройти в землянку к радистам, которые пытались наладить связь с воинской частью, стоявшей за линией фронта, неподалеку от этого участка.

Раньше было легче. Отряд шел глухими дорогами, нападал на маленькие гарнизоны, железнодорожные станции, громил склады с боеприпасами, сжигал, уничтожал все, что попадалось ему на пути. А вот теперь, когда не исключена была возможность, что их обнаружат и немцы направят целую дивизию на уничтожение отряда «красных диверсантов», нужно было сохранять особое спокойствие. Один неосторожный шаг мог все погубить. А тут еще к отряду присоединилось много штатских людей, освобожденных из лагеря, которые затрудняют продвижение, и перебраться с ними через линию фронта будет во сто крат труднее. Однако никто и не думал бросить их на произвол судьбы...

Шли быстро, молча.

Капитан уже забыл, сколько недель он с отрядом находился в непрерывных боях. Он сильно осунулся, похудел, и большие карие глаза его казались еще больше. Усы, густая борода старили его, и он выглядел гораздо старше своих двадцати восьми лет. В отличие от отца, капитан Спивак был молчалив, медлителен в движениях. Был строг к себе и к подчиненным. Этому его, видно, научила суровая служба на границе. И все же он унаследовал от отца многое — никогда не унывал, не терял бодрости духа даже в самые опасные минуты, а их в последнее время было хоть отбавляй.

Сапоги на нем были изрядно искривлены, гимнастерка — вся в заплатах, и даже зеленая фуражка пограничника, которую особенно берег капитан, была уже достаточно помята и носила на себе следы палящего солнца, дождей и ветров. Хоть было уже холодно и пора было сменить ее на ушанку, он, как и его боевые друзья, считал это кощунством, неуважением к памяти воинов, которые сражались рядом с ним на границе и пали в бою...

Еще накануне капитан Спивак снарядил троих бойцов, лучших боевых своих ребят, к линии фронта. Они ушли с оружием, припасами, а главное — с рацией и должны были проникнуть с пакетом за линию фронта. От выполнения ими задания зависел успех всей операции, судьба отряда.

И вот в этот ранний час, когда бойцы и люди, приставшие по дороге к отряду, спали мертвым сном, капитан был

на ногах. Он все время смотрел в ту сторону, где беспрерывно гремело, где вспыхивали и гасли разноцветные ракеты и куда накануне ушли три пограничника...

Капитан Спивак на всю жизнь запомнил то страшное июньское утро, вернее, ночь, когда началась война.

Неспокойно было по ту сторону границы, за рекой. В полночь он тихонько, чтобы не разбудить жену и ребенка, вышел на крыльцо, где его уже ждал ординарец, Вася Рогов, с лошадьми. Они поскакали вдоль границы, к лесу, проверить секреты, узнать, что видели бойцы. В селе по ту сторону реки отчаянно выли собаки. Откуда-то доносился шум моторов, грохот гусениц. Капитан спешился и, оставив Рогова в лесу, сам пополз к секретам, находившимся в нескольких десятках шагов от берега.

Сообщения были тревожные, и он решил, что немцы хотя бы под шумок перебросить через границу группу диверсантов. Но это его не страшило. Он был уверен в своих людях и знал, что какую бы группу ни попытались переправить сюда, ее встретят так, что ни один из нарушителей не уйдет. И все же на всякий случай передал на заставу, чтобы выслали подкрепление и все были в боевой готовности.

Предположить что-либо другое капитан не мог. Ведь еще два-три дня тому назад наши газеты опровергли сообщение о том, что немцы собираются напасть на Советский Союз. Только недавно подписан договор о дружбе и ненападении... Может быть, там проводятся маневры, учения? Но на самой границе? Такого еще не бывало...

Так размышлял начальник заставы, пробираясь от одного секрета к другому.

Что ж, надо, видно, спешить на заставу... И он направился туда, где его ждал с лошадьми Вася Рогов. Но не прошел каких-нибудь ста шагов, как почувствовал, что земля содрогнулась, будто началось землетрясение. Послышался оглушительный грохот, свист снарядов.

Он посмотрел в ту сторону, где раскинулась заставка со своими казармами, конюшнями, складами и домами комсоства. Там горело, и густые облака дыма окутали все вокруг. Рвались снаряды. Усиливался треск пулеметов.

Капитан из всех сил бросился к опушке, где ждал его Рогов, но тот уже мчался навстречу.

Вася взглянул на начальника испуганными, вопрошающими глазами:

— Война?..

Капитан только кивнул в ответ головой, вскочил в седло и, пригнувшись к гриве коня, понесся к заставе. Следом за ним поскакал Вася Рогов. Белобрысый, ясноглазый, коренастый паренек из Сибири спешил, стараясь не отставать от своего командира. Он любил этого молчаливого и внешне строгого человека и старался во всем подражать ему. Вот и сейчас он пригнулся, как и тот, к гриве коня, глядя на ту сторону реки, куда стекались какие-то машины, солдаты.

— Товарищ капитан! — стараясь перекричать грохот рвущихся снарядов, закричал Вася. — Товарищ капитан, смотрите, кажется, понтоны притащили, гады, хотят переправу навести...

Тот посмотрел на него горящими глазами и кивнул головой на ходу: мол, вижу...

Застава горела, но и не молчала. Несколько пулеметов яростно строчило по скоплению врага на той стороне. «Только бы поскорее добраться к своим ребятам! — думал капитан. — Какие они молодцы, не растерялись и среди свиста осколков, воя снарядов стоят на своем посту и строчат из пулеметов, бьют из винтовок...» Он пришпорил коня и быстрее понесся к заставе. Но конь на полном скаку, будто споткнувшись, свалился наземь, и всадник полетел на обочину дороги.

От сильного ушиба капитан на какое-то мгновение потерял сознание. Но когда открыл глаза, то увидел Васю Рогова. Тот тормозил его, приподымал, счищал с его гимнастерки землю, пыль.

Опершись на плечо ординарца, капитан поднялся с земли, посмотрел на лошадь, которая сильно ржала. Передние ее ноги были перебиты, а из разорванной осколком груди фонтаном била кровь. Спивак подошел к коню, увидел, как он мучится, и, достав из кобуры пистолет, выстрелил ему в голову.

Вася Рогов вскинул на капитана удивленные глаза. Не верилось, что этот добрый, хоть и строгий человек сможет пристрелить коня, которого так любил и берег. «Он правильно поступил, капитан, — подумал Рогов. — Бесчеловечно было бы заставить лошадь еще мучиться...»

Вася поймал свою лошадь, передал повод командиру. Капитан вскочил в седло, дал знак ординарцу, чтобы тот сел сзади, и они понеслись к пылающей заставе.

Соскочив на ходу с коня и пригибаясь к земле, а затем ползком они пробрались в траншею. Тут стояли погранич-

ники, стреляя из пулеметов и винтовок, не давая врагу вести переправу.

Взволнованные, израненные бойцы ожили, увидев своего командира. Он рассеянно выслушал рапорт молоденького безусого лейтенанта, откозырявшего по всем правилам и доложившего обстановку. Но капитан плохо слышал, он был огулушен.

Капитан прошел по траншее, молча указывая на тот берег, где сосредоточивались немцы, и каждый боец понял, что нужно любой ценой задержать врага, пока подойдет подкрепление — регулярные войска. Надо стоять до последнего, до конца выполнить свой долг.

Еще полчаса назад гитлеровские молодчики бодро шли к границе, решив, что одним ударом сомнут заставу и откроют себе путь. Они и не представляли себе, что после такого мощного артналета застрада будет сопротивляться. И, должно быть, уцелевшим на той стороне немцам мерещилось, что это им отвечают из пулеметов и винтовок мертвые пограничники. Страх охватил их. Побросав все, немцы откатились назад и сейчас уже робко ползли к реке.

Только теперь, когда немного стихло, капитан Спивак посмотрел в ту сторону, где недавно стояли домики, в которых жили офицеры со своими семьями. Там сейчас виднелись только груды развалин, и над руинами взлетали в небо языки пламени, клубился черный дым. Вася Рогов пополз туда, где прежде был дом капитана, но скоро вернулся, понунив голову. Не хотелось встречаться глазами с капитаном, да тот ничего уже и не спрашивал. Слезы катились по его землистым щекам.

Время тянулось медленно. Беспрерывно шел жестокий кровавый бой. Небольшой клочок земли был перепахан снарядами и минами, все было сожжено дотла. С яростью налетали сюда вражеские бомбардировщики, засыпая заставу бомбами и листовками. В листовках пограничникам предлагалось сложить оружие и сдаться в плен, ибо через несколько дней вся Россия, мол, будет завоевана немцами, фюрером. Здесь будет установлен «новый порядок», и только тот, кто сдастся на милость победителя, сможет жить при «новом порядке», получит сытную пищу и избавится от ига большевиков...

Но, странное дело, никто из пограничников не хотел жить при «новом порядке» и получать «сытную» пищу, предпочитая до последнего патрона драться с коварным врагом и оставаться верным большевиком...

Вот группка немцев переплыла реку. Пограничники бросились в штыки, всех до одного перебили и вернулись в свои траншеи. Ночью, при свете пожаров, они предавали земле тела погибших товарищей, оказывая им все воинские почести, клянясь жестоко отомстить за них.

Раненые пограничники, в краткие перерывы между боями кое-как перевязав друг другу раны, снова брались за оружие. И враг поражался, как может держаться столько дней горсточка бойцов. Какая сила заложена в них?..

Так тянулись дни и ночи. Все попытки врага переправиться через границу кончались неудачей.

И враг не выдержал, откатился на другой участок.

Капитан пересчитал людей. Вместе с ним осталось двенадцать бойцов. В ложбине лежало шесть тяжелораненых, которым ничем нельзя было помочь. Не было уже ни санитаров, ни фельдшера, не было ни медикаментов, ни бинтов. На исходе были патроны и гранаты. Давно кончились запасы продовольствия, и люди голодали. Связь с Большой землей была с первого часа войны прервана.

И начальник заставы, посоветовавшись со своими боевыми друзьями, решил пробиваться на восток, хоть пограничники оказались в глубоком тылу врага.

Смертельно уставшие пограничники молча выслушали боевой приказ командира. Поклялись на пепелище своей заставы вернуться сюда или погибнуть в бою. И глубокой ночью, захватив с собой раненых, двинулись на восток.

Лесами и долинами, незаметно, словно тени, продвигались двенадцать бойцов в зеленых фуражках. Раненых они оставили на попечение добрых советских людей в глухом селе, попрощались с ними, как с родными братьями, а сами пошли дальше. Где проскакивали тихо, а где прорывались с боями. В пути к ним присоединялись красноармейцы, выходившие из вражеского окружения, так же, как они, преданные Родине, ненавидящие врага всей душой, жаждущие пробиться к своим, драться до конца, мстить...

Так вырос отряд капитана Спивака, оказавшийся в глубоком тылу врага.

Медленно, но упорно пробивались по вражеским тылам пограничники, оставляя позади себя разбитые и сожженные вражеские склады и станции, перевернутые эшелоны, разбитую технику и трупы фашистских палачей...

Много сот километров прошел отряд, много боев провел, шаводя на врагов страх, ужас, пока добрался до донецких

степей, взорванных рудников, осиротевших терриконов и сожженных рабочих поселков.

Теперь предстояло преодолеть последние километры, чтобы, прорвавшись сквозь огненный шквал, пробиться к своим, за линию фронта, передохнуть, залечить раны и снова пойти в бой с врагом, который теперь был им ближе знаком, чем кому бы то ни было, и казалось, больше, чем всем, ненавистен...

Сумрачное осеннее утро. Очень холодно. А может быть, это только казалось капитану, так как ветер, налетавший из пустынной донецкой степи, пронизывал насквозь, хватал за уши. Какая дорога длиннее и тяжелее: та, которую уже прошел отряд и которая растянулась на сотни километров, или эта, в которой лишь несколько километров, но километры эти проходят через вражеские укрепления?

Капитан почувствовал усталость и направился к небольшой палатке под молодыми кленами, которую уже успел поставить его заботливый и исполнительный ординарец. Капитан остановился в нескольких шагах от палатки и, должно быть, впервые за последнее время рассмеялся, увидев, как в ней устроились его отец, Данило и девушка. Сейчас Вася Рогов обучал ее, как нужно наматывать на босую ногу портянку. В другом углу, прижавшись к ящику из-под патронов, уже сидел отец с намыленной щекой и брился тупой трофейной бритвой.

«Прихорашивается!..» — подумал капитан, подходя к палатке. Рогов и Шмая всполошились, девушка покраснела до ушей, не зная, куда деваться от стыда... Однако капитан успокоил их, попросил оставаться на месте, а он как-нибудь пристроится возле них.

Шмая провел несколько раз бритвой по голенищу, надеясь, что от этого бритва станет острее, не будет драть кожу, и внимательно посмотрел на сына.

— Ну, чего ты смеешься, товарищ начальник? — спросил отец. — Пора бы и тебе привести себя в божеский вид. Может, удастся пробиться к своим. А туда надо прийти так, чтобы вид был бравый. А у меня тем более. Подумают, что уже стар, и отправят бог знает куда... Даже на тот свет надо являться бритым и стриженным, иначе, говорят, в рай не пускают...

Капитан улыбнулся:

— Это точно! Но я дал себе зарок снять бороду и усы

только тогда, когда переберемся через линию фронта...— И, подумав немного, добавил: — Вижу, что ты не забыл солдатскую жизнь... Старая солдатская закваска еще жива в тебе!

— А как же! — оживился Шмая. — Когда мы с Миханлом Васильевичем Фрунзе переправлялись через Сиваш, — ты тогда еще пешком под стол ходил, — то всегда перед настоящим делом приводили себя в порядок... Пусть враги не думают, что мы унываем, опускаемся. Наоборот! Если у каждого вид будет бравый, тогда они испугаются нас...

— Они и так нас боятся...

Вася Рогов стоял у входа в палатку и не сводил глаз со смущенной Шифры. Он поражался тому, что, пройдя через все муки лагеря, она не утратила своей привлекательности. Даже то, что она срезала свои косы и волосы были растрепаны, не помешало ей покори́ть сердце этого смелого, но с виду застенчивого сибиряка. Лицо у Васи было еще совсем мальчишеским, хоть над верхней губой и торчали в разные стороны волоски маленьких золотистых усиков. Нельзя же было ему отставать от своего командира и бравых пограничников, отрастивших себе солидные усы!.. Но теперь, услышав, что говорит отец капитана, Вася попросил у него бритву, зеркальце и, прячась за деревьями, быстро сбрил свои усики, впопыхах даже порезав себе губу.

«Это бог меня наказал... — подумал он, глядя на Шифру. — Наказал за то, что я ее поцеловал...»

Вася и сам не знал, как это получилось, но недавно, сидя рядом с ней, глядя на ее милое, грустное лицо, почувствовал, как сердце усиленно заби́лось в груди, и он не выдержал, тихонько поцеловал ее в щеку, за что и получил заслуженную оплеуху. Еле упросил ее не сердиться на него, обещал, что больше никогда не будет...

И она простила. Такая добрая... Даже разрешила научить ее по-солдатски наматывать портянки. Трофейные сапоги, которые он ей принес, были велики, и если она плохо наматывает портянки, то натрет себе ногу, а тогда совсем худо будет...

Шмая снова провел несколько раз бритвой по голенищу и подал ее сыну:

— Возьми, сынок, побрейся. Ты уже до того зарос, что родной отец тебя не узнал... Зарок дал? Ну, ладно, режь бороду, а усы оставь на память...

Услышав смех у палатки капитана, бойцы стали подходить сюда. Они с интересом смотрели на веселого, слово-

охотливого отца своего командира, рассаживались на пнях, шутили с ним. Вася Рогов принес капитану кружку горячей воды, помазок, и тот начал бриться.

Отец не сводил глаз с сына. Хотелось о многом расспросить его, рассказать ему о своих мытарствах, но вокруг стояли и сидели бойцы, и он решил отложить разговор на другой раз — может, выдастся свободная минута и они останутся вдвоем...

— Вот видишь, сынок,— улыбаясь сказал Шмая, когда сын побрился,— совсем другим человеком стал: помолодел, похорошел... Ничего, если захочешь, отрастишь себе другую бороду. Это такая холера, борода, что хочешь не хочешь, а она растет...

Побрившись и умывшись возле палатки, капитан и в самом деле почувствовал, словно сбросил с себя тяжелый груз, хоть с непривычки ему казалось, будто его раздели среди бела дня.

Глядя на своего командира, стали бриться и бойцы. Они от души хохотали, посматривая друг на друга. Все изменилось до неузнаваемости. И что только может сделать с мужчиной простая бритва, тоненький кусочек стали!..

— Эх, товарищ капитан,— немного погодя сказал Шмая,— назначил бы ты меня старшиной! Увидел бы, какие бы вы все у меня были — бритые, стриженные, красивые, как женихи!..

— Знаешь, отец,— улыбнулся тот,— я и не думал, что нам с тобой будет так весело... Но никуда назначать тебя не станем. Отвоевался ты уже...

Он не без удовольствия смотрел на отца, и ему казалось, что отец совсем не изменился, не постарел, хоть сильно осунулся и похудел.

А Шмая уже сидел в сторонке, окруженный любопытными пограничниками, пил чай из алюминиевого котелка и, обжигая губы, рассказывал о Фрунзе, о бывших походах в далекие годы гражданской войны.

— Ого, батя, вы, оказывается, были настоящим солдатом! А товарищ капитан никогда не рассказывал, какой боевой у него батя... Так вы же дрались с врагом, когда нас еще на свете не было! — воскликнул Вася Рогов.

— И теперь повоевал бы, если б дали оружие...

— А годы?..

— Что годы? Главное, чтоб душа была молодая... К тому же, сам видишь, когда побрился, сразу сбросил с плеч добрый десяток лет. Да и при чем тут годы, когда хочется

своими руками отомстить этим палачам...— Шмая умолк, а потом добавил: — А ты ведь должен знать, сынок, старую поговорку: «За одного битого солдата шестерых небитых дадут...»

— Значит, мы уже битые?..— спросил кто-то из бойцов.

— А как же! Если вы смогли пройти столько сот километров, столько боев выдержать, да еще на границе так держаться, то о чем может идти разговор! Вы вроде как уже огонь, воду и медные трубы прошли... Теперь вы стреляные птицы и ничего вам уже не страшно. Будь я на месте товарища Калинина, я бы вам всем повесил самые высокие ордена и медали... Да что там медали, Золотые Звезды!.. Честное слово! Вы орлы, хлопцы, герои!.. И дай вам бог здоровья и много сил, чтобы до конца остаться такими...

— Это все правильно, но соловья баснями не кормят,— подойдя к оживленной группе, сказал капитан.— Надо покормить наших гостей. Товарищ Рогов, может, постараться?

— Ого! — рассмеялся Шмая, поднявшись с места и взглянув на сына.— А ты, значит, думал, что мы будем ждать, пока ты приедешь, чтоб нас накормить? Только установились, я сразу сказал Васе, что нас надо хорошо покормить... И одежду для нас нашли кое-какую...— кивнул он на сапоги и рваную трофейную шинельку, с которой содрал пуговицы, погоны и нашивки.— Я, сынок, помню старое солдатское правило: где бы ты ни был, первым долгом ты должен поесть, отдохнуть, поспать. Мы уже тут хорошо перекусили, ребята постарались. Позавтракали как следует, а теперь у нас есть силы сидеть и ждать обеда...

Бойцы весело засмеялись.

— Вот это человек. Вот это по-солдатски! По-нашему. Такой, небось, нигде не пропадет! Молодец...

— А чего же в своем отечестве стесняться, ребята? Древний закон: если ты солдат, так не стесняйся! Жизнь походная, она требует своего. Есть возможность перекусить, не зевай, молоти! Неровен час, может, через минуту попадешь в какую-нибудь беду...

Вася Рогов слушал бывалого солдата и таял от удовольствия. Ему еще, кажется, никогда не было так хорошо, как сейчас, когда «батя» говорил и смешил бойцов. Открыв банку трофейных консервов, налив кружку кипятку, он подал капитану, который уже сидел на пне, и, заглядывая ему в глаза, сказал:

— Товарищ капитан, если благополучно переберемся к своим, надо будет бату вашего не отпускать... Пусть с нами останется... Сам говорил мне, что хочет еще повоевать... Останется с нами, ладно?

— Там видно будет,— бросил капитан и с аппетитом взялся за еду.— В тыл отправим...

— Ты, Васек, кажется, адрес перепутал,— вмешался высокий рябой пограничник, который все время только ухмылялся и не проронил ни единого слова.— Ты другое хотел сказать...— подмигнул он в сторону, где сидела на ящиках Шифра.— Чтоб оставили тут сестричку!..

Все рассмеялись, а Вася покраснел до ушей. Но, взяв себя в руки, ответил:

— Ну и она с нами останется, будет медсестрой... Сама мне говорила, что все равно уйдет на фронт, а в тыл ни за что не поедет...

— Ты смотри, а мы и не знали, что Вася у нас такой расторопный,— не оставлял его в покое рябой пограничник.— И когда же ты успел узнать все ее планы? Ну и Вася, всех наших ребят обскакал!

— Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся...

— А я видел, как им, чертям, тошно было! — вмешался кто-то из бойцов.— Лежу я под деревом, сплю... Ну, вот тут, недалеко от палатки... Вдруг слышу: бац! — кому-то дали оплеуху... Думал, бомба взорвалась, такой удар получился. Схватился, гляжу, и что вы думаете? Это новенькая, которая с папашей к нам пришла, выдала нашему Васе. Все пальцы отпечатала на его щеке... Ну я, конечно, молчу, вижу, девчонка боевая, молодец... Жаль, конечно, что нашему брату влетело, но, видать, заслужил...

И снова раздался хохот. Васе хотелось сквозь землю провалиться.

— Зачем врать, Салим! — пробормотал он и отошел в сторону, сердитый и злой.

Капитан быстро завтракал, прислушиваясь к шуткам своих бойцов, раскатисто и от души смеялся вместе со всеми. Он был доволен, что все повеселели.

Позавтракав, капитан приказал всем, кроме часовых и дежурных, расположиться на отдых и быстро пошел к землянке радистов.

Шмая и Данило снова устроились на соломе в палатке. Шифра сидела с краю, прислонившись к стенке, и не без тревоги смотрела в ту сторону, откуда доносился глухой

грохот орудий. Вася метался вокруг палатки на виду у девушки, не зная, что придумать, чтобы подойти. И все же, когда обитатели палатки задремали, тихонько подошел к девушке и шепнул ей на ухо:

— Ты не обижайся на наших ребят... Это они шутили. Хорошие у нас хлопцы... А боевые какие!.. И я уже просил товарища капитана, чтоб он тебя взял в отряд медсестрой. Ничего, быстро научишься!.. Вместе будем...

Он опустился рядом с ней на солому, но она на него подняла удивленный взгляд: мол, разве мало ты уже получил? Если хочешь, могу добавить.

Вася усмехнулся и чуть отодвинулся в сторонку.

— Не надо сердиться... Честное слово, никто тебя у нас не обидит...

— Это я знаю. Только ты смотри, Вася...

Шифре хотелось прислониться к плечу Данилы, соснуть хоть минутку. Но разве можно спать, когда она все время ловит на себе пристальный, полный восторга взгляд парня? Девушка каждый раз смущенно отворачивалась: «Странный какой,— думала она,— ну, чего он так смотрит на меня? В рваной шинельке, в этих страшных сапогах я, верно, на черта похожа... Чудной, и нашел же время заглядываться!..» И все же ей было хорошо рядом с ним, этим славным пареньком с чуть вздернутым, как у девчонки, носом. И смелый он, видно... Она заметила у него на груди под короткой солдатской курткой медаль с краткой, но внушительной надписью «За отвагу». Такой малой, а уже с медалью... Если б не стеснялась, она спросила бы, за что он получил такую награду. Наверно, на границе шпионов задержал. Но Шифра боялась лишний раз даже взглянуть на него.

А Вася не мог спокойно усидеть на месте. То и дело поправляя на голове свою зеленую фуражку, словно желая этим сказать: «Видишь, цыганочка, мы не простые солдаты, а пограничники!..»

Шифра подняла на него глаза и, заметив, что из-под фуражки высовывается порванная подкладка, сказала, доставая иголку и нитку:

— Давай зашью, неряха... А еще пограничник!

Вася снял фуражку. В самом деле, подкладка была немного порвана.

Он с восторгом смотрел на красивый профиль девушки, и дух у него захватывало. Он ведь еще никогда не сидел так близко возле девчонки. И этот храбрый пограничник,

который не знал страха, преследуя шпионов на границе, теперь окончательно растерялся и потерял дар речи...

Неожиданно он улыбнулся:

— Хочешь, я тебе расскажу, какая у нас, в Сибири, охота. Как-то шли мы с дедом и выследили здо-оровенного медведя... Два дня ходили за ним. И что ты думаешь, свалили его и притащили домой! Пудов пятнадцать, не меньше, в нем было... А мясо знаешь какое? Сладкое-пресладкое. Никогда не ела? Эх, приехала бы к нам, в Сибирь! А рыба у нас в реках какая! Лосось, форель...

Шифра бросила на него насмешливый взгляд и, приставив палец к губам, прошептала:

— И у нас в Ингульце тоже хорошая рыба...— Но спохватившись, добавила: — Давай не будем болтать. А то разбудим их, и нам попадет...

Она кивнула в сторону спящих и вся ушла в работу.

«Опять оконфузился»,— подумал Вася и, не зная, за что взяться, стал рыться в своем ранце. Вдруг лицо его просияло. Он обнаружил там несколько заваливавшихся конфет. Протягивая их девушке, Вася шепотом сказал:

— Возьми, хоть и трофейные... Не очень, конечно, вкусные. У фрица нынче все — один эрзац, ну, значит, подделка... И душа у них — тоже эрзац... Возьми, не стесняйся, мы люди свои... Я слышал, что все девчонки страшно любят сладкое... Это правда?

— Очень любят!..— неохотно ответила Шифра. — Теперь девушкам так сладко, что они только о конфетках и думают...

Вася беспомощно развел руками.

— Оно, конечно, так, но что поделаешь! Ну, ешь, они ничего себе,— настаивал он, кивая на конфеты.

Шифра взглянула на них с каким-то недоверием, словно в этих бумажках был яд, и перевела взгляд на Васю:

— А ты почему не берешь?

Он пожал плечами, поправил зеленую фуражку:

— Я на этот счет не очень... Цельный месяц лежат конфеты в мешочке, а я про них вроде и забыл... Махорочку уж лучше покурю... Это для солдата мечта! Ну, вроде невесты... Вот в плавнях как-то три дня сидели, в воде, в болоте, а вокруг — камыши, фашисты-каратели да немецкие овчарки... Не кашлянешь, не покуришь. Прямо-таки погибель... Махорочка и спички совсем промокли, прямо-таки пропадай, солдатская душа!.. Вот когда туго было!..

Заметив, с каким вниманием девушка смотрит на него и прислушивается к его словам, Вася расцвел. Лицо его расплылось в улыбке и стало совсем мальчишеским. Он достал кисет, спички, ловко свернул самокрутку, важно затянулся терпким дымом, выпустив его через нос, и продолжал тем же шепотом, чтобы не разбудить спящих:

— Да, а командир у нас — душа! И строгий, и душевный. А смелый какой!.. Если б ты видела, какой бой мы у себя на границе выдержали, а не пропустили гадов! Людей осталось раз, два и обчелся, а выстояли! Осталось нас в живых двенадцать душ, да и то ни одного целого — все раненые... Но кто на раны смотрит, когда немец прет и прет, хочет под носом у нас переправу навести?.. Ох и били ж мы ему морду! Горы трупов лежали на том берегу... Будет время, расскажу тебе все... А я насчет нашего командира... Все его любят, хоть и строгий он, дисциплинку требует. Да в нашем деле иначе и нельзя. Граница, понимаешь? За рекой — капитализм. Надо держать ухо востро... Строгий, а никто не обижается. Там, где опасно, он всегда первый в огонь лезет. Уж как я с ним за это ругался! Зол он на немцев очень... «Сам, — говорит, — буду им мстить...» Часто задумывается... Сядет в сторонке, голову возьмет в руки и думает... Горе у него великое: жена у него была, хорошая такая, и ребеночек малый. На заставе жили, в домах комсостава, значит. И первые бомбы фашисты сбросили на эти домики. Ну, от них, конечно, дым один остался... Тоскует по ним капитан, страшно переживает... А когда схватка какая в пути — бой с фашистами, — тут уже он обо всем забывает. Автомат в руки, гранаты за пояс и пошел, пошел, а мы все за ним... Видала, какой отряд сколотил по дороге? А как уходили с границы, было нас двенадцать душ...

Шифра смотрела на Васю, не отрывая глаз, и, затаив дыхание, слушала его взволнованный рассказ. Он сделал паузу, затянулся дымом и добавил:

— А в общем, жизнь у нас подходящая... Если удастся перебраться на ту сторону, к своим, совсем житуха будет... Ты подумай, может, останешься у нас санитаркой?.. Я как-нибудь с начальником еще раз поговорю, попрошу за тебя. Хорошо?

— Хорошо... — ответила она не сразу.

Вася обрадовался, посмотрел на спящих и, сам не зная зачем, несмело провел рукой по голове Шифры. Она укоризненно посмотрела на него и отодвинулась.

— Как тебе не стыдно! — проговорила она. — Так, Вася, нехорошо...

— Знаю... — опустил он голову. — Но ты такая красивая... Расцеловал бы я тебя...

— С ума сошел! — промолвила она и после долгой паузы, глядя вдаль, добавила: — У меня... у меня жених есть...

— А где он?

— Там, где все... На фронт ушел в первый день войны...

— А-а... — разочарованно протянул парень и вздохнул. — Да я так... Как сестру... А пишет он тебе?

— Одно письмо прислал, больше не пишет... Верно, погиб...

Вася задумался. Потом с невыразимой горечью проговорил:

— Да, не пишут женихи... Сколько их уже полегло, сколько невест плачет... — Но тут же спохватился, поняв, что очень расстроил девушку: — А может, твой и жив!.. Мало чего на войне бывает. Вот я сколько не пишу мамаше своей... Наверно, глаза свои выплакала, думая, что уже нет в живых ее сыночка, панихиду по мне, наверно, справила. А я, видишь, жив и с фашистами воюю... Может, как раз и твой жених тоже так...

Шифра посмотрела на него грустными, полными слез глазами. Взяв его за руку, она пожала ее и чуть слышно прошептала:

— Хорошее у тебя сердце, Вася... Не думала я, что ты такой хороший...

Она молча вышла из палатки, вытирая платком слезы, прислонилась к дереву и долго смотрела на хмурое небо.

Кажется, в самых жарких схватках было легче, чем в этой балке, под лесом, где нужно было сидеть и ждать возвращения разведчиков. До линии фронта отсюда рукой подать, и, если немцы обнаружат у себя под боком отряд, туго ему придется. Это хорошо понимал капитан Спивак и очень нервничал.

В голове возникали все новые и новые планы, но все они были связаны с большим риском, а ему хотелось провести отряд через линию фронта без потерь. И, посоветовавшись с боевыми товарищами, он решил обождать до утра, а там...

Глубокой ночью за лесом, где стояли высланные вперед патрули, послышалось какое-то движение, шум. Схватив

автомат, гранаты, капитан с ординарцем побежал туда и через несколько минут уже обнимал и целовал своих бойцов, посланных накануне в разведку через линию фронта.

Скоро весь отряд уже был на ногах. Приказ командира был краток: бросить все громоздкое имущество, взять с собой только необходимое — оружие, боеприпасы, — обеспечить, чтобы на марше не было шума котелков, лязга оружия. Предстояло совершить бросок в несколько километров, укрыться в глубокой балке и после сильного артиллерийского налета с той стороны, когда в небо взлетят три красных ракеты и одна зеленая, ринуться в «коридор», проложенный снарядами, и — вперед, к своим...

Настали решающие часы в жизни отряда. Люди готовились в поход молча, быстро, тщательно.

Жаль было бросать повозки, хозяйство, которым оброс отряд по пути, но приказ есть приказ, и обсуждать его нельзя.

Вася Рогов все время был рядом с капитаном, быстро и проворно выполнял все его приказания, чаще, чем требовалось, козырял. Это он делал, должно быть, для Шифры, которая смотрела на него не спуская глаз.

В последнюю минуту перед выходом Вася подбежал к ней, вспомнив, что накануне дал девушке слишком большие сапоги. Отозвав ее в сторонку, он властным тоном сказал:

— Ну-ка, скидай свои трофен-сороходки...

Она испуганно и вопросительно на него взглянула.

А он уже стаскивал с себя свои новые хромовые сапоги, которые недавно снял с убитого им полицая:

— Скидай, скидай, не стесняйся! Сама видишь, времени в обрез. А ты тут как кот в сапогах, и только колонну будешь задерживать...

Она повиновалась. Помогая ей натянуть на ноги сапоги, Вася довольно улыбнулся и сказал:

— Вот теперь, Шифра, у тебя будет вид настоящего солдата... Только смотри, в пути не отставай...

Только Шмая-разбойник стоял в стороне и с тоской смотрел на гору брошенного имущества, на возы. Жаль было расставаться с добром. Но Данило Лукач потянул его за рукав: мол, не вмешивайся. Так надо!

Темная ночь опустилась на безбрежную донецкую степь, когда отряд двинулся в путь.

Близость встречи со своими придавала людям свежие

силы. Все позабыли о своих ранах, об усталости, о пережитых страданиях. Каждый понимал, что минуты решают успех дела. Все взгляды были обращены теперь к молчаливому капитану и трем разведчикам, прибывшим «оттуда» и рассказывавшим, как их встретили и с каким нетерпением ждут отряд, о котором уже давно слыхали...

Время шло необычайно быстро. Кажется, никто и не заметил, как они проскочили эти несколько километров. Прикрываясь полой полушубка, капитан то и дело останавливался на обочине проселочной дороги, по которой двигался отряд, и, осветив маленьким фонариком карту, проверял направление, поглядывая на ручные часы.

Наконец достигли балки, поросшей ковылем и полынью. Разведчики выдвинулись вперед. Капитан пошел за ними.

Прошло немного времени, и страшный гром потряс степь. С той стороны ударили десятки пушек. Казалось, оттуда движется могучий огненный вал, который захлестнет все, не оставив ничего живого на этом клочке земли, но все в отряде знали, что, как только утихнет этот гром, нужно будет броситься в «коридор» и бежать вперед, не задерживаясь ни на минуту.

И вдруг все затихло. Удивительная тишина воцарилась вокруг, и небо, подернутое дымом, прочертили три красных и зеленая ракеты. Капитан ответил такими же ракетами и, дав команду, повел отряд за собой.

Люди быстро шли по перепаханному снарядами полю. Земля еще была горяча, воздух пропитан горьким дымом, запахом раскаленной стали, порохом. Спотыкаясь у воронок, люди падали, но тут же подымались и бежали дальше. Справа и слева чернели развороченные окопы и траншеи, валялись трупы, автоматы, пулеметы. Где-то поблизости стонали раненые немцы, а какой-то очумелый фриц торчал над окопом с поднятыми руками и истошно кричал: «Капут!»

Но никто не останавливался, все спешили вперед, зная, что надо быстрее проскочить эти несколько сот метров по развороченной «ничейной» земле, пока немцы не пришли в себя и не обрушились на них.

Капитан с тремя разведчиками и неизменным ординарцем стоял на пригорке и махал рукой, подбадривая людей и указывая им направление:

— Шире шаг! Шире! Не задерживаться!..

Только когда отряд уже скрылся в новой, «своей» балке, немцы опомнились и начали беспорядочную стрельбу. Ударили пушки, пулеметы, но скоро умолкли.

Через четверть часа, а может, чуть больше, отряд спустился в неглубокий овраг, изрытый блиндажами и землянками. Тут и там стояли тщательно замаскированные машины и повозки. У одного из блиндажей ждал невысокого роста широкоплечий человек в генеральской шинели.

Капитан Спивак остановил отряд, подтянулся, поправил на голове зеленую фуражку и, заметно волнуясь, двинулся к генералу. Откозыряв, как положено боевому командиру, он отрапортовал о прибытии отряда.

Минуто царило мертвое молчание. Генерал окинул командира пристальным взглядом, подошел к нему и, в нарушение всех воинских уставов и инструкций, крепко обнял и по-отцовски расцеловал.

Шмая стоял в сторонке, смотрел, как генерал целует его сына, и, почувствовав, как слезы радости душат его, потянул за рукав Данилу Лукача и прошептал:

— Видишь, Данила, встречаются, как родных братьев...

Но Данило не мог сейчас говорить. Эта волнующая, трогательная встреча всколыхнула его до глубины души, даже слезы появились на его глазах.

Даниле, как и его другу, все еще не верилось, что позади смертельная опасность, что они уже среди своих, избавились от страданий, унижений, страха и мук ада.

Рано утром всех отвели во второй эшелон, в тыл, и разместили на отдых, и после передышки отправили всех штатских, освобожденных из лагеря, по домам, в глубокий тыл страны. Шмая и Данило направились к генералу просить, чтобы он их оставил здесь, в части. Хоть в обозе, хоть где-нибудь, только бы дали им возможность отомстить врагу.

Генерал долго беседовал с ними, уговаривал, советовал отправляться к родным, к семьям. Но все же удалось уговорить генерала, командование. И оба друга просияли, узнав, что их оставляют в части.

В то же утро они получили солдатское обмундирование.

И через несколько дней они приняли солдатскую присягу на верность Отчизне.

Шифра отправилась работать в медсанбат. Об этом уже позаботился Вася Рогов.

Глава двадцать девятая

ПОД КОНЕМ И НА КОНЕ

Бывает, взвалит человек себе на плечи тяжелый груз и отправляется в путь-дорогу. Но, почувствовав, что это ему не под силу, сбрасывает его и сразу испытывает облегчение. Но попробуй будь умным, сбрось с плеч прожитый тяжелый год!

Тяжелый год может согнуть человека в бараний рог, наложить неизгладимую печать на его лицо, избородить морщинами лоб, затуманить взор, состарить на добрый десяток лет...

С того утра, когда наш разбойник снова надел солдатскую шинель, пару тяжелых кирзовых сапог и стал подносчиком снарядов у пушкарей, прошло не больше года. Дважды за это время санитары выносили его, раненого, с поля боя, дважды попадал он в руки врачей на ремонт. Но стоило ему только подняться и стать на ноги, как он снова надевал шинель, брал рюкзак на плечи и являлся в свою часть, где его радушно встречали.

Солдаты уж диву давались:

— Ты, папаша, не иначе как в сорочке родился. И кости у тебя, пожалуй, покрепче железа...

— Нет, ребята, не в этом дело!.. — улыбаясь своей добродушной, заразительной улыбкой, отвечал Шмая. — Секрет тут совсем в другом. У самого всевышнего солдат Шая Спивак давно уже снят с учета подчистую... А почему, спросите? Расскажу... В ту войну, когда меня однажды ранило, один долговязый доктор, собирая раненых на поле боя, очень спешил... Ну, подскочил он ко мне, пощупал пульс, махнул на меня рукой и написал на моей гимнастерке мелом крест: мол, готов, отправился на тот свет... Ну, а я этому долговязому и его кресту не поверил и жив остался. Но, видать, в небесной канцелярии уже успели записать меня в список мертвых... С тех пор и обходит меня смерть десятой дорогой...

Слушая этого веселого человека, у которого даже в самые тяжелые минуты находилось для них острое словечко и шутка, солдаты покатывались со смеху.

Дважды за это время стоял наш разбойник в строю перед боевым знаменем полка, и генерал прикалывал к его гимнастерке то медаль «За отвагу», то орден Красной Звезды, пожимал ему руку, поздравлял. А старый солдат

с поседевшими висками, волнуясь, как новобранец, благодарил за награду, отчетливо произнося три слова:

— Служу Советскому Союзу!..

Изредка заезжал к нему на батарею сын, командовавший теперь стрелковым батальоном. Они присаживались где-нибудь в уголке, рассказывали друг другу новости, шутили, смеялись, и такие беседы обычно кончались тем, что капитан начинал уговаривать отца:

— Трудновато тебе, батя, поехал бы к своей семье. И там для тебя работы хватит...

На это отец отвечал:

— Если б ты был, сынок, не офицером, а рядовым солдатом, я бы тебе ответил по-солдатски... Но так как ты все же командуешь батальоном и в таком почете у начальства, то скажу только: не говори глупости!.. Разве одному мне нынче трудно? Всем нелегко. Да что поделаешь, война... Ну, я старше всех в полку... А генерал Синилов на пятюк лет старше меня и воюет, да еще как! И верно говорят, что старый конь борозды не портит. Тогда нужно, и он, старый конь, еще может тащить воз... Только бы мне дожить до того дня, когда я увижу в Берлине, как Гитлер висит на телеграфном столбе. Тогда, клянусь тебе, своей честью клянусь, что ни одного дня больше в армии не останусь. Сразу сяду в поезд и — гайда к жинке и детям! Думаешь, я люблю войну, пропади она пропадом... Родину защищать надо!.. Кончится война, и никто не сможет упрекнуть меня, что в тяжелые дни я сидел дома и не воевал за нашу землю... А Родина так же дорога и близка мне, как всем вам. На этой земле жили мои деды и прадеды, они ее не раз окропили своей кровью, много труда вложили в нее, дабы она была добра и щедра ко всем честным людям...

Сын с восхищением смотрел на взволнованного отца. Нет, такого не переубедишь...

С сыном Шмая научился ладить. Но как быть с женой?

Прошло много времени, и он наконец нашел свою семью, стал часто получать письма. Жена подробно писала о том, как она со всеми добралась на Алтай, как их приютили в одном большом селе, выдали все необходимое и дали работу, а детей устроили в школу. Все имеют крышу над головой, трудятся и живут одной мыслью: дожидаться разгрома фашистов и возвратиться домой. Пишет очень подробно, спокойно, но в конце всегда повторяет одно и то же: «Родной мой, не пора ли тебе приехать к нам? Кажется, достаточно

уже навоевался. И работы тут для тебя видимо-невидимо...
Приезжай!»

Шмая читает и перечитывает ее письма и тает от удовольствия. Он счастлив, что его семья прибилась к какому-то берегу. Он понимает, что живется им не сладко, хоть об этом Рейзл и словом не обмолвилась ни в одном письме. Теперь всем достается — и тем, кто в окопах, и тем, кто в глубоком тылу...

С тех пор как Шмая стал получать от жены письма, трудно было узнать этого пожилого солдата. Он и раньше не унывал, смешил и веселил людей, но все же глаза выдавали его боль и тоску по семье. А теперь он, кажется, даже помолодел. К тому же появились новые заботы. В свободную минуту, когда на батарее спокойно и не нужно подносить ребятам снаряды, помогать чистить пушки, маскировать их, рыть блиндажи, он усаживался где попало и писал письма жене. При этом он всегда, перед тем как отправить, читал их товарищам — от них у него не было секретов.

А как обрадовался Вася Рогов, узнав, что семья «бати» нашлась и живет на Алтае! Он только сокрушался, почему они не доехали до его села. Там живет его мать, и им было бы легче. Она у него добрая, хороший дом у них. Живет она одна, так как отец, он, Вася, и два брата тоже где-то воюют, и матери было бы куда веселее и легче, если б с ней жили хорошие люди. Вася с особым уважением и с большой теплотой относился к Шмае, и не только потому, что тот был хорошим солдатом и отцом его командира, но еще и потому, что только благодаря ему, Шмае, он познакомился с Шифрой и полюбил эту милую девушку. Как бы Вася ни был занят, а все же успевает хоть на несколько минут забежать к ней в медсанбат. Когда его во время артналета ранило осколком и две недели довелось проваляться в палате, она так нежно за ним ухаживала... Но и теперь, когда дивизия стоит в обороне, он находит время, чтобы повидаться с ней. Медсанбат расположен в десяти километрах от его батальона, и для влюбленного это — не расстояние: можно на крыльях слетать к ней вечером, а если не на крыльях, то на попутной машине, проголосовав на дороге, или, в крайнем случае, на повозке, которая идет во второй эшелон за боеприпасами или продуктами.

— Эх, милые люди,— заговорил как-то наш разбойник,— будь у меня много свободного времени, я бы расска-

зал вам, что это был за год! Может, и найдутся такие, что напишут о нем книги, но я пока что расскажу вам все сам, потому что есть пословица: «На бога надейся, а сам не плошай». Пока там те книги будут!.. И кто станет копаться в душе простого кровельщика, который на войне занимал не ахти какую должность — был у пушкарей подносчиком снарядов — и которым затыкали все дырки: «сбегай, папаша», «сходи, папаша». Но я человек не гордый, стратегические планы, как вы сами понимаете, разрабатывал не я, и не я командовал войсками, вот и приходилось то «сбегать», то «сходить»... Правда, бывало и так, что в горячее время, когда земля дыбом вставала, вокруг батареи рвались снаряды и люди выходили из строя, я тоже не раз засучивал рукава и становился к орудию... Но это не в счет.

Зима началась у нас сравнительно спокойно, если не считать того, что нас беспокоили бомбардировщики. Но для меня всегда находилась работа. Я достал инструмент и превратил наши блиндажи в настоящие дворцы. Стругал столы, чтобы хлопцы наши могли играть в шахматы, делал из жести лампочки, чтобы можно было книжку читать; из трофейных немецких котелков мастерил ребятам портсигары, коробочки для махорки, кружки. Делал это охотно, ведь родился я кровельщиком, всю жизнь возился с крышами, жостью, истосковался по работе и боялся, чтоб пальцы не одубели...

Что говорить, и в это время немало горя пришлось хлебнуть. На нас шли целые полки, и по несколько дней подряд приходилось отбивать их атаки... И кого только Гитлер не бросал на нас! Смотришь, наступают на наши позиции итальянцы. Ну, дали мы им перцу, да так, что внукам и правнукам закажут лезть воевать с русскими. Не прошло и недели, как снова атакуют нас. И кто бы вы думали? Румыны. Идут, закутанные в разное тряпье, в шинельках на рыбьем меху, а на башмаках — соломенные лапти, жилетки из газет — это Гитлер так позаботился о своих союзниках, чтоб не мерзли... Ну, гонят этих румын, а за ними — немцы с пулеметами, нацеленными им в спину.

Идут румыны в атаку. С таким видом идут, будто на виселицу. Ну, наши хлопцы, конечно, устроили им такую встречу, что они еле ноги унесли... Тоже скажут внукам и правнукам: лучше сидеть дома и есть мамалыгу, чем идти воевать в Россию...

Только познакомились с румынами, как бросили на нас финнов, мадьяр... И где только их набрали на нашу голову!

Кого только этот Гитлер не посылал, чтобы прорвать нашу оборону и дойти до Волги!..

Да, хоть зимою было дело, а нам подчас жарко приходилось. Но выстояли. И снова затишье. Казалось, что дальше не пустим врага. Но наступило лето, подсохли поля и дороги, фронт растянулся на много сотен километров. Нашупал немец где-то под Харьковом слабое место и бросил туда тысячи танков, самолетов. Не выдержали наши, дрогнули, и пошло, пошло! Тут уж и эти траншеи и укрепления, которые мы так заботливо строили, были ни к чему.

Танковые колонны врага прорывались к нам в тыл, навели панику на людей. А сами знаете, когда начинается паника, тут уж дело плохо... Стали мы отступать к Дону. Не просто отступали, а сдерживали врага, как могли, цеплялись за каждую высотку. Дрались наши ребята, как львы, но что ты будешь делать, когда над головой висят сотни вражеских бомбардировщиков, а со всех сторон на тебя прут танки и фашисты идут, не останавливаясь. Казалось, что вся донецкая земля охвачена дымом и пламенем. Бои не прекращались ни днем ни ночью. На полях стояли нескошенные хлеба, и гусеницы танков, колеса грузовиков молотили их на корню. Земля, щедро политая кровью, казалось, стонала от бомб и снарядов, грохота танков и моторов, а небо было в сплошном дыму.

Нечего греха таить, неважно мы выглядели, когда, наконец, вышли к Дону. А река эта, скажу я вам, тоже не имела привлекательного вида. Казалось, что воды ее покраснели от людской крови. И по этой страшной реке плыли разбитые лодки и понтоны, доски и вздувшиеся трупы. Наши солдаты окопались на берегу, думали, что здесь, может быть, удастся сдержать врага. Дрались до последнего патрона и, когда уже не было сил, боеприпасов, оружия, переправлялись, как умели, на тот берег...

Посмотришь, бывало, на наш полк, и сердце у тебя обрывается. Подумаешь, сколько людей потеряли, и голова кругом идет! А тут еще недалеко от Дона пал в бою наш командир полка, тяжело ранило командира дивизии генерала Синилова — милейший был человек, дай ему бог здоровья, если он еще жив...

Когда мы несли генерала на носилках к лодке, он подошел к себе моего сына, обнял его дрожащими руками и, с трудом сдерживая слезы, сказал:

— Майор Спивак... Принимай командование полком... Стой со своими ребятами на берегу, сколько сможешь...

Пусть остатки дивизии переправляются, а ты прикрывай отход...

— Есть, товарищ генерал, прикрыть отход дивизии!.. — отрапортовал сынок мой и, смахнув слезу, попрощался с генералом.

Ох и горько было на душе. Впереди грохочут немецкие танки, идущие к Дону, позади — река, справа — наведенная переправа, над которой висят вражеские бомбардировщики и толкут ее, засыпают бомбами. Я в тот момент и словом не мог переброситься с сыном, не до меня ему было. Он понимал, что от того, как он со своими людьми будет держаться на этом клочке земли, зависит судьба всей дивизии. И он снял с головы запыленную, пропитавшуюся потом пилотку, спрятал ее и надел зеленую фуражку. А глядя на него, и остальные ребята, те, что шли с ним от самой границы, тоже надели свои зеленые фуражки.

Вокруг собралось около ста бойцов — все, что осталось от полка. И сказал он им несколько слов. Нет, это не была речь. Сколько я его помню, он не говорил речей, а все, что нужно было, делал молча, с душой, добротню...

Минуту все стояли молча, будто давали безмолвную клятву, что выполнят свой долг до конца. И тут Вася Рогов вынес из траншеи знамя полка, снял с него чехол, развернул шелковое полотнище, и бойцы увидели свое знамя, изрешеченное пулями и осколками. Командир взглянул на него и обернулся к бойцам. Глаза его будто говорили: «Что ж, ребята, неужели опозорим это славное знамя? Неужели не отомстим за гибель наших боевых друзей, за нашу истерзанную землю?..»

И вот мы уже заняли оборону на покатой высотке над рекой.

К переправе потянулись повозки и машины с ранеными, но на них не все могли поместиться, и многие ковыляли пешком, поддерживаемые товарищами, такими же ранеными, как они. С грустью смотрели мы из своих окопов на это страшное шествие. Подумать только, даже больным, раненым, искалеченным людям нет покоя, не могут они лежать, залечивать свои раны, а должны брести по пыльной, выжженной солнцем и бомбами степи...

В этой веренице повозок, машин, пеших людей, тянувшихся к переправе, Вася Рогов увидел Шифру. Она шла, тоже раненая, еле волоча ноги, с сумкой через плечо, с шинелькой на здоровой руке, и поддерживала усатого командира роты с забинтованной головой.

Вася бросился к ней, прошел с ней несколько шагов, что-то сказал на прощанье, махнул рукой и постоял еще несколько минут, глядя ей вслед. Потом Вася подошел ко мне, и я увидел в его глазах столько грусти и горя, что этого не передашь словами...

— Видали, батя, как наша санитарка прошла?.. Ранено ее...

— Да, видел...— ответил я ему, и, хоть все уже очень плохо было кругом, весело стало у меня на душе. Ведь если в такое время люди еще могут думать о любви, значит, дух в них силен. А где сила, там победа... Великое дело эта самая любовь. И тогда я сказал ему, Васе Рогову:

— Она мне вчера намекала, что очень тебя любит... Еще она мне сказала, что ты человек большой души и, если ты даже без руки, без ноги выйдешь из этой войны, она тебя все равно будет любить, непременно найдет и станет твоей женой... Так она мне сказала, и можешь мне поверить. Любит она тебя, Вася, крепко любит...

И он ушел от меня окрыленный, счастливый. Не гневайтесь на меня, добрые люди, но ничего другого в ту минуту я не мог сказать Васе. Сами знаете, что в тяжелое время нет ничего лучше, чем доброе, душевное слово. И я ему сказал это слово, хоть Шифра, как вы сами понимаете, никогда мне ничего подобного не говорила...

Я, конечно, мог бы вам подробно рассказать, как светило в те дни солнце, как сияла ночью луна, как выглядели сады и как сверкали на небе звезды. Но разве до этого было нам тогда? Помню только, как мы мечтали о том, чтобы небо было покрыто облаками и самолеты врага не видели, куда лететь, чтобы хлынул дождь — не дождь, а потоп — и дороги развезло, и колонны озверевших гитлеровцев не могли двигаться вперед. Нам нужна была передышка хоть на несколько дней, чтобы собраться с силами, опомниться, разобраться в том, что произошло этим летом, но, как назло, не было дождя, а небо ночью было такое же ясное, как днем, — раздолье для фашистских бомбардировщиков...

Мы как могли подготовились встретить врага. Стащили отовсюду патроны, снаряды, гранаты, минометы, которые теперь были нам нужны, как воздух.

Мы ждали, а немец не спешил. Он уже был уверен, что не встретит здесь отпора. Только перед закатом солнца мы услышали лязг гусениц. И вот из облаков пыли и дыма вынырнули танки. За ними шли автоматчики. В небе загудели бомбардировщики.

Ребята наши все уже были на своих местах и не сводили глаз с командира полка, который приказал без его команды не стрелять. А как нам не терпелось ударить по этим нахальным фрицам, шедшим вразвалочку, без пилоток, с открытой грудью, будто на прогулку!

Наш командир батареи Аджанов высунулся немного на бруствер и следил за майором Спиваком. Вражеская цепь была уже совсем близко, а команды «огонь» все нет. Заволновался он, и все мы заволновались. Что ж это? Мы уже видели, как из открытых люков танков высунулись немцы, что-то показывали руками, как машины поворачивались к высоте... И в этот момент майор дал сигнал: «Огонь!»

Ударили все наши пушки. И мы не успели оглянуться, как автоматчики рассыпались по полю. Но тут вступили в дело пулеметки. Многого белообрисых и рыжих арийцев ткнулось носом в землю, а две машины, которые минуту назад так важно шли на нас, задымились, завертелись волчком и загорелись.

Надо было в ту минуту посмотреть на лица наших ребят! Надо было видеть, как мчались уцелевшие танки назад, и слышать, с какими воплями удирали обнаглевшие фрицы, только что думавшие, что они уже поймали бога за бороду. Так вот, оказывается, как гитлеровские молодчики умеют показывать пятки!..

Несколько раз пытались они наступать на нас в этот вечер, но каждый раз мы крепко давали им по морде, и они что было сил орали: «Капут! Гитлер капут!» — и поднимали лапы вверх.

Наступила ночь, и снова появилась предательская луна, осветившая весь берег. Дорога, по которой перед закатом солнца шли танки и автоматчики, была безлюдна, но зато на горизонте появились бомбардировщики. Пройдя низко над Доном, они стали сбрасывать бомбы, обстреливать берег из пушек и пулеметов. Где-то я слышал, что, для того чтобы убить человека, нужно всего девять граммов свинца. Но это, верно, тогда, когда человек не борется со смертью или стоит как вкопанный на месте и ловит ворон. А наши ребята хотели жить и ворон не ловили. Пройдя через сто смертей, они уже знали, что в бою их может спасти только матушка земля и солдатская смекалка. Если в перерыве между боями ты возьмешь лопатку и углубишь свой окоп-

чик, приведешь в порядок траншею, тогда на тебя придется израсходовать много пудов свинца и стали, и все равно ты жив останешься...

Когда бомбардировщики улетели, страшно было видеть, что делалось вокруг нашей высоты. Повсюду зияли огромные воронки, но все же ни одна бомба не попала в наш окоп, в траншею. Правда, осколками убило пять пленных немцев, которых мы накануне захватили и собирались переправить на ту сторону реки. Они, дураки, обрадовались, услышав вой своих самолетов. Думали, что пришло к ним спасение. Поднялись на бруствер, и троем срезало осколками головы, а двоих ранило в то место, на котором, извините, конечно, они сидели в Берлине и слушали мудрые речи своего мудрого фюрера... Смеху было, не спрашивайте, но об этом, может, расскажу в другой раз...

Не успели мы передохнуть, как снова налетели на нас бомбардировщики. И так они летали всю ночь.

Рассказать вам со всеми подробностями, что мы пережили в эту ночь, невозможно, слов не хватит. Если бы мне кто-нибудь сказал, что люди, обыкновенные люди, притом еще смертельно уставшие, измотанные многодневным отступлением, жестокими боями, могли такое выдержать, — я никогда не поверил бы. Недаром говорят, что человек сильнее железа...

И вот сидим мы в траншеях, а перед нами горят вражеские танки. Видим перед собою поле и не знаем, чего там больше: кустиков полыни или трупов вражеских автоматчиков в черных касках, на которых выбит очень симпатичный знак — человеческий череп и крест-накрест две кости...

А тут, как назло, снаряды кончаются, и подвоза нет. Берегу, как жизнь, каждый снаряд. Отбили новую атаку. Фашисты обозлились. Силы у них большие, прут и прут сюда, а наш полк все редет. Скоро, кажется, уже ни одного целого солдата не будет. Но раненные не выходят из строя: кто же будет держать оборону?.. Приказа об отходе еще нет.

Всю ночь и весь день шли бои. Немец бросал на высоту все больше машин, пехоты, снаряды рвались вокруг нас. Все пушки уже вышли из строя. Воздушной волной меня отбросило метров на десять. И когда я летел, мне казалось, что костей своих не соберу. В другой раз сразу отправили бы в госпиталь и доктора три месяца возились бы со мной, но сейчас было не до того. Я поднялся, ощупал свои кости — на месте ли? Все в порядке, хоть помяло немного.

Отряхнул с себя пыль, землю и опять пошел к своим оставшимся в живых ребятам. Нет пока приказа отступить. И куда будешь отступать, когда за тобой река, а за рекой заросли камыша, кусты ивняка и голая равнина?.. Да попробуй еще переплыть реку. Переправу уже разбили...

Перед рассветом немного затихло. Посмотрел я на Сашу, на майора Спивака. Раненый, весь перебинтованный, а как держится!

Вижу, идет он к нам. Остановился в траншее возле Васи Рогова, который держал в руках простреленное знамя полка, и говорит:

— Возьми, товарищ сержант, знамя и плыви на тот берег... Больше держаться нечем... Приказываю спасти знамя, честь полка...

Парень вскочил на ноги, молча отковырял, сбросил почерневшую от пыли и пота гимнастерку, снял с древка полотнище, обмотал вокруг тела и, попрощавшись с товарищами, побежал к берегу. Мы стояли, пришибленные, и смотрели, как Васиная голова мелькала среди волн.

Послышался грохот танков. Новая атака!.. Снаряды уже ложились совсем близко, и командир полка, не глядя людям в глаза, будто он был виновником всего этого горя, показывая на бревна, доски и бочки, валявшиеся на берегу, приказал переплыть всем на другой берег и собраться в станице Раздельной...

Люди бросились к реке, схватили, что попало под руку, и поплыли.

А у меня ноги подкосились. Я посмотрел на реку, и она мне показалась морем. Как ты его переплывешь? А еще я подумал, что придется сбросить с себя сапоги — не потащишь же с собой такой груз. И письмо, что я написал накануне жинке, промокнет...

И в тот момент, когда я задумался, слышу, как солдаты мне кричат:

— Папаша, чего ты стоишь, чего размышляешь? Не видишь разве, что немец нам на хвост наступает?..

И правда, мешкать нельзя было... Тут я почувствовал, как меня кто-то тащит за рукав. Оглянулся и вижу Данилу Лукача, моего старого друга. Он уже успел скинуть сапоги и держал в руках какое-то бревно. Поташил меня Данило к воде, и не прошло минуты, как мы с ним поплыли. Ясно, в другое время человек, который не особо-то хорошо плавает, ни за какие коврижки не решился бы переплывать Дон на таком дредноуте, как наш. А мы плывем... Держимся за

бревно, болтаем ногами... Справа и слева наши хлопцы плывут — кто на ящике, кто на автомобильном скате, кто на досках... А немец уже заметил, что солдаты спасаются, и начал бить с берега из автоматов, минометов. Кто-то тонет, ругается, проклинает злодеев... Я тоже почувствовал, как меня что-то резануло, посмотрел на руку, а она в крови. Выпустил я из ослабевшей руки бревно и чувствую, как темнеет у меня в глазах, как тянет меня на дно. Но кто-то подхватил меня и поплыл рядом, подталкивает... Я увидел рядом с собой Данилу и двоих бойцов из нашей батареи...

Как мы добрались на другой берег, уж не скажу. Помню только, что ребята втащили меня в камыши, сняли с меня гимнастерку, перевязали какой-то тряпкой руку, потом выкрутили гимнастерку, натянули ее на меня и поставили на ноги.

Только пришел я немного в себя, слышу — вокруг снова рвутся снаряды. Это немцы наконец-то «штурмом» овладели высоткой, на которой наших уже и в помине не было...

Надо было уходить подальше. Собрав последние силы, поплелась мы с Данилой вперед. Уже подошли к дороге, где собирались наши ребята, как над головой раздался злоеший свист снаряда, и только успели мы упасть на землю, я услышал истошный крик, затем стон.

Я поднял голову, оглянувшись и в тучах пыли увидел бледное, искаженное болью лицо Данилы. Вся грудь в крови, одной ноги нет. Я подполз к нему и не узнал своего друга. Я снял ремень и хотел перевязать ему ногу, может, остановлю кровь. Но Данило из последних сил махнул слабеющей рукой.

— Прощай, друг... — промолвил он одними губами. — Умираю... Отомсти за меня... Если домой вернешься, скажи жинке... дочурке Оле скажи... деткам...

И он замолчал, только посмотрел на меня так печально и закрыл глаза... И я не сдержался, заплакал, как ребенок.

Какой человек погиб!.. Много друзей было у меня в жизни, а такого, как Данило Лукач, не было и уже не будет...

Мы с ребятами нашли старую ржавую лопатку, разрыли воронку и похоронили Данилу под старой вербой. Сделали на дереве глубокую зарубку. Живы останемся, вернемся и поставим здесь камень, напишем на нем, что за человек тут лежит...

Низко склонив головы, мы постояли над могилой боевого друга и молча двинулись дальше по донской степи.

Шли, смертельно усталые, а когда повернули к шоссе-ной дороге, то увидели нескольких наших солдат. Они тянулись за майором, который с трудом передвигал ноги... Сын заметил нас еще издали, но не остановился — то ли не узнал меня, то ли стыдился подойти. Командир без полка...

Как нам хотелось поскорее добраться до станицы и спать, спать, хоть бы сотни самолетов бомбили нас!..

Наконец мы подошли к большому саду, где уже собралось много бойцов. Туда держал путь и майор со своей группой. И вдруг мы увидели: кто-то бежит к нам, размахивая зеленой фуражкой. Мы остановились, не понимая, кто это сюда бежит и почему он так кричит. И что вы думаете, добрые люди? Это бежал сюда сержант Вася Рогов. Запыхавшись от быстрого бега, он остановился в нескольких шагах от майора и, подняв руку к козырьку, по всем правилам отпартовал громко и взволнованно:

— Товарищ майор! Докладывает сержант Рогов. Ваш приказ выполнен... Знамя полка спасено!..

Он распахнул гимнастерку, вытащил шелковое полотнище и развернул его...

Все замерли, глядя на взволнованного сержанта. А сын мой, майор, молча подошел к парню, обнял его, прижал к себе, расцеловал, как брата, и сказал просто:

— Спасибо, Вася, спасибо, друг!.. Я знал, что не подведешь. Ты спас честь полка!.. Он будет жить, наш полк, если живет его знамя. Спасибо!..

И сын отвернулся, чтобы бойцы не заметили, как на его глазах заблестели слезы.

Ребята окружили Васю. Его обнимали, целовали, а он, смеясь, просил, чтоб не очень сильно тискали его, так как на реке его ранило и он еще не успел перевязать рану.

Я тоже подошел к нему, поцеловал и сказал:

— Молодец, Вася Рогов, спасибо тебе!.. А что касается твоей раны, то где-то недалеко должна быть девушка, которая тебя сразу вылечит...

И паренек весь просиял.

Ребята не сводили глаз со знамени. Сколько ран было на этом шелковом полотнище! Оно напоминало живое существо, из которого сочится кровь... И все вспоминали, как это знамя развевалось на высоте, где много часов подряд они стояли под ураганным огнем и били по вражеским танкам, и присягу, которую давали под этим знаменем на верность нашей Родине, нашему народу.

А я стоял и думал: целый год прошел... И какой год!

Попробуй сбрось его со счетов. Ведь он оставил в душе у каждого из нас такой отпечаток, который останется на всю жизнь...

И поверьте мне на слово, что после этого года за каждого нашего битого солдата можно было дать уже сотню небитых...

Глава тридцатая

КОГДА НАСТАЛА ТИШИНА

Удивительно, как быстро заживают на войне раны!

В мирное время, дома, иной раз с царапиной, гриппом возишься невесть сколько времени. Врачи и сестры колдуют над тобой, пичкают тебя разными лекарствами, делают уколы. А здесь, на фронте, ранило тебя, фельдшер и санитар тут как тут, сделают тебе перевязку, забинтуют рану, похлопают по плечу — и пошел в строй! Годен!

Долго ломал себе голову наш разбойник над тем, отчего это так бывает, и своим умом дошел до истины: это от злости, от ненависти к врагу, от горечи и жажды мести. Вот что исцеляет лучше любых лекарств.

В самом деле, разве можно было спокойно лежать в госпитале, когда ярость кипела в душе? Вспомнишь, сколько чудесных людей пало в бою, сколько на твоих глазах сожжено городов, сел, сколько злодеяний совершили гитлеровские палачи, и трудно тебе дышать, чувствуешь, что надо встать и сделать все, чтобы скорее вернуть доброе имя своей части, с которой пройден такой большой и тяжелый путь.

По ночам Шмае часто снился Данило Лукач. Да и днем он видел перед собой Дон и глаза друга. В ушах звучали его последние слова. Сколько раз они в минуты затишья на фронте сидели и курили, размышляя вслух о судьбах мира, как мечтали о возвращении на Ингулец, строили планы на будущее. Никто из них не думал о смерти, хоть опасность всегда подстерегала их. А теперь Данилы нет. Шмая остался без друга, за которого обязан беспощадно мстить. Сердце у него горело: туда, где вечным сном спит Данило Лукач, придут фашистские звери, надругаются над простой солдатской могилой, а после войны, может, и места того не найдешь, чтобы поставить камень с надписью, что здесь похоронен чудесный человек, пасечник и солдат, который был всю жизнь занят своими пчелами и тем, чтобы очистить от врага родную землю.

И все же Шмае не удалось избежать госпиталя. Впрочем, полевой госпиталь, куда он попал, больше всего напоминал цыганский табор. Раненые находились все время в пути, лежа на повозках. И, следуя за своими подразделениями, они чувствовали себя участниками великой, тяжелой битвы.

Шмая вернулся в свою часть, когда там шла лихорадочная работа. Формировались батальоны и роты из тех бойцов, что пришли сюда из-за Дона и из пополнения. Новички, прибывшие из запасного полка, с удивлением смотрели на своего командира — майора в зеленой фуражке пограничника. Они тихонько допытывались у Рогова, что это означает. А тот, лукаво подмигивая одним глазом, сообщал им по большому секрету:

— Понимаете ли, братцы, скоро мы дойдем до нашей старой границы, вот и формируются пограничные части... Поняли?

— Поняли... — неуверенно отвечали новички, пожимая плечами: мол, о какой границе может идти речь, когда мы без конца отступаем. Но все же не вступали в спор с Васей.

В садах разбитой бомбами станицы собирались старые друзья-однополчане. Здесь частенько появлялась с большой сумкой через плечо медсестра Шифра. Маленькая, загорелая, ловкая, она всюду попевала, бойко отвечала на остроты и шутки, не стеснялась дать пощечину слишком назойливому ухажеру. Когда она приходила сюда, Вася Рогов был на седьмом небе. Этот смельчак постоянно испытывал в присутствии девушки непонятную робость, краснел, терялся, немел, хоть чувствовал, что и она к нему равнодушна.

Всех очень обрадовало, что в эти дни вернулся в строй генерал Синилов. Его трудно было узнать. Он еще больше поседел, мужественное, энергичное лицо его избородили глубокие морщины. Должно быть, оттого, что его долго не видели, все заметили резкие перемены в его внешности, но тут же почувствовали, что генерал стал менее строгим, чем раньше, более сердечным и с какой-то особой заботой относился к своим подчиненным.

Правда, этому старому солдату, который прошел всю гражданскую войну и поддерживал в своей дивизии строжайшую дисциплину, как-то не к лицу была палка. Но без нее ему трудно было ходить. Ведь он ушел из госпиталя, не долечившись, и долечивался тут, в казачьей станице, где пополнял свою изрядно потрепанную во время последних боев дивизию.

Теперь, когда у Шмаи особых забот не было — батарейцы сидели без дела, ожидая прибытия новых орудий, боеприпасов, — он внимательно присматривался к генералу Синилову. Этот человек ему все больше нравился, и нравился прежде всего своей общительностью. Генерал не стеснялся зайти на кухню, взять котелок супа и сесть в гуще солдат, шутить с ними, смеяться. Он знал по имени и фамилии многих солдат, запросто подходил к ним, спрашивал, что пишут из дому, как живут родные, огорчался, узнав, что у солдата семья осталась в оккупации, успокаивал, как умел. А главное — он учил людей. Немного передохнув, сформированные части уходили в степь и, как в мирное время, ставили там чучела, мишени, стреляли, строили окопы, траншеи, учились наступать и обороняться. Генерал готовил людей к большим и жестоким боям. И за простоту, сердечность и человечность бойцы — и бывалые и новички — ценили и уважали этого поседевшего в боях человека в полевой генеральской форме.

Генерал Синилов чаще, чем в другие свои подразделения, приходил в батальон майора Спивака. Может быть, потому, что его связывала крепкая солдатская дружба с этим молодым и энергичным офицером-пограничником... Пожалуй, никто другой не мог так оценить подвиг майора на том берегу Дона, когда он с горсткой смертельно уставших воинов, зарывшись в землю, стоял насмерть, дав этим возможность переправиться на другой берег остаткам дивизии, которая с первых дней войны не выходила из боев...

Не зная отдыха и покоя, подразделения генерала Синилова готовились к маршу. Надо было спешить к Волге, где уже шли жестокие бои.

Много лет назад, когда Шмая был еще ребенком, отец повел его в ремесленное училище, чтобы «сделать из него человека». Не всему же роду Спиваков стоять на крыше... И казалось, цель уже близка — одной ногой Шмая уже был в училище. Да на последнем экзамене провалился. Срезался по географии, не знал, что есть на свете река Волга... Очень горько было ему тогда, тем более, что ровесники смеялись, издевались над ним.

Иди знай, что через много лет тебе придется увидеть эту самую Волгу!

И вообще сейчас не провалился бы он по географии ни на одном экзамене! Шмая-разбойник не раз говорил, что за

время войны он прошел ее, географию, вдоль и поперек, своими ногами прошел. И спросите его теперь, что это такое — Волга! Разбудите его среди ночи, и он подробно расскажет вам о каждой извилине этой реки, которая причинила ему немало горя, но принесла и великое счастье.

На этой реке старый солдат увидел прекрасный город с красивыми улицами и площадями, с огромными заводами и фабриками, раскинувшимися вдоль берега. Он видел этот город во всей его красе, видел его и потом, когда фашистские бомбардировщики превратили этот чудесный город в сплошные руины. Видел широкую степь, на которой колосилась буйная пшеница, а потом увидел ее вспаханной снарядами и бомбами...

Волга! Сколько человеческих страданий и мук повидала ты в те дни и ночи, когда к твоим берегам прорвались танковые колонны гитлеровцев и над тобой висели сотни, тысячи вражеских бомбардировщиков! Сколько крови пролито на твоих берегах и сколько человеческих жизней забрала ты!..

Казалось, что все прошедшие бои были лишь прелюдией к тому, что начиналось здесь, на берегу Волги. Дальше отступать было некуда. Дальше уже была Волга, и нужно было или отстоять ее от врага, или умереть...

Возможно, что наш разбойник когда-нибудь еще расскажет со всеми подробностями об этих страшных боях, когда вся земля гудела от взрывов, от грохота танков, когда все было в дыму и пламени, когда дрались за каждую разбитую стену, за каждый клочок земли. Но ведь известно, что он больше любит рассказывать о веселом, радостном... Что поделаешь, такой уж это человек!..

Старому солдату больше всего запомнилось то морозное зимнее утро, когда над приволжской степью прозвучали последние залпы «катюш» и на этой опаленной огнем, истерзанной земле воцарилась такая удивительная тишина.

Привыкшие к бесконечному гулу орудий, вою бомбардировщиков, к непрерывным вражеским атакам, бойцы с тревогой прислушивались к этой тишине, и каждому она казалась неправдоподобной. Не сон ли это?

Однако это была тишина. Долгожданная, желанная тишина, когда не надо прижиматься к земле, не надо таскать снаряды, бить по приближающимся вражеским танкам и цепям автоматчиков...

И каждый уже знал, откуда эта тишина. Вокруг вражеских орд сомкнулось железное кольцо советских армий. За-

снежная степь была усеяна трупами гитлеровцев, разбитыми танками, машинами, пушками. Понутив голову, бежали они, безоружные, спрашивая, где тут плен...

Впервые за все время войны Шмая увидел, как могут ликовать наши солдаты, как могут радоваться они своей победе. Казалось, что у всех выросли крылья и никакая опасность им уже не страшна. И хоть люди безумно устали, никому не хотелось отдохнуть после многомесячных боев, все рвались на запад.

А по всем дорогам, по заснеженной притихшей степи, заваленной разбитыми вражескими танками, сбитыми самолетами и трупами, брели толпы пленных, завшивленных, опустившихся гитлеровских вояк с поднятыми руками, дрожавших от страха и вопивших: «Гитлер капут! Капут Гитлер!»

Шмая и его боевые друзья смотрели на пленных с отвращением и ненавистью. Да и как могло быть иначе, когда они видели перед собой разрушенный город, разбитые стены заводов, груды пепла и щебня, помнили холмики над могилами друзей на всех дорогах войны...

Самой тяжелой потерей за последние дни для Шмай, как и для его товарищей на батарее, была гибель их командира, старшего лейтенанта Аджанова. Этот коренастый сильный узбек с раскосыми глазами обладал особой способностью сближать людей. Простой, скромный и трудолюбивый, в тяжелые минуты боя, когда фашистские танки подходили совсем близко, он сам становился к орудию. Он мог отстранить от пушки уставшего солдата, послать его в блиндаж поспать девяносто или сто двадцать пять минут, сам почистить орудие... Неоднократно получая за это замечания от старших начальников, он неизменно отвечал:

— Я понимаю... Но я обучаю человека чистить пушку...

— Как же, Аджанов, ты его учишь, когда сам драишь орудие, а солдат спит в блиндаже?..

Улыбаясь, он разводил руками:

— Ну, сам понимаешь, дорогой, какая может быть учеба, когда у человека глаза слипаются, он умирает спать хочет. Выспится, и наука сама ему в голову полезет...

Аджанов не был кадровым офицером. Учитель физики и математики в отдаленном узбекском селе, он после окончания артиллерийских курсов волею судеб стал офицером и военной мудрости набрался в сражениях с врагом. Это

был добродушный, глубоко штатский человек, однако от лично знавший свое дело. К бойцам он относился, как к своим ученикам в школе. Хоть часто его штатские приказания: «Пожалуйста, будь добр, почисть орудие» — вызывали улыбки бойцов, но все подчиненные его искренне любили, готовы были пойти за ним в огонь и в воду. Кроме того, командир батареи отличался исключительным хладнокровием, был отчаянно смел; рядом с ним не страшно было в самые тяжелые минуты.

И вот такой человек погиб. И когда? В последнюю минуту битвы на Волге. Он стоял у орудия и, отбивая последнюю вражескую атаку, поджег немецкий танк. Аджанов упал, сердце его перестало биться в ту минуту, когда на приволжских просторах воцарилась тишина и слышались только победные салюты и охрипшие голоса немецких солдат, стоявших с поднятыми руками и бормотающих: «Гитлер капут! Капитуляция...»

Было особенно горько, что Аджанов не дожил до этой счастливой минуты.

Но что поделаешь, не воскресишь человека, будь он самым лучшим на земле. Солдаты уже привыкли подавлять в себе горечь утрат. Они могли только помянуть боевого друга в кругу товарищей тихим, ласковым словом, написать его родным теплое, душевное письмо, а если появлялась возможность, выпить в его память добрую чарку. А теперь как раз чарка перепадала не только от старшины, когда тот привозил обед или ужин на огневую позицию. Тут и там во вражеских блиндажах и конурах, где еще недавно немцы прятались от могучего огневого вала наступающих советских армий, остались батареи бутылок с красочными этикетками — бургундское вино, коньяк, ром; были тут шведские консервы, прибалтийское сало и много-много награбленного по всей Европе.

В тихой балке, где чернели брошенные немцами в панике блиндажи, и сидел Шмая с товарищами и пил крепкий, обжигающий рот коньяк за то, чтобы никогда не забыли они своего дорогого командира Аджанова и боевого друга Данилу Лукача.

Здесь же, в блиндаже, Шмая увидел среди хлама зеркала, поднял его, посмотрел на себя и испугался. Недолго думая, он достал из своего ранца мыло, бритву, помазок и, не глядя на то, что мороз щипал щеки, намылился и стал быстро бриться.

Только он успел умыться снегом лицо, как услышал шум.

К балке приближалось несколько офицеров и среди них широкоплечий генерал в белом полушубке и большой барашковой папахе. Солдаты вскочили со своих мест и выгнулись, как положено при встрече высокого начальства.

Генерал был чем-то озабочен. Он прошел мимо Шмай, мельком взглянув на пожилого усатого солдата, и вдруг остановился, оглянулся, будто что-то вспомнив.

Сердце у Шмай екнуло. Видать, заметил генерал, что хватил солдат лишнюю чарку. А этот коньяк, будь он не ладен, крепкий, как сатана, и сразу жар от него бросается в лицо, в голову, и глаза начинают предательски блестеть. Неужели генерал заметил и сейчас даст взбучку? Но, с другой стороны, не верилось, что в такой хороший день генерал станет распекать солдата за то, что тот выпил лишнюю рюмку трофейного коньяка. Хотя начальство, если хочет кого-нибудь поругать, всегда найдет повод...

Размышляя так, Шмай смотрел прямо на генерала, стараясь по его лицу угадать, крепко он сердит или не очень, сделает выговор или просто о чем-нибудь спросит.

А тот пристально смотрел на него, отчего наш разбойник совсем растерялся.

Генерал подошел ближе, посмотрел в упор на седого сержанта в расстегнутом полушубке и ушанке с распущенными, незавязанными ушами. Только теперь Шмай понял, что шапка у него плохо сидит на голове и сейчас ему за это влетит.

— Что ж это ты не признаешься?.. Товарищ Спивак, если не ошибаюсь?.. — проговорил генерал, протягивая ему руку.

Шмай опешил. Он сильно покраснел, глядя на улыбающегося генерала, и никак не мог вспомнить этого человека. Верно, тот обознался, принял его за кого-то другого... Но ведь ясно сказал: «Товарищ Спивак»...

Давно с нашим разбойником не случалось такого, чтобы он не знал, что ответить человеку. А сейчас он не только не знал, что сказать, да и не решался заговорить, боясь, как бы генерал не услышал запаха коньяка...

— Ну, чего молчишь? — положил генерал руку ему на плечо. — На тебя, Шмай-разбойник, это что-то не похоже... А я тебя сразу узнал, нисколько ты не изменился... Ну, конечно, немного постарел, а вообще такой же, как был...

Только теперь, перебрав в своей памяти многих людей, Шмай оживился. Да, конечно, он вспомнил! Вспомнил! И радостно воскликнул:

— Ротный Дубравин!..

— Так точно, ротный Дубравин!..— проговорил генерал.— Помнишь, как мы с тобой Сиваш переходили? Турецкий вал?.. Вот какая встреча!.. А я уж не думал, что когда-нибудь увидимся...

И, обняв Шмая, как близкого друга, прижал к себе:

— Значит, снова вместе воюем? В какой же ты дивизии?

Шмая отрапортовал по всем правилам.

— Так ты, значит, в дивизии Синилова? А он мне и не говорил о тебе...— удивленно сказал генерал Дубравин, будто тот ему обязан был докладывать о каждом солдате в отдельности.— Вот здорово!— обернулся он к сопровождавшим его офицерам.— С этим солдатом мы еще в гражданскую войну вместе воевали... Видите, что значит старый боевой конь?..— И, обратившись к опешившему Шмае, спросил: — Давно воюешь?

— Давно... Почти с начала войны.

— Ну, мы с тобой еще встретимся, потолкуем, вспомним былое... Понял? Вот...

«Понял? Вот...» — повторил про себя Шмая, восхищаясь, что через столько лет Дубравин не забыл своих любимых словечек.

Генерал попрощался с ним за руку и пошел дальше.

Солдат смотрел вслед удаляющемуся генералу, потрясенный неожиданной встречей со своим бывшим ротным, и даже вздрогнул, когда кто-то из товарищей толкнул его локтем:

— Что ж это за встреча, Шмая-разбойник? По такому поводу и по старой дружбе надо было бы генералу чарку налить...

— Ты что, шутишь? — воскликнул кровельщик.— Такой большой начальник! Генерал-лейтенант, командир корпуса...— Но тут же застыдился своих слов, подумав: «А что, если большой начальник? Праздник-то какой у нас! Победа!..»

И, сделав несколько шагов вперед, крикнул:

— Товарищ генерал! Товарищ Дубравин! Можно вас на минутку?

Тот остановился.

Шмая вытянулся в струнку и, приложив руку к своей ушанке, несмело проговорил:

— Тут наши ребята хотели с вами... Ну, значит, чарку выпить по случаю победы...

Генерал весело рассмеялся, глядя на смущенного сержанта, посмотрел на ручные часы и сказал:

— Что ж, хоть спешу, но по такому случаю можно, конечно, и выпить...

Он двинулся обратно. А Шмая побежал вперед, вскочил в блиндаж и через минуту вынес оттуда пузатую бутылку с красивой этикеткой, несколько бумажных стаканчиков и, ловко откупорив бутылку, налил генералу полный стаканчик:

— Это пить можно... Французский коньячок... Пробовали... Хорош! Ну, товарищ ротный, простите, товарищ генерал, за ваше здоровье!

— Нет уж... — перебил его генерал, взяв в руку стаканчик. — Если на то пошло, то давай выпьем за нашу встречу! И за победу...

Солдаты и офицеры, стоявшие поодаль, весело посматривали на генерала и сержанта. А когда генерал, еще раз попрощавшись со старым боевым товарищем, пошел своей дорогой, солдаты-артиллеристы тесной толпой окружили Шмаю:

— Ну и разбойник! С генералами коньяк пьешь!.. Чего доброго, еще возьмет он тебя к себе главным помощником!

— Что вы, хлопцы! — отмахивался тот. — Не могу быть начальником... Простой я человек. Если жив останусь, вернусь домой и буду людям крыши чинить, чтоб им на голову не капало... А генералу придется служить до старости лет, как медному котелку...

— Ну, ребята, теперь держись! Видали, какой дружок у нашего Шмай-разбойника?.. Сколько с ним служим, а не знали, что у него такие друзья водятся...

Шмая подкрутил усы и взял свой солдатский мешок. Надо было побежать к пехотинцам, найти сына и Васю Рогова, рассказать им о встрече с Дубравиным. Ведь такие встречи бывают раз в сто лет!..

Со всех сторон стали поступать радостные вести. Разгром гитлеровских армий на Волге воодушевил народ на фронте и в тылу, и теперь уже каждый верил, что недалек тот час, когда родная земля станет свободной.

Фронт сразу переместился от берегов Волги на несколько сот километров. И дивизия генерала Синилова готовилась к дальнему маршу. Предстояло проехать много километров, на новый участок фронта.

В это время на батарею пришел новый командир — лейтенант Иван Борисюк, молодой светловолосый парень, подтянутый, быстрый. Он еще не успел запылить и измазать новенькую шинель, выданную ему в военном училище где-то в Средней Азии.

Трудно было понять, почему артиллеристы так холодно встретили нового командира батареи. Может быть, потому, что никто из них не мог привыкнуть к мысли, что любимец полка Аджанов уже никогда сюда не вернется, а может быть, потому, что лейтенант Борисюк не был похож на обстрелянного командира, грудь которого украшали бы боевые ордена и медали.

— Да... Видать, порошу еще не нюхал...

— Безусый... И, кажется, с характером... Посидел бы он еще немного в училище и пришел бы к нам после войны.

— Что и говорить, такого, как Аджанов, у нас уже не будет...

Молодой офицер нередко ловил на себе пристальные взгляды бойцов и терялся в догадках, не зная, что они о нем думают. Он сам с завистью смотрел на бывалых солдат, закаленных в боях. Никто здесь не знал, как он рвался из училища в действующую армию, да, как назло, попал сюда к шапочному разбору, когда фронт сразу переместился на сотни километров к западу. И вот он переживал, злился, сам не зная на кого.

Знакомство Ивана Борисюка со Шмаей произошло при необычных обстоятельствах, и началось это знакомство с небольшой ссоры...

После краткого отдыха дивизия передислоцировалась в район Курска, где шло наступление на немцев.

Подразделения грузились в эшелоны. На платформы устанавливали пушки, машины, ящики с боеприпасами.

Лейтенант Борисюк деловито распоряжался погрузкой. Стараясь подражать бывалым солдатам, которые привыкли к трескучим морозам и работали, сбросив полушубки, он тоже снял шинель. Но все понимали, что он страдает от холода, хоть и не надевает шинели, зная, что на него смотрят бойцы.

Подойдя к теплушке, в которой должна была ехать прислуга его батареи, Борисюк увидел, что Шмая грузит в нее какой-то громоздкий, тяжелый ящик.

Лейтенант подошел к ящику, приоткрыл крышку и увидел в нем гаечные ключи, подшипники, части от тракторов и тягачей, тщательно завернутые в тряпки, в бумагу...

— Что это у вас за железяки, товарищ гвардии сержант? Куда вы это грузите?.. Зачем загромождаете вагон этим хламом?

Шмая, вытирая пот со лба, насутился:

— Это не хлам, товарищ лейтенант, а важные части для тракторов и комбайнов... Если удастся, отвезу в нашу артель. Хороший подарок будет.

Командир батареи рассмеялся:

— Тоже придумали!..— Но сразу вспомнив, что он начальник, строго приказал: — Выбросьте это! Не нужен нам лишний груз...

— Почему же это лишний груз? — обиделся Шмая.— Разве не видели, что осталось от тракторного завода! Камня на камне не оставили гады. Пока восстановят тракторные заводы и начнут вырабатывать запасные части, пройдет немало времени. А тут под снегом валяется такое добро!.. Вы понимаете, что оно значит для хозяйства?

— Вы меня не агитируйте, товарищ гвардии сержант, и не вступайте в пререкания. Давайте заниматься хозяйственными вопросами после войны. А пока выбросим этот ящик...

Шмая был оскорблен до глубины души. Остальные батарейцы неодобрительно поглядывали на лейтенанта: «Что ж это такое? Человек целый день собирал, и не для себя ведь!»

Борисюк уже понимал, что попал впросак,— ничего страшного не было бы, если б взяли с собой этот ящик, но он считал неудобным отменить свой приказ. И пришлось сбросить ящик в снег...

Шмая, который все эти дни был необычайно возбужден, весел, смешил всех и с азартом работал, сразу помрачнел. Забравшись на верхние нары теплушки, он молча курил и думал.

Надо пойти в штаб просить, чтобы его перевели в другую батарею. Откажут, он пойдет к генералу Дубравину. Тот его недавно вызывал к себе, долго беседовал с ним, угощал чаем, предлагал перейти к нему в штаб,— уж найдет для него работенку, но Шмая наотрез отказался. Как же можно расстаться с боевыми друзьями, с которыми он прошел такой большой и трудный путь?..

И сейчас он тоже подумал, что не сможет расстаться с ребятами, и решил немного подождать, посмотреть, как оно пойдет дальше. Уйти он всегда успеет...

Так он лежал на нарах, размышлял и курил. Уж как

товарищи старались успокоить его, втянуть в разговор, ничего не помогало...

Иван Борисюк скоро и сам понял, что напрасно так незаслуженно обидел старого солдата, к которому все относились с большим уважением. Теперь он жалел о том, что случилось, и не знал, как исправить свою оплошность.

Поезд шел на запад. Ночь была морозная, звездная. Солдаты крепко спали, и только Шмая сидел у печки, сделанной из железной бочки, подкладывал в нее дрова, подсыпал уголь, чтобы товарищи не мерзли.

Занятый своими невеселыми думами, он сперва и не заметил, что кто-то к нему подсел. А оглянувшись, увидел продолговатое лицо Борисюка, его улыбающиеся глаза, длинные светлые волосы, спадающие на лоб.

— Все сердитесь на меня, папаша! — тихо произнес лейтенант и дружески похлопал его по спине.

— Как же не сердиться?.. Жаль ведь такое добро...

— Мы потеряли больше, — подумав минуту, сказал Борисюк. — Но ничего, после войны все у нас будет — и тракторы, и машины, и запасные части... Сперва надо врагу отомстить... Отца моего гестаповцы в Киеве убили, мать и двоих сестренек замучили... Отец коммунистом был. Оставили его на подпольной работе, а какой-то подлец предал его. Вы мне немного напоминаете отца... Тоже был смуглый, и ваших лет... Не обижайтесь на меня!.. Не хотел я вас обидеть... Приказ есть: ничего лишнего с собой не брать... Ну, правду сказать, я погорячился малость... Сами должны понимать, как я рвался на фронт... Я ведь должен отомстить за отца, за мать, за сестренек... Вырвался, а тут уже все кончилось... Смотрю на всех, и завидно мне: все уже в боях побывали, а я... Не сердитесь на меня...

— А я не сержусь, — затягиваясь сигаркой, не сразу сказал Шмая и совсем другими глазами посмотрел на молодого лейтенанта, которого еще несколько часов назад просто терпеть не мог. Да, оказывается, нельзя судить о человеке с первого взгляда. Надо с ним пуд соли съесть, чтобы узнать.

— Напрасно расстраиваешься, товарищ лейтенант. Ты еще молод, у тебя вся жизнь впереди... Еще повоюешь... Был тут у нас до тебя командир Аджанов. Душа-человек!.. Знал он, как к людям подойти... Народ у нас спаянный... Одна семья, и горе и радости делим поровну. Тебя, верно, тоже со временем полюбят, но смотри, нос не задирай... Одним словом, надо тебе немного обтесаться...

Шмая задумался, но вспомнив слова Борисюка об отце, матери и сестренках, сочувственно проговорил:

— Значит, и ты хлебнул горя?.. Всем нам фашист насолил... У каждого с ним свои счеты есть.— И он стал рассказывать лейтенанту о своих мытарствах, о Вильгельме Шинделе, о лагере, о смерти Даниила Лукача.

Оба они и не заметили, как пролетела ночь. В оконце заглянул солнечный луч. Бойцы просыпались и с удивлением смотрели на сидевших рядом Борисюка и Шмая. И у каждого мелькнула мысль: «Неужели так быстро помирились?»

В этот же день лейтенант перетащил свою шинель и сумку на верхние нары, где спал Шмая, и скоро они так подружились, словно всю войну прошли вместе. Но все же Иван Борисюк еще долго чувствовал себя неловко оттого, что во время первого знакомства так обидел человека, от которого узнал столько, сколько не узнал, может быть, за все годы учебы в школе, в училище...

А зима была лютая, безжалостная. Кого она собиралась заморозить, кому она собиралась служить — сперва было трудно разобрать. Верно, все-таки решила досадить непрощеным гостям. Снегу навалило столько, что на много километров лежала сплошная белая пустыня, среди которой виднелись руины сожженных деревень и железнодорожных станций, торчали остовы подожженных машин, жерла разбитых пушек, исковерканные танки. Всюду остались следы войны, пронесшейся в этом краю. А впереди были Курск, Орел, Брянск, где немец зарылся в землю, готовясь, как только высохнут дороги, двинуться отсюда на Москву.

Где-то на разбитой станции эшелоны остановились. Дальше пути были взорваны.

Дивизия Синилова быстро выгружалась. Мела пурга.

— Видишь, товарищ лейтенант? — кивнул Шмая на белую пустыню.— А ты боялся, что на твой век войны не хватит. Попробуй по этому снегу догнать фрица! Глаза на лоб вылезут...

Войска, обозы, машины, орудия двинулись по снежной целине. Ни дороги, ни тропки... Танки, грузовики застревали в снегу, и чем дальше, тем труднее становилось их вытаскивать. Лошади выбивались из сил, проваливались по брюхо в снег. А где-то далеко-далеко шел бой. Гремели пушки,

стаями пронеслись в небе вражеские бомбардировщики и истребители, земля содрогалась от взрывов.

И снова расстроился лейтенант Борисюк. Ему казалось, что только они выгрузятся, а за холмами уже будет передний край, и он со своей батареей с ходу вступит в бой. Но вот они уже целый день в пути, а прошли только несколько километров. Каждый раз приходилось вытаскивать пушки, а грохот войны тем временем все отдалялся. Там гнали фашистов, а тут шла война со снегом. А он сыпал и сыпал, заматавая все вокруг. Хоть бы найти местечко, где можно передохнуть, отогреться. Но здесь прошел немец, и все было сожжено...

Командир корпуса генерал Дубравин попытался вырваться вперед на легковой машине, но тоже застрял. Отправив шофера назад, он решил пробиться к передовым частям пешком и увидел, что здесь никакие машины и танки не пройдут. Надо было надеяться только на собственные силы. И был отдан приказ: пушки тащить на руках, каждый солдат несет на себе два снаряда или ящик с патронами...

Оставив машину, лошадей, колонны двинулись дальше. Надо было быстрее пробиться вперед, вступить в бой с врагом.

Три дня и три ночи шли бойцы по снежной целине, проваливаясь по пояс в сугробы.

Лейтенант Борисюк сокрушался. Ни в одном из воинских уставов не было намека на такое передвижение войск. А бывалые солдаты, привыкшие ко всему, впрягались в ямки орудий, брали на плечи снаряды и напористо плыли среди снежных валов.

Но как ни старались пушкарки, они все же отстали, и лишь пехотные части вырвались вперед и вступили в бой.

Подойдя со своими пушками к окраине Курска, Иван Борисюк и его бойцы увидели только пожарища, разбитые вражеские машины, повозки и трупы. Над городом уже развевалось алое знамя.

На сей раз пурга, толстый снежный покров помогли врагу. Нельзя было вовремя подбросить подкрепления, и наступление приостановилось...

Солдаты взялись за лопаты.

— Странная война! — твердил все время лейтенант Борисюк. — Вместо того чтобы стрелять из пушек, приказано воевать со снегом. — А про себя думал, что ему просто не

повезло. Если б послали на другой фронт, там такого не было бы.

— Ну зачем же расстраиваться, товарищ лейтенант? — успокаивал его Шмая, хитро прищулив глаз. — Ты, брат, еще побываешь в переплетах — будь здоров! Верно, начальники наши подготовят тут фрицам хороший компот... Слышал, что сказал генерал Дубравин, наш комкор?.. Ну, помнишь, когда мы вытаскивали пушки, подошел к нам высокий такой, широкоплечий генерал?.. Он сказал, что эту зиму немец еще перезимует, а там мы ему такого духу дадим, что он проклянет тот день, когда полез к нам.

— Так тебе генерал и сказал? — подозрительно взглянув на него, спросил лейтенант.

— Точно так и сказал!..

— А кто он тебе, генерал? Родич? Брат или сват?

И снова Шмая чуть было не обиделся на Борисюка. Но заметив, что сказал он это беззлобно, ответил:

— Как хочешь, так и считай, лейтенант... Мы с этим генералом вместе еще под Перекопом воевали... на Врангеля ходили... Он был моим ротным.

— Да что ты, папаша, говоришь? — заиграли озорные огоньки в глазах Борисюка. И, подумав немного, он тихонько спросил: — А почему же он — генерал, а ты до сих пор сержант?

— Ого, если б все стали генералами, то кто же был бы солдатом? — оживился Шмая. — Понимаешь, дорогой, я после войны пошел по другому направлению... Сперва тоже было думал стать генералом, а как пришел домой да увидел, сколько у нас крыш разбитых — людям прямо на голову дождь льет, — ну и решил взяться за старую свою профессию...

Бойцы, подошедшие к ним, с интересом слушали повелевшего кровельщика и от души хохотали. А тот, ничуть не расстроившись оттого, что не стал генералом, как его ротный Дубравин, начал рассказывать им о крышах...

Как ни бесилась зима со своими коварными метелями и выюгами, все же пришлось ей отступить перед весенней оттепелью. Почернели леса, зашумели на дорогах ручьи. И тогда началось сильное движение на переднем крае. Генерал Дубравин зачастил в дивизию, где служил его старый приятель. И как бы ни был он занят, старался выбрать несколько минут, чтобы завернуть на батарею — поговорить со Шмаей-разбойником, послушать его шутки, какой-

нибудь веселый рассказ. Глядя на него, генерал мысленно переносился в далекие времена, когда оба они — и он и Спивак — были молоды.

На фронте стояло затишье, и он приказал всем без исключения учиться, готовиться к грядущим битвам.

День и ночь рыли бойцы траншеи, окопы, укреплялись на рубеже. Все, начиная с медсанбатов и кончая складами боеприпасов, уходило под землю, укрывалось от вражеской авиации, тщательно маскировалось.

— Что ж это получается? — тихонько говорили бойцы. — Генерал думает, что мы вечно тут будем сидеть? Хочет устроить тут военную академию?

А Шмая, который все время что-то мастерил в блиндаже, отвечал со знанием дела:

— Дубравин знает, что делает... Это неспроста, и обижаться тут нечего. Очень даже мудро поступает! Когда солдат засиживается без дела, он обрастает жирком, а жирок для солдата — большая неприятность, поворачиваться ему мешает. Если сидеть без дела, мозоли могут вырасти на неприличном месте. Так лучше уж иметь мозоли на руках. Тогда сподручнее будет бить фашистов...

Однажды, когда бойцы рыли новую траншею, появился генерал Дубравин. А тут немцы открыли сильный огонь. Генерал вскочил в траншею, но она ему была по пояс. Он растянулся на земле, а когда прекратился огонь, поднялся, покачал головой:

— Что ж это вы за траншею выкопали, ребята?.. Рыть траншеи в мой рост!

Пришлось снова взяться за лопаты и рыть траншею на полметра глубже.

Быстро орудуя лопатами, бойцы упрекали Шмая:

— Видишь, папаша, как дорого нам обходится твоя дружба с генералом! Среди нас ведь нет таких рослых, как Дубравин...

А Иван Борисюк все не мог успокоиться. Хоть он и проводил со своими артиллеристами занятия, рыл с ними траншеи, запасные окопы, учился лежать в траншее, через которую проносились танки, эта «академия генерала Дубравина» ему явно не нравилась...

А между тем весна наступала полным ходом. В лесу, где расположилась дивизия, невозможно было по ночам глаз сомкнуть, соловьи пели, не давали покоя.

Шмая божился, что, хоть почти всю страну обошел, нигде не слышал, чтобы соловьи пели так красиво, как здесь.

Не зря говорят: «курские соловьи». Они поют совсем не так, как все, и тоном выше берут, и задушевнее как-то у них получается. Как ни устал солдат, а заслушит в кустарнике пение соловьев, сразу теряет покой. Всю ночь, почти до зари, пели соловьи, а когда немцы, проснувшись там, за «ничейной землей», открывали для бодрости огонь из пушек и минометов, птички замолкали, куда-то исчезали, а к вечеру снова начинали свой концерт.

В один из таких весенних вечеров, когда соловьи заливались в кустах, навевая своим пением радужные мечты, к Шмае, сидевшему на ящике возле блиндажа, подошел почтальон и вручил ему два письма. Они долго путешествовали, пока, наконец, дошли до адресата. Это были письма от жены. Казалось, нужно было радоваться, но он сразу почувствовал, что эти письма не принесут ему радости. И чутье его не обмануло. В одном письме Рейзл писала о своем великом горе. Пришло извещение, что старший сын погиб смертью храбрых в последних боях на Волге, погиб под вражеским танком, когда бросился на него с гранатой. Однополчане написали ей, как все это было и что он сказал перед смертью... Во втором письме она сообщала, что второй сын участвовал в десанте где-то на Черном море и пропал без вести. А от третьего, от Миши, уже три месяца нет писем, и она уже не знает, что и думать.

Шмая сидел на ящике, читал и чувствовал, как сердце у него разрывается на части. Подошли товарищи и ни о чем не спросили, поняв по выражению его лица, что произошло что-то страшное.

Он молча поднялся с места и нетвердым шагом пошел в ту сторону, где окопался батальон сына. Спустился к нему в блиндаж, и Саша испугался, взглянув на отца.

— Что случилось? — вскочил он с нар, поправил рукой взъерошенные волосы, отодвинул карту на столике.

Шмая опустил на нары, прикрытые еловыми ветками, и протянул сыну оба письма.

Тот пробежал их глазами. Долго стоял, молча глядя на убитого горем отца и не зная, чем его успокоить. Наконец тихо промолвил, присаживаясь рядом с ним на нары:

— А может, это какая-нибудь ошибка... Знаешь, иногда бывает... Сидит в штабе бестолковый писарь... Все перепутает...

— Бестолковый писарь, говоришь, написал извещение? — поднял Шмая на сына полные слез глаза. — Я знаю, что бывают ошибки. Но сердце мне подсказывает, что это

правда. Нет уже их в живых. Мы — солдаты и не будем себя обманывать... — Закурив самокрутку, он, понутив голову, продолжал: — Ее жаль, мать... Одна с малышами... Далеко от дома... Некому даже успокоить ее, сказать доброе слово.

— Да, я понимаю, трудно ей, очень трудно... Но сколько сейчас таких, как она. Народное горе...

Они сидели молча. Из соседнего блиндажа доносилась песня, которая хватала за душу. Песня лилась плавно, и в нее вступали все новые и новые голоса:

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега,
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага...

И вдруг послышался резкий звонок полевого телефона. Майор снял трубку:

— Слушаю...

Звонил генерал Дубравин. «Что это?» — заволновался комбат. Генерал никогда не звонил ему по телефону...

Дубравин спрашивал его об отце. Откуда генерал узнал, что у отца большое горе? Артиллеристы сказали...

Майор выслушал все, поблагодарил, сказал, что поговорит с отцом, и повесил трубку.

Шмая смотрел на сына испуганными глазами. Он понял, что говорили о нем, но что именно? По какому поводу?

Майор опустил на нары, долго подбирал слова и наконец заговорил:

— Генерал узнал о твоём горе, отец... Спрашивает, поедешь ли к семье? Он может отпустить тебя на десять дней, пока здесь затишье. Надо написать ему рапорт...

Глаза старого солдата на мгновение просияли. После долгой паузы он сказал:

— Никуда я сейчас не поеду... У каждого теперь горе... Нет, спасибо! Он золотой человек, Дубравин, я это знаю. Но никуда не поеду... Только расстрою ее, детей и себя...

— Подумай хорошенько, папа... Мне кажется, что ты должен поехать. Подумай и скажешь мне...

Они вышли из блиндажа. Задушевная песня все лилась и лилась. Теперь ее тихонько пели солдаты в траншеях, на бруствере. А скоро в нее вплелись голоса соловьев. Но Шмая сейчас не обращал на них внимания. Он думал. Поехать на десять дней домой? Но, видно, скоро начнется наступление. Часть уйдет на запад, и вряд ли он ее догонит.

Пошлют в другую, первую попавшуюся часть, где его никто не знает и он никого не знает. Да и неудобно как-то перед товарищами. Ведь никого теперь не отпускают домой. Не такое время... И он попрощался с сыном, попросил написать письмо маме, девочкам. У него, мол, это лучше получится...

Шмая медленно шел по опушке леса к своей батарее. Свернув на узкую просеку, что вела в санроту, он услышал хруст веток. В лунном сиянии Шмая сразу узнал Васю Рогова и Шифру. Они стояли, обнявшись, и смущенно улыбались. Сделав вид, что не замечает их, он хотел пройти дальше, но Вася окликнул его:

— Откуда, батя, идете? Не у нас ли были?

— У вас, у вас... — механически проговорил тот.

Вася смотрел на расстроенного человека, не зная, что сказать, а потом быстро заговорил, как бы оправдываясь:

— Это я, батя, пошел на перевязку... И вот встретил медсестру... Ну, и остановились...

— Вижу, что остановились... — Еле заметная улыбка промелькнула на лице Шмая. — Ну что ж, если остановились, так стойте на здоровье... Дело молодое...

И, не сказав больше ни слова, двинулся дальше.

— Что-то перестали заходить к нам, — сказал Рогов ему вслед.

— Времени нет, Вася... Занят...

— А вам пишут из дому, дядя Шмая? — спросила Шифра, удивляясь необычной мрачности кровельщика.

— Пишут... Пишут... Лучше б не писали...

— А я хотела к вам зайти...

— Заходи, дочка. Заходи, когда будет время... — бросил он на ходу и ускорил шаг. Ему теперь трудно было говорить...

«Да, — подумал он, уже подходя к своему блиндажу, — значит, и на войне можно почувствовать себя счастливым, расставшись на несколько минут с товарищами и укрывшись с любимой в тихом уголке весеннего леса, среди пения соловьев и шелеста молодой листвы...»

С горем, как говорят умные люди, надо только переносить...

И Шмая-разбойник постепенно привыкал к мысли, что его постигло большое горе, и понимал, что этому горю уже ничем не поможешь. Слишком много смертей он видел

в последнее время, и чувство душевной боли как-то притупилось.

Он уже снова принимал участие в оживленных спорах, снова шутил, не давая ребятам унывать, хоть у самого очень тяжело было на душе. Рапорта об отпуске он не подал, а написал жене письмо, что не за горами уже конец войны, скоро прогонят врага с родной земли, и тогда не он, Шмая, к ней приедет, а она с детьми, со всеми колонистами поедет на Ингулец. И он тоже вернется прямо домой, а вернется непременно, так как все время находится в очень спокойных местах и даже снаряды не долетают до тех окопов, в которых он со своими товарищами находится... Никакая опасность ему не грозит... И если он до сих пор жив и здоров, не считая, что его раза три ранило, то теперь уже наверняка доживет до полной победы над врагом...

Читал товарищам это письмо, а они громко смеялись. Здорово, мол, старик написал о снарядах и о том, что они находятся вне всякой опасности...

В один из вечеров, когда курские соловьи сводили с ума молодых ребят и те тосковали по своим невестам и женам, находившимся где-то за тридевять земель, майор Спивак чуть было не поссорился со своим старым фронтовым другом Васей Роговым.

Может быть, это и было нарушением воинского устава и субординации, но они, давно позабыв о разнице в званиях и занимаемых должностях, были связаны большой солдатской дружбой, трогательной и волнующей, и уже ничего не могли сделать, чтобы изменить это. Ведь их сроднили тяжелые военные дороги, жестокие бои, когда они не раз выручали друг друга.

Майор долго не решался заговорить с Васей на такую деликатную тему. Но сегодня у него было уж слишком тяжело на душе, и когда Вася поздно ночью вернулся со свидания с любимой и тихонько, на цыпочках, сияя от счастья, спустился в блиндаж, он смерил его холодным взглядом, усадил на нарах перед собой и сказал:

— Что ж, Вася, вижу, придется нам с тобой распрощаться... Попрошу, чтоб тебя перевели в медсанбат... Там тебе, кажется, будет удобнее. А мы тебе тут мешаем... И вообще ты забываешь, где мы находимся...

— Что вы, товарищ гвардии майор! — воскликнул парень, все еще находясь во власти воспоминаний о свидании

с любимой девушкой.— Знаете, что она мне сегодня сказала? Честное слово, призналась, что любит меня и без меня жить не может... Когда окончится война, сказала она, и мы останемся живы, она замуж за меня пойдет!..

Майор пристально смотрел на его взволнованное лицо и понимал, что в эту минуту с ним ни о чем больше нельзя говорить, только о девушке, которая покорила его. Вася и не собирался отвечать на упреки, сердце его было переполнено любовью и радостью, и ничто другое сейчас его не беспокоило.

— Она сказала: что бы со мной ни случилось, куда бы меня ни забросила судьба, все равно будет мне верна, будет ждать... Скажите, товарищ майор, ваша жена вам тоже такое говорила?..

И майор понял, что ссора не состоялась. И еще он понял, что немного постарел и из его жизни ушло что-то очень важное. Он был побежден этим взволнованным пареньком, который приобрел сейчас то, что делает человека безмерно счастливым: любовь, верность и преданность.

— Так она тебе и сказала, Вася: что бы с тобой ни случилось, она будет твоей?..— смягчившись и забыв, что недавно злился на друга, спросил майор.— Ну, а если с ней что-нибудь случится?..

— Что? Другого полюбит? Отвернется от меня? — настороженно прервал его Вася.

— Да нет, глупый!.. Я не об этом...— успокаивающим тоном сказал майор.— Я имею в виду совсем другое... Она такой же солдат, как и мы с тобой. Над ней рвутся те же бомбы и снаряды. Жизнь ее в такой же опасности, как и наша. Она может руку потерять, ногу, стать калекой, мало что может случиться на войне...

Вася смотрел на майора с недоумением: мол, не может быть, чтобы с ней что-нибудь плохое случилось на фронте, когда он ее так любит. И, подумав, ответил:

— С такой девушкой ничего не может случиться!.. Она смелая, а смелого пуля не берет...

Майор улыбнулся краешком губ, ничего не сказал. Он только подумал: «Боже мой, сколько смелых и отважных брали пули, осколки! Если б они не погибли, верно, давно разгромили бы мы врага. Такие красивые слова придумывают поэты, которые войны не видали. Но все-таки хорошо, что они их придумывают... Без хороших слов было бы куда труднее...»

Сейчас майор уже с удовольствием смотрел на своего

ординарца. Он знал, как грубеют, как черствеют на войне люди, как притупляются у них чувства и они становятся подчас злыми, жестокими. Может быть, поэтому ему так приятно было сейчас смотреть на этого милого паренька, который не растерял в солдатских походах самых лучших своих качеств, сохранил юношескую чистоту, искренность, чуткость и доброту...

Майор поймал себя на мысли, что неудавшаяся ссора с Васей обогатила его чем-то таким, чего ему все время не хватало. И он был благодарен своему молодому другу за этот урок.

Глава тридцать первая

И ГРЯНУЛА БУРЯ

На «ничейной земле» уже бушевала добротная усатая пшеница. Бойцы, занятые дни и ночи рытьем оборонительных линий, траншей, ходов сообщения, даже не заметили, как поднялись здесь, куда вот-вот должен был переместиться шквал войны, такие роскошные хлеба.

Сколько колес и гусениц утюжило посевы! Сколько солдатских ног прижимало их к земле, сколько мин и снарядов рвало зеленые всходы и сколько острых, горячих осколков и пуль косило их на корню! А они, наперекор всему, встали сплошной стеной между нашими и вражескими окопами.

В лесу закончились соловьиные трели, исчезли куда-то, будто предвидя грозу, пернатые певчие; молодые ребята перестали навещать милых подружек в медсанбате и заняли свои места в окопах, на огневых позициях среди буйной пшеницы, и не без тревоги смотрели на черный дубовый лес, за которым притаился враг со своими танками, пушками, грозя отомстить русским за разгром на Волге...

Тщательно замаскированная батарея Ивана Борисюка стояла на огневой позиции за боевыми порядками батальона майора Спивака. За эти месяцы лейтенант успел подружиться с прославленным комбатом. Борисюк старался быть поближе к нему, прислушивался к его словам и советам.

Молодому лейтенанту очень хотелось щегольнуть своей удачей и бесстрашием, поэтому он ходил без каски, передвигался не по ходам сообщения, а по земле. За это ему и пришлось выслушать от майора Спивака несколько суровых слов.

— Какой же это героизм, лейтенант Борисюк? — укоризненно говорил майор. — Ты ведь подставляешь башку под пулю немецкого снайпера... Это не героизм, а дурость... За каждым нашим шагом следят вражеские наблюдатели... И каску непременно надо носить. Ударит осколок по каске и отскочит, а пилотку пробьет — так уж вместе с головой... И батарея останется без командира. Совсем не остроумно!

Смущенный, пошел к своим бойцам лейтенант и приказал всем надеть каски, валявшиеся возле блиндажа.

Артиллеристы замечали перемены в поведении своего командира после каждой его беседы с майором. И правда, находясь вблизи этого мужественного пограничника, молодой лейтенант чувствовал себя увереннее перед лицом грозившей опасности.

В эти дни, когда шли последние приготовления к сражению, солдаты приободрились и подтянулись. А тут еще вернулись из госпиталя после ранения артиллерист Митя Жуков, незаменимый связист батальона Давид Багридзе и пожилой грузный наводчик орудия, дружок Шмая, сибиряк Сидор Дубасов. С немцами он воевал еще в империалистическую войну и никак не мог закончить с кровельщиком спор на тему: какая война была тяжелее — эта или та...

Вот и сейчас, встретив Дубасова, Шмая отвел его к своему блиндажу, угостил консервами и белыми сухарями, которые выпросил у повара, и завел с ним старый разговор:

— Ну, что там, в тылу, говорят о немце? Есть у него еще сила или выдохся уже?

— Да что там знают в тылу, в госпитале? — отвечал Дубасов. — Небольшие они стратеги, эти медики. Но говорят, будто это уже у Гитлера последние вздохи... И если набьют ему морду на Курской дуге, то из этой дуги ему можно будет сделать крест... Проходил я по нашим тылам, а там столько техники натыкано — пройти невозможно. И не пойму, где это все набрали! Столько воюем, в стране — разорение, а сила у нас еще крепкая...

— А как ты думал? — гордо ответил Шмая. — Рабочий класс старается!..

Раньше, бывало, сибиряк говорил неохотно, только отвечал, когда его о чем-либо спрашивали, а теперь разошелся, рассказывая, сколько наших танков собралось за лесом да сколько орудий и резервных частей.

Старых друзей уже окружили бойцы, подсаживались к ним поближе, смотрели в рот рассказчику.

— Значит, говоришь, дядя Сидор, что дела наши плохи? — вмешался в разговор Митя Жуков, белобрысый сухощавый парень с озорными синими глазами. Тот взглянул на него с укоризной и ответил:

— А ты что, с такими глазищами и не заметил, сколько за нами войск стоит? Теперь наши подготовились как надо... Да, собственно, где уж было на это смотреть, когда из-за Маруси ты забыл обо всем на свете! И если б не обстановка, тебя из медсанбата клещами не вытащили бы...

— Да что вы! Какая Маруся? — смущенно отозвался парень. — Никаких Марусь я там не встречал...

— Значит, она тебя встречала!.. Ну, эта рыженькая с накрашенными губами. Не придуривайся!.. Думаешь, не видели, как она плакала, когда ты уходил из госпиталя?..

— Да что вы говорите!.. Это Зинка плакала... А Зинка не по мне плакала, а по вас... Ночи напролет просиживала возле вашей койки, хихикала без конца... И о чем вы там ей рассказывали, дядя Сидор, что она так хихикала?

Тот смущенно замахал рукой, жалея, что завелся с этим зубоскалом. Чего доброго, в самом деле разболтает всем, что он, вспомнив молодость, немного приударил за Зинкой...

— Не знаю, как там ваши Маруськи и Зинки, — вмешался Шмая, чувствуя, что серьезный разговор идет на убыль, — а наше начальство, видать, крепко решило добить этим летом фашистскую гадину... Изучили уже немца... Никогда он не выигрывал войны, сам себе только шкодил. Нашумит фриц, нашумит, разозлит весь мир, восстановит против себя всех, а потом выбрасывает белую тряпку и орет: «Капут! Капитуляция!..» Главное, чтоб его здесь не пропустить. Если прорвется, плохо нам будет... Ведь отсюда дорога прямо на Москву...

— Что ты, папаша! Где ему до Москвы добраться, — отозвался Давид Багридзе. — Он и до своего Берлина не добежит. Зад свой не донесет...

— Ничего, мы ему поможем! — рассмеялся Митя Жуков, придя в себя после того, как Сидор Дубасов ошарашил его, напомнив о Марусе. В самом деле, думал он, если б не срочные дела, он так быстро ее не оставил бы. Хорошая девчина!..

Дни не шли, а летели. Весело было на огневой позиции. Ребята шутили, острили, словно предчувствуя, что таких спокойных дней уже не будет. Скоро начнется... Скоро взорвется эта необычная тишина на переднем крае и грянет буря.

Иван Борисюк все время находился впереди, на наблюдательном пункте майора Спивака. Каждый раз проверял связь и смотрел на Давида Багридзе, который возился с катушкой и телефонным аппаратом, как на свою судьбу, веря, что этот парень, если придется, не оставит его без связи ни на одну минуту.

Безмолвная лунная ночь плыла над землей. Тихо шумели хлеба. Не спалось старым солдатам, сидевшим в траншее возле замаскированных пушек.

Сидор Дубасов сегодня был необычно оживлен, возбужден. Может быть, в этом была заслуга санитарки Зины, на которую недвусмысленно намекал Митя Жуков? Но Шмая не вникал в подробности, считая это неудобным, и к тому же он не видел ничего зазорного в том, что девчина немного пригрела старого солдата, который уже идет с ярмарки... Друзья полулежали на траве и, прислушиваясь к тишине, вполголоса разговаривали.

Сидор Дубасов неторопливо рассказывал о родном сибирском крае, где, бывало, часто ходил на медведя... Собственно, Сидор не коренной сибиряк, его туда привела беда. Было это еще до революции, когда отец его работал кузнецом на Путиловском заводе и за участие в большой забастовке был схвачен жандармами, брошен в Петропавловку, а оттуда этапом отправлен на каторгу, в Сибирь. Следом за ним туда поехала жена с двумя детьми. Отец погиб на медных рудниках, а он, Сидор, с матерью и меньшим братишкой стали навсегда сибиряками...

В эту тревожную июльскую ночь, когда было так душно, даже рассказ о сибирских морозах и выюгах будто освещал грудь, и Шмая, затагиваясь самокруткой, с удовольствием слушал своего друга. Но в тот момент, когда Сидор дошел до самого интересного, до того места, как он с финским ножом бросился в тайге на смертельно раненного зверя, небо загудело, показались вражеские бомбардировщики.

По боевой тревоге все бросились к своим пушкам и пулеметам.

Глядя из-под каски на небо, Шмая сказал:

— Ну, ребята, кончилась наша «академия». Кончился «курорт». Теперь держись!..

— Рано сегодня фриц начал,— вмешался Митя Жуков, прижимаясь к щиту орудия,— еще не позавтракал, а уже пошел на работу... Что-то на фрица не похоже...

Зазвонил телефон. С наблюдательного пункта Иван Борисюк приказал своим пушкарям приготовиться к бою, ждать команды...

Бой, жестокий, кровавый, начался сразу на огромном пространстве. Справа и слева — все запылало, земля содрогалась, дрожала, словно от землетрясения. А небо будто тучами покрылось в этот ранний июльский час. Но то были необычные тучи — эскадрильи бомбовозов и истребителей, которые несли смерть.

Сколько их? Тьма! Они шли ровными квадратами, змейками, словно на параде. И злоеший гул моторов все нарастал.

Но вот дружно ударили с разных сторон зенитные орудия. Между самолетами замелькали зарницы взрывов — то начали рваться зенитные снаряды. Вот вспыхнул огромный бомбардировщик и, объятый дымом, стал барахтаться в воздухе, разламываться на части, падать на землю. Второй самолет запылал, третий...

Возгласы радости прокатились по траншеям. Ликовали бойцы в своих окопах.

— Так вот, гады, как вы умеете гореть и драпать! — воскликнул в своей щели, недалеко от орудия, Шмая-разбойник, радуясь как ребенок. Он выдвинулся из укрытия, чтобы лучше разглядеть, как горят вражеские самолеты. Но Сидор Дубасов потянул дружка за ногу, чтоб не торчал свечой, а прижался лучше к земле.

— Погоди, батя... Рано еще радоваться... Это они только начали. Нам еще дадут сегодня прикурить... — пробасил он, лучше надвинув на голову каску. — Видал, сколько их летит?..

Батя молча спустился в щель.

Не успела рассеяться первая волна «Юнкерсов», как из-за леса показалась новая, еще более могучая волна.

— Глянь! Снова летят, гады!.. А где же наши? — встревоженно воскликнул Митя Жуков. — Почему наших истребителей не видно? Где наши?..

— Придут, когда надо будет!.. — вмешался Никита Осипов. — Там на наблюдательном пункте стоит авиационное начальство... Все видят, небось...

Над «ничейной землей» шел жестокий воздушный бой, а с той стороны, где чернел дубовый лес, ударили вражеские пушки.

Из-за густой дымовой завесы ринулись немецкие танки, сопровождаемые цепями автоматчиков...

Комбат чуть высунулся из щели, чтобы установить, куда движется стальная лавина. Хотя за войну немало повидал и его уже ничем, кажется, не удивишь, но то, что он теперь видел, превзошло все. Холод пробежал по всему телу. Он оглянулся. Рядом, прижавшись к стенке щели, стоял бледный Иван Борисюк. Он вопросительно уставился на майора, ждал, что он прикажет. Сквозь гул моторов он услышал:

— Передай пушкарям и бронебойщикам: подпустить танки поближе... Не стрелять без команды!..

Стальная, грохочущая лавина приближалась к окопам.

Кто-то из артиллеристов не выдержал, выстрелил без команды, но майор крикнул:

— Приказано не стрелять! Пусть подойдут поближе!..

А грохот нарастал, словно морская волна. Автоматчики шли за танками во весь рост, чуя близкую победу. Уже отчетливо видны были их лица. Немцы неистово орали.

Майор, Борисюк, связист Давид Багридзе, Вася Рогов и все, кто стоял в щели, следили за приближающейся лавиной, приготовили противотанковые гранаты. Каждый понимал, что придется вступить в бой с танками. Слишком большие силы двинулись сюда, на их участок.

А на батарее и в траншеях бойцы, подготовившиеся к бою, нервничали, нетерпеливо ждали команды открыть огонь. Уже отчетливо виден враг.

Вдруг ударили дальнобойные пушки. Над траншеями пронеслись, чуть не задевая колосья, чернокрылые штурмовики. Между танками стали рваться снаряды, машины заметались, залегли автоматчики. Над обширным полем боя запылали, задымилась десятки вражеских машин, но некоторые продолжали двигаться к траншеям.

— Начнем! — кинул комбат. — Давай!..

Иван Борисюк дрожащим и взволнованным голосом крикнул в трубку:

— Выкатить пушки на прямую наводку! Бить по танкам!..

Впереди траншей запылало несколько вражеских машин, а уцелевшие стали поворачивать назад, за ними побежали автоматчики. Но тут уже вступили в бой стрелки, стали их забрасывать гранатами, расстреливать их из автоматов.

— Видали, хлопцы, как они умеют драпать?! — не сдержался Митя Жуков, целясь в танк, который застрял на бугорке. Шмая-разбойник, поднося ему снаряды, бросил на ходу:

— Так им и надо, чтоб гады не лезли!..

Передышка длилась совсем недолго. Вот снова, с еще большим ожесточением, двинулись сюда другие вражеские танки, автоматчики. Они вели огонь на ходу.

Под свист пуль и вой осколков, прижимаясь к щитам орудий, артиллеристы били по машинам, которые виляли по полю.

Пшеничное поле превратилось в земной ад. Огромные облака дыма затуманили все вокруг. Впереди траншей валялись трупы автоматчиков, несколько минут назад извергавших из своих автоматов дождь пуль. Стоял невыразимый стон, и слышались вопли раненых. Слева и справа шла битва. Тут и там в окопах начиналась рукопашная схватка. Люди стояли насмерть. Раненые не покидали позиции.

Солнце уже было в зените, а на участке батальона Спивака не смолкал ожесточенный бой. Соседи дрогнули, откатились на запасные позиции, но батальон не отступил ни на шаг, хотя вышло из строя немало бойцов...

Казалось, что все силы уже иссякли и если ринется сюда новая лавина машин, автоматчиков, батальон и пушкири Борисюка не выдержат. Люди были оглушены грохотом взрывов. Почернели от крови бинты на ранах ребят. Бойцы изнемогали от июльского зноя. И трудно было понять, откуда берутся силы, чтоб отбивать непрерывные атаки врага.

Издали снова поднялись тучи пыли. Из ложины двигались новые танки. Минуя пылающие машины, приближались они к траншеям.

Снова грянул бой.

Но что там впереди? Между сожженными танками движется сюда необычное чудовище — машина, выкрашенная желтыми полосами.

— Новое оружие Гитлера... Идет «тигр»! — пронесся возглас.

Бойцы в траншеях насторожились, приготовили противотанковые гранаты, следили за гремющей стальной громадой. Что это? Пушкири ударили по «тигру», но снаряды не берут его, отскакивают от его брони. Страх охватил ребят.

Из всех орудий артиллеристы ударили по мощной машине, но она продолжала двигаться к траншеям.

Шмая-разбойник подал Сидору Дубасову снаряд и сквозь грохот крикнул над самым ухом наводчика:

— Что ж ты, брат, настоящих тигров в тайге бил без промаха, а этого не свалишь?..

— Чума его знает! — ответил он. — Этот, пожалуй, сильнее живого тигра... Не видишь, снаряды его не берут...

— Должны брать, иначе все погибло!..

— Давайте попробуем бронебойными! По гусеницам, под брехой! — послышалось позади.

А «тигр» надвигался на батарею, как туча. Приземистый, тяжелый, полосатый, он наводил ужас, и некоторые бойцы, не выдержав, стали отползать назад. Из-за грохота уже трудно было разобрать команды. Внимание всех, однако, было приковано к стальному чудовищу, которое приближалось к наблюдательному пункту, где находились комбат, Иван Борисюк, Рогов. Майор Спивак попробовал вызвать по телефону наблюдательный пункт полка, но телефон не отвечал. Должно быть, осколком снаряда порвало провод.

Майор взглянул на побледневшее лицо связиста Давида Багридзе. И парень понял, что минуты решают судьбу батальона. Необходимо связать провод, поправить порыв. Иного выхода нет. Вокруг свистели осколки и вся земля вздыбилась от взрывов. Все было в дыму и пламени. Нельзя было голову поднять, а стальное чудовище надвигалось, надо корректировать огонь, вызвать огонь пушек...

Давид Багридзе иступленно кричал в трубку, ругался последними словами:

— «Береза»! Слышишь, «Береза»! Кацо, что ж ты, оголох? Генацвали! «Береза», куда ты пропала? Не видишь, тут у нас ад, а ты! Эх, ма!..

А «Береза» назойливо безмолвствовала. Да, порыв. Надо идти. Это Давид Багридзе понимал. Это его священный долг. Но страх будто взял его в железные тиски, не давая выскочить из щели, которая пока ограждала от пуль и осколков. Он снова встретился с пристальным взглядом комбата. И в этом взгляде он вычитал: «Страшно тебе, Давид? Я понимаю. А кому теперь из нас не страшно? Не страшно только сумасшедшим, а нормальным людям очень страшно... Но они умеют обуздать свои нервы, умеют владеть собой, не поддаются панике, помнят о своем священном долге...»

Давид Багридзе испытывал угрызение совести, что немного замешкался. Он должен побежать исправить порыв. Он обязан дать связь... Телефон должен действовать.

Снова встретились глаза комбата и связиста. Во взоре командира теперь не было осуждения и укора. Он верил, что парень через минуту преодолеет страх. И в самом деле — чувство долга подняло Давида Багридзе.

Схватив катушку и автомат, парень выскочил из щели и помчался среди воя осколков и пуль искать повреждение. Высокая пшеница поглотила его.

Сидор Дубасов охрип, вызывая командира, но телефон молчал. Пушкарь ругал связистов и готов был разорвать их на части. Как же без связи? Обалдели?!

Он не знал, что в эту самую минуту черноглазый парень с мужественным смуглым лицом и маленькими черными усиками шупал в пшенице, искал второй конец провода, припадал к земле, которая содрогалась от взрывов, снова полз, и вот он заметил перебитый осколком провод, зажал оба конца в руке, обрадовался, что вот-вот восстановит связь. Но он не успел связать проволоку, как рядом взорвался снаряд и воздушная волна отшвырнула в сторону связиста.

Давид чувствовал, что проваливается в какую-то пропасть, и он сильнее зажал в руках оба провода. Вторым снарядом разорвался рядом, и парень ощутил сильный удар в грудь. Фонтаном хлынула кровь. И в одно мгновение погас свет в глазах. И еще через мгновение жизнь Давида Багридзе оборвалась.

Иван Борисюк вдруг услышал знакомый шум в трубке. Глаза его просияли. Во весь голос он крикнул:

— Товарищ комбат, связь восстановлена! Вот молодчина наш Давид Багридзе! Исправил под таким страшным огнем порыв провода! — И, обращаясь к своим пушкарям, закричал еще громче:

— Дубасов, слышишь меня, Сидор?! Выкатывайте пушки на прямую наводку! Ударьте по гусеницам!.. «Тигр», «тигр» идет на нас! Вот он рядом!

И через минуту все пушки уже били по гусеницам «тигра». Вокруг стального чудовища поднимались фонтаны земли, а машина уже замедлила ход, спускалась с холмика...

— «Тигр» горит! Хлопнули гада! Горит, ребята! — раздались вдруг возгласы. — Гусеница сбита! Горит, нечистая сила!

Со всех сторон сквозь грохот боя неслись восторженные возгласы.

Ребята ждали, думали, что танкисты выскочат из машины. Но прошли секунды, и из люка вырывались лишь густые клубы черного дыма и языки пламени.

Комбат приподнялся на локтях и крикнул бойцам, которые выползли из укрытий:

— Кудал в щели! Сейчас «тигр» взорвется!..

Он только успел вскочить в свою щель, как раздался сильный взрыв и танк взорвался, башня отскочила в сторону...

Люди облегченно вздохнули.

Впервые за этот тяжкий день у всех появилась вера, что вражеская лавина может быть остановлена. «Тигры» горят ничуть не хуже других немецких танков. Надо только научиться их бить. В самом деле, не так страшен черт, как его малюют!..

Вася Рогов выбрался из щели и ожил, когда увидел горящий «тигр». С поля боя несли раненых. Среди санитаров он увидел Шифру. Она вытаскивала на плащ-палатке раненого бойца. Напрягая все силы, она ползла с ним в укрытие, где уже лежало несколько ранее вынесенных ею раненых. Вася Рогов что-то кричал ей вслед, но она ничего не слышала. Сидор Дубасов и его товарищи приводили в порядок свои изрешеченные осколками пушки. В эту минуту он увидел рыжеволосую Марусю, которая вместе с Зинкой, хрупкой девчонкой, тащила на носилках огромного пожилого лейтенанта.

Бойцы с восхищением смотрели на бесстрашных санитаров, спасавших раненых на поле боя, и, должно быть, в эти минуты многие из них мысленно укоряли себя, что подчас были слишком строги к девчатам, злословили по их адресу. Этим девчатам было, кажется, тяжелей, чем всем. У них нет и никогда, кажется, не будет передышки...

Шмая-разбойник помогал ребятам чистить орудия, вытаскивал из запасных укрытий снаряды, складывал их поближе. Поравнявшись с Никитой Осиповым, парторгом, попросил прикурить и взволнованно заговорил:

— Ну, брат, здорово потрудились! Я думал, что ствол твоей пушки совсем расплавится... Верно, там у тебя на шахте, в забое, легче было простоять три смены, чем здесь у пушки час...

Осипов устало улыбнулся, отер рукавом гимнастерки вспотевшее и почерневшее от пыли лицо, махнул рукой:

— Ничего... Только бы выстоять... А там легче будет... Здорово им всыпали... Видал, сколько металлолома валяется на поле?

Он опустился на ящик из-под патронов и достал из кармана кисет с махоркой.

— Посиди малость, батя, покури,— сказал он,— скоро, видать, гады начнут новый кордебалет...

Он не успел докурить сигарку, как его вызвали на наблюдательный пункт.

Никита Осипов схватил свой карабин и по ходу сообщения, а там, где он был перепахан гусеницами, по полю побежал. Осипов прижимался к земле, глядя в ту сторону, где чернел дубовый лес и откуда каждую минуту могла появиться новая вражеская лавина. Отбежав метров двести, он остолбенел, увидав среди колосьев Давида Багридзе, который лежал, как живой, и в мертвых руках зажал два конца проволоки... Дрожь прошла по телу: «Через мертвое тело бойца шла связь!» Никита снял каску и склонил голову над мертвым телом парня из далекой Грузии.

«Так вот каков ты, Давид Багридзе... — подумал про себя Осипов. — А мы тебя недавно на партийном собрании ругали за мелкие шалости... Надо будет привести сюда молодых бойцов, пусть видят, как умирают гвардейцы... — И еще подумал Никита Осипов: — Лишь недавно Давид приглашал меня и всю батарею к нему в Грузию, когда кончится эта проклятая война. Ему там будут справлять такую свадьбу, что вся Кахетия будет неделю гулять и танцевать лезгинку... Дед Ираклий недавно писал, что он уже приготовил на свадьбу Давида двадцать бочонков вина, двадцать баранов... Невеста Сулико ждет его с нетерпением...»

Никита опустился на колени, поцеловал лоб Давида и заплакал.

«Удастся ли похоронить его со всеми почестями, которых он заслужил? Видно, нет. Столько людей сегодня сложили свои головы на этом поле среди подбитых вражеских танков!»

Он поднялся, смахнул слезы с широкого, заросшего рыжеватой щетиной лица и помчался к наблюдательному пункту. Иван Борисюк был тяжело ранен. Надо было его сменить. Контужены и ранены были комбат Спивак и Вася Рогов, но никто из них не покидал поле боя. Санитары наскоро перевязали им раны, и они остались на своих местах.

Никита Осипов не успел рассказать о гибели Давида Багридзе, а санитары — вынести с поля боя всех раненых, как издали снова послышался грохот моторов. Небо было заполнено самолетами. Низко над землей неслись краснокрылые штурмовики, повыше — бомбардировщики, а за ними истребители. Они шли встречать лавину вражеских танков, которые вырвались с той стороны, где чернел дубовый лес. Земля, казалось, вздыбилась от грохота и взрывов. Вражеские танки рвались вперед, к траншеям, где стояли

гвардейцы генерала Дубравина. Тут и там дымились машины. Бой уже шел повсюду — в воздухе, на земле, в траншеях. Все кругом горело и дымилось. Битва то прекращалась на какое-то время, то возобновлялась с новой силой.

Эти июльские дни решали судьбу войны, судьбу Родины, судьбу мира.

Пять дней содрогалась курская земля. И рекою лилась кровь. Десятки тысяч советских бойцов здесь стояли насмерть. И выстояли. Победили.

На шестой день, когда казалось, что нет больше сил сдерживать натиск обескровленного, но еще сильного и хищного врага, словно из-под земли появились свежие дивизии, армии. Они пришли на смену тем, кто так мужественно, не зная передышки, дни и ночи напролет сдерживал вражеские стальные лавины.

Генерал Дубравин выводил в тыл, на отдых, на пополнение свои поредевшие полки, которые покрыли себя неувядаемой славой.

И вместе со многими офицерами вывел на отдых оставшихся в живых своих воинов скромный и бесстрашный комбат майор Спивак.

Глава тридцать вторая

ОДИН ИЗ ВЕЛИКОЙ СЕМЬИ

«Дорогому и уважаемому другу, побратиму и товарищу Овруцкому, с которым мы за свой век не один пуд соли съели и познали немало горечи и радости, мой сердечный фронтовой привет!

Как сам догадываешься, дорогой мой дружок, пишет тебе не кто иной, как Шая Спивак, тот самый Шмая-разбойник, который покамест жив и почти здоров, чего и тебе желаю. Жив и здоров — всем врагам назло, и если солдатское счастье меня не подведет в жестоких боях, то надеюсь, что мы еще встретимся у нас на Ингульце, выпьем добрую чарку и вспомним те тяжкие годы, когда спасали от фашистского зверя нашу дорогую Родину и вообще весь мир. Мы, между прочим, наносим этой кровожадной зверюге крепкие удары, согласно нашей советской стратегии и тактики, ибо, могу тебе открыть небольшой секрет, это письмо я пишу тебе из самой Германии, куда мы недавно ворвались и даем фашистам такого перцу, что они запомнят на всю жизнь, как во-

евать с Россией. И вежливо говорим этому гаду проклятому:

— Ну, вот, извольте, господин подлец, радоваться. Тебе захотелась война, так мы люди не гордые — мы тебе принесли ее прямо в дом, и любуйся! Радуйся!..

Спасибо тебе большое, что не забываешь старого друга.

Сам должен понимать, что значит для солдата письмо от друга, от родных. Это как бальзам.

Прочел я твое письмо одним духом, а затем прочитал его своим боевым друзьям. Так как у нас нет никаких секретов друг от друга и каждый знает, что варится у другого, как говорится, и радость и горечь — пополам!

Выслушав твое толковое письмо, наш парторг дивизиона Никита Осипов сказал мне:

— Молодчина твой дружок товарищ Овруцкий. Инвалид, на одной ноге, а так здорово трудится в тылу! Эвакуировал людей на восток и там, в тылу, развернул хозяйство, как настоящий гвардеец, и дает фронту немало продовольствия — хлеба и мяса...

А так как ты со своими людьми уже собираешься в обратный путь, на родину, к Ингульцу, то Никита Осипов и все наши пушкари просили меня передать вам сердечный, боевой привет.

Да пусть вам сопутствует счастье и удача в родном доме!

О родной дом! Как это слово греет душу! Родная земля! Как это чудесно! Где еще, как не на чужбине, ты с такой любовью и трепетом думаешь о своей родине, о своей стране, о своей Советской державе!

И так тебя тянет на родину — словами не передать и на бумаге не описать!

Я тебе уже, кажется, писал, после Курской битвы, что после того, как нас отвели на отдых и мы привели себя и орудия в божеский вид, нас погрузили на платформы и мы двинулись, — куда бы ты думал? В Пинские болота, туда, где твой Шмая-разбойник уже имел счастье воевать в ту войну.

Очень милый край! Приходилось бывать в таких уголках, где никогда не ступала человеческая нога.

Продвигались лесом и болотами. Промокли насквозь, продрогли, как щенки, и хоть волком вой, нигде не увидишь жилища, дыма над крышей. Птицы щебечут, да волк голодный где-то в гуще завывает.

Помню, как сегодня, идем густым сосновым лесом. Вековые деревья стоят, как струны. А запах какой — очуметь

можно! Голова кружится. Тут и там встречаем партизанские селения — землянки, шалаши. В густых зарослях — много городских людей — старики, женщины с детьми. В этом лесу они прятались, спасались от двуногих фашистских зверей. А это необычный, оказывается, лес. За этим лесом кончается Советская земля. Там уже Буг, а за Бугом — Польша.

Еще несколько километров, и мы очистим нашу родную землю от нацистов. Там — наша граница!

Посмотрел бы ты, дорогой друг, что творилось с нашими людьми, когда мы вышли на границу, на берег Буга! Увидал бы ты, как ребята припали к земле, как стали ее целовать, обнимать, пригоршнями, касками пили воду из Буга. Шутка сказать, сколько мы добирались сюда, к этой кроме родной земли! Сколько крови пролито!

Вокруг — заросшие травой и бурьяном траншеи наших пограничников. Под ногами валяется ржавая колючая проволока, изрешеченные пулями каски, горы гильз, ящики изпод снарядов и патронов, и что мы тут еще увидали в окопах и траншеях, так это человеческие кости и черепа... Тут стояли наши пограничники насмерть... В июне сорок первого года...

Те, которые клялись не отдавать этот рубеж, пали в бою, как герои. А три года спустя мы очистили этот рубеж от врага и отомстили.

А мы все двигались вперед, смертельно усталые, измученные, но сердца наши были переполнены гордостью за нашу Родину, за наш народ. Знаем, что не зря живем на свете. И на нас смотрели, как на посланцев великой державы, которые не жалеют своих сил, жизни для спасения мира от фашистской чумы...

И, как хорошая музыка, звучали на многих языках слова: «товарищ», «друг», «Советы», «русс»... Они нас подогревали, эти слова, радовали душу, и легче стало шагать опасности навстречу.

Я мог бы многое тебе написать о нашей походной солдатской жизни, но, кажется, сегодня немного переборщил. Что поделаешь, когда у человека хорошо на душе, он должен побеседовать с добрым другом, иначе аппетит у него испортится... Надо, значит, кончать. Скоро подадут команду — вперед, на запад!

Будь здоров. Тебе и всем нашим желаю счастливого возвращения на родину, к нашему Ингульцу. Пусть поскорее

забудутся все муки и страдания. Все наши ребята шлют вам привет. На том кончаю свое письмо. Живы будем — встретимся. Твой друг и товарищ Шая Спивак».

Глава тридцать третья

СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН

«Дорогая моя женушка, милые, славные детки!

В первых строках моего письма хочу поздравить Вас с возвращением домой, к своему родному очагу, хоть сожженному, разрушенному, но все же очагу!

О больном человеке иногда говорят: «Ничего, лишь бы кости,— мясо будет».

То же самое, мне кажется, можно сказать о нашем уголке...

Придет время, вернемся с войны, тогда, засучив рукава, построим новый дом. Может быть, он будет лучше, чем был.

Читал я сегодня ваше милое письмо, мои дорогие мученики, и, клянусь, сердце обливалося кровью. Что эти фашистские палачи сделали с нашей колонией, с нашим виноградником, с хозяйством! Что они сделали с людьми, которые не успели выехать,— со стариками и больными, с детворой! Хоть я видал за эти годы много страшного, но то, что вы описываете,— это уму не постижимо!

И нет слов для проклятий. Нет меры наказания для этих хищных зверей! Мы им мстим за все! Они теперь захлебываются своей собачьей кровью, но все же это капля в море того, что они заслуживают.

Вы пишете, что вырыли себе рядом с развалинами нашего дома землянки и кое-как устраиваетесь на зиму! Дай бог, чтобы мы уже вырыли этому проклятому Гитлеру могилу, ему и всей его кровожадной банде!

Старайтесь только сделать вокруг землянки сток, чтобы вода стекала и не задерживалась, иначе сырость появится в вашем жилище и будет плохо. К тому же крышу хорошенько прикройте землей, глиной и досками, если найдете. И приготовьте непременно топливо на осень и зиму. Если погреб наш завален, откопайте его и там найдете мой инструмент — пилу, топор и другие причиндалы, которые вам пригодятся на хозяйстве. Одним словом, я надеюсь, что как-нибудь сами все уладите. Вам к мукам не привыкать. Время идет уже быстрее. Мы продвигаемся с боями все вперед. Немцы

поджали хвосты. Хотя они еще отчаянно сопротивляются, зная, что придется отвечать за все свои подлости. А у нас есть чем их бить и кому бить. Нет ни одного солдата, у которого не кровоточило бы сердце. У того фашисты сожгли жену, детей, стариков, у другого вырезали всю родню. И вы себе не представляете, как наши ребята воюют!

Стало быть, скоро кончится война, вернемся к вам и настанет конец вашим страданиям, сломаем тогда землянки и, одним словом, будет порядок в танковых войсках, как говорит Вася Рогов, адъютант моего сына.

Да, война скоро кончится. В этом никто не сомневается. Ибо мы уже находимся за Одером. Наши девочки знают географию и представляют себе, где находится этот самый Одер. А мы его знаем не по географии...

Это была последняя надежда фашистов. Здесь они хотели нас остановить, но им помогло как мертвому припарки.

Оглядываемся на эту реку и диву даемся, как мы переправились через нее! Не иначе как наша злость и ненависть перенесли наши части через эту страшную преграду!

Вы, дорогие мои курносые, просите, чтобы я вам что-нибудь написал для школы? Учительница просила написать?

Что ж могу вам написать? Передайте своей учительнице и ребятам мой фронтовой привет. Что? Эпизоды ребята хотят? Эпизоды о войне? Ну, это можно будет, когда вернемся. Тогда я приду к вам в школу и все расскажу. Хоть целый день буду рассказывать, ибо насмотрелся я за эти четыре года!..

Знаете, что я вам еще скажу, дорогие мои? Подчас хотелось ослепнуть, дабы не видеть то, что фашисты натворили.

И еще я вам могу рассказать про Варшаву.

Взяли мы этот город в январе месяце этого года. Был большой мороз. Руки прикипали к орудиям, к снарядам. Висла была закована. Наверное, знала старушка, что мы должны перебраться на ту сторону. До этого мы долго стояли на этом берегу. Прага — это часть Варшавы, только находится по эту сторону Вислы. Фашистские палачи разрушили все. Не было здесь ни одного целого дома. Но то, что фашисты сделали с Варшавой, — трудно описать. Очень хорошо сказал о них Никита Осипов, парторг нашей батареи, — вандалы! Не знаю в точности, как это объяснить по-научному, но, видно, паршивые гитлеровцы — они и есть вандалы. Они сожгли и взорвали лучшие улицы, площади и дома. Если б они еще немного тут торчали — весь город

сравнили бы с землей. И настрадались же там люди! С тридцать девятого года сидит гадюка и точит и точит город. Убивают и мучают людей...

Я помню ночь перед боем, когда на морозе проводили митинг и пришли сюда поляки, стали рассказывать, что они пережили в Варшаве за годы оккупации. Волосы встали дыбом! И каждый из нас хотел поскорее отомстить врагу за кровь и горе, за слезы и раны Варшавы. На рассвете, когда мороз трещал, пошли туда наши самолеты, ударила артиллерия, по снежной дороге пошли наши танки, а затем уж мы пошли.

Город лежал в развалинах. Живого места на нем не было. Ни одной целой крыши. А знаменитая улица Маршалковская, Ерусалимская аллея, весь центр — ну, будто ураган здесь прошел! Мертвый город. Но только бой утих, словно из-под земли появились люди. Человеческие тени. Бросились к нам, обнимают, целуют, плачут, как дети.

А мороз лютый. Некуда зайти погреться, просушить портянки, передохнуть, чаю напиться. Кругом торчат одни стены. Горы кирпича. И сердце сжимается от боли — такой город уничтожить, сотни тысяч его жителей убить. И за что, спрашивается?

Нашу часть отвели на отдых. Пристроились мы среди развалин, разложили костры и греемся. Не успели оглянуться, как нас окружила целая толпа поляков — молодые, старые, дети. Многие из них побывали в Майданеке. Наперебой рассказывают, что люди пережили там, за колючей проволокой, в застенках гестапо.

Расселись поляки вокруг наших костров греться, и мы с ними поделились своим солдатским пайком, как с родными братьями и сестрами, и слушаем их страшные рассказы.

Я вижу, в сторонке стоит худенькая, иссушенная старушка и кутается в большой рваный платок. Седая она вся. А глаза — огромные, черные, глаза, в которых можно увидеть скорбь целого народа.

— Мамаша...— говорю я ей,— присаживайтесь поближе к огню, вы озябли, мамаша...

Она смотрит на меня испуганными глазами, качает головой, и из этих огромных глаз катятся слезы.

— Товажиш жовнеж...— говорит мне старенький поляк,— это наша Рута Курчинска. Этой мамаше только двадцать первый год пошел. Не смотрите, что она вся седая. Она была в гетто. И во время восстания в Варшавском гетто

была связной у главного командира восстания — у пана Анелевича. Эта мамаша подбила и подожгла на улице Новолепье германский танк... Застрелила пять гестаповцев на Генше. Она вывела по канализационным трубам из гетто в лес, к партизанам, две группы повстанцев...

Мы смотрели на эту седую девушку и не представляли себе, что в этом хрупком теле бьется такое смелое, героическое сердце.

И через полчаса Рута Курчинска уже вела нас через заснеженные и закованные морозом груды развалин туда, где торчали стены бывшего Варшавского гетто. И то, что она нам рассказала, и то, что мы увидели своими глазами, потрясло нас до глубины души.

И я, дорогие мои, хочу вам передать ее рассказ, так как каждый честный человек в мире должен это знать и помнить.

Да... Когда в Варшаву ворвались фашистские палачи, они заполнили все гестаповские тюрьмы невинными людьми. А для евреев они устроили гетто. Обнесли высокой кирпичной стеной старый район Налевки, Генша, Лешно, Заменгоф, Новолепье, Муранов, Милла, Франчишканска, — где сотни лет жило еврейское население.

Оторванные от всего мира, в вечном страхе, испытывая дикие надругательства и произвол, люди умирали здесь от холода и голода, от эпидемий. У этих людей все отняли, оставив только право на смерть.

Сюда, в гетто, врывались банды фашистов, убивали, грабили, избивали бесправных, изголодавшихся людей и часто устраивали дикие облавы — вывозили тысячи мужчин, женщин, стариков, детей, говорили, что их везут на работу...

Но в гетто люди скоро поняли, куда вывозят этих людей — в лагеря, на смерть. В Тремблинку, Освенцим, Майданек...

И тогда собрались в гетто сотни пожилых и молодых людей, юношей и девушек, и поклялись жестоко отомстить врагу, вырваться из гетто, из неволи. Лучше умереть в открытом бою, чем отдать себя на милость палачей-гестаповцев.

Люди знали, что они оторваны от всего мира и неоткуда ожидать помощи. Надо надеяться только на свои силы. Но не сидеть же сложа руки и не ждать, пока всех перебьют.

И вот в гетто, в подполье, была создана боевая организация, которая готовила народ к восстанию. Во главе ее встал двадцатичетырехлетний студент из Варшавы Мордухай

Анелевич. На призыв штаба взяться за оружие, готовиться к выступлению отозвались сотни и тысячи. Но где же взять оружие? В бункерах и подвалах, в мастерских и в цехах фабрик и заводов гетто начали тайком готовить самодельные гранаты, бомбы, ножи, топоры, железные штанги. Бесстрашные девушки и парни ночами перебирались по подземным городским коммуникациям, проскальзывали незаметно мимо охраны гетто в город, связались с польским подпольем, с польскими патриотами, и те помогали им доставать оружие, нападали на патрулей и отнимали автоматы и винтовки. И вскоре в гетто появились тайные склады оружия. Собирали бутылки, и ребята заполняли их горючей смесью. В подвалах обучали людей стрелять из автоматов, винтовок, пулеметов, метать гранаты, бутылки. Росли с каждым днем боевые дружины.

Это было 18 апреля сорок третьего года.

Из Берлина пришел приказ Гитлера и Гиммлера ликвидировать Варшавское гетто. Отправить всех узников в лагерь смерти. На приказ генерала СС Строопа, палача Польши, всем обитателям гетто добровольно явиться к эшелонам штаб восстания ответил отказом.

Ранним утром 19 апреля послышался за стеной гетто грохот танков, бронемашин, грузовиков. Это шли эсэсовцы, жандармы, полиция усмирять взбунтовавшееся гетто. Раскрылись железные ворота, и более тысячи вооруженных автоматами, пулеметами, минометами карателей вошли на притихшие улицы гетто.

Улицы молчали. Ни единой души не видно было. Но когда колонна втянулась глубже, с балконов, крыш, из окон верхних этажей полетели на головы палачей гранаты, бомбы, бутылки со смесью. Отовсюду повстанцы открыли сильный огонь из автоматов, карабинов, револьверов.

Вспыхнул и сразу же взорвался фашистский танк, загорелось несколько машин, десятки карателей пали замертво на улицах гетто.

И в панике каратели, бросая оружие, помчались назад, к воротам, где их встречали другие повстанцы пулеметным огнем.

Люди воспрянули духом. Отпетые головорезы, руки которых были по локти в крови, в панике бежали. И генерал Строоп вынужден был отправить в Берлин обер-палачу Гиммлеру депешу, что Варшавское гетто охвачено восстанием и что его войско потерпело поражение.

Несколько часов фашистские танки, орудия, броневики

стояли у ворот гетто, не решаясь двинуться снова. Но приказ из Берлина был грозным. Приказано бросить все силы на подавление восстания. Палачи неистовствовали: как же это возможно, чтобы изголодавшиеся, измученные, ослабевшие и невооруженные евреи из гетто оказали сопротивление хваленому воинству СС? Это ведь позор гитлеровской армии. Тысяча эсэсовцев бежит в панике из гетто? Слыханное ли это дело?

Генерал Строоп получил новый приказ: действовать решительно и беспощадно. Бросить против повстанцев новые силы. Открыть огонь по улицам гетто из орудий, огнеметов...

И в тот же день новая армада карателей, прижимаясь к стенам домов, оглядываясь по сторонам, двинулась опять на улицы гетто. После сильного артиллерийского обстрела палачи уже были уверены, что они сломили волю восставших. Но из окон, с балконов и крыш опять полетели гранаты, бутылки с горючей смесью, бомбы. Огонь вели мужчины и женщины. Дети заливали карателей кипятком, забрасывали их камнями и чем попало. И снова эсэсовцы вынуждены были бросать оружие, амуницию, бежать куда глаза глядят. На улицах валялись убитые и раненые фашисты. Невдалеке от первого взорванного танка горел другой, третий...

И снова повстанцы воспрянули духом.

Командир Мордухай Анелевич обратился ко всем жителям гетто с призывом включиться в борьбу. Бить врага чем попало. Стоять насмерть, мстить врагу за горе и кровь народа. Варшава затаив дыхание следила за тем, как фашистские батальоны топчутся у ворот гетто, бегут в панике, возят в госпитали раненых, вытаскивают из гетто трупы своих солдат и офицеров.

Всю ночь била артиллерия. А на следующее утро отряды карателей снова ворвались на улицы гетто. Но опять встретили ожесточенный огонь повстанцев и бежали.

Генерал Строоп приказал повстанцам немедленно сложить оружие, сдаться на милость властей. Он выслал парламентеров с белым флагом, предложил переговоры. Но штаб восстания ответил, что с палачами не будут вести никаких переговоров.

В небе показались самолеты. Они налетели на гетто и засыпали дома зажигательными и фугасными бомбами. Запылали дома. Дым охватил улицы, площади. Казалось, что теперь уже никакая сила не удержит повстанцев в домах.

Они сдадутся. Но люди переползали и перебирались на соседние крыши и оттуда стреляли и швыряли гранаты. В охваченных пожарами домах женщины, прижимая к груди своих детей, бросались с балконов, гибли в огне, но не сдавались.

Палачи решили за несколько часов покончить с повстанцами, разгромить гетто, пленить и отправить на смерть всех узников, но вот уже пошла вторая неделя. Третья. На улицах гетто бушевало пламя, дым стлался над всем районом. На исходе были гранаты, и бойцы пустили в ход топоры, булыжники.

А гетто все пылало. После каждого налета авиации вспыхивали все новые и новые пожары. Каратели снова и снова врывались в подворотни, в квартиры, но на них нападали обессиленные люди, вцеплялись в их мундиры и вместе с ними бросались с верхних этажей на тротуар и разбивались насмерть.

И вот Рута привела нас к небольшому холму, где осталась часть стены вместо дома и название бывшей улицы и номер — улица Милла, № 18. Здесь был бункер главного штаба восстания. Здесь находился командир восстания Мордухай Анелевич с его боевыми командирами и связными, которых он то и дело отправлял в разные районы гетто, подбрасывал подкрепления, боеприпасы, оружие.

Шел двадцатый день богатырской битвы безоружных, измученных людей с гитлеровской армией. Вместо улиц остались обломки стен, руины. И среди этих руин продолжалась борьба.

Но вот каратели напали на след бункера штаба. Сотни автоматчиков, броневики и танки окружили эту крепость. Предложили сдать оружие. Но Анелевич со своими боевыми друзьями ответили залпами. Из бункера полетели гранаты. И тогда палачи пустили в бункер газ. Надеялись, что теперь штаб и командир восстания сдадутся на суд врага. Но тщетно. Израсходовав все боеприпасы, опасаясь попасть в лапы карателей, ребята покончили с собой, а многие задохнулись от газа. Несколько человек успело вырваться из этого бункера по запасному подземному ходу. Среди них была Рута. В те минуты двадцатилетняя героиня поседела...

Сорок один день продолжалась битва в гетто. Сорок один день богатыри повстанцы сражались и никто не сдавался живым, никто не капитулировал.

Многие вырывались из гетто, пробрались через подземные ходы и канализационные трубы на улицы Варшавы.

Оттуда они тайком уходили в лес, к партизанам. И придя в себя, залечив свои раны, снова мстили врагу вместе с польскими партизанами.

Милая Рута! Несколько часов она нас водила по развалинам, и перед нашими глазами встала вся трагическая и боевая история восстания Варшавского гетто.

Об этом, наверно, напишут книги, снимут кинофильмы, а имена богатырей, которые поднялись в бой против кровавой банды Гитлера, войдут навсегда в историю...

Вот, дорогие мои, я вам рассказал все, что я узнал и увидел в разбитой, сожженной, измученной Варшаве. Это каждый должен знать, а перед теми героями надо снимать шапку. Они, правда, погибли, но отомстили за свой народ и за все народы, которые попали в фашистское рабство.

Я, дорогие мои, спешил. Разве в одном письме все опишешь? Об этом еще напишут книги. Но коль вы просите, чтобы я написал что-нибудь для вашей школы — учительница ваша просит, — так я вам пока это написал. И пусть ваша учительница расскажет об этом всем своим ученикам и знакомым. Все это должны знать...

На этом кончаю свое письмо, дорогая моя жена и дорогие дети.

Передайте привет всем соседям и Овруцкому в отдельности. Привет вам фронтовой и сердечный от всех наших бойцов и младших командиров. А от Саши особый вам привет и поцелуй. Ваш отец и муж Шая Спивак».

Глава тридцать четвертая

НА ЧУЖБИНЕ

Шмаю разбудил сильный грохот обозов и топот солдатских сапог, доносившиеся сюда, в госпиталь, с площади чужого неприветливого города.

Глубокая ночь. С голубых стен, освещенных призрачным сиянием луны, на него неласково глядели портреты средневековых рыцарей в тяжелых доспехах, скалили клыки чучела диких кабанов и волков, угрожающе были направлены на него из ниш и со стен ветвистые рога оленей... Тут и там стояли бронзовые статуи, белели фанерные дощечки, на которых были вырезаны изречения из священного писания и евангелия о честном служении богу, о любви к ближнему, добропорядочности и о

многом другом, чего у хозяев этого старинного прусского замка и их наследников из Третьего рейха давно не было и в помине.

При скудном свете месяца это полукруглое здание, напоминающее мрачный храм, выглядело таким чужим и неправдоподобным, что Шмае казалось, будто все это ему только мерещится.

Было нестерпимо душно. Раненые ворочались на своих койках и стонали. В другом конце необычной палаты кто-то кричал во сне: «Вперед! Огонь! Танки!»

Уж которую ночь Шмая-разбойник находится в этом временном госпитале!.. А до сих пор не может привыкнуть к этим оленям, кабанам и мрачным статуям, торчащим повсюду. Стоит ему сомкнуть глаза, как он видит битву на Одере, форсирование этой реки с ее рукавами, болотами, зарослями. Вот он плывет на одном плоту с Борисюком, Дубасовым, Никитой Осиповым, придерживая пушку, чтоб не свалилась в воду, а на них пикируют бомбардировщики... Вот они, раненые, мокрые, выкарабкиваются на берег. Навстречу им бегут сын Саша и Вася Рогов. Они помогают вытаскивать пушку на берег, а его укладывают на носилки и бегут с ним в ложину, прячась от града вражеских пуль...

Сын ранен, Борисюк ранен и остались в строю, а его насильно отправили в санроту, а там уже рады стараться — отвезли его в этот госпиталь, чтоб он провалился со своими рогами и копытами! Отвезли... И когда? Когда победа уже так близка, когда, наконец, настал грозный час расплаты... Теперь уже никакой черт не остановит наши наступающие армии. Как горько в такое время быть вдали от своих хлопцев!.. Так некстати он вышел из строя и очутился в разбитом немецком городке, где чудом уцелел этот прусский замок, куда редко заглядывает луч солнца. Такой большой и мучительный путь прошел со своим полком, столько горя хлебнул, и вот теперь, когда, как говорится, только бы жить, драться и мстить врагу, он прикован к госпитальной койке, вынужден валяться здесь, на чужбине, в этом душном замке, мрачном, как сама смерть.

Как ему все здесь осточертело! Кажется, раны уже немного зажили, он уже мог бы кое-как передвигаться при помощи костыля или палки. Надо отправиться искать свой полк!.. Но как найти его в этом людском водовороте?..

Сквозь распахнутые окна, завешанные одеялами и плащ-палатками, доносится грохот обозов, шум марширующих колонн, гул моторов и задушевная солдатская песня.

Хорошо ребята поют!.. А песня-то какая!.. За душу берет: «Я тоскую по Родине, по родной стороне...»

Поют... А в первые месяцы войны не слышно было, чтоб солдаты пели. И не смеялись они. Шуток тоже мало-вато слышно было. Теперь настали иные времена. Смеются бойцы...

А колонны все идут и идут, и нет им ни конца, ни краю.

Казалось, вся Советская страна поднялась в своем священном гневе и неудержимым потоком устремилась на запад. Подумать только, сколько километров уже отмахали они от родного дома! Какая даль!.. Бои откатываются к самым стенам Берлина. Никто, кажется, не чувствует теперь усталости, не знает ни сна, ни отдыха.

Песня звучит на площади. Слышен солдатский хохот. Хорошая примета!

И досада разбирает Шмаю-разбойника. Он тут, в госпитале, а самые значительные дела совершаются где-то там, впереди, и все без его участия...

Лежит, забинтованный, а медсестры, врачи нянчатся с ним, как с маленьким, шагу не дают ступить, совсем как в добрые мирные времена.

Нет, здешний воздух ему не подходит! Все здесь давит, все чужое, если не считать соседей по палате и заботливых сестер, врачей. Все эти статуи, огромные картины на голубых стенах, пропитанные нафталином медвежьи и волчьи шкуры — охотничьи трофеи дедов и прадедов бывшего хозяина этого каменного гроба, — резные потолки, таблички с изречениями наводят на кровельщика смертную тоску...

Он никогда себе не простит, если конец войны застанет его здесь, на госпитальной койке. Он уже несколько раз за эту войну побывал на ремонте у врачей, но кто не знает, что, когда весело на душе, раны скорее заживают? И желание быть со всеми рядом в последние дни войны, жажда мести за погибших боевых друзей, пожалуй, самый лучший лекарь!..

Еще недавно Шмая мечтал о чистой постели. Добраться бы до нее, упасть на мягкие подушки и спать подряд пять суток, десять, двадцать, отоспаться за всю войну!..

И вот он валяется на койке, ночи напролет мучится, никак не может заснуть. А в голову лезут только мрачные мысли. Не случилось ли чего с сыном, с Сашей? После того как Шмаю ранило при форсировании Одера и его отвезли в госпиталь, сын приезжал к нему на полчаса, пообещал еще заехать, написать письмо... Да вот столько времени

уже прошло с тех пор, а от сына ни словечка! Верно, очень занят — не до отца ему теперь. И могли бы проведать его Вася Рогов, лейтенант Борисюк, Дубасов... Могли ведь черкнуть несколько слов, намекнуть, где они теперь находятся...

Раненых привозят каждый день, и они рассказывают о больших боях на дальних подступах к Берлину. Корпус генерала Дубравина часто упоминается в приказах главнокомандующего. Москва чуть ли не ежедневно салютует. Стало быть, части генерала в самом пекле?.. А живы ли ребята?.. Гитлеровцы, чуя свою неизбежную гибель, будут крепко обороняться. Немало хороших людей ляжет за этот трижды проклятый Берлин, который принес миру столько несчастий, горя, слез...

Все новые и новые мысли приходят в голову. А до слуха доносится все тот же твердый солдатский шаг, гул моторов, ржание коней, движущихся на запад.

Ныли раны, кружилась голова, но Шмая тихонько, чтобы не разбудить соседей, слез со своей койки, надел шлепанцы, накинул на плечи неуклюжий больничный халат, взял в углу палку и, хромя, подошел к большому окну. Приподняв край одеяла, он увидел, как по шоссе бесконечным потоком движутся войска.

Кто-то бормотал, бредил во сне. Шмая оглянулся. В углу, на диване, поджав под себя ноги, спала дежурная сестра. Бедная, сколько ей приходится терпеть от раненых!.. Попробуй каждому угодить! День и ночь на ногах... И Шмая бросил на нее ласковый взгляд, тихонько прошел мимо, выскользнул из палаты и спустился по лестнице.

На улице свежий ветерок подхватил полы его халата, освежил волосатую грудь, взъерошил волосы на голове.

Прислонившись спиной к железной ограде, старый солдат восхищенным взглядом смотрел на усталых бойцов, шагавших за подводами и повозками.

Может быть, где-то в этих колоннах движется и его часть, его боевые друзья? Но как спросить? Разве кто-нибудь тебе ответит, какие части идут и куда держат путь? Посмотрят на тебя как на чудака или невесть что о тебе подумают...

Он подошел к краю тротуара, всматриваясь в лица солдат. Может, на счастье, он и встретит кого-нибудь из знакомых — мало ли что бывает на военных дорогах!

Да, как на грех, ни одного знакомого лица. Все молодые, безусые ребята, должно быть, новички, которые еще пороку не нюхали.

Но как Шмая ни сдерживал себя, чтобы не попасть впро-
сак, все же остановил молодого солдата, который шел, дер-
жась за задок доверху нагруженной повозки, и чуть при-
храмывал на одну ногу:

— Эй, казак! На буксире уже ходишь?.. Что, раненый?..

— Да нет, папаша,— махнул тот рукой, отстал от воза
и, остановившись, пристально взглянул на человека в хала-
те,— то я себе ногу натер...

Шмая грустно улыбнулся, но тут же спохватился и уку-
ризованно покачал головой:

— А куда твой старшина смотрит? Верно, шляпа он,
твой старшина! Как же он не научил тебя портянку нама-
тывать?.. Какой же это солдат с натертыми ногами? На
войне, в походе, натереть ногу по своей глупости — все рав-
но, что получить в атаке ранение в то место, на котором
сидишь, извиняюсь за выражение... Вот у меня был когда-то
ротный, Дубравин по фамилии... Он за такие дела нас не
миловал... А сейчас он корпусом командует, большой гене-
рал. Верно, читал в приказах?.. И я ему всю жизнь благо-
дарен, что он нам за такие вещи спуска не давал...

Солдатик, на круглом, почти детском лице которого про-
бывался первый пушок, смущенно смотрел на словоохотли-
вого человека в больничном халате, не зная, что ответить,
и хотел было уйти. Но Шмая задержал его:

— Не обижайся на меня, сынок... Может, закурим?
Я такой же солдат, как и ты, да вот видишь, брат, стук-
нуло меня на Оudere, и вроде отлеживаюсь на госпитальных
харчах... Так что ж, закурим?

— Чего ж, закурить можно...— срывающимся баском.
стараясь казаться солиднее, сказал солдатик, перебрасывая
автомат за плечо.

Прислонившись к чугунному столбу, он достал из кар-
мана коробку, вынул две толстые сигары, откусил у одной
кончик и взял ее в рот, вторую сигару учтиво протянул
«папаше» и, взглянув на его перевязки, спросил:

— Что, крепко тебя, папаша, стукнуло? На Оudere, го-
воришь?.. Возьми закури... Легче на душе будет. Вот ле-
зут мне в голову глупые мысли, а закурю, все как рукой
сняло... У тебя, папаша, тоже так бывает?..

— Ясное дело!..— ответил Шмая и, с пренебрежени-
ем взглянув на толстую сигару, поморщился.— А что это
ты куришь? Трофейными меня угощаешь? Откровенно ска-
жу, сынок, этих лопухов я не уважаю, не курю...

— Почему?

— Эрзац! Капуста!.. Разве не знаешь, что в ихнем рейхе за что ни возьмись, все эрзац... И душа у них тоже эрзац. Фашисты так воспитали... Давай-ка лучше закурим свою отечественную махорочку, прилукскую. Без обмана и без дураков...

Парень неохотно сунул в карман сигару и стал свертывать самокрутку, набрав табачка из самодельного алюминиевого портсигара разговорчивого усаца. По тому, как неуклюже это у парня получалось, Шмая понял, что он не из больших курильщиков, курит только для солидности.

Справившись, наконец, с самокруткой, солдатик достал из кармана зажигалку, чиркнул раз, другой, третий. Появилось нечто, похожее на искру, но огня не было.

— Что, тоже трофейная? — подмигнул Шмая, глядя на расстроенного парня.

— Да, вроде... Красивая, с фокусами разными, а вот часто отказывает, — смущенно улыбнулся тот. — А бросить жалко...

— Да, вижу, тоже эрзац... Смело можешь выбросить. Никуда она не годится! — И кровельщик достал свою зажигалку, которую он смастерил из гильзы патрона. Слегка повернул толстым пальцем колесико, и машинка сразу сработала на славу — выбросила яркий язычок пламени. — Видал, сынок, собственная, отечественная!..

Паренек украдкой спрятал свою трофейную игрушку, чувствуя себя почему-то неловко перед этим добродушным человеком в халате, затянувшись сигаркой и, кивнув в сторону мрачного замка, спросил:

— Госпиталь?..

— Ага, — махнул Шмая рукой. — Надоел хуже горькой редьки... Ведь дела какие пошли у нас.

— А ты, папаша, что же там делаешь? Служишь в санитарах?

— К теще в гости приехал!.. На пироги с маком!.. — неласково ответил Шмая. — Не видишь, что ли, на ремонт привезли... Ранило меня...

— Да... Загораешь, значит? — сильно закашлявшись, усмехнулся парень, сбросил сапог и стал перематывать портянку. — Видно, ты из стройбатальона, дороги чинишь?..

Шмая сердито посмотрел на улыбающегося собеседника:

— А ты полегче!.. Не положено так разговаривать солдату с гвардии сержантом!.. Я старше тебя не только по

возрасту, но и по званию, понял?.. Молод еще... Маминно молоко на губах не обсохло...

— Зачем же так сердиться, папаша? — примирительным тоном отозвался смущенный солдатик. — Почему я мог знать ваше звание, когда на вас этот халат?.. Я не думал, что вы обидитесь на меня, — сразу перешел он на «вы».

— Меня не так легко обидеть, сам скорее другого обижу, — проговорил Шмая и, глядя, как тот натягивает сапог, спросил:

— Давно на фронте?

— Четвертый месяц...

— Та-ак... Четвертый месяц, говоришь?.. А мы вот четвертый год барабаним... И все на передовой... — не без гордости проговорил Шмая и, уставившись на парня, чуть снизил тон: — А далеко путь держишь, казак?

Парень смерил его лукавым взглядом с головы до ног. В глазах заискрилась хитринка: «На проверку берешь?..» — и, озорно улыбаясь, ответил:

— Отсюда не видать...

Старого солдата рассердили эти слова. Но ничего не скажешь, правильно парень поступает — хранит военную тайну, хоть Шмая не видел бы ничего плохого в том, если бы солдат сказал ему правду. Что ж, пришлось проглотить эту пилюлю. И после долгой паузы он миролюбиво промолвил:

— Ты, братец, перемотай портянку, как положено, а то, пока до Берлина добредешь, тебя на носилках нести придется... Передашь своему старшине от моего имени, чтоб он сперва научил тебя портянки наматывать, а потом пусть уж автомат дает в руки и на передовую отправляет...

— А вы не беспокойтесь за меня! — с обидой отозвался парнишка. — И моего старшину вам учить нечего...

— Ого, а я не думал, что ты умеешь сердиться... Такой молодой, а норовистый!.. Ну, ладно, не будем ссориться, сынок. Так куда ж все-таки путь держите?

Круглое, лоснящееся от пота лицо молодого солдата расплылось в улыбке: мол, все равно не проведете меня, ничего я вам не скажу.

— На слове меня хотите поймать, а потом старшину ругать начнете, что не научил соблюдать устав? Нет, дела не будет!.. Каждый должен знать только то, что ему положено...

С трудом натянув сапог, он продолжал с той же улыбкой:

— А если охота есть, скидайте халат и идите с нами...

Скоро ка-а-ак рубанем по ихнему Берлину, только щепки полетят... Видали, какая сила туда движется?... Дадим немцу прикурить!..

Он поправил на плече автомат, сдвинул на затылок пилотку и, похлопав Шмаю по плечу, весело сказал:

— Ну что ж, папаша, простите, товарищ гвардии сержант, не пойдете, значит, с нами? Ну, бывайте здоровы!

И помчался догонять своих.

— Ах, ты... — выругался в сердцах Шмая-разбойник. — Молодой, а ранний. С норовом!..

И, огорченный, поплелся обратно в госпиталь.

Движение за окном немного утихло. Шмая снял халат, бросил его на спинку койки и лег. Закрыв глаза, думая хоть на часок уснуть, но вскоре снова слышался рокот моторов. На полном ходу по городской площади мчалась колонна грузовиков, и старинный замок содрогался от грохота.

Шмая снова поднялся и подошел к окну, выглянул на площадь. И опять — колонны, обозы. Сколько их!..

Кто-то тронул его за рукав и прошептал над ухом:

— Больной, слышите, товарищ больной, немедленно спать!.. Не нарушайте, пожалуйста... Давайте, давайте...

Он оглянулся и увидел дежурную медсестру, маленькую, кругленькую, как кадушка, девушку с огромной копной светлых волос, собранных под белой марлевой косынкой. Она, приподнявшись на цыпочки, старалась увидеть, что делается на площади.

— Прошу вас, больной, ложитесь... Дежурный врач проснетса, обоим нам попадет... Заслуженный человек, а нарушаете... Как вам не стыдно!

Ее круглое личико со вздернутым носиком было смешным, хоть девушка и думала, что вид у нее сейчас очень грозный.

— Отстань хоть ты от меня, добром прошу! Я зол, как сто чертей... Не мучь меня, барышня...

— Тут барышень нет, товарищ гвардии сержант! — обиженно оборвала она его. — Старый солдат, а не знаете...

— Ну, ладно, товарищ младший сержант... — миролюбиво бросил он.

— Вот это другое дело! — заулыбалась сестра и сразу подобрела.

Потом подпрыгнула, села на подоконник и, высунувшись в окно, смотрела на движущиеся колонны.

— Вот здорово! Всю ночь идут и идут. Скоро четыре гда, как воюем, а силенок у нас столько, будто вчера нача-

ли воевать... Как вы думаете, скоро наши ребята возьмут Берлин? Скорее б, а то уж надоело...— скривилась она, и ее вздернутый носик сморщился.— А верно, интересно быть сейчас там, под Берлином?.. Исторические дни... А еще интереснее: кто над рейхстагом знамя победы поднимет? Может, знакомый какой?.. Наверно, в кино его будут показывать и Золотую Звездочку прицепят...

Шмаю ее слова еще больше расстроили. В самом деле, неужели для него война закончится так глупо и он даже издали не увидит этот Берлин, не встретит своих друзей, сына? Они, наверное, где-то там...

— Вы, больной, не в курсе дела, куда все эти войска идут? — не отставала от него назойливая толстуха в белом халате.

— Как это — куда? Куда надо, туда и идут!.. — неласково ответил Шмаю и отошел от окна.

— А я вам, если хотите знать, скажу, куда они движутся... Тут мне один капитан на днях рассказывал... А он в штабе работает, все знает,— таинственно произнесла она.— Готовится последний удар по Берлину!..

— А ты, дорогая, прикуси язычок!.. И капитан твой болтун, раз он о таких вещах бабам рассказывает...

— Не баба!.. И не выражайтесь! Стыдно вам!..— сердито проговорила она, но заметив, что молодые солдаты, едущие на машинах, машут ей руками, пилотками и что-то кричат, совсем забыла о своем дерзком подопечном.

— Эх, дела, дела! — удрученно сказала она, когда проехала последняя машина. И, поудобнее устроившись на подоконнике, повернулась к Шмае лицом: — Хотели меня зачислить в команду зенитчиц, связисток, а я, дура, пошла в сестры... И теперь пальцы себе кусаю... Солдаты идут вперед, весело там, а ты сиди возле раненых... Скучно, прямо пропадают... Была бы зенитчицей, наверное, стояла бы уже под Берлином. А так — ни с места... И начальница у нас очень вредная... Старая дева, замуж никогда не выходила. Увидит, что с кем-нибудь стоишь, она и злится. Не понимает, что у девушки могут быть чувства. «Оставьте,— говорит она,— эти чувства на послевоенный период...» Вот она у нас какая! Будто в монастыре живем... Знаете, уезжал один летчик, старший лейтенант... Хороший такой парень. И голос у него совсем как у Лемешева... Намучились мы с ним, пока поставили его на ноги... Ну, выписываем его, я подаю ему одежду, а он, озорной, возьми да и поцелуй меня на прощанье... А в это время как раз и вылезает наша

начальница... Вся вскипела, шум подняла... «Как вам,— говорит,— не стыдно, младший сержант Смирнова? Плохой пример подаете раненым! Разве не знаете, что целоваться — это негигиенично?» И на старшего лейтенанта накинута, пригрозила написать на него рапорт. Ну, скажете, не ведьма?

Шмая смотрел на болтливую сестру, но слушал ее рассеянно. С этой девушкой он любил поболтать, когда он был прикован к койке и она подсаживалась к нему, но теперь голова его была занята совсем другим. Ведь не только от сына нет вестей, нет писем из дому. Правда, не так-то просто их ему сейчас получить. Ведь Рейзл, верно, пишет в часть. Не станет же он каждый раз, когда попадает на ремонт, сообщать об этом жене! Она женщина нервная, будет волноваться, думать бог знает что. Вот придет он домой, если, конечно, суждено будет, тогда уже расскажет обо всем сразу...

А девушка все тараторила, ругая свою начальницу, которая не дает голову поднять.

— Очень мне обидно, товарищ Спивак,— продолжала она.— Все спешат теперь к Берлину, а нам с вами приходится сидеть здесь, в этом противном немецком замке, и изнывать от тоски...

Эти слова окончательно вывели Шмаю из равновесия, и он сказал:

— Тебе, курносая, самим господом богом предписано в палатах сидеть и докучать раненым клизмами да порошками, а я всю войну на передовой был, у орудия... Вот и тошно мне в такое время торчать тут и слушать о том, как твоя начальница не дает тебе с хлопцами целоваться...

— Тише, больной, вам нельзя нервничать... И не говорите так громко... Еще больных разбудите. Обоим нам нагорит...

— Ладно!.. Постараюсь потише,— уже спокойнее проговорил он, прошелся по палате и, глядя в упор на девушку, решительно сказал:

— Знаешь, о чем я попрошу тебя? Принеси-ка мне мою одежду...

— Это еще что за новости?

— Мне нужно мое обмундирование... Я приказываю тебе!..

— Вы, больной, не имеете права мне приказывать! — оборвала она его.— И я не обязана выполнять все, что боль-

ным взбредет в голову... Идите, пожалуйста, спать. И не нервничайте...

— А почему ты так разговариваешь со старшим по званию?

— Тут сейчас я самая старшая!.. Мне что солдат, что генерал, все равно! Все вы у меня больные, и я должна вас лечить... Честное слово, как маленькие дети... Еще хуже!

— Так ты что ж, не отдашь мне мою одежду?

— Не дам! И не просите!.. Когда вас выпишут, тогда все получите. Ложитесь... И, пожалуйста, без лишних разговоров...

Шмая хотел было уже поссориться с девушкой, но в эту минуту почувствовал, что кто-то тянется к его рукаву. Он увидел, что сосед по койке подавал ему знаки: мол, не стоит волноваться, пусть сестра только выйдет в другую палату, тогда что-нибудь сообразим... Нужна только солдатская смекалка...

Не прошло и получаса, как Шмая, собрав под подушками у соседей у кого гимнастерку, у кого брюки, у кого пилотку, сапоги, выбрался из госпиталя на площадь.

Людской поток сразу же поглотил его.

Конечно, трудно сказать, чтоб наш беглец в своем новом наряде имел очень воинственный вид. Гимнастерка на нем висела мешком. К тому же не хватало пуговиц, а пилотка так выглядела, словно ее целую неделю корова жевала. Шинель — без хлястика, и она была измазана мазутом. Прохожие смотрели на старого солдата с нескрываемым удивлением, мол, откуда такой взялся на фронте?..

Но этого он старался не замечать. Он решил любой ценой добраться в свою часть, к своим ребятам, а там ему — море по колено!

А то, что на него такими глазами смотрят — пусть! Это его ничуть не трогает. Не в гости собирается к теще на блины, а на фронт.

Опираясь на суковатую палку, Шмая-разбойник ковылял по обочине дороги, присматриваясь к разрушенным, разбитым и брошенным домам, к пустынным, безлюдным улицам и улочкам незнакомого, чужого городка.

Тут и там еще извивались над домами с черепичными крышами клубы дыма, языки пламени. Но никому не было дела до этого — пусть горит! Жители этого городка, видно, недавно бросили его, погрузив свои котомки с вещами на тачки, детские коляски, фургоны, и двинулись подальше от войны...

Когда старый солдат выбрался на околицу, он увидел толпы беженцев, многие что-то искали среди развалин. Заметив его, мужчины по-военному выпрямились, льстиво кланялись, дрожа от страха. Он сердито смотрел на них, не отвечая на приветствия. Некоторые, сторонясь, бубнили «Гитлер капут», «Русс зольдат кароший...»

— «Русски зольдат гут...» — бормочут матери, которые породили палачей,— «карошие люди»... Конечно, карошие! Они на такие страшные дела не способны. И если они мстят, то на поле боя...

Шмая глядел на толпы беженцев, на бездомных, и ему трудно было угадать, где мать того палача, который швырял детей в газовые камеры Освенцима и Тремблинки, где отец того садиста, который из пулемета расстреливал десятки тысяч стариков, женщин, детей в Бабьем яру, под Киевом, где родители тех, кто ворвался в его колонию «Тихая балка» и сжег ее дотла...

Хорошо хоть, что он дожил до этих дней и видит толпы беженцев здесь, недалеко от Берлина. Пусть они тоже хоть немного почувствуют, что значит война, может, закажут детям и внукам больше не воевать с советским народом...

Погруженный в свои думы, Шмая шагал, опираясь на палку. Он должен еще добраться к Берлину, где идут последние бои с фашистами. Там его ждут друзья, сын... В такие дни он не может быть далеко от них.

Вот он свернул в сторону, вышел на соседнюю улицу. Снова навстречу движутся беженцы пешком и на фургонах, повозках. Ему уступают учтиво дорогу, низко кланяются, снимают фуражки, шляпы, бормочут слова приветствий.

На фургонах прикреплены белые флажки. У мужчин на рукавах белые повязки. Капитуляция... Больше войны не хотят... Насытились...

Шмая направился на широкую улицу, по которой проносились машины с бойцами. Здесь царило необычное оживление. Ребята пели знакомые и любимые песни, смеялись, играли на гармошках. Хорошо, что ребята поют! Пусть немцы слышат, что начался праздник на нашей улице, что не так долго осталось ждать конца войны. Она, наверно, кончится там, в Берлине. Но он понимал, что там еще будут жестокие бои. Издыхающий зверь так просто не захочет сдохнуть. У него еще крепкие клыки...

Усатый ковыляющий солдат в расстегнутой шинели, опираясь на палку, ускорил шаг. Надо добраться до контроль-

но-пропускного пункта, и там регулировщицы остановят машину и отправят его туда, куда он спешит.

И в самом деле, на перекрестке, что на широкой автостраде, он увидел молодую, полненькую, как кубышка, краснощекую девчонку в шинели с ефрейторскими лычками на погонах. Несколько неуклюжей ее делала длинная шинель не по росту. На него глянули большие зеленоватые и удивленные глаза.

— Папаша, осторожно, не видите, машины идут!.. — кивнула она на колонну грузовиков, приближавшуюся к перекрестку.

Регулировщица постаралась сделать серьезное лицо. Но ребята, сидевшие на машинах, махали ей рукой, кричали: «Привет, курносая!» И она все же не могла удержаться, чтоб не показать им язычок и не крикнуть вслед: «Сами курносые!» — «Марусенька, приезжай к нам в гости, в Берлин!» — «Спасибо, приеду, только скорее возьмите его!» — отвечала она.

Когда немного затихло движение и автострада очистилась от машин, девчонка снова взглянула на усатого солдата:

— А вы, папаша, куда ковыляете?

— Я тебе не папаша, а гвардии сержант!.. — бросил он.

— А мне откуда это известно? Что я, гадалка? — стараясь выглядеть строгой, оборвала она его. — По погонам я ничего не вижу...

Лишь теперь он спохватился, что погоны у него совершенно лысые, солдатские.

А она все еще продолжала пристально смотреть на него. Чувствуя за собой власть — кто же старше ее на этой дороге, кроме, может, еще двух девчат с автоматами, которые сидят там в сторонке, в небольшой будке, — кинула ему:

— Откуда вы такой?..

— Какой же? — уставился он на нее.

— Ну, не бритый, не стриженный и одеты не по форме... С палкой... Без хлястика...

— А тебе что? Я фронтовик, а не щеголь какой!..

— Находитесь, папаша, в Европе, и вся Европа нынче на нас будет смотреть. Надо, значит, чтобы форма была соответствующая. Прямо неудобно так...

— Не указывай мне! Молода еще! — сердито оборвал он ее. — Ты вот останови попутную машину и посади меня. Мне нужно в хозяйство генерала Дубравина...

Она рассмеялась:

— Никуда я вас не отправлю... Откуда я знаю, кто вы такой? Предъявите документы...

Он замялся. В самом деле, никаких документов у него нет. Все осталось в госпитале...

— Какой же ты начальник, кто дал тебе право проверять документы?.. Я гвардии сержант... Добираюсь в свою часть... Твое дело махать флажками... И все... Я добираюсь...

— Так не добираются! И без документов я вас никуда не отправлю... Тут прифронтовая полоса, а не место для прогулок...

Она отошла в сторонку, поправляя русые волосы, которые выбивались из-под пилотки. Девушка начала напевать:

На позицию девушка
Провожала бойца.
Темной ночью простились...

Он понял, что с ней нельзя ссориться, и усмехнулся:

— Послушай, дочка, голосок у тебя какой звонкий... Тебе бы в опере петь или в ансамбле пляски, а не стоять здесь с флажками...

— А это вас не касается! Я военнотружущая, и куда меня послали, там я несущ службу.— И продолжала:

А пока за туманами видеть мог паренек,
На окошке у девушки все горел огонек...

— Так что же, не остановишь машину?..

— Сколько можно повторять? Нет!.. Вы и на военного не похожи...

— А ты похожа? Хотя бы косички спрятала... Я четыре года на фронте, а ты мне указываешь. Да у меня столько ран, сколько тебе лет... И я из госпиталя...

— Тем более должен быть документ... И из госпиталя в такой одежде не выпускают... Приказ есть — выдавать новое обмундирование. А если четыре года на фронте, то должны знать...

Она стала поправлять шинель, расстегнула крючок и невзначай поправила на гимнастерке новенькую медаль «За отвагу», мол, не думай, что имеешь дело с девчонкой. Есть, дескать, боевая награда...

— А ты не хвастай!..

— Я не хвастаю,— гордо ответила она,— а между прочим, меня представили еще к Звездочке. Говорите, что четыре года на фронте? Как же за четыре года ни одной награды не заслужили?..

— Как ты со мной разговариваешь? Ты, вижу, только с одним лычком, а я — гвардии сержант!.. А что касается наград, то у меня орден Славы, Красная Звезда, Отечественная война первой степени, две медали и к тому же Боевое Знамя. Еще от Фрунзе получил, под Перекопом. Ты еще на свете тогда не была!.. В школе тебя учили, кто такой был Михаил Васильевич Фрунзе? А генерал Дубравин был моим ротным... А ты со мной вступаешь в пререкания...

— Вы, папаша, не обижайтесь... Никаких наград не вижу на вашей гимнастерке... — уже учтивее ответила она, — а на слово не могу вам поверить... Прифронтовая полоса, сами должны понимать, что бдительность у нас — это закон... Позову старшую, поговорите с ней, а я не имею права... Отправляю вас, а на следующем КП вас снимут, и мне еще нагорит, что без документов...

Шмая-разбойник не дал ей вызвать старшую. Надо было самому решить, как быть. В самом деле, все осталось в госпитале. Документы, ордена, медали, обмундирование, и он одет — курам на смех. Иди докажи, кто ты такой... И кто еще знает, на кого он может в пути напороться? Нет, уж, пожалуй, раз не повезло, надо возвращаться в госпиталь. Можно здесь попасть впросак. Правда, над ним там, в госпитале, посмеются, да начальство госпиталя будет ругаться. Но это не так страшно. Такая девчурка его отчитала, научила уму-разуму, а нечем было крыть. Она права.

— Дочка, прости, товарищ ефрейтор, — мягко проговорил он, — так что же ты мне советуешь, отправиться в госпиталь за документами и наградами?

— А как же! — обрадовалась она, что он уже на нее не сердится. — Конечно! И обмундировку получите новую, бумаги и сухой паек. Все, что положено. Все же вы не дома, а в прифронтовой полосе, к тому же в центре Европы. Вся Европа нынче на нас смотрит и шапку снимает. Что вы, шутите? Скоро наши Берлин возьмут и войне капут! Поняли?

— Понял... — пробурчал он, — яйца кур учат... Будь здорова, русаявая!...

— Счастливого, папаша! — просияла она. — Только не надо на меня обижаться...

— Ну, ладно. Пойду обратно в госпиталь...

— Так бы сразу сделали... Но постойте, сейчас будет машина, я вас туда отправлю... До госпиталя далеко, и вы, вижу, еще здорово хромаете...

Скоро подкатила машина. Из кабинки выглянул уса-

тый черномазый шофер, озорно кивнул девчонке, махнул ей рукой, а она сурово подняла красный флажок, подошла к шоферу, откозырнула, как положено, и сказала:

— Товарищ водитель, отвезите гвардии сержанта в госпиталь...

— Чего же, это можно! — кинул тот, почесав затылок. — А я, грешным делом, подумал, что ты, красавица, хочешь со мной прокатиться.

— Непременно прокатимся! — блеснула она большими зеленоватыми глазами. — Только после войны. Непременно с тобой прокатимся... А пока не болтай лишнего, езжайте! Счастливого!..

Она открыла дверцу кабинки и помогла усатому солдату сесть рядом с шофером.

Шмая-разбойник кивнул ей, и машина покатила.

Только через неделю с большим трудом удалось Шмае выписаться из госпиталя, получить документы, награды, обмундирование и пуститься на поиски своей части. Он точно не знал, где она находится, но сердце ему подсказывало, что корпус должен быть где-то на Берлинском направлении.

Глава тридцать пятая

ПУТЬ К БРАНДЕНБУРГСКИМ ВОРОТАМ

Он встречал их на запутанных дорогах Германии в разных позах, но больше всего с поднятыми руками и разинутыми ртами, со страхом в глазах. Они неистово орали вместо «Хайль Гитлер!» — «Гитлер капут!». Вместо «Дойчланд юбер аллес!» — «Капитуляция!».

Он видал их, только что выкарабкавшихся из-под развалин, из мрачных подвалов, из канализационных колодцев и очумевших от грохота пушек, танков, самолетов, жалобно умолявших: «Пощадите! Не стреляйте, сдаемся в плен! Капитулируем!»

Он видел живых и мертвых, чистых, получистых и просто грязных арийцев, откормленных, как свиньи, и худых, высохших, словно их только что выкопали из могил, совсем не похожих на тех «чистокровных арийцев», которые самодовольно улыбались с обложек иллюстрированных журналов Третьего рейха. И каждый раз, встречая их, Шмая-разбойник вспо-

минал обер-ефрейтора Вильгельма Шинделя и толстяка ефрейтора из лагеря, которые так надругались над ним и его друзьями в далекой донецкой степи... Что же теперь осталось от этих гитлеровских ефрейторов!..

Долго пришлось нашему разбойнику шагать и колесить на попутных машинах и подводах по незнакомым дорогам, пробиваясь к своей части.

Дело усложнялось тем, что на каждом шагу его останавливали патрули, допытываясь, куда едет, почему отбился от своих. Вот и приходилось изъясняться. А тут еще раны давали себя знать. Все труднее становилось двигаться, превозмогать ноющую боль.

Но тучи советских бомбардировщиков и штурмовиков, которые шли на Берлин, казалось, придавали ему новые силы. Он смотрел на запад. Там, сквозь облака дыма и пламени, виднелись шпили Берлина.

И хоть наш разбойник никогда не радовался чужому горю, сейчас он от души был доволен, видя, что этот город испытывает на своей шкуре все ужасы войны. Это заслуженное возмездие!..

Весна расстилала по земле зеленый ковер, и только чернеющие на каждом шагу воронки от снарядов и бомб нарушали его красу. Густой черный дым, обволакивающий поля, чем-то напоминал предутренний туман в глубоком ущелье. На деревьях, израненных осколками и пулями, распускались почки. Но небо не было весенним — в нем отражались бушующие над городом пожары.

День уже был на исходе, когда в одном из садов на окраине города под изувеченными деревьями Шмая набрел на второй эшелон своей дивизии.

Его окружили знакомые солдаты, стали расспрашивать, где был и что слышно в тылу. Накормили, поднесли чарку, и старый солдат сразу приободрился, стал шутить и рассказывать о том, как он поссорился с толстушкой медсестрой. Увлечшись своим рассказом, он и не заметил, что люди не смеялись, как обычно, слушая его рассказ, и смотрели на него с участием.

Узнав, какая подвода идет на участок его полка, он пригнулся к ней, поехал. Ездовой, пожилой, с виду угрюмый солдат, стал его осторожно уговаривать остаться пока во втором эшелоне. Как же он, такой слабый, сразу полезет в самое пекло? Мало ли что может случиться. Немец все

время контратакует, возможно, придется даже немного отойти, пока появятся штурмовики. Но Шмая ничего и слышать не хотел: вези, мол, ничего страшного не будет...

И ездовой умолк, с грустью посмотрел на него и закурил трубку.

— Да, зверюга, знает ведь, что уже издыхает, а сопротивляется,— пытался Шмая продолжать разговор. Но ездовой уже трудно было расшевелить.

Уже сгустились сумерки, когда они подъехали к узкому переулку, заваленному кирпичом и щебнем. Ездовой ткнул кнутовищем в сторону, где среди развалин виднелись орудия, которые били по высокому, изрешеченному снарядами дому.

Шмая осторожно слез с подводы и оглянулся. Жутко стало безоружному солдату среди развалин. На камнях тут и там валялись трупы в ненавистных серо-зеленых мундирах и черных касках. Улицы были засыпаны кирпичной пылью. Старый солдат старался не смотреть на них.

Но вот он увидел Сидора Дубасова, возившегося возле пушки, и ускорил шаг. Тот посмотрел на него как-то странно, будто даже не узнал. Потом вытер руки о полу куртки, подошел к нему, обнял:

— Вернулся, старина?..

Но тут же отвернулся, пряча от старого друга навернувшиеся на глаза слезы. Шмая хотел расспросить Сидора, но почему-то не отважился. Какой-то странный он сегодня, Дубасов! Столько времени не виделись, а он вроде и говорить не желает...

Но вот гостя уже увидели другие артиллеристы. Неторопливым шагом пошел ему навстречу с распростертыми объятиями Никита Осипов, поздравил его с возвращением, но и он был сегодня не такой, как обычно. Подходили и остальные артиллеристы, пожимали ему руку, но никто не шутил, не смеялся... И сердце подсказало недоброе старому солдату...

Почему ему ничего не говорят? Что скрывают от него?

Шмая просто не мог узнать товарищей. Он понимал, что все они безумно устали, прямо падают с ног. Шутка сказать, все время — непрерывные бои. Ни сна, ни отдыха. Да какой теперь может быть сон, какой отдых, когда они уже видят перед собой Берлин! Еще немного, и закончится самая тяжелая из всех войн. А это такое счастье для каждого солдата — завершить свой боевой путь у стен этого проклятого города!..

И он никак не мог понять, почему же все тут такие мрачные? Почему они молчат?

А может быть, каждый ждет, чтобы заговорил другой?..

Тяжелое предчувствие мучило Шмаю, и он спросил Осипова:

— Никита, а Никита, чего это все на меня смотрят, будто не узнают?..

Он хотел еще что-то спросить, но издали увидел Борисюка, который спешил сюда, перебираясь через развалины.

Командир дивизиона уже не был похож на того юнца, с которым Шмая встретился на берегу Волги в ту знаменательную зиму. Он возмужал, окреп, в каждом его движении чувствовался бывалый воин. И усы, отросшие для солидности, придавали его мальчишескому лицу важность боевого командира.

— Ты смотри, нашел нас! — просияло на мгновение лицо Ивана Борисюка. Он подбежал к Шмае, обнял его, поцеловал в колючую щеку. — Верно, сбежал из госпиталя?.. Я сразу понял... Но на что это похоже?

— А ты думал, что я в такое время буду сидеть там и глотать таблетки? Уж после долечусь...

— Напрасно ты это сделал... Сейчас подойдут подводы с боеприпасами, и я тебя отправлю во второй эшелон. Тут тебе пока нечего делать... Видишь, какая война пошла... Среди развалин... Куда тебе с больной ногой? Да и рука у тебя, вижу, покалечена. Ну зачем ты пришел?.. Все время контратакуют, гады. Ты нам только мешать будешь...

— До сих пор я, кажется, ни для кого не был обузой, — удрученно бросил обиженный кровельщик.

— Да что ты, папаша! Не понял ты меня, — стал его успокаивать Иван Борисюк. — Отдохнешь немного во втором эшелоне...

У Шмаи даже слезы выступили на глазах. С таким трудом нашел он их, добрался сюда и вот...

И почему Борисюк отошел от него, ничего больше не сказав? Почему все так смотрят на него и чего-то недоговаривают?..

Осипов не сводил со Шмаи глаз. Протянул ему табакерку, угощая табачком, и не знал, с чего начать. Парторг считал, что лучше уж сказать горькую правду, чем так мучить человека, и решил рассказать ему все, но в эту минуту ударила вражеская артиллерия. Снаряды засвистели где-то совсем близко, и артиллеристы побежали на свои места.

Шмая опустил в глубокую воронку, недавно вырытую огромной бомбой. Там уже лежал маленький черномазый казах-связист с быстрыми карими глазами. Он прижимал к уху трубку и что-то кричал охрипшим голосом.

«Новичок? — подумал Шмая. — Ну, конечно. Сколько за эти бои уже сменилось людей! Сколько вышло из строя, погибло!.. Даже страшно подумать...»

Шмая хотел о чем-то спросить связиста, но тот был занят своим делом и не обращал на него внимания.

Огонь немного затих, и связист с облегчением вздохнул. Теперь он внимательно посмотрел на незнакомого пожилого сержанта, остановил взгляд на перевязанной руке.

— Ты чего сюда пришел, однорукий? — бросил паренек, мигнув, чтобы Шмая дал ему докурить свою сигарку. — В самое пекло тебя принесло... Не видишь разве, что тут делается?

Шмая хотел было ему ответить, но тот уже снова что-то кричал в трубку, вызывая наблюдательный пункт полка.

— Слышь, сынок, спроси-ка, нет ли там комбата? — коснувшись рукой плеча связиста, сказал Шмая, поудобнее усаживаясь на ящике из-под снарядов.

Тот удивленно взглянул на него:

— Какого тебе, батя, комбата?

— Гвардии майора Спивака... Знаешь такого?..

— Знаю... А кто ж его не знал? Но он уже подполковником был, командиром полка, — после паузы ответил связист. — С ним уже не свяжешься...

— Почему?..

— Как это — почему?.. Война... Командир полка, гвардии подполковник Спивак ночью был на наблюдательном пункте вон там, на станции, видишь? Ну где водонапорная башня торчит... Хороший был человек...

— Почему — был? — схватил парня за плечи Шмая так, что тот перепугался. — Говори толком! Почему — был? А где он сейчас?..

— На рассвете погиб... Ночью я еще с ним разговаривал... Передал ему телефонограмму из корпуса... Генерал Дубравин звонил... Двадцать четвертый, ну, корпусной... Передал Спиваку, что ему присвоили Героя, поздравил... А чуть свет, когда мы отбивали контратаку и перебирались вон к тому дому, фашисты ударили из фаустпатрона. И убили, гады, подполковника Спивака... Весь полк плакал, когда его не стало. Золотой был человек. Душа! Ты что, знал его?

У Шмай закружилась голова, и если б он не схватился за плечо изумленного связиста, наверно, упал бы... Глаза затуманились слезами.

— Ты не обманываешь? Как же это так?..

— Что вы, батя? Самому не верится...— вымолвил парень.— Разве ребята не говорили вам? — кивнул он в сторону пушкарей.— У них на руках он скончался...

Артиллеристы молча смотрели на сгорбившуюся фигуру товарища. Как человек сразу осунулся, постарел!.. И никто не мог найти для него слов утешения. Ну как ты утешить старика, который потерял на войне трех сыновей, а о четвертом нет никаких известий?

Шмая закурил, поправил повязку и медленно пошел в сторону перекрестка. Около разбитой улочки Шмая остановился.

Дорогу пересекли повозки с ранеными. Шмая подошел ближе, стараясь разглядеть лица лежащих на соломе солдат. Но что это? Или померещилось ему? Вслед за крайней повозкой шла, понурив голову, Шифра. Она ничего, казалось, перед собой не видела, не отводя глаз от того, кто лежал на повозке. Шмая с трудом узнал Васю Рогова. Вася был смертельно бледен и, кажется, бредил. Вместо правой руки под окровавленным одеялом зияла впадина. «Руку оторвало...» — мелькнуло в голове у Шмай, и он бросился к повозке.

— Вася! Сынок! — не своим голосом крикнул Шмая. Но тот даже не пошевелился. Только Шифра подняла на земляка заплаканные глаза.

— Руку ампутировали,— не останавливаясь, промолвила она. Подумав мгновение, опустила голову.— А утром мы хоронили вашего сына... Просто не верится... Как живой стоит перед глазами...

Шмая прошел несколько шагов за повозкой, рассеянно слушая Шифру, и, заметив, что веки Васи дрогнули, погладил его по лицу:

— Держись, сынок, держись, дорогой!.. Такой тяжелый путь прошли... И вот в последние часы войны... Не повезло тебе... А мне?.. Нет у меня уже сыновей... Ты мне теперь будешь сыном...

Вася открыл глаза, что-то пробормотал, но Шмая не расслышал его слов.

Повозка пошла быстрее, и Шифра вцепилась в нее, чтобы не отстать.

Два дня и две ночи шли уличные бои. По развалинам домов, через горы кирпича и щебня, среди пылающих зданий, сквозь дым и пыль пушкарки перетаскивали свои орудия, обрушиваясь на обезумевших гитлеровцев, которые все еще верили, что им удастся отодвинуть час своей гибели. Советские воины неудержимо рвались вперед. Ведь до центра Берлина было уже рукой подать, и надо было спешить. Каждый боялся пропустить тот великий момент, когда над пузатым куполом рейхстага взойдет красное знамя Победы, когда весь мир узнает о падении вражеской твердыни.

Упоенные боем, люди не замечали, как шло время, когда кончался день и начиналась ночь.

Ранним майским утром вдруг прекратился пушечный гром и настала какая-то удивительная, звенящая тишина.

Шмая открыл глаза и поднялся с ящиков, стоявших рядом с пушкой Сидора Дубасова. Тут и там сидя дремали пушкарки. Кажется, всех разбудила эта неожиданная тишина. Шмая долго тер глаза, стараясь вспомнить, где он находится, и, увидев улыбающегося Ивана Борисюка, направился к нему:

— Почему так тихо, гвардии капитан?

— Не вечно же воевать... Кажется, все...

Он хотел еще что-то сказать, но вдруг среди тишины послышался рокот самолета. Это был не бомбардировщик, не штурмовик, не истребитель, от которых надо было лезть в щель, падать на землю, укрываясь от пуль и осколков. Важно, с чувством собственного достоинства плыл над развалинами знаменитый «кукурузник». Выключив мотор, он спланировал, и сверху, с небес, раздался взволнованный голос:

— Поздравляем с победой, друзья! Берлин пал! Фашисты капитулировали!..

— Победа! Полная победа над фашизмом!..

Пушкарки вскочили со своих мест. Минуту следили за маленьким самолетом, махали ему вслед руками, пилотками, касками. Бойцы обнимались, целовались, поздравляли друг друга, не находя слов, чтобы выразить свой восторг. Все еще не верилось, что так необычно закончилась война, казалось, что это только сон. Но все было именно так.

По дороге, ведущей в Берлин, мчались машины, танки, на броне которых сидели и стояли бойцы с поднятыми автоматами. Отовсюду слышались выстрелы из автоматов и винтовок. Каждый салютовал, палил в воздух в честь победы, и все спешили к Бранденбургским воротам, к рейхстагу, по-

любоваться на развевающееся на нем красное знамя Победы.

Артиллеристы выкатили пушки на обочину дороги, отряхнули с сапог кирпичную пыль. Взорвавшись на груды камней, на разбитые стены, они всматривались в ту сторону, где среди развалин громоздился мрачный, весь окутанный дымом рейхстаг с развевающимся на нем алым знаменем, которое, как чудилось всем, поднималось из пламени.

Товарищи помогли старому солдату вскарабкаться на толстую стену. Глаза его были полны слез. Это были слезы большой солдатской радости и гордости. Шмая был счастлив, что дожил до этой великой минуты, но вместе с тем сердце его сжималось от горя. Гибель сына давала себя чувствовать еще сильнее, терзала душу, мешала дышать. Он вспомнил боевых друзей, которые не дожили до этого часа, холмики могил, на которых остались наскоро сколоченные из досок солдатские обелиски с краткими надписями...

А бойцы ликовали, и Шмая старался затаить в глубине души свою скорбь, не омрачать общего праздника. Старый солдат знал, что у каждого есть свое личное горе, своя особая скорбь. Но в такие минуты об этом не нужно думать.

Вот они высыпали на дорогу — тысячи испуганных, униженных головорезов. Идут, проклятые, и орут во всю глотку: «Гитлер капут!..» Смотрят заискивающе, со страхом на победителей — русских солдат. Идут, понунив головы, с белыми тряпками на рукавах, с сорванными погонами, без крестов, без нашивок, и жаждут поскорее попасть в лагерь для военнопленных. Пленные прижимаются к развалинам, пропуская колонны машин, идущих к Бранденбургским воротам.

— Ишь, как дрожат, гады! — указывали ребята на понурых пленных. — Захотелось им войны, вот они ее и получили!..

— А помнишь, как они, фрицы, шагали в начале войны!

— Ничего, больше они так никогда не будут шагать! Вырвали клыки, сломали им хребет!..

На машинах поют, смеются, радуются советские воины. Вот идут пехотинцы, а на сапогах у них пыль исхоженных дорог, пыль всей Европы. Они пришли сюда сквозь смертельные бои и принесли с собой немеркнущую славу советского оружия. Идут с песнями неровным строем, автоматы, винтовки, пулеметы несут кое-как. Со стороны даже может

показаться, что это идут на отдых рабочие люди после тяжелой трудовой вахты.

Войска подтягивались к центру города. Иван Борисюк приказал прицепить пушки к машинам и ехать к Бранденбургским воротам. Он помог своему старому другу взобраться в кузов, стал рядом с ним, облокотившись на запяленную крышу кабинки. Заметив слезы на глазах Шмаи, он положил руку ему на плечо и, кивнув в сторону пленных, толпами бредущих по обочине дороги, сказал:

— Вытри, папаша, слезы... Неудобно. Пусть они теперь плачут кровавыми слезами!..

Шмая поднял на Борисюка влажные глаза и кивнул головой:

— Ты прав, сынок. Очень хорошо сказал...

Глава тридцать шестая

В ЛОГОВЕ ЗВЕРЯ

Город, поверженный в прах, задышавшийся в облаках дыма, пыли и пламени, разбитый, наказанный за тяжкие преступления перед человечеством, сейчас пел, ликовал, говорил на всех языках и наречиях народов Советской страны.

Робко, с опаской выползали из своих нор, из мрачных подземелий метрополитена, из-под развалин и погребов военные и штатские с неизменными белыми тряпками-флажками в руках. Сдаются, капитулируют, молят о пощаде, дрожат, как в лихорадке...

Кто они, эти испуганные, трусливые, пришибленные фрицы и гансы? Какие погоны на них были несколько дней, несколько часов тому назад? Сколько крестов и медалей болталось на их кителях, насквозь пропахших кровью, слезами их бесчисленных жертв? Бывшие эсэсовцы прятались за спины штатских немцев. О чем все они теперь думают? Какими глазами смотрят на жизнерадостных, человеческих русских воинов, которые сразу после битвы подобтели, стали такими же, как были на своих заводах, в институтах, в колхозах,— мирными, добродушными людьми?

Из своих укрытий стали выбираться женщины, старики, заплаканные, оборванные, по горло сытые бредовыми речами своего одержимого фюрера, воплями Геббельса, предсказывавших скорую победу над всем миром...

Немцы с тележками, колясками, с котомками за плечами брели по дорогам, испуганно оглядываясь по сторонам.

Им говорили, что русские будут им мстить, убивать их, резать... Но что-то пока на это не похоже: никто их не трогает, а, напротив, их останавливают, предлагая хлеб, курево, с участием расспрашивают о пережитом, спрашивают, куда они идут и как теперь намерены жить...

Горожане все смелее вступали в разговоры, жадно курили русскую махорку, ели русский хлеб, плакали, клянясь, что они не хотели войны, всей душой ненавидели Гитлера и его банду, знали, что он доведет их до этого...

Подходили к бойцам и другие. Согнувшись в три погибели, они заискивающе улыбались, восхищались могучей силой русского оружия, предлагали свои услуги: не хотят ли товарищи-камады посмотреть достопримечательности города? Битте, пожалуйста, за краюху хлеба или пачку табака они охотно покажут имперскую канцелярию, Унтер-ден-Линден, Бисмаркштрассе, театр оперы...

Сидор Дубасов, глядя в лстиво улыбающееся, заросшее рыжей щетиной лицо долговязого немца в гражданской одежде, но с выправкой офицера, прямо-таки горевшего желанием оказать услугу советским бойцам, со злостью сказал:

— О, нет, Фриц, или как там тебя еще звать, нам провожатых не надо! Отстань! Мы к вам, в Берлин, нашли дорогу и без провожатых. Нас привел сюда запах крови, которым вы залили полмира...

Гид-доброволец поморщился, снова улыбнулся и отошел в сторону. А Иван Борисюк, глядя на взволнованного наводчика, сказал:

— Ишь ты, город, достопримечательности хочет нам показать!.. Мы уже насмотрелись на их достопримечательности. Видели Освенцим, Бабий яр, Тремблинку... Историю забыл, проклятый! Небось, забыл, что наши уже однажды побывали в Берлине, что ключи от Берлина находятся в московском музее...

Подходили, останавливаясь поодаль, другие немцы, с восхищением смотрели на пушки, машины. Маленький старичок со сморщенным, как перезревший огурец, лицом, с глазками-щелками, видно, тоже из бывших военных, дымя толстой куцой трубкой, кивнул на «катюши», стоявшие под деревьями.

— «Катюш», камрад. О, гут, гут «катюш»! Люкс! — Он жадно жевал хлеб, который ему сунул кто-то из солдат,

кивал головой, чмокал синими, мокрыми от слюны губами и повторял: — О, гут, зер гут «катюш»!.. Прима!..

Он был ошеломлен, пришиблен, и нельзя было понять, что именно для него гут — хорошо: русские пушки, «катюши» или свежий хлеб, который он с таким аппетитом уплетал.

Хоть и трудно было Шмае сейчас говорить с убийцами сына и своих боевых друзей, он подошел к старику и, глядя на него в упор, спросил:

— Эй, сморчок, что тебе так понравилось? Что ты хвалишь? Понял?

— Понял,— оживился старичок,— ошень понял... Я уже воевал с русски в ту войну. Брусилов... Так, так, камрад, генерал Брусилов...— зашамкал он, брызжа слюной.— Русс пушка, «катюш» карош!.. Русс танка — карош!.. Я есть старый зольдат. В ту войну воеваль с русски... Воевать с русски, криг мит Руссланд нихт гут... Не надо воевать с русски... Война с русски — немец, Дойчланд капут...— Проглотив остаток хлеба, он добавил, сильно жестикулируя: — Я давно говорит: Дойчланд война фершпильт... Будет проиграть. Надо биль немец, американ, францус, англичан вместе воеваль против большевик — нихт капут Дойчланд, нихт фершпильт война...

— Слыхали, что эта подлюка говорит? — воскликнул в ярости Шмая.— Нет, вы только послушайте!.. Сейчас я ему рожу расквашу...

Никита Осипов подошел к нему, тронул за рукав:

— Пошли ты его к чертовой матери, старого кретина!.. Оставь его, дурака... Не стоит пачкать руки о такую мерзость...

Старик понял, что своими словами вызвал гнев солдат, и стал пятиться назад, но вдруг остановился.

— Нихт гут...— залепетал он.— Русс зольдат не понял!.. Ецс, теперь, немец должен быть умен. Дойч и русс вместе надо воевать с Америка, Англия, Франс... И карош будет! Зиг... Победа!

— Ах ты, сволочь! — не сдержался Иван Борисюк.— Ты смотри на него, только о войнах и думает, собака!..

Стоявшие в стороне немцы, услышав слова своего земляка и соплеменника, набросились на него и чуть не избили.

— Гоните его, он сумасшедший! — вмешалась какая-то из старух, собиравших корки хлеба.— Будь они прокляты, те, кто хочет воевать... Столько бед принесла нам война, а этот идиот уже снова болтает о войне! Берлин еще горит, а ему уже новые войны снятся...

И старик, подняв воротник потрепанного пальто, отскочил в сторону, провожаемый злобными взглядами своих возмущенных земляков.

Возле груды камней Шмая нашел старую щетку, поднял ее и стал счищать пыль с гимнастерки. Старик снова подошел к нему и, заискивающе улыбаясь, сказал:

— Русс зольдат, дайт табак... курить... Я почистил...— И достал из бокового кармана маленькую щеточку.

Шмая бросил на него злобный взгляд:

— Отвяжись! Не выводи меня из терпения!..

Тот заулыбался, отошел на два шага и, словно желая извиниться перед русс зольдат, заговорил, указывая на танки, которые шли через город, грохоча гусеницами:

— Русс оружия карош!.. А чтобы победишь, надо иметь карош оружия...

Шмая с презрением взглянул на него:

— Дурак! Главное — совесть надо иметь, честь, веру... Оружие тоже нужно, но не только в нем дело... У вас было много оружия, ну и что?

— Так, так, камрад...— улыбнулся своей отвратительной улыбкой старик, скаля желтые гнилые зубы.— Карошо... Поняль, ферштанден!

Тяжелым размеренным шагом к ним подошел Никита Осипов:

— Что он мелет, этот дьявол? Мечтает о новой войне, об оружии, холера, говорит!..

— Не издохла еще такая гнида!.. Но я думаю, что их уже осталось не много. После этой войны они поумнеют. Не вздумают больше братья за оружие... Надолго отучили мы их воевать...

Прибыли полевые кухни. Запахло свежими щами, жареным мясом. Бойцы приготовили котелки, устраивались обедать где попало.

Кашевар налил Шмае котелок дымящихся щей, и старый солдат, достав из-за голенища ложку, присел с котелком на ящик. Но, почувствовав на себе взгляды голодных ребятишек, прибежавших сюда с разных сторон, поперхнулся и отставил котелок в сторону. Детвора в куцых штанишках и юбочках смотрела на него завистливыми глазами, все время косясь на котелок и на свежий, вкусный хлеб.

И сердце у солдата заныло: «Дети голодные...» Он вытер ложку о край гимнастерки, поманил пальцем детей, посадил их в кружок, поставил котелок посередине и сказал:

— Что ж, угощайтесь! Знайте вкус солдатских щей! — Он отдал им свою пайку хлеба, ложку, взял ложки у товарищей: — Рубайте!

Дети, отталкивая друг друга локтями, жадно набросились на еду, забыв о добром русс зольдате, который вернулся на прежнее место голодный, но довольный тем, что кормит детей.

— Послушай, старина, — подсел к взволнованному другу Сидор Дубасов, придвигая свой котелок и показывая кивком головы, чтобы тот к нему пристраивался. — Ты хоть немного поешь... Ведь ты все ребятишкам отдал...

— Не могу видеть голодных детей...

— Понятно... — после долгой паузы проговорил Сидор. Он проглотил несколько ложек, тоже отнес свой котелок детям и, нагнувшись к Шмае, тихо добавил:

— А ведь их отцы, возможно, твоего сына убили... Всех нас хотели со свету сжить... Страну нашу растоптать, сжечь, уничтожить...

— Знаю, — тяжело вздохнул Шмая. — Я думал: когда войду в Берлин, никого щадить не буду... Но дети ведь не виноваты. Они не будут похожи на своих отцов...

Оба умолкли. Многое мучило, волновало солдат. Их рассердил старик с гнилыми зубами, но глядя на голодных людей, на жадных ребятишек, которые сидели повсюду, доедая из солдатских котелков горячие щи, проникались к ним жалостью. Разве дети виноваты?

Шмая смотрел на пылающий город, на страшные развалины и, потянув Дубасова за рукав, задумчиво проговорил:

— А все-таки, скажу я тебе, дорогой мой, несколько развалин надо было бы здесь оставить навеки и огородить их забором...

— Это зачем?

— Как зачем? Чтобы немцы навсегда запомнили эту войну... Слышал, что старик с гнилыми зубами говорил?.. Он уже о новой войне помышляет... И таких, как он, видно, немало осталось. Так пусть стоят эти развалины здесь, в Берлине, и тот, что когда-нибудь вздумает затеять новую войну против нас, пусть придет и посмотрит на них...

Дубасов рассмеялся:

— Ты уже, старина, говоришь, как настоящий философ!

— А ты что думал? На войне хочешь не хочешь, а поневоле станешь философом...

И Шмая-разбойник только хотел было что-то поведать

Сидору о философии, как к ним подбежал Иван Борисюк и крикнул на ходу, что скоро дивизион снимается отсюда и кто хочет, может на несколько минут забежать посмотреть рейхстаг.

По правде сказать, Шмае здесь все очень не нравилось и не хотелось ничего видеть, но все же он считал неудобным перед товарищами не посмотреть, что это за рейхстаг...

— Пошли, пошли, старина,— сказал Дубасов, взяв Шмаю под руку, чтобы ему легче было идти.— А то приедешь домой, люди будут спрашивать, а что ты им расскажешь?..

Шмая задумался и после долгой паузы ответил:

— Может, ты и прав, Сидор, но не совсем... Я всю жизнь любил рассказывать о веселых вещах, а не о мертвечине. Не нравится мне здесь, все не нравится!..

И вот они уже поднимаются по широким ступенькам, загромажденным разными обломками, пропитанным дымом и кровью. Стены разворочены. Горы кирпича и щебня высятся повсюду. Окна забаррикадированы мешками с песком, и свет скупо проникает сквозь продырявленные толстые стены. Здесь полным-полно солдат. И каждый, кто углем, кто мелом, а кто просто штыком, пишет свои имена на закопченных стенах и толстых колоннах.

Иван Борисюк поставил несколько ящиков из-под снарядов возле полуразрушенной стены, вылез на них и на самом верху написал: «Я пришел сюда из Киева мстить за отца. Гвардии капитан Иван Борисюк». На него глядя, становились на ящики и другие артиллеристы и тоже ставили свою подпись. Шмая долго колебался и вдруг попросил, чтобы подсобили ему вылезть на ящики. Взяв кусок мела, он вывел неровными буквами: «Здесь был гвардии подполковник Исаак Сливак» и чуть ниже «Здесь был пасечник с Ингульца Данило Лукач». Потом он проставил фамилии всех фронтовых друзей, которые не дошли до этого мрачного здания, осторожно слез на каменный пол и, с трудом сдерживая слезы, направился к выходу, пробиваясь сквозь толпы солдат и офицеров, которые бесконечным потоком шли сюда со всех сторон...

Как ни старался наш разбойник избежать новой встречи с врачами и сестрами, ему ничего не помогло. Последние дни, полные волнений, тревог, неожиданных встреч, совсем выбили его из колен. Дали себя знать раны, нечеловеческая усталость. Он совсем плохо себя почувствовал, и товарищи отправили его в госпиталь.

В один из осенних дней к нему в госпиталь пришли фронтовые друзья и принесли новую шинель, сапоги — полное обмундирование. Увидев все это, Шмая-разбойник воскликнул:

— А это зачем же? Может, решили всю жизнь держать меня на военной службе?

— Нет, папаша! — обнял его Иван Борисюк. — Пусть люди видят, что домой едет не замухрышка какой-то, а заслуженный гвардеец с орденами, медалями, солдат, побывавший в самом Берлине... Вот и нужно, чтобы вид у тебя был боевой, бравый...

— Что ж, это верно... — подумав минуту, ответил Шмая, и на его морщинистом лице расцвела добрая улыбка. — Ты прав...

Спустя полчаса наш разбойник и в самом деле стал неузнаваем в новой гимнастерке, пилотке, в новой шинели и скрипучих сапогах. Он вышел в коридор с вещмешком за плечами, совсем как новобранец. А взглянув на себя в зеркало, даже рассмеялся:

— Ну видите, как нарядили? Как жениха! Теперь и не поверят, что человек четыре года как один день отбарабанил на войне...

— Кто это не поверит? — возмутился Сидор Дубасов. — Посмотрят на твой иконостас и еще позавидуют тебе! А если кто когда-либо скажет дурное слово, пусть люди его презирают всю жизнь!.. Хотя думаю: после такой тяжелой войны люди станут добрее, лучше, душевнее... Мы все пролили свою кровь за нашу землю, за нашу дружбу, люди всех наций, всех народов. И если, дорогой друг, повторится что-нибудь мерзкое из старого царского режима, будет очень плохо. Плохо для всех, если эта война не научит жить в дружбе, в согласии, как жили до войны, и даже еще дружнее...

Сидор Дубасов задумался. Он, кажется, никогда еще не был так взволнован, как сейчас. Видно, он долго думал, пока заговорил об этом, и, заметив, как внимательно его слушали окружающие, продолжал:

— Нечего греха таить, побывав на нашей земле, немцы оставили зловещий след. Много десятилетий их еще будут вспоминать с проклятиями. Они хотели разъединить, поссорить между собой народы нашей страны. Хотели посеять среди нас расовую ненависть и вражду... А у нас, советских людей, вера-то одна!.. Помню, я еще мальчонкой был, когда отца сослали в Сибирь на каторгу. За что сосла-

ли? За правду, за революцию... Вместе с ним, русским человеком, звенели кандалами в рудниках украинцы, белоруссы, евреи, грузины, армяне... И у всех была одна вера — вера в свободу и правду... Во время революции, в гражданскую войну с оружием в руках боролись за веру наших отцов русские, белоруссы, евреи, украинцы, казахи, таджики, грузины... И в эту войну опять, как всегда, мы были вместе. Одна у нас Родина, одна вера, и мы ее защищали, не щадя своей жизни...

Шмая смотрел на вдохновенное лицо друга, и в глазах его сверкали слезы. Он подошел, крепко обнял Дубасова и тихо проговорил:

— Золотые слова, Сидор... Я тоже много об этом думал, а вот ты так хорошо сказал. Спасибо тебе!

В коридоре госпиталя уже было тесно. Собрались врачи, сестры, ходячие раненые. Каждому хотелось пожать на прощанье руку старому солдату, который отправлялся домой, на родину. За то время, что Шмая здесь лечился, все к нему привыкли, полюбили его и сейчас с ним прощались, как с родным и близким человеком.

И вот уже мчится по развороченным, разбитым и сожженным берлинским улицам грузовая машина. Пожилые уса-тые солдаты, заполнившие кузов, оглядываются по сторонам, смотрят на развалины города.

На вокзале полно народу. Играет оркестр. Отовсюду слышатся звуки гармошки, песни, озорные шутки. Молодые бойцы прощаются со своими старшими товарищами. Вдоль перрона вытянулся длинный состав, украшенный красными флагами, плакатами, транспарантами:

«Принимай, Родина, доблестных сыновей!»

«Здравствуй, любимая земля, мы истосковались по тебе!»

«Встречай, Советская страна, солдат, штурмовавших Берлин!»

Шмая-разбойник и Сидор Дубасов стояли в тесном кольце своих друзей-артиллеристов, курили, смеялись, ловя на себе завистливые взгляды. Конечно, им можно было завидовать, они едут на Родину! Через несколько дней встретятся со своими родными и друзьями. Разве может быть для солдата большее счастье?!

Наконец раздалась команда: «Отъезжающим строиться!» — и вдоль вагонов построились пожилые бойцы. Провожжающие отошли в сторону. На перроне выросла неболь-

шая трибуна из огромных столов, и на нее поднялись знакомые командиры, генералы.

Шмая весь просиял, увидев генерала Дубравина, который сделал шаг к краю трибуны и, совсем как штатский человек, сняв фуражку, окинул беглым взглядом строй, усмехнулся в короткие усы, сказал напутственное слово демобилизованным воинам. Он поблагодарил за верную службу, за подвиги, за огромный солдатский труд, пожелал всем такого же доблестного и самоотверженного труда в колхозах, на фабриках и заводах, просил высоко держать знамя гвардейцев...

— Счастливого пути, друзья!

После Дубравина говорил еще кто-то, но Шмая не слышал его слов. Он не сводил глаз с генерала, в котором искал черты своего любимого ротного, первого красного командира, с которым его столкнула судьба в далекие годы гражданской войны.

Раздалась команда: «По вагонам!»

Сквозь шум прощальных возгласов, напутственных слов боевых друзей и грохот оркестра Шмая услышал свое имя и почувствовал, что кто-то опустил ему руку на плечо. Обернулся. На него улыбаясь смотрел генерал Дубравин:

— Видно, ты, товарищ гвардии сержант, совсем зазнался, не хочешь даже попрощаться со мной? Ты, правда, уже вышел из моего подчинения, но старую дружбу забывать не надо... Значит, домой едешь?..

— Так точно! Приказано ехать домой, товарищ гвардии генерал-лейтенант. Едем... Отвоевались!..

— Да, кто едет, а кто еще остается здесь...— грустно продолжал Дубравин.— Нам, верно, служить еще и служить. Завидую тебе, дружище, от души завидую... Нам тут еще много поработать придется, пока порядок наведем. Гитлеровскую мразь раздавили. А народ не виноват. Надо помочь ему стать на ноги, научить, чтоб он мирно жил и больше не стремился к войнам.

— Товарищ генерал!— вмешался Сидор Дубасов.— Думаю я, что после этой войны они уже никогда не захотят воевать...

— Как сказать,— улыбнулся генерал,— поживем — увидим... А пока работы много...

— Это, конечно, так...— кивнул головой Дубасов.

Генерал шутил с солдатами и все не мог наглядеться на своего старого друга:

— Так куда же теперь путь держишь, товарищ Спивак? На свой Ингулец? Хорошо там, верно, сейчас...

— Где уж хорошо! — махнул рукой кровельщик. — Коль враг побывал там, разве может быть хорошо? Жинка пишет, что считанные дома целы остались, люди в землянках и хибарках живут, коптилки да лучины вместо электричества... Да, фашисты отбросили жизнь нашу на сто лет назад...

Дубравин кивнул головой. Его загорелое бритое лицо стало печальным:

— Это ты прав, дорогой... Отбросили они нас на сто лет... Если б не война, не проклятые фашисты, какая жизнь уже была б! — И, подумав немного, добавил: — Ничего, народ у нас золотой... Дружно возьмется, скоро все отстроит, и жизнь наша еще краше будет!

— Точно! — раздался голоса вокруг. — Истосковались по работе. Немного отдохнем, и за дело!..

— Что ж, поезжай, разбойник! Устроишься, напиши, — пожимая руку старому солдату, сказал Дубравин. — Напиши мне непременно! Вот отслужу да и приеду к тебе на Ингулец... Вместе с тобой буду рыбу удить.

Шмая и все окружающие дружно рассмеялись. Задержав в своей ладони руку несколько смущенного однополчанина, Дубравин продолжал:

— Ты не думай, что я шучу... Приготовь мне рядом с твоим домом местечко, соседями будем... Пойду в отставку и к тебе прикачу. Будем с тобой ходить на рыбалку, на охоту. Зайцев у вас в степи, небось, много...

— Что вы, товарищ генерал! — смеясь, ответил Шмая. — Я-то ваш характер хорошо знаю. Такие в отставку, на отдых, не уходят... Вот я — совсем другое дело: возьму инструмент и начну опять крыши чинить, строить, а вам... вам служить и служить!

Они обнялись и троекратно, по старому русскому обычаю, расцеловались.

Солдаты молча смотрели на них. Большие светлые глаза генерала были влажны. Он махнул рукой растроганному другу и пошел в конец платформы, где его уже ждали.

Послышался долгий свисток принаряженного паровоза. Оркестр грянул марш. Под дружные возгласы провожающих поезд тронулся. Застучали колеса. Перед глазами замелькали развалины города.

Шмая стоял у окна рядом с Сидором Дубасовым и махал рукой товарищам.

Теперь, когда поезд стал набирать скорость, наш разбойник вспомнил, что многое из того, что хотелось ему сказать генералу и фронтовым друзьям, он так и не успел сказать.

Вслед за удаляющимся вагоном шли Иван Борисюк, Никита Осипов, молодые бойцы, прибывшие на батарею перед штурмом Берлина и заменившие погибших и вышедших из строя. Все что-то кричали ему вслед. Но уже трудно было разобрать слова, и Шмая почувствовал, как становится грустно. Трудно было расставаться с друзьями. Как он ни старался сдерживать слезы, но они все катились по щекам.

Перрон и толпы бойцов, махавших вслед уходящему поезду руками, пилотками, исчезали в лучах заходящего солнца...

Шмая обернулся и встретился глазами с Дубасовым. Тот улыбнулся, глядя на расстроенного друга:

— Что, старина, может, передумал ехать домой? Еще не поздно... Сейчас останавливаю поезд!..

— Что ты! — замахал руками кровельщик. — Самому ведь тоже трудно было с ребятами расставаться... А теперь скорее бы домой!.. Больше ничего не хочется... — И, подумав немного, добавил: — В Бресте слезем, Сидор, на несколько минут... Генерал Дубравин сказал, что прах Саши моего перенесли туда. Похоронили в саду, рядом с вокзалом... Мы успеем сбежать поклониться его могиле...

— Что ж, это можно, — грустно сказал Дубасов и опустился на полку, уронив голову на руки — Ему от этого легче не будет, но мы, конечно, отдадим долг... Жаль, не дождал наш подполковник до этого дня...

Шмая достал кисет, закурил.

— Да... Лучшие наши ребята полегли, пусть земля им будет легка... Хорошо все-таки, что выполнили мою просьбу, перенесли прах сына... Хоть смогу иногда приезжать на его могилу...

Шмая подошел к окну, у которого столпились оживленные солдаты. Поезд набирал скорость, быстро мчался по чужой, неуютной земле, словно хотел скорее покинуть ее, эту землю, перепаханную бомбами и снарядами, сверкавшую миллионами осколков, кусками стали, чугуна, щедро пропитанную солдатской кровью. Солдаты смотрели на эту землю, а думали о другой земле — о своей, родной, близкой, до боли любимой. Вспоминали своих жен и матерей, детей и любимых. Всех радовала и волновала близость встречи с Родиной.

Что они застанут дома? Что осталось после того, как по родным улицам прошла коричневая чума?..

Спустя несколько дней поезд остановился посреди степи, где торчал наполовину врытый в землю старый замызганный вагончик. Это был знакомый полустанок. Одну минуту постоял состав и, громохая колесами, двинулся дальше, оставив над осенней степью огромные хвосты дыма.

Вагоны промчались перед глазами, скрылись вдали, и наш разбойник услышал громкие возгласы приветствий. К нему бежали люди с распростертыми объятиями, и он почувствовал, как к горлу подступает ком, душит его. Хотелось плакать от радости.

В нескольких шагах от него встречающие остановились, давая дорогу взволнованной седоволосой женщине в черном платке. В ее больших карих глазах сверкали слезы, и она смотрела на старого солдата с таким выражением, будто не верила, что это именно тот, кого она так мучительно ждала все эти тяжелые годы. За ней шли две девочки, уже вышедшие из детского возраста, но еще не ставшие взрослыми...

Девочки на какое-то мгновение остановились и одновременно воскликнули:

— Папка! Наш папа приехал! — Они бросились к Шмае в объятия, осыпая поцелуями его лицо.

Мать стояла в сторонке и смотрела на них, дав волю слезам.

Гость осторожно высвободился из рук детей, направился к жене:

— Ну что ж ты стоишь в сторонке? Насколько я помню, ты имеешь какое-то отношение к старому солдату...

Он нежно обнял ее, прижал к груди, крепко поцеловал и, выпрямившись, проговорил:

— Поседела немного, но это ничего... Видно, мудрости у тебя прибавилось, Рейзл, дорогая... Меньше будешь меня теперь пилить...

Сквозь слезы на ее лице проступила улыбка. Жена прижалась к его колючей шинели:

— Тыфу, тыфу, чтоб не сглазить... Такой же, как был... Ничуть, кажется, не изменился...

— А зачем мне изменяться? — приосаниваясь, сказал наш разбойник. — Нужно сбросить со счетов эти четыре года, и все будет в самый раз... Нужно забыть все, что было...

— Разве забудешь? Нет, родной мой, такое забыть нельзя...

Отвернувшись, чтобы скрыть невольные слезы, Шмая увидел в толпе человека на костылях:

— Овруцкий, ты? Ей-богу, не узнал!.. Разбогатеешь, значит...

— Да я уже разбогател... — ответил тот, радостно глядя на неунывающего друга. Он обнял его, прижал к себе, придерживая локтями костыли: — Значит, жив Шмая-разбойник, жив-здоров?..

— Сам видишь, прибыл в полном боевом порядке! — радуясь тому, что встретил многих своих старых друзей, ответил кровельщик и стал здороваться с остальными.

Шмая услышал всхлипывание жены, обнял ее. На них с завистью, со слезами на глазах смотрели женщины, которые никогда уже не увидят своих мужей, дети, которые никогда не встретят своих отцов...

— Ну, хватит плакать, — сказал Шмая. — Кажется, достаточно наплакались мы за эти годы. Пусть теперь уж наши враги плачут!

Овруцкий помахал рукой шоферу, который стоял в стороне, наблюдая эту трогательную встречу. Тот с трудом завел старую трофейную скрипучую машину и подъехал ближе.

Спустя несколько часов машина, громыкая и дымя, как паровоз, добралась до знакомого мостика, соединяющего оба берега Ингульца. Сердце Шмаи дрогнуло. Где-то там, за рекой, должен быть дом Данила Лукача... Придется туда пойти, передать вдове последние слова погибшего друга. Как это будет тяжело и страшно!..

Шмая отогнал от себя тяжелые думы и обратил взор на милый сердцу уголок. Страшно стало при виде торчащих полуразбитых дымоходов, рядов землянок и хибарок на месте некогда красивого поселка. Сколько будет теперь работы!

Машина резко затормозила и остановилась у невысокой каменной ограды, густо поросшей бурьяном. Люди сошли с машины. Кровельщик минуту постоял, окинув взглядом землянку, и покачал головой.

— Это наш новый дворец? — с болью в душе спросил он.

— Спасибо и за такой! — ответила Рейзл. — Когда вернулись сюда, здесь одни лишь камни застали... Это мы с дочками построили... Одну зиму с горем пополам перезимовали... Уже привыкли мучиться...

— Если б ты, Рейзл, положила еще два-три наката, был бы неплохой блиндаж. Видишь, не была на фронте, а так хорошо научилась блиндажи строить!

Окружающие рассмеялись, глядя на оживленного человека, и кто-то бросил:

— Ей-богу, остался таким же, каким ушел на войну! Что и говорить, разбойник!..

Малыши, толпившиеся здесь, приснули. А курносый замурзанный мальчуган, весь измазанный глиной и землей, тихонько спросил, потянув мать за край юбки:

— Мам, а, мам, разве дядя — разбойник? Смотри, сколько у него медалей!..

— Да отстань ты от меня! — оттолкнула его мать. — Дай бог, чтобы ты вырос таким разбойником, как он... Это Шая Спивак, муж Рейзл... Побольше бы таких людей, легче было бы жить на свете...

Рейзл уже хлопотала. Сбросив платок и суконную куртку, она притащила из колодца ведро воды, чтобы Шмая умылся. Соседки зашумели, забегали. Кто-то принес и растелил на траве скатерть. Из соседних землянок и из землянки Рейзл вынесли и разложили на «столе» каравай свежего хлеба, который испекли по случаю приезда дорогого гостя. Вынесли несколько бутылей молодого вина, пироги.

Овруцкий ходил вокруг, подгоняя хозяек. Начинало темнеть, а ведь света и керосина нет. На скатерти появились самодельные кружки из консервных банок. Овруцкий потопрапливал:

— Ну, сели, Шмая! Давно мы с тобой не выпивали... Теперь настал счастливый момент, — и, налив кружку вина, поднес ему и обратился ко всем:

— Давайте выпьем за возвращение нашего старого солдата!..

Шмая взял в руку кружку и пожал плечами, взглянув на окружающих:

— Почему это за солдата? Давайте за всех нас выпьем!.. — сказал он. — В этой войне всем досталось — и солдатам и не солдатам... Так выпьем за то, чтоб никогда больше не было никаких войн!..

Женщины, сбившиеся в сторонке, смотрели на неугомонного кровельщика и тихо плакали. Он подошел к ним, покачал головой:

— Что за слезы?! Неужели не успели до сих пор выплакаться, чтобы теперь смеяться, радоваться?

— Да, будешь радоваться, сосед,— отозвалась пожилая женщина, кивнув в сторону землянок и хибарок.

— Понимаю, тяжело всем... Но не вечно ведь лить слезы, дорогие мои солдатики! Вытрите свои глаза! Чтоб мы больше не видели слез! Самое страшное, самое тяжелое уже позади. Фашистские палачи хотели нас поставить на колени, сделать своими рабами, уничтожить... А посмотрели бы вы теперь на этих «победителей», на их вид, на их города и села, на их Берлин!.. Видно, уж закажут внукам и правнукам лезть в нашу страну... Не надо омрачать наш праздник, дорогие! Земля осталась нашей, Советская власть, слава богу, жива и крепка. Стало быть, все будет в порядке. Выше голову, друзья, дорогие мои земляки! Плечи у нас крепкие, руки сильные. Не впервой нам засучивать рукава. Пройдет время, и все станет на свое место. Если мы смогли выиграть такую войну, значит, и настоящую жизнь построим,— это как пить дать! Ну что ж, за все это давайте и выпьем. За хорошую жизнь, лехайм!

И Шмая-разбойник, как в былые добрые времена, одним махом опорожнил кружку, вытер рукавом гимнастерки губы и передал посуду соседу. И многие знали, что он только сегодня не такой веселый, как бывало. Пройдет какое-то время, Шмая сбросит солдатский мундир, возьмет свой инструмент, пойдет строить, чинить людям крыши и снова начнет веселить и забавлять всех. Опять, как в прошлые годы, к нему будут приставать солдатики, и он каждой из них поможет по хозяйству, а то просто успокоит ласковым словом, веселым рассказом, притчей, потешной историей. И снова начнет злиться на него жена:

— И что ты за человек, Шмая? Сколько горя перенес, а остался таким же, каким был до войны.

А Шмая-разбойник, озорно улыбаясь и блестя ласковыми глазами, ответит, орудуя молотком:

— Что ж, нет пока приказа правительства стареть. Много дел еще припасено для меня на этой земле. Если я буду стареть, кто же крыши станет чинить и дома строить? Не время нынче думать о плохом... Слишком уж много плохого было. Теперь жить надо, трудиться, не унывать. Вот и не будет времени стареть... Ты ведь знаешь мой секрет долголетия!..

Окружающие будут улыбаться, с восхищением смотреть на него, но вряд ли кто узнает, как гложет душу горечь тяжелых утрат, как ему трудно смотреть на своих поседевших,

измученных соседей и как ему тяжело будет пойти к семье Данилы Лукача...

А нужно будет пойти. Это его священный долг...

Глава тридцать седьмая

ЧЕЛОВЕК РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ

Приходилось ли вам после четырех лет войны, скитаний по белу свету очутиться дома, на своей постели?

Дома... Маленькая землянка с низким потолком и крошечным окошечком над землей, два твердых топчана из нетесаных досок, небольшой столик в углу. Разбросанные тетради, обрывки книг. Корки хлеба. Коптилка. Обломок зеркала. Гребень. Две-три карточки в самодельных рамках, с которых смотрят чернобровые парни в солдатских гимнастерках, стриженные, чуть испуганные... Дымящая печурка. Мешок картошки в углу...

Но все это дом, родной дом...

Всю ночь Шмая-разбойник не мог сомкнуть глаз. Рядом спала жена, прижавшись к нему и негромко всхрипывая. Напротив, на втором топчане, сладко спали, разбросав голые руки, две черноголовые девчурки.

Кажется, совсем недавно они были маленькими. Он с ними расстался, когда только в первый класс пошли. А теперь выросли, повзрослели, похорошели — настоящие барышни, хоть замуж выдавай!

Похожи одна на другую, как две капли воды. Шмая их сперва даже не узнал. А вот теперь привыкает. Справа спит Зина, а у стенки — Мирра. Мирра... Что-то похоже на мир. Хорошее имя! Хоть бы уже никогда не было войн, хоть бы детям не приходилось расти без отцов!.. Изрядно намучились бедняжки. Да вот и теперь еще для них война не закончилась. Такие красотки, а лежат на твердом топчане, в маленькой землянке. И все же во сне улыбаются... Весело им.

Хотелось поговорить с ними. Столько гостей осаждало его по поздней ночи, что некогда было и поболтать с дочурками, с женой. А теперь не хочется их будить. Устали, бедные. И он устал. Старался уснуть, но сон, как назло, бежит от него. Он лежит, боясь повернуться, чтобы не разбудить жену, смотрит в окошечко, через которое пробивается в землянку холодный свет луны, и думает, думает.

Неужели он, в самом деле, дома, в своей семье? Как-то

не верится! Да и что осталось от семьи? Вот эти две девочки... Трое сыновей уже никогда не вернутся. Правда, нашелся Мишка. Больше года мать не имела от него никаких вестей, думала, что погиб... И наконец письмо из госпиталя. Был летчиком-истребителем, и в одном воздушном бою сбили его. Полуживого, слепого привезли в Днепропетровск. Он долго не писал. Не хотелось давать о себе знать — пусть лучше мать думает, что он погиб. Это легче, чем увидеть его калекой, слепым. Но каким-то чудом его поставили на ноги, вернули ему зрение. Летать, правда, он уже никогда не сможет...

Об этом Шмая узнал только вчера. Все время думал, что нет уже в живых и Мишки. А он жив! Какое счастье!

Погруженный в свои думы, Шмая до глубокой ночи лежал с открытыми глазами. Известие о сыне принесло ему много радости. Девчата в доме — недолговечные помощники. Подрастут, выскочат замуж и даже фамилию сменят. Только и увидишь их!.. А вот сына иметь да еще такого милого парня, как Мишка!.. Очень хотелось повидаться с ним, но Шмая знал, что это будет еще не так скоро. Что-то не видно, чтобы Мишка особенно рвался домой. Он еще, видно, не совсем пришел в себя. А ему, Шмае, невозможно сейчас ехать: надо работать, помочь жене, соседям.

Только перед рассветом Шмая уснул крепким сном и даже не слышал, как жена ушла на виноградную плантацию, а девчонки куда-то убежали.

Его разбудила тишина. Раскрыв глаза и окинув взглядом землянку, он не сразу понял, где находится и как сюда попал. В землянке было тихо, сумрачно. Вдруг в углу раздался шум крыльев. Маленький смешной петушок с неестественно большим гребнем на малюсенькой головке взлетел на шкафчик и важно произнес что-то наподобие «кука-реку».

Шмая раскатисто засмеялся, глядя на гордого карлика, который и не был похож на петуха. Крошечный, худой, он, однако, знал себе цену, а также и то, что все обитатели этой землянки и ближайшие соседи от него в восторге. Да и курицы соседские с ним наперебой заигрывают... Гордый и самоуверенный, пошевеливая огненно-красным мясистым гребнем, петушок стоял на шкафчике, озираясь по сторонам, будто желая спросить новосела: «Ну, как я тебе нравлюсь? А голос?! И чего ты смеешься надо мной? Не забудь, что я пока единственный петух во всем поселке! Ко мне надо отно-

ситься с уважением. Я имею право делать все, что мне взбрѣдет в голову. И ты мне не указчик. Кукареку-у-у!»

Задорно посмотрев на незнакомого насмешника, петушок взмахнул крылышками, вспорхнул, взобрался на подоконник, где стояли тарелки и стаканы, устоялся на чужого человека красными разбойничьими глазами и слегка тряхнул гребнем, словно желая сказать: «Чего ты хочешь?.. Не угодно ли, я могу в одну минуту превратить все эти тарелки и стаканы в осколки, и тогда, когда придется тебе есть из корыта, попробуй надо мной смеяться!.. Со мной шутки плохи. Я не поленюсь тебе это доказать...»

Но все же петушок оказался милосердным и до этого дело не дошло. Он, видно, не имел ни малейшего желания ссориться с этим жизнерадостным человеком. Не лучше ли жить в мире и согласии?.. И снова взмахнув крылышками, вылетел в окошечко, взобрался на куст сирени и во всю глотку загорланил.

Солнечный луч ударил в треснутое стекло.

Шмая порывисто соскочил с постели на земляной пол и почувствовал сильную боль во всем теле. Давали себя знать осколки, застрявшие в боку, в ноге, о которых он уже давно забыл. Он осторожно натянул гимнастерку и нагнулся за сапогами, но боль усилилась. Он прислонился к сырой стене.

«Хитрые бестии, эти раны,— подумал кровельщик,— верно, узнали, что солдат приехал под крылышко жинки, и начинают докучать. Раньше они уже как будто не напоминали о себе...»

Взяв в углу палку, Шмая вышел из землянки, окинул беглым взглядом поселок и опустился на траву. Тут и там уже возвышались новые постройки, степь зеленела ровными коврами.

«Уже взялись за работу мои дорогие земляки,— подумал Шмая.— Живут трудно, ютятся кое-где и кое-как, а трудятся, не зная усталости... Сколько колонистов не вернулось с войны, сколько вдов, сирот, калек осталось, а жизнь уже идет дальше: время лечит, как самый лучший врач, и помаленьку забываются все недавние горести и муки. Жизнь начинается сызнова...»

Уже чувствовалась осенняя прохлада. Взяв полотенце на плечо, Шмая направился к Ингульцу. Постоял несколько минут, глядя на шуршащие камыши, на изумрудные воды, на мальков, стайками пронесившихся вдоль скалы, на которой всегда любил сидеть и удить рыбу. Он быстро умылся

студеной водой, пошел обратно и вдруг услышал стук топора, звон пилы и повернул к усадьбе артели. Несклько пожилых мужчин и женщин приводили в порядок помещение фермы. Рядом с ними стоял, прижавшись спиной к стене, Овруцкий и тесал топором бревно.

Хоть друзья и виделись только вчера, но и сейчас они обрадовались друг другу, будто не встречались уже целую вечность.

— Здорово, разбойник! — воскликнул Овруцкий, вытирая рукавом вспотевший лоб. — Чего так рано встал? Ведь просили тебя, чтоб дал отдых своим старым костям...

— А сколько же можно отдыхать? Руки у меня чешутся, — ответил Шмая, здороваясь с окружающими. — К тому же плотницкая работа — не для женщин...

— Не святые горшки лепят! Научились мы плотничать, привыкли жить без мужиков, и кажется, что так всегда было... — отозвалась пожилая женщина с грустным лицом. — Беда научила... Посмотрел бы, как твоя Рейзл на Алтае топором работала, похлеще тебя... Что поделаешь, когда мужья нас покинули...

— Эх бабы, бабы! Разве мы покинули бы вас, если б не эта проклятая война? Да ни за что на свете! — сказал Шмая и, подойдя к женщине, взял из ее рук топор:

— Ну, хватит! Смена пришла!..

— Вижу, какая смена... — с грустью покачала она головой. — Да на тебе ведь живого места нет... Таковую войну прошел... Какой уж ты теперь работник. Слава богу, что вернулся. Будем тебя беречь...

Шмая-разбойник улыбнулся и, сплюнув на руки, стал энергично тесать бревно. Окружающие с удивлением смотрели, как ловко он работает.

— Ого, сосед, а мы уже, грешным делом, думали, что ты научился держать топор в руках... Силен, разбойник!..

— А как же! — махнул Шмая рукой. — Мой отец оставил мне наследство на всю жизнь — мою профессию. Спасибо ему за это. Ну, и стараюсь не забывать ее. Всюду она мне помогала...

— И знал же ты, друг, когда возвратиться домой, — вмешался Овруцкий, глядя, как Шмая орудует топором. — Ведь до зимы, кровь из носу, крыши залатать надо... Жести немного нашли, а вот кровельщика днем с огнем найти не могли. Сам бог послал тебя нам!..

— Что ж, постарайся, — улыбнувшись, ответил кровельщик. — Проверю, может, еще не забыл, как крыши чинят...

В полдень прибежала Рейзл. Увидев своего дорогого гостя, занятого работой на крыше, она только развела руками:

— А я его ищу по всему поселку... Ведь маковой росинки во рту не имел, а уже полез на крышу... Тебе еще отдохнуть с дороги надо бы!..

— Что? Отдыхать? Разве ты не знаешь, что кровельщик отдыхает зимой, когда метут метели и ветры сдувают с крыши всякое живое существо? А пока стоит хорошая погода, нужно поработать...

— Ну бог с тобой, работай! Только слезь на несколько минут, съешь тарелку борща...

— Это можно! — бросил Шмая, слезая на землю.

И вот он уже сидит на бревнах, окруженный толпой колонистов.

— Понимаешь, дорогая моя, когда я наработался, твой борщ имеет совсем другой вкус. К тому же я сегодня, кажется, на борщ уже заработал. Четыре года я только разрушал, жег, и все же есть мне давали. Но та еда не шла на пользу... А вот приладил несколько листов жести к стропилам, и уже аппетит у меня появился.

Он разговаривал с колонистами, шутил, а мысли были заняты совсем другим. Надо пойти к Марине Лукач, к вдове друга. Как ни трудно будет сообщить ей о гибели Данилы, но это его долг...

И когда закончился рабочий день, Шмая направился на ту сторону Ингульца.

Перебравшись через речку по мостику, который уже ждал мастера несколько лет, Шмая пошел по извилистой тропинке, поросшей полынью и чертополохом. Он чувствовал страшную слабость, и не столько оттого, что целый день тяжело трудился, сколько оттого, что не мог себе представить, как переступит порог дома Данилы и что скажет его вдове. Сколько Шмая себя помнит, он любил сообщать только хорошие вести, а когда приходилось передавать что-либо плохое, у него сердце сжималось от боли и досады. Может быть, Марина уже давно знает, какое горе постигло ее? Зачем же ему еще идти растравлять ее раны? А может быть, она ничего не знает и ждет мужа? Так зачем же отнимать у человека последние искорки надежды?

Так размышлял наш разбойник. И вдруг из-за ветвистых акаций, на пригорке, на том месте, где до войны стоял

просторный дом Данилы Лукача, показалась небольшая времянка с осевшей крышей, слепленной из кусков ржавой жести. В конце дворика темнело несколько забытых ульев, где, видно, давно не было пчел, которые разлетелись во все стороны, не дождавшись своего хозяина, его добрых, заботливых рук... Вот и мшистая скамеечка под кленом, где он, бывало, просиживал с другом до третьих петухов. Каждый камешек напоминал об ушедших днях, которые уже никогда не вернутся...

С сильно бьющимся сердцем Шмая подошел к двери, постучал, но никто не отозвался. Он заглянул в окно и увидел, что из печи валит дым так, будто кто-то дует сверху в дымоход. «Значит, хозяйка должна быть где-то близко, скоро подойдет», — подумал он.

И в самом деле, спустя несколько минут он увидел на проселочной дороге невысокую худощавую женщину. Согнувшись в три погибели, она везла тачку, на которой лежало два мешка. Сзади тачку подталкивали двое мальчуганов.

Шмая сразу узнал жену своего друга, но ужаснулся, когда она подошла ближе. Как она похудела, постарела!.. А ведь недавно она была самой красивой женщиной в Сычевке! И ребята худенькие, кожа да кости. У Шмаи заныло сердце. Он бросился навстречу Марине. Та остановилась и испуганно смотрела на незнакомца, который бежал к ней.

Они долго стояли, глядя друг на друга, и Шмая даже задело, что она его не узнала. Неужели он так изменился?

— Что ж ты, Марина, дорогая, своих уже не узнаешь?

Она взялась обеими руками за голову, закрыла глаза:

— Боже мой, Шая! Вернулся?! Живой... А я не узнала... Прости...

Она снова взглянула на него, словно все еще не верила, что это именно он, друг ее мужа, человек, которого она так ждет. И, не стесняясь смущенных детей, обняла Шмая и, прижавшись к его груди, громко разрыдалась.

— Слава богу!.. Пришел... А моего Данилы до сих пор нет... Может, бог даст, тоже вернется... Как ты думаешь, Шмая?..

Шмая стоял, совершенно пришибленный. Он был растерян и не знал, как быть, что ответить, что сказать. Как ее успокоить? Он гладил ее поседевшую голову, бормотал бессвязные слова и наконец заговорил:

— Не надо плакать, Марина, надо держаться... Что поделаешь!.. Не ты первая, не ты последняя. Многие ведь еще не вернулись...

Ребята с удивлением смотрели на незнакомого человека в солдатской одежде и тяжелых сапогах. И не так смотрели на него, как на его ордена и медали. А мать не переставая говорила:

— Давно получила извещение, что пропал он без вести. Но в соседнем селе одной тоже так написали, а на той неделе ее муж объявился. В плену был... Может, и Данило вернется?.. Одно время ты с ним был вместе, он писал... Но сама понимаю, что на войне расходятся. Правда, тот из плена вернулся домой калекой, без ноги... Но хоть бы таким мой пришел... Знаешь, как нужен детям отец!

— Знаю... — упавшим голосом промолвил Шмая, не глядя женщине в глаза, изворачиваясь, как умел, и не говоря правды. Заметив, что она подозрительно на него смотрит, добавил: — На войне всякое бывает. Друг у меня был на фронте, Сидор Дубасов. Зашел я как-то в штаб, а там сидит писарь и выписывает эти самые извещения. Одним глазом смотрит на бумажку, а другим — в окно. Немцы бомбят... Ну и вижу я, что он выписывает извещение: мол, пропал без вести Сидор Дубасов... А он, Сидор, значит, сидит в это время возле орудия и уплетает кашу... Ты представляешь, ведь жена Сидора могла получить эту бумажку... Ну, конечно, я дал такую оплеуху этому разине, что, верно, в глазах у него потемнело... Всяко бывает на войне... Ну и не без того, что гибнут люди... Не без этого... Стреляют сильно...

Лицо Марины немного прояснилось. Этими хоть и мало обнадеживающими словами он вернул ее к жизни, вселил в ее душу какую-то надежду.

И Шмая твердо решил не говорить Марине о гибели мужа. По крайней мере, сейчас. Если она еще на что-то надеется, пускай! Все же легче человеку жить на свете, переносить любые невзгоды, когда есть у него надежда. Может, настанет время, и он ей скажет правду, но пока пусть думает, что извещение ей прислали по ошибке...

Домой ушел расстроенный. Мучила совесть. Хорошо ли он поступил, промолчав о том, что должен был сказать этой несчастной женщине, этим милым мальчуганам, которые еще не знают, что остались без отца?..

«Какое все-таки разумное существо человек! — думал Шмая, сидя на стропилах полусожженной школы и глядя на новые дома, видневшиеся среди землянок, на восстановленные артельные постройки. — Стоит только человеку, на

которого валяются все земные беды, расправить крылья, и он может творить чудеса. Кажется, не так давно люди возвратились к своим очагам, на свою истерзанную землю, вернулись голые, босые, голодные после стольких мук и скитаний, а поселок уже имеет другой вид! Всюду кипит работа. А много ли времени прошло с тех пор, как здесь пронесся ураган и смел все на своем пути?! И вот уже жизнь идет своим чередом. У каждого свои большие и малые заботы, свои радости и печали, и каждому хочется, чтобы его родной уголок, коллективное хозяйство снова были такими же, как прежде, нет, еще лучше, краше».

Шмая снова вспомнил о Мишке. В последнем письме хлопец писал, что выписался из госпиталя и пошел работать на завод механиком цеха. Как только, пишет, освоится, познакомится с людьми и получит несколько дней отпуска, сразу примчится домой. Эх, съездить бы к нему... Но что-то стал он тяжел на подъем после войны. И школу нужно восстанавливать. Нужно же детям учиться!..

И вот Шмая каждое утро ходит на работу. Совсем потерял свой бравый солдатский вид, сбросив с себя казенную одежду и спрятав где-то в шкафчике свои регалии, которые сводят с ума всех мальчишек в поселке.

Опять он стал тем добряком, острословом, которого люди помнили издавна. Порой даже кажется, что Шмая никогда и не уезжал из своего поселка!.. И жена по-прежнему пилит его: почему столько толчется, не бережет себя? Ведь здоровье уже не то, раны еще не зажили...

Шмая только разводит руками:

— Что ж поделаешь, родная моя? Сколько можно жить в землянках? Ну, и детям приятнее сидеть в школе, чем бегать по улицам и гонять собак. И любят они сидеть в классе, чтобы им на голову не капало. Да и соседям надо подсобить, привести в порядок их жилища. Кто виноват, что родились в такой век, когда войны донимают и нет людям покоя? Может, дети уж не узнают столько горя, сколько мы... Шутка сказать, на одно поколение аж три войны выпало. И каки!..

Жена слушает его с удивлением:

— Так что же, на тебе свет клином сошелся? Разве ты в состоянии починить все крыши? Все равно один не справишься. А от твоей бригады остались рожки да ножки, несколько калек, стариков... И материалов никаких нет... Как же можно строить?..

Шмая-разбойник задумывается. Морщинистое лицо его искрится добротой. И после долгой паузы он отвечает:

— Что я, дорогая, могу тебе на это ответить? Ничего не скажешь, в твоих словах много правды, очень много. Конечно, было бы куда легче, если бы все, отвоевавшись, вернулись домой, если бы у нас лежали штабелями лес, кирпич, жель, черепица. Но тогда, пожалуй, каждый партач орал бы на весь поселок, что он большой мастер... А вот попробуй без леса, без железа что-нибудь сделать... Вот это фокус! Помнишь, какой вид был у нас в начале войны, в первые месяцы? Прямо скажу, имели мы бледный вид... Но когда наши люди расправили крылья и взялись дружно за дело, весь мир перед нами шапку готов был снять. До самого Берлина дошли. Так теперь и здесь должно быть. Расправь крылья, и порядок!

— Ну что ж, Шмая, пусть будет по-твоему,—ответила ему жена.— Тебя не переспоришь. Кто с тобой спорит, всегда остается в дураках. Делай, как сам понимаешь...

— Наконец-то моя жена заговорила мудро, хвалю! Молодец!..

Глава тридцать восьмая **ЖИЗНЬ ВХОДИТ В СВОИ БЕРЕГА**

Право, бывают годы, с которыми жаль расставаться!

А они, как назло, летят особенно быстро.

Хочешь не хочешь, а годы идут, старость незаметно подбирается к тебе и начинает точить и точить... Начинаешь помаленьку и не торопясь пятиться с ярмарки. Правда, тебе знаком секрет долголетия. Ты трудишься не покладая рук, все время в действии, всегда в строю, и тебе некогда думать о старости, о всяких болезнях. Но все же, когда проходит год и ты смотришь на свои морщины, на седину, грустно становится на душе.

Впрочем, Шмая сегодня ничуть не огорчился, вспомнив, что уже прошел год с тех пор, как он вернулся домой. Год!.. Он прошел как один день. Оглядываешься вокруг, и сердце радуется: сколько уже успели сделать!.. В другое время потребовался бы десяток лет, а может, и больше.

Лето в этом году задержалось дольше обычного, будто понимало, что торопиться некуда: осталось еще много работы. Если осень немного повременит, это будет к лучшему. Ничего с ней не случится, если пожалует чуть попозже...

Однако, когда все уже решили, что лето будет долгим, а там еще придет золотая осень, небо вдруг взбунтовалось. Сердитые ветры нагнали откуда-то свору дождевых туч, напоминавших стадо овец, сбившихся в одно место, как перед грозой. Тучи стали свинцовыми, затем потемнели еще больше, словно кто-то их вымазал смолой. Совсем взбесился ветер и набрасывался на крыши так, будто решил их сорвать, свести на нет работу Шмаи, который трудился весь год с такой любовью!..

Так началась противная, неуютная осень. Пришла, когда ее никто не ждал.

И, как ни странно, неожиданный приход осени больше, чем на всех, отразился на кровельщике. Ох как набросилась на него жена!

— Что же будет теперь? Сколько можно сидеть в землянке? Ты всем помог достроить дома, покрыл почти все постройки артели, а только о себе забыл! Вот и остались у разбитого корыта. Что ты за муж? Что за отец?..

Жена была права, и Шмае трудно было найти для себя оправдание. Но все же он сказал ей:

— Конечно, получилось не так, как я планировал. Но из-за этого нет смысла расстраиваться, родная моя. Что поделаешь, если я принадлежу к той категории людей, которые не могут видеть, как другие мучатся без крова?.. Сделаешь человеку добро, и у тебя легко становится на душе. Поди знай, что осень так скоро придет, начнутся дожди...

— Но десятки людей уже имеют крышу над головой с твоей помощью, а мы снова будем зимовать в землянке!..

— Не огорчайся, дорогая. Не забудь, что человек живет не только для себя, человек должен жить по совести. Кто не думает в первую очередь о других — о солдатках, о сиротах, беспомощных стариках, — тот не достоин, чтобы земля его носила. Главное, мне кажется, это совесть. Лучше жить в землянке с чистой совестью, чем в своем собственном доме без совести... Не огорчайся, все в наших руках... Крышу я себе всегда поставлю...

Рейзл посмотрела на него и только махнула рукой:

— На тебя надейся!..

— Ничего! Было хуже, и мы тоже не падали духом! — перебил он ее и, заметив на глазах жены слезы, погладил ее по голове:

— Ну что ты! Как тебе не стыдно?.. Успокойся!.. Эх, жены, жены!.. Объясни мне, дорогая моя, почему это бывает так: придешь к чужой жене, она тебя принимает как царя:

«Садитесь, пожалуйста, выпейте стаканчик чаю с вареньем, попробуйте пирожков с маком... Посидите, отдохните...» А к своей жене придешь, и она тебе: «Ах ты, такой-сякой! Притащи сейчас же ведро воды, наруби дров, сбегай в кооперацию за селедкой... Почему крышу не закончил?..»

Тут уж Рейзл не выдержала и рассмеялась сквозь слезы.

— Вот видишь, родная,— обнял ее Шмая.— Ты старайся пореже на меня сердиться. Злиться тебе, ей-богу, не к лицу. Тебе куда больше идет, когда ты смеешься и не сердишься...

Не зря люди говорят: нет худа без добра. Недаром человеческое горе ходит где-то рядом с радостью.

Шмая был очень огорчен, что не закончил свое жилище, и если он успокаивал жену, то это еще не значило, что сам он в глубине души не переживал. Ему-то не привыкать, он в землянке, когда натопит печь, чувствует себя на седьмом небе. Но девочек жалко было. Его, правда, уговаривали соседи перебраться на зиму к ним, но тут взбунтовалась Рейзл: она больше не намерена ютиться по чужим углам! И пусть его, Шмаю, совесть мучает, что о своей семье не позаботился...

Но после драки, как говорят, кулаками не машут. Пока распогодится, решил Шмая, надо съездить в гости к Мишке. Его все время к нему тянуло, однако каждый раз находились какие-то срочные дела и приходилось откладывать поездку... Уже было собрался в дорогу, как от сына пришло письмо, которое всколыхнуло нашего кровельщика. Оно не было похоже на другие письма, которые Мишка в последнее время присылал, кстати, не так уж часто.

Шмая раскрыл конверт, опустил на корточки возле печурки и начал читать жене вслух:

«Дорогие мои!

Первым долгом шлю вам самые горячие приветы и прошу прощения, что пишу так редко. Придя на завод, я сразу окунулся в работу. Сами понимаете, что за время войны отучился стоять у тисков, много позабыл, а работы по горло. Приходится часто вкалывать по две смены, а то и сутками не уходить из цеха. Но я истосковался по работе и чувствую себя хорошо. Я еще не знаю, когда смогу выбраться к вам на несколько дней, но к Новому году непременно приезжайте к нам, так как мы решили одновременно встретить Новый год

и устроить небольшую вечеринку по случаю нашей свадьбы.

С невестой знакомить вас нечего, вы ее хорошо знаете. Это Ольга, дочь Данилы Лукача. Мы с ней дружили еще в детстве, когда учились вместе в школе. После войны судьба нас снова свела в госпитале, где я лечился. Ольга меня спасла, выходила. Мы друг друга очень любим и ценим. Пока что живем неважно, нет еще квартиры, и живем в разных общежитиях. Трудновато приходится. Сами знаете, что у нас еще много недостатков, но все это мелочи жизни. Приезжайте, вместе отпразднуем день нашей свадьбы. Очень просим: обязательно приезжайте и возьмите с собой близких друзей. Будет, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Тридцать первого ждем. А если сможете приехать раньше, всегда будете желанными гостями. Как-нибудь устроимся, народ у нас хороший, дружный.

Обнимаем и целуем. *Миша и Ольга*»

Шмая оторвал глаза от письма и увидел, что жена очень расстроена. Она молчала и только шмыгала носом, а это не предвещало ничего хорошего.

— Что с тобой, Рейзл? Или тебе невеста не по душе?

— Что ты! — замахала она руками. — Ольга хорошая девушка. Но почему они не хотят приехать сюда и здесь сыграть свадьбу? Все-таки родители здесь...

Она не успела закончить, как послышались быстрые шаги. Запыхавшись, в землянку вбежала Марина и, вся сияя от радости, размахивая конвертом, выпалила:

— Поздравляю! Значит, мы с вами породнились... Получили письмо от Мишки и Ольги... Подумать только, все время и вида не подавали, никому ни слова... И вот уже свадьба...

— Скажи мне, Марина, — усмехаясь в усы, подошел к ней Шмая, помогая снять платок и куртку. — Вспомни, когда ты влюбилась, ты разве тут же помчалась к родителям с этой новостью?..

Он забежал по землянке, достал из самодельного шкафчика бутылки вина, стаканы, хлеб, поставил все это на стол и, увидев, как женщины дружно заплакали, проговорил, наливая вино в стаканы:

— И где только у вас слезы берутся? Ну-ка, веселее, бабоньки! Выпьем за счастье наших детей. Лехаим!

О свадьбе своего сына с дочерью Данилы Лукача Шмая мог бы рассказать немало интересного и трогательного, но это отняло бы слишком много времени. Правда, нельзя сказать, что эта была одна из тех роскошных свадеб, которые играли в хорошие довоенные годы. Нет. Было скромно, не очень сытно, но зато весело! Шмая давно не веселился так, как в эту новогоднюю ночь. Он всем понравился, всех покорила и приобрел много новых друзей. И заводскому начальству он пришелся по душе. Узнав, что отец жениха потомственный кровельщик, к нему пристали, как с ножом к горлу, чтобы оставался тут работать, перебрался бы в город. Развертывается, мол, большое строительство, и такой человек нужен здесь, как воздух.

Тут уже не выдержал Овруцкий, не говоря уже о Рейзл. Как же это, приехал человек к сыну на свадьбу, а его самого хотят засватать?! Человек имеет свой угол, свою работу, всеобщее уважение. И там, в поселке, для него тоже на всю жизнь работы хватит, лишь бы здоровья хватило. Ни за что не отпустят Шмаю из артели, так и знайте!

Да, одним словом, весело было на свадьбе, хоть чуть было не выхватили заводские ребята из-под носа у колонистов разбойника, без которого стало бы скучно в поселке.

Весело было на свадьбе, но не обошлось и без слез. Не все, кому полагалось присутствовать на таком торжестве, могли прибыть... Чувствовалось отсутствие отца Оли, доброго пасечника Данилы Лукача. Все стоя выпили за его здоровье (ведь не все знали, что они пили за упокой его души...).

Гости разъехались только на третий день, но Шмаю еще не могли вытащить. Он заявил, что должен немного задержаться, помочь молодоженам устроиться, что непременно придет через несколько дней. Но легче давать обещания, чем выполнять их...

На следующий день Шмая прошелся с сыном по рабочему поселку, увидел, как тут строят, и глаза у него загорелись. Поднявшись на стропила большого здания, чтобы немного помочь рабочим, он так увлекся, что забыл адрес своего дома. Кто знает, не остался ли бы он тут навсегда, да снова вмешались жена, Овруцкий, соседи.

Хорошо ему было рядом с сыном, которого все уважали, как и его милую жену, на которую молодые парни заглядывались. Столько дней провел он здесь у сына и снохи, а все не мог досыта наглядеться на них. Это был и тот сын и не тот. Та же Оля и не та. Возмужали, стали серьезными,

собранными. Одним словом, отец был в восторге от своих детей...

А тем временем он втянулся в работу. Каждый день ранним утром, когда хриплый гудок огромного завода звал на трудовую вахту, все трое отправлялись в путь. Шмая уже привык к здешним людям. Все ему здесь нравилось. Но у Рейзла, как всегда, было обо всем этом совсем другое мнение. Ей не нравилось, что Шмая так задержался в гостях, и она стала засыпать его письмами, звать домой. Овруцкий тоже ему написал, сколько дел ждет его в поселке и что пора ему и честь знать, можно быть гостем неделю-другую, но не месяцы. И вообще, в гостях хорошо, а дома лучше...

Что ж, пришлось распрощаться с молодоженами, с новыми друзьями и отправиться в обратный путь.

Приехал Шмая на знакомый полустанок, а тут его ждал сюрприз. Его встречали товарищи, и среди встречающих Шмая сразу заметил Васю Рогова, своего молодого дружка, которого назвал своим сыном. У нашего разбойника сердце сжалось от боли, когда он увидел этого некогда ловкого, сильного пограничника в штатской одежде, с пустым рукавом... Шмая узнал среди встречающих и Шифру. Изменились молодые люди, посуровели...

— Какие гости! — воскликнул кровельщик, направляясь с расprostертыми объятиями к своим фронтовым друзьям.

— Мы не гости, — ответил Вася, обнимая «батю» одной рукой. — Разве вы забыли, что когда-то, еще у Волги, приглашали меня приехать к вам в поселок? Вот и приехали мы с Шифрой сюда на постоянное жительство...

— Видишь, Шмая, прогулял ты все на свете! Уже месяц, как Вася живет тут, работает. Службу подходящую подыскали для него. Правление артели назначило его завклубом. И Шифра уже нашла себе работу: по старой памяти пошла на ферму. — Подумав немного, Овруцкий добавил: — Все хорошо, да если б у них еще крыша была... Жить пока им негде...

— Ничего! Об этом мы уже позаботимся... — прервал его Шмая.

— Да, если часто будешь ездить в гости, и на такой срок, как теперь, то забудешь, как молоток в руках держат...

— Конечно, для Васи все сделаю. На улице жить не будет. Постараюсь... А ты что думаешь, там, у Мишки, я

сидел сложа руки? И там для меня дело нашлось. С трудом вырвался сюда. Они для меня уже должность приготовили...

— Какую же должность? Может, директора завода?

— Для меня директор — слишком низкая должность, — усмехаясь, ответил кровельщик. — Я всегда повыше лезу... Помогал ребятам дома покрывать. Лучшей должности для меня не придумаешь...

Шмая говорил и не сводил глаз с гостей. Неожиданная встреча с ними перенесла его в те тяжелые дни, когда они вместе были в огне, напомнила о погибшем сыне, о его большой дружбе с этим славным расторопным пареньком, который теперь выглядел намного старше своих лет. Шмая радовалось, что Вася решил тут осесть. Этот названный сын постоянно будет напоминать ему родного, которого он уже никогда не увидит.

Вокруг было шумно. Шмае очень хотелось поговорить с Васей, узнать, куда он девался после последнего ранения, как сложилась дальше его судьба, но решил, что сейчас не время — надо будет позвать их сегодня к себе и потолковать обо всем. Вместе с тем он уже прикидывал, как соорудить для них жилище, и решил пока что приютить их у себя.

Еще одна зима прошла в больших хлопотах. Весна началась дождливая, буйная и предвещала хороший урожай.

Эта весна принесла с собой в поселок новую радость. Впервые после военных лет появилось сразу несколько молодых матерей. И все они, словно сговорившись, родили девочек. Шмая сказал, что это хорошая примета: значит, больше не будет войн, если уже не рождаются на свет будущие солдаты.

Но не успел он рассказать, откуда взялась эта примета, как ему принесли новую радостную весть. И принес ее Вася Рогов. Он примчался из района, сияющий, счастливый, и, обняв своего «батю», крикнул:

— Можете меня поздравить! Сегодня у меня родился сын!

— Что? Как это — сын? — удивился Шмая. — Новый солдат! — Но все же обрадовался и горячо поздравил молодого отца с первенцем.

Однако старик подумал, что только радоваться по этому поводу — мало. Ведь от того, что люди поздравляют счастливого отца, сыт-доволен не будешь. Нужна теперь, как воз-

дух, крыша над головой. Пока придут молодые в себя, надо их принять. В свой дом. Но он еще стоит, бедный, без крыши, а в землянку молодую мать с ребенком не возьмешь. К тому же Вася заслужил того, чтобы жить в тепле и чтобы на голову дождь не капал.

И, отложив все дела, Шмая-разбойник собрал свою могучую бригаду и повел ее на штурм своего дома.

Вся улица взялась помогать.

Сказать, что жена, Рейзл, была в восторге от того, что после стольких мытарств ей придется ютиться с соседями, нельзя. Но она поняла, что ей ничего не поможет. Таков он, Шмая,— для людей он готов последнюю рубашку с себя снять, тем более, для этого русоволосого сибиряка, которого любил, как родного сына.

Уж ладно, решила она про себя, пусть с соседом, но в своем доме. Сколько же можно мучиться в землянке? Девочки не имеют своего уголка!

Но недаром люди говорят, что нашему Шмае-разбойнику везет в жизни! Когда дело близилось к концу и жена начала было ему намекать, Шмае, что, мол, лучше было бы оборудовать для молодоженов комнатку в клубе, прибыла от Мишки телеграмма. Сын сообщал, что Оля родила двойню — двух дочерей-красавиц — и завод выделил им хорошую квартиру. Все это, конечно, хорошо, но как же может Оля одна справиться с таким детским садом? Можно было бы вызвать Олину мать, Марину, но, как на грех, та заболела и не может выехать...

Что ж поделаешь, думала Рейзл. На первых порах ей придется помочь детям. Они ведь еще молоды и так беспомощны!

И, недолго думая, собралась в путь-дорогу.

Шмая и Вася Рогов со своим маленьким и шумливым семейством готовились отпраздновать новоселье.

Года через три после войны в один из воскресных летних вечеров Шмая-разбойник взял лом в руки, созвал всех соседей в свидетели и стал разбивать свою землянку. Это была последняя землянка в «Тихой балке». Эту работу он делал с большим наслаждением. Ему помогали все соседи.

Казалось, с тех самых пор, когда люди научились уничтожать жилища, города и села, это был первый случай, когда все радовались и все были в восторге. Шутка сказать — последняя землянка! Последнее напоминание о войне!..

Немало воды утекло с тех пор.

За это время несколько раз старый клен у калитки кровельщика сменял свой наряд, а лицо хозяина покрывалось все новыми и новыми морщинами, голову щедро посеребрила седина. На виноградной плантации наливались соком виноградные грозди, а в чанах виноделии играло буйное молодое вино. Поселок помаленьку рос и молодел. К небу тянулись стройные тополя, и тихие воды Ингульца по-прежнему переливались под солнечными лучами и в лунном сиянии всеми цветами радуги.

Каждое утро, когда просыпаются петухи, неторопливым, размеренным шагом идет на работу наш старый кровельщик. и его почтительно приветствует стар и млад.

Сердце его радуется, когда он смотрит на новые дома и постройки. Как-никак везде он здесь приложил руку, здесь есть значительная толика его труда, его души. Радостно еще и оттого, что есть порох в пороховницах,— силы его еще не покидают.

И кто же этого не знает — когда ты вечно в хлопотах, в труде, забываются старые раны и болячки, как-то легче дышится и сам, кажется, молодеешь, душой и телом.

Обо всем он забывает, когда выбирается на свой трон — на стропила — и погружается в работу.

Прохожие, задерживаясь на минутку, кричат ему:

— Здорово, старина! Доброе утро, Шмая-разбойник! Как дела?

— Ничего, дела идут! — не отрываясь от работы, отвечает он.— Трудимся!.. Сажу на своем троне и вижу, как на ладони, весь мир...

— А что же ты там видишь, сосед?!

— Что я вижу? Ого, многое вижу! Неплохой мастеровой, скажу я вам, соорудил наш мир. Есть стены. Есть добрый фундамент. Нужно, пожалуй, еще хорошую крышу приделать этому миру, тогда людям удобно будет жить в нем, будет тогда настоящий порядок на земле. А то, братцы, мир еще не совсем по-хозяйски устроен...

И люди весело хохочут, машут кровельщику руками:

— Эгей, прощай, старик!

Шмая-разбойник слегка морщится:

— Какой же я вам старик? Мне, ребята, стареть некогда, разве сами не видите, сколько у меня еще работы? К тому же не забывайте, что я знаю секрет долголетия!..

Григорий ПОЛЯНКЕР

(Биографическая справка)

Полянкер Григорий Исаакович родился в 1911 году в г. Умани, Черкасской области, в семье ремесленника.

Учился в трудшколе и школе рабочей молодежи в Умани. В 1928 году переехал в Киев, поступил в ФЗУ, а по окончании его работал на обувной фабрике.

В 1932 году поступил на литературный факультет Киевского педагогического института, который и окончил в 1935 году.

Еще работая на фабрике, Григорий Полянкер напечатал в еврейских журналах целый ряд очерков и рассказов о жизни рабочей молодежи, студентов, был членом писательской литературной организации ВУСПП, а с момента создания Союза писателей СССР был принят членом Союза.

В 1932 году вышла первая повесть о рабочей молодежи, о комсомольцах столицы, уехавших работать в «Донбассуголь». Вслед за этой книгой в 1934 году вышел сборник маленьких повестей и рассказов «На том берегу», в 1937 году — роман «Вторая встреча». Перед Отечественной войной писатель опубликовал свою повесть «Шойль из Баполя» на еврейском, украинском и русском языках, издал первую книгу романа «Шмая-разбойник».

В первые дни Отечественной войны ушел добровольцем на фронт и прошел с Советской Армией путь до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды и боевыми медалями.

В годы войны опубликованы его книги «Фронтовые рассказы», «Мечь»; после войны вышли книги «Сердце не камень», «Сын Отчизны», «Веселый пассажир» и романы «Золотая долина», «Испытание верности», «Секрет долголетия» и «Булочник из Коломыи».

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------|---|
| Два слова от автора | 3 |
|-------------------------------|---|

Часть первая

ШМАЯ-РАЗБОЙНИК

| | |
|--|-----|
| Глава первая. Шмая-разбойник потрясает мир | 7 |
| Глава вторая. Удивительное приключение | 22 |
| Глава третья. Воскрес из мертвых | 30 |
| Глава четвертая. Однажды ночью | 41 |
| Глава пятая. Местечко в огне | 49 |
| Глава шестая. Свет не без добрых людей | 64 |
| Глава седьмая. Гость с того света | 81 |
| Глава восьмая. В путь-дорогу | 87 |
| Глава девятая. Без руля и без ветрил | 107 |
| Глава десятая. «Тихо! Сам министр будет говорить» | 124 |
| Глава одиннадцатая. От тюрьмы и от сумы не зарекайся | 132 |
| Глава двенадцатая. Из огня да в полымя | 149 |
| Глава тринадцатая. Когда город ликует | 157 |
| Глава четырнадцатая. Нет покоя на земле | 165 |

Часть вторая

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

| | |
|--|-----|
| Глава пятнадцатая. Две свадьбы и один развод | 183 |
| Глава шестнадцатая. Шли колонисты к Перекопу | 191 |
| Глава семнадцатая. Командарм и кровельщик | 203 |
| Глава восемнадцатая. В добрый час! | 226 |
| Глава девятнадцатая. Добрые соседи | 237 |
| Глава двадцатая. Когда улыбается счастье | 245 |
| Глава двадцать первая. Пришла весна | 254 |
| Глава двадцать вторая. Секрет долголетия | 267 |

Часть третья

ПОД КОНЕМ И НА КОНЕ

| | |
|---|-----|
| Глава двадцать третья. Счастье отвернулось | 281 |
| Глава двадцать четвертая. Государственное дело | 292 |
| Глава двадцать пятая. Беда на дорогах | 307 |
| Глава двадцать шестая. Вильгельм Шиндель совершает подвиг | 318 |

| | |
|--|-----|
| Глава двадцать седьмая. Есть еще счастье на земле | 325 |
| Глава двадцать восьмая. Снова среди своих | 343 |
| Глава двадцать девятая. Под конем и на коне | 361 |
| Глава тридцатая. Когда настала тишина | 373 |
| Глава тридцать первая. И грянула буря | 394 |
| Глава тридцать вторая. Один из великой семьи | 405 |
| Глава тридцать третья. Среди падающих стен | 408 |
| Глава тридцать четвертая. На чужбине | 415 |
| Глава тридцать пятая. Путь к Бранденбургским воротам | 430 |
| Глава тридцать шестая. В логове зверя | 439 |
| Глава тридцать седьмая. Человек расправляет крылья | 453 |
| Глава тридцать восьмая. Жизнь входит в свои берега | 461 |
| Григорий Полянкер. (Биографическая справка) | 471 |

ГРИГОРИЙ ИСААКОВИЧ ПОЛЯНКЕР

Секрет догадети

Роман

Издательство «Дніпро», Киев, Владимирская, 42. Редактор Р. К. Каруцян. Художник А. Ю. Львов. Художественный редактор В. А. Конощенко. Технический редактор С. В. Максименко. Корректоры С. А. Коба, Г. М. Стадник.
Отпечатано с матриц Киевской фабрики набора на Киевской книжной фабрике Комитета по печати при Совете Министров УССР, Киев, Воровского, 24.
Сдано в производство 7/VIII 1967 г. Подписано к печати 28/XI 1967 г. Бумага № 2. Формат 84 × 108¹/₃₂. Физ. печ. лист, 14,75. Усл. печ. лист, 24,78. Учетн.-изд. лист, 27,361.
Цена 94 коп. Заказ 697. Тираж 30 000.

